

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 8 АПРЕЛЬ 2005 • ИЕРУСАЛИМ

- БОРИС ХАЗАНОВ. Диспут. Абстрактный роман
- MARTIN VAN КРЕВЕЛЬД. В Ираке будет, как во Вьетнаме
- ВИКТОР СУВОРОВ. Беру свои слова обратно
- ДАВИД ХАЗОНИ. Память в руинах
- АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН. Время собирать камни
- АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Мы рождены дополнять, украшать и усиливать друг друга
- ВАДИМ РОССМАН. Три кита Александра Кожева



אליפּים

סוכנות לביטוח
מ'בע"מ (2002)



ЭЛИФИМ

СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО
(2002) Лтд

- Хотите обеспечить реализацию Ваших финансовых планов и обрести гарантию их безопасности?
- Хотите уверенности в том, что Вам предложен оптимальный вариант?
- Ищете надежного партнера и советчика?

Все это и многое другое Вы обретете в "Элифим".

Страховое агентство "Элифим" – это Ваш партнер в страховании жизни и здоровья, бизнеса и квартир, транспорта и всех видов недвижимости, а равно – пенсионных и целевых накопительных программ и фондов.

Наши представительства к Вашим услугам в любой точке Израиля. Мы готовы в любой момент откликнуться на Ваше обращение по телефону

1-700-703-323

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזניצ'וב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך
לנה ווינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית
הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

תוכות:

ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

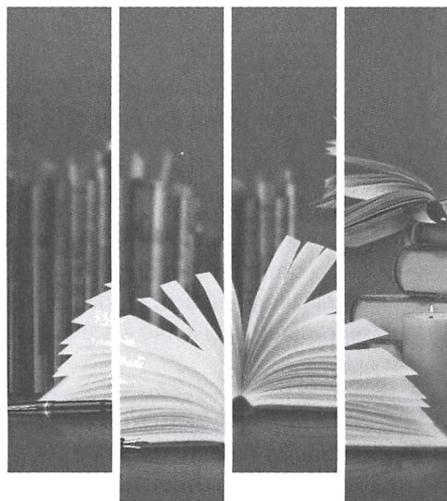
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

6

номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: 02-5325931

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€ 9
В США	\$12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Борис Хазанов. Диспут. Абстрактный роман
30 Даниэль Клугер. Стоящие у врат (*Окончание*)
96 Вера Кобец. Поворот колеса. Райские кущи
116 Михаил Федоров. Бестия

NON FICTION

- 127** Мартин ван Кревельд. Почему в Ираке будет, как во Вьетнаме
139 Виктор Суворов. Беру свои слова обратно

ИНОЙ РАКУРС

- 168** Александр Мелихов. Мы рождены дополнять, украшать и усиливать друг друга
177 Михаил Хейфец. О постмодернизме, русских, русском еврействе – всё вместе!

СТРАСТИ ПО ИСТОРИИ

- 200** Давид Хазони. Память в руинах
210 Александр Этерман. Время собирать камни

ВРЕМЯ, СУДЬБЫ...

- 245** Михаэль Дорфман. Башевис-Зингер: Портрет, который ни в какие
261 рамки не укладывается
Вадим Ротенберг. Феликс Нуссбаум как явление и символ

ИСТОКИ

- 266** Вадим Россман. Три кита Александра Кожева: новые контексты и подтексты

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (*дайджест*)

- 281** Аб Мише. В тылу
296 Игорь Яковенко. В тисках душевной шири
321 Владимир Крыштоб. И эта война была бы завтра
346 Александр Кустарев. Ислам как светлое будущее, или Пароль «Хрислам»

ISSN 1565-5318



(литературный псевдоним Г. М. Файбусовича) историк, прозаик, эссеист, переводчик, автор десятков книг. Живет в Германии.

ДИСПУТ

...приводит доказательства из Талмуда, что даже Моисей не мог при жизни взойти на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода.
Ицхок-Лейбуш Перец. Если не выше

История (или притча), сочинённая Перцем, основана, как известно, на хасидском анекдоте; не пытаясь соревноваться со знаменитым писателем, я хотел бы рассказать всё, как было в действительности, разумеется, в меру моего понимания действительности, – что, конечно, тоже не бесспорно. Протагонист известен: речь идёт о цадики из украинского местечка, память об учителе жива благодаря Перцу, в самом же местечке никто о нём, разумеется, не помнит. Да и общины не осталось.

Время действия? Так ли уж это важно – принимая во внимание, с кем встретился реб Шмуэль; но если нужны факты, то вот они: рабби жил в середине шестого тысячелетия. По христианскому календарю это будет где-то на переломе веков. В Библии сказано: срок человеку определён в сто двадцать лет. Так долго реб Шмуэль, конечно, не жил, но всё же дотянул до начала сороковых годов. И, наконец, что касается географии (раз уж мы её коснулись): в соседней Польше, в Бельско-Бяльском воеводстве, находится городок Освенцим, где учитель, вопреки обещанному бессмертию, завершил своё земное существование. Заодно и вся община.

Напомню о притче, как её передаёт Перец. Раз в неделю немировский цадик исчезал; это привлекло внимание жителей местечка, распространил-

ся слух, что рабби Шмуэль удаляется беседовать с Богом. Нашёлся человек, который его выследил. Оказалось, что учитель, переодетый крестьянином, перед рассветом выходит из своего дома и направляется в соседнюю деревню. Там, в полуразвалившейся хате лежит одинокая больная женщина. Рабби колет дрова, топит печку, готовит еду, кормит и утешает больную. Потом так же незаметно возвращается к себе домой. На вопрос хасидов: где же был рабби, не на небе ли? – соглядатай ответил: «Если не выше».

Прелестный рассказ – и, кстати, довольно убедительный. Но действительность, в отличие от вымысла, редко бывает правдоподобной. Действительность сама кажется вымыслом, а иногда прямо-таки выглядит как чей-то бред. Это внушает некоторые подозрения касательно психического здоровья Творца, но не будем продолжать эту тему. В мире, сказал философ*, всё есть, как есть, и всё происходит, как происходит. Однажды утром, точнее, в предутренний час, после плохо проведённой ночи, пожилой учитель поднялся раньше обычного; накануне мальчик, который ему прислуживал, отправился навестить родителей в Крыжополь; рабби умыл лицо и руки, напился чаю и надел (вопреки рассказу Переца) свою лучшую одежду. В чёрном сюртуке, в старомодном высоком воротничке и при галстукке, с бордой, из-под которой виднелась крахмальная манишка, с цепочкой от часов на животе, рабби Шмуэль, вдобавок нацепивший на свой мясистый нос пенсне, напоминал университетского профессора, адвоката или управляющего банком. Нечего и говорить о том, что ни на одном из этих поприщ он никогда не мог бы преуспеть. Было темно, перед домом ждал закрытый экипаж.

Если бы кучер был писателем, он мог бы расписать путешествие во всех подробностях, но при этом возник бы риск того, что именуется художественным переосмыслением. То есть нас опять угостили бы какой-нибудь небылицей. На самом деле всё было очень просто, всю ночь продолжался снегопад, рабби сошёл с крыльца, держа над собой огромный зонт, и лошадь потащила карету по главной улице местечка, увязая в снегу. В домах ещё не зажглись огни.

Ехали долго. словно сам создатель медлил восстать от сна, смутно обозначился серо-белый, глухой зимний день. Остались позади хутора, поля, перелески, вынырнула из белёсой мглы и потянулась вдоль дороги высокая чугунная ограда, и, наконец, лошадь стала перед воротами. Навстречу по расчищенной и успевшей снова покрыться снегом аллее спешил привратник. Некогда поместье принадлежало польскому магнату, мрачный каменный герб над входом напоминал о далёких временах, о разорившемся владельце. Новые хозяева, неизвестно кто, сдавали замок кому-то. Гость расплатился с извозчиком и взошёл на ступени.

Он стоял в гулком сумрачном зале, некто, чью наружность невозможно описать, приблизился, голос, звучащий, как эхо, спросил: он ли реб

* Л. Витгенштейн.

Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахизер, прозванный Вторым Великим маггидом, господин благого Имени?

«Да, – сказал учитель, удручённый этой официальностью, – это я».

Ему указали на лифт, и реб Шмуэль прибыл на небо.

Но не выше. Небо представляло собой обширное помещение с потолочной росписью на астрономические темы. Из зала гость прошествовал в коридор, где отыскал нужную дверь. Требовалось изложить причину визита, предъявить повестку, что-нибудь такое. Но никакой письменной повестки рабби не получал. Его известили, вот и всё; он был приглашён, но в весьма абстрактной форме. Всё это он собирался объяснить секретарю, но не успел открыть рот, дверь из приёмной в кабинет открылась, вышло высокое лицо – выплыла дородная миловидная дама в бледно-лиловом шиньоне, с брильянтами в ушах, в элегантном сером платье с вышивкой на груди. Можно было сказать, что она прекрасно сохранилась для своих лет. Секретарь выскочил из-за стола, принял у гостя цилиндр, зонт и крылатку.

Рабби Шмуэль огляделся: великолепно обставленный покой. В те времена ещё не было кино – во всяком случае, изобретение братьев Люмьер не добралось до этих мест, – а то бы мы сказали, что обстановка была, как в фильме «ретро»: высокие задёрнутые гардины на окнах, стильная мебель, библиотека, ковёр, камин. Тишина и уют. Несколько ламп, не слишком ярких, чтобы не подчёркивать возраст хозяйки, но света достаточно. Рабби Шмуэль сидел в кресле, дама поместилась напротив, красиво составив ноги в туфельках, расправила платье и сложила на лоне маленькие пухлые руки. На правом безымянном пальце обручальное кольцо, на левом перстень с головой Адама. Несколько времени молчали.

«Ну-с... – промолвила она. – Я вас слушаю».

Рабби растерялся: он думал, что ему будут задавать вопросы. Ожидалось, однако, что сперва должен высказаться посетитель, изложить свою просьбу или что там. В конце концов была же у него какая-то цель. Подать прошение, ходатайствовать за кого-нибудь.

Он не умел притворяться и сказал:

«Прошу простить меня, я всё забыл».

«Что вы забыли?»

«Я забыл, для чего я приехал».

«О! – сказала дама. – Какая разница? Я вам рада. Я рада, – пояснила она, – что вы догадались».

«Догадался? о чём?»

«О том, что вас хотят видеть. Можете ли вы рассказать, как это произошло?»

«Но ведь вы сами знаете».

«Мне хотелось бы услышать из ваших уст».

«Как произошло... – пробормотал рабби, снял пенсне и потер двумя пальцами спинку носа. – Я видел сон. Это был ангел. Он сказал: поднимайся, возница знает дорогу».

«Вы не удивились?»

Рабби молча покачал головой. Дама милостиво кивала лиловым шиньоном. Несколько осмелев, рабби Шмуэль заговорил:

«Но я предполагал... если позволите быть откровенным... Видите ли, мне придётся потом рассказать, где я был. А что я скажу? Собственно, этого не может быть...»

«Не может быть, чтобы он оказался женщиной?»

«Да. Извините».

«Вы не можете себе это представить?»

Рабби пожал плечами.

Дама в сером помолчала.

«Это верно, – сказала она. – Он не может быть женщиной. Хотя бы потому, что нельзя не считаться с грамматикой. Всякий раз, когда о нём заходит речь, в Писании употребляется мужской род. Не говоря уже о христианстве. Им пришлось бы переделывать все иконы».

«Как же тогда...»

«Считайте, что я его замещаю».

«Вы? Разве это возможно?»

«Странно, что вас это удивляет. Вы знаток Книги. Неужели вы забыли, что Моисей, когда подошёл поближе, узнать, отчего терновник горит и не сгорает, то закрыл лицо. Как по-вашему: почему он это сделал? От сильного жара?»

«Нет, конечно. Чтобы не видеть того, кто с ним говорил».

«Да, но почему? Почему он не решился взглянуть?»

«На этот счёт существуют разные мнения», – сказал реб Шмуэль.

«Мнения могут быть разные. Но факт состоит в том, что человек не может встретить его воочию. Иначе умрёшь. Волей-неволей приходится искать посредников».

Снова молчание; гость поглядывал на горящие поленья.

«Вы разочарованы?»

«Я? – сказал рабби, очнувшись. – Нет, нет... ни в коей мере».

Он насадил пенсне на свой могучий нос, постарался сидеть прямо.

Дама в сером промолвила:

«Я вижу, наш разговор как-то не клеится. Расскажите немного о себе».

«Что рассказывать... Вы, вероятно, и так всё знаете».

«Мне интересно услышать из ваших уст».

«Я живу в...» – он назвал свой городок.

«Постойте, я должна вспомнить, где это. В Польше?»

«Ближе. Недалеко отсюда. Два раза выезжал по делам в Винницу, а так всё время дома. Жена моя умерла. Детей нет. Я там что-то вроде местной знаменитости. Думают, что я Бог вещь кто и всё знаю. Но на самом деле...»

«Утверждение, что мы знаем только то, что ничего не знаем, – заметила дама, – старая философская песня. Тем не менее, насколько мне известно, вы единственный человек после Израиля Баал Шема, кто владеет Именем».

«Так считается...»

«Почему вы ни разу не воспользовались вашим могуществом?»

«Почему я должен был им воспользоваться?»

Дама хлопнула в ладоши. Обе половинки дверей неслышно распахнулись, въехал столик, который толкал перед собой секретарь.

«Я предполагаю, – сказала хозяйка, – что вы проголодались. Дорога долгая...»

Реб Шмуэль пил чай, робко взял с блюда бутерброд. Дама продолжала:

«Мы затронули интересную тему. Прежде я как-то не задумывалась. В самом деле, если бы он был женщиной... если бы он мог быть женщиной. Может быть, мир был бы чуточку совершенней!»

«Но он и так совершенен», – сказал реб Шмуэль и стряхнул крошки с бороды.

«Вы в этом уверены?»

Уж не провоцировала ли она бедного цадика? Реб Шмуэль взглянул на даму в сером – она улыбалась.

«Нет, – вздохнув, сказал он, – не уверен».

«Вот видите. Теперь мы можем вернуться к моему вопросу. Почему вы не воспользовались вашей властью над Именем? Весь народ, можно сказать, смотрит на вас».

«Какой народ... захолустный городишко».

«Весь народ Израиля, – сказала дама строго, – ждёт, когда же, наконец, придёт Машиах. Когда, – она устремила взгляд в пространство, – зазвонят колокольчики его ослицы. И вот появился человек, которому свыше дано поторопить Мессию. Напомнить ему о том, что... Ускорить его приход. И что же? Этот человек колеблется, медлит, чего-то ждёт. Чего вы ждёте? Пока не наступит катастрофа, всеобщая гибель, конец света? В ваших силах, – она наклонилась к гостю, – *заставить* его явиться. Всё проблемы были бы решены».

«Я полагаю, что это компетенция Всевышнего».

«О, нет. Увы! Поверьте мне, уж я-то знаю. Совершенство мира вовсе не в том, что к нему якобы уже нечего добавить, а в том, что мироздание подобно безупречно работающему автомату. Однажды пущенный в ход, он функционирует сам собой. Начнёте копать, переделывать, он остановится. Речь идёт не о ремонте! Речь идёт о спасении. Кушайте, прошу вас... берите с рыбой. Это свежая сёмга, ночью привезли... Что сделано, то сделано!»

И она развела руками.

«В таком случае, – возразил реб Шмуэль, – и Мессия не поможет».

«Его задача другая. Мир, конечно, от его пришествия не изменится. Каков он есть, таков он есть. Но люди станут чуточку счастливей. В мире будет спокойней».

«Я думаю... – проговорил реб Шмуэль, оглядывая себя, не осталось ли крошек на манишке. – Я думаю, что чаша страданий ещё не переполнилась. Там ещё есть место... Мессия явился бы преждевременно».

«Дождаться, когда она перельётся через край! Вы бесчеловечны».

«Я?» – сказал реб Шмуэль.

Она запнулась. Цадик поднял глаза, в которых была такая бездна горя, что хозяйка не нашлась что сказать. И разговор иссяк.

Что-то вывело даму в сером из задумчивости. Реб Шмуэль зашевелился в кресле.

«Как, вы собираетесь уже уходить? Подождите, ведь мы ещё не успели договориться о главном. (Рабби пожал плечами.) Так, значит, вы уверены, что... э?...»

Реб Шмуэль ответил:

«Да. Он жесток – в этом проявляется его великое милосердие. Он несправедлив, но его несправедливость – на самом деле не что иное, как справедливость. Наказание, которое он творит, есть награда. И часть для него то же, что целое. Чаша бед ещё не полна...»

«Вы это и говорите своей общине?»

«Люди меня понимают. Они понимают, что евреи – не сами по себе, но часть целого. Даже если никто никогда не выезжал из местечка».

Серая дама прищурилась.

«Теперь я вижу, с кем я имею дело. Вы – жестокий старик. Вам-то что, вам терять нечего. А что делать детям, у которых жизнь впереди, детям с глазами, полными доверия? Что делать молодым людям, которые ждут поощрения, – а вы лишаете их всякой надежды. И, в конце концов, откуда вы знаете? Кто вам дал право? Вы что – пророк? Что вы знаете о будущем?»

«Ничего, – сказал цадик сокрушённо. – Но я знаю, кто он и каков он, там...»

«Пожалуйста, не тычьте пальцем в потолок. Небо – здесь!»

«Простите».

«Сколько вам осталось жить?»

«Откуда я знаю...»

«Зато я знаю».

«Сколько же?»

«Вот уж этого я вам не открою».

«Но я более или менее догадываюсь».

Дама лукаво взглянула на цадика и спросила:

«Как вам понравилось моё угощение?»

«Благодарю вас. Очень вкусно. Я в жизни не пробовал ни икры, ни сёмги».

«А чай?»

«И чай замечательный. Что это за сорт?»

«Ещё чашечку?»

«Спасибо, я сыт. Кроме того, у меня, извините... проблемы с мочевым пузырём».

«Вам надо, – дама понизила голос, – отлучиться ненадолго?»

«Да, если позволите», – пробормотал рабби.

Она дала знак вошедшему секретарю, и гость поплёлся следом за ним. Когда рабби Шмуэль после довольно продолжительного отсутствия вернулся, по его лицу было видно, что настроение у него значительно улучшилось. Дама в сером встретила его благосклонной усмешкой.

«Мне кажется, мир для вас теперь уже не так безнадёжен!»

Рабби кисло улыбнулся.

«Вы спросили у меня, какой это чай, – сказала она. – Я открою вам маленький секрет. Это не чай. Это напиток бессмертия».

«Напиток... чего?» – спросил реб Шмуэль.

«Бессмертия. Отныне вы будете жить вечно».

«Но я об этом не просил!» – вскричал рабби.

«Так он решил, – сказала дама, наклонив голову, и развела руками. – Собственно, для этого вас сюда и пригласили. Это большая награда, вы должны за неё смиренно благодарить. Разве люди не боятся смерти? Разве не мечтает каждый о том, чтобы её отсрочить?»

Гость молчал, очевидно, не находя слов.

«Таким образом, у вас будет возможность проверить, так сказать, ваш прогноз... Если я правильно поняла вашу мысль, этот народ ожидают в будущем новые... ну, скажем так: неприятности... Чаша, как вы удачно выразились, ещё не наполнилась до краёв. Машиах, как всегда, не торопится, и я, признаться, надеялась, что уговорю вас ускорить его прибытие... Минуточку, я ещё не договорила».

Реб Шмуэль нервничал, снял пенсне, снова насадил.

«Вы отказываетесь, ссылаясь на... ну, словом, считаете, что можно подождать. А так как часть есть то же, что целое, – опять-таки ваши слова, и я охотно ими воспользуюсь, – так как евреи репрезентируют, если можно так выразиться, человечество, то ваша тактика выжидания распространяется на весь человеческий род. Вы считаете, что время для Спасителя ещё не пришло. Пусть будет так!» – сказала дама в сером, наклонилась и хлопнула цадика по колену.

«Ой, вей!» – простонал рабби.

«Вам предоставлена возможность дожить до той поры, когда вам покажется, что дальше медлить нельзя. Итак, решение по-прежнему в ваших руках, почтеннейший! Но имейте в виду: если что-нибудь произойдёт...»

«Что? Что произойдёт?» – спрашивал рабби.

«Если что-нибудь случится, виноваты будете вы. Нечего ссылаться на волю Всевышнего».

Рабби Шмуэль, схватившись руками за голову, закрыв глаза, раскачивался всем телом взад-вперёд.

Дама смотрела на него.

«Ну, ну, – проворковала она. – Успокойтесь. Я пошутила. Это обыкновенный чай».

Рабби поднял на неё заплаканные глаза.

«Правда?»

«Ну конечно. А теперь прошу меня извинить. Меня призывают некоторые светские обязанности, – она щёлкнула пальцами, вошёл секретарь или кто он там был. – Карету пану Шмуэлю».

Реб Шмуэль, кланяясь, отступал к дверям и уже было повернулся к выходу, когда серая дама произнесла:

«Все эти эликсиры вечной жизни, яблоки молодости – сказка. Чудес на свете не бывает. Так что чай не повредит вам, не считая, может быть, лёгкого мочегонного действия... Но бессмертие вам так или иначе обеспечено. Нравится вам это или нет. Ничего не могу для вас сделать, дорогой мой. Так он постановил».

Выйдя наружу, реб Шмуэль заметил, что небо лишь слегка посветлело; он вынул часы – они показывали всё то же время, и рабби подумал, что ещё успеет вернуться до наступления дня. Между тем что-то готовилось. Вдоль аллеи сияли фонари, в окнах ярко освещенного двусветного зала двигались фигуры, снег перед замком был вытопан, в пятнах конской мочи. Рядами стояли сани, брички, старинные колымаги. Это был день большого приёма.

Зычный голос крикнул:

«Карету пана Шмуэль-Арье-Лейб бен Ахизера, Второго Великого маггида и господина благого Имени, – к подъезду!»

АБСТРАКТНЫЙ РОМАН

Каждая ночь имеет свой сюжет.

М. Эпштейн. Поэтика близости (2003)

...Именно так. Именно так я и думал: куда кривая вывезет. Как получится. Мне незачем объяснять, кто я такой, идея освободиться от всех примет, от всех опознавательных знаков моего существования повергла меня в какое-то дурашливое веселье. Моя тусклая жизнь заиграла красками, как лужа в пятнах мазута. Прежде чем затеять игру с неизвестной женщиной, я уже играл в эту игру сам с собой. В одних трусах, отшлёпывая ладонями пошленький ритм, я подбежал к компьютеру и настроил десять вариантов; в конце концов выбрал кратчайший текст. После чего надрезал полосками нижний край листа и начертил на каждой номер телефона, как если бы ожидалась уйма желающих. До полудня игривое настроение не покидало меня.

Всё это происходило в субботу, но поездка состоялась в минувший по-

недельник, так что прошла целая неделя, прежде чем меня осенила гениальная мысль. Это был совершенно незначительный случай: по делам фирмы я отправился в Пречистый Бор. Битый час тряся в автобусе по мощёной дороге. Название, восстановленное недавно (прежнее было в честь местного партийного деятеля), обещает идиллическую картину. Ничуть не бывало. Леса вокруг вырублены, городишко тонет в грязи, перед базарной площадью стоит облезлый собор, из продырявленного купола растёт куст. Площадь с остатками торговых рядов обнесена забором из неоструганных, потемневших от времени досок, там идёт нескончаемое строительство, похожее на хронический недуг: редкие обострения сменяются продолжительными ремиссиями. Тащиться сюда не стоило. Поболтавшись немного, поговорив с людьми, я убедился, что шансы получить выгодный подряд равны нулю. До отхода автобуса оставалось полчаса, я разглядывал объявления на заборе и наткнулся на следующий замечательный текст:

«Парень 19 лет переспит с женщиной не старше 35».

Некоторое время, качаясь и подпрыгивая на продавленном сиденье, я размышлял, что бы это могло значить. Любопытно было бы взглянуть на автора объявления, был ли он – о чём как будто свидетельствовал короткий телефонный номер – здешним жителем? Если это реклама мужской проституции, то почему «не старше 35 лет?» И, кстати, как должны называться местные жители: пречистенцы? Мне пришло в голову, что название городка намекает на Деву с младенцем.

Не стану утверждать, что воззвание на заборе натолкнуло меня на мою идею. Скорее наоборот, я вспомнил о нём, когда родилась идея.

Итак, суббота, ранний час, и никого кругом нет. Я приклеил объявление кусочками скотча. Вечером, возвращаясь к себе, я сделал крюк, чтобы не проходить мимо этого места. Я надеялся, что мою рекламу сорвали, я не мог понять, чего ради я всё это затеял. Наутро бумажка всё ещё белела на углу большого дома против светофора, полоски все до одной были целы и подрагивали на ветру. Оглядевшись, я отодрал объявление, скомкал и швырнул в урну. И двинулся прочь не спеша, как ни в чём не бывало.

Я твёрдо решил никогда не вспоминать об этой аванюре, но всё-таки – мне самому интересно: с какой стати мне взбрело в голову написать предложение незнакомке?

Теперь я должен рассказать, каким образом мы встретились. Прошла неделя, и раздался телефонный звонок. Женский голос, извинившись, спросил, давал ли я объявление.

«Какое объявление?»

Она, по-видимому, смутилась, я спросил: «Вы имеете в виду?..»

«Да. Кто-то его сорвал...»

Я сразу представил себе, что она прочла моё объявление, прошла мимо, колебалась, вернулась – объявления уже не было. Пожалела, что не оторвала полоску с телефоном, на всякий случай заглянула в урну... Удивительно, как молниеносно заработала моя фантазия.

Я сказал, стараясь скрыть иронию:

«Рад, что вы позвонили».

«Я тоже рада...»

Судя по голосу, ей вряд ли было больше двадцати, двадцати пяти лет. Чёрт возьми – меня охватил странный восторг. Охватили сомнения. Кто-то в свою очередь пожелал затеять со мной игру. Голос звучал неуверенно, но она могла притворяться. Я, конечно, помнил фразу в моём объявлении: «никаких обязательств». Какая женщина позволит себе откликнуться на такое предложение? А вместе с тем эта фраза должна была чем-то привлекать. Авантюристка, искательница приключений, подумал я. Или (тут мне вспомнилось объявление в Пречистом Бору) решила, что я торгую собой. Я пробормотал:

«Ну что ж... давайте увидимся».

В эту минуту я чувствовал, что это был не я, а кто-то изображавший меня. Как если бы этой репликой начиналась пьеса, сочинённая кем-то, и мне оставалось и впредь повторять готовый текст. Сам того не сознавая, я облегчил себе дальнейшие шаги. Побрился (было воскресное утро), обрядился в новый костюм и повязал «гаврилу». От меня пахло шипром. Мне пришлось в голову, что буржуазный вид отпугнёт девушку, я снял гаврилу (поясню, что так называется в нашем отечестве галстук), сменил чопорный тёмный пиджак на светлый клетчатый. Повязал на шею пёстрый платок и заправил концы под рубашку. Теперь я выглядел фатом. Пришлось снять платок. Я раздумывал, надеть ли мне шляпу.

Как уже было сказано, я не собираюсь отрекомендовываться, не хочу даже себя называть. Разве только два слова о том, как выглядит герой пьесы. Я, можно сказать, самый обыкновенный человек, среднего роста, заурядной внешности, таких, как я, в городской толпе – каждый десятый. Мне немного больше тридцати, немного меньше сорока. Семейное положение? Была жена, в паспорте остался штамп, мы давно не живём вместе. У меня есть приятели, которыми я не особенно дорожу, есть родственники, сослуживцы и сослуживицы; фирма, упомянутая выше, не слишком преуспевающая, принадлежит не мне. (Мне трудно представить себя в роли бизнесмена.) Я думаю, что я настоящий герой нашего времени, представитель массы, по которой ежевечерне взад-вперёд, как дорожный каток, прокатывается каток телевидения, я жертва посредственного образования, общедоступного комфорта, всеобщего второсортного благополучия – того самого «худобедно» – и всеобщей растерянности. Я тот, которого каждый вечер тошнит от сознания, что прошедший день в точности повторится завтра. Теоретически я бы мог присоединиться к тем, кто протестует против «истеблишмента», против всего этого гнусного устройства, – но, во-первых, мне за тридцать, а, во-вторых, я слишком пассивен. Слишком уж мало чем выделяюсь. Даже если бы не пришлось сейчас рассказывать вам эту историю, мне незачем было бы объяснять, что моё имя – «он», просто Он.

Так как речь несомненно шла о постельном приключении, я должен был

всё обдумать заранее. Взвесил несколько вариантов. О том, чтобы привести её к себе, не могло быть и речи. Гостиницы дороги, вдобавок государство обязывает владельцев заботиться о нравственности, вы должны предъявить паспорт, говорят, что нужна иногородняя прописка. Само собой, отметка о браке, она у меня есть, но ведь эти сволочи потребуют паспорт и у моей спутницы. И, наконец, в гостиницах, более или менее недорогих, никогда не бывает свободных мест. Всё вместе означает, что надо дать на лапу в регистратуре, дать дежурной по этажу и ещё Бог знает кому. У моей матери есть комната возле площади Маяковского, в доме так называемого повышенного качества, где с фасада валится облицовка; второй муж моей мамы, мой отчим, был большой шишкой в прежние времена. Комната чаще всего пустует, так как мать подолгу гостит в другом городе у кого-то там, подробности мне неизвестны, я поддерживаю с ней сугубо формальные отношения. Уезжая, она оставляет мне ключ. Я должен поливать цветы и кормить рыбок. Но я не хочу ничем быть ей обязанным. К тому же там есть сосед, мерзкий субъект, подселённый после того, как рухнула советская власть.

Была ещё одна возможность, на мой взгляд, очень привлекательная, для этого надо было поехать за город. Это отвечало моему желанию вырваться из городской рутины. Но партнёрша может заподозрить что-нибудь неладное. Размышляя обо всём этом, я прошёл пешком два квартала. Мысли отвлекли меня от главного.

Перед входом, не успев ступить на порог, я вдруг подумал: а ну её к чёрту. Если речь идёт о том, чтобы переспать, неужели нет другого способа. Не скажу, чтобы я пользовался особым успехом у прекрасного пола, я робок, никогда не был предприимчив. Но всё же мне вспомнились две-три знакомые, это были, что называется, «распечатанные» женщины, наподобие распечатанных писем; и уж по крайней мере одна из них наверняка была бы непрочь. Да, в конце концов, сколько угодно девиц прогуливаются по вечерам в известных местах. Так какого же лешего?.. Я прошёл мимо окон, там было полно народу. Пожилая посетительница за стеклом рассеянно взглянула на меня. Я вошёл в кафе-мороженое; было шумно; ненавижу все эти заведения.

Компания девушек сидела в центре за круглым столом, одна из них, довольно смазливая, стрельнула в меня глазами, что-то сказала соседке; та тоже посмотрела, с хитро-насмешливым выражением – мне стало ясно, что они меня дожидались. Меня готовились разыграть. Вместо того чтобы повернуться и уйти (бремя как будто свалилось с меня), я протиснулся между столиками к окну, спросил, можно ли сесть, и, не дожидаясь ответа, опустился на стул напротив пожилой тётки. Собственно говоря, мне здесь делать было нечего. Девицы как будто забыли обо мне. Надо было уходить, я всё ещё сидел. Тут произошло нечто неожиданное – взглянув на соседку, я встретил её спокойный взгляд. Она сказала:

«Здравствуйте».

Я как-то дико уставился на неё и возразил: «Здравствуйте».

«Я вам звонила».

«Вы?»

«Ну да. Это я».

«Ага», – сказал я.

«Я вижу, вы разочарованы».

«Ни в коем случае, но...»

«Вы ожидали увидеть другую».

К нам подошла официантка, моя собеседница заказала кофе, а вам, спросила девушка, мне тоже, сказал я.

«Я вас увидела. Из окна».

«Сейчас?»

«Нет... тогда».

«Вы там близко живёте?»

«Мои окна напротив».

«Ага. Вот как».

«Потом увидела, тоже совершенно случайно, как кто-то подошёл и стал читать объявление. Я уже знала, что там написано... И, конечно, догадалась».

«Догадались, что это я?»

«Ну да. Вы не читали, вы просто сорвали объявление и бросили в урну».

Она открыла сумочку и достала объявление.

Я растерянно взглянул на смятый листок с оборванными уголками – там, где были полоски скотча.

«Мне показалось, что это просто какая-то судьба...»

Я сказал: «Вы, наверное, любите сидеть у окна».

«Нет, в том-то и дело».

Исподтишка я поглядывал на неё, стараясь скрыть своё любопытство; в то же время я не смел расспрашивать её ни о чём, и она инстинктивно (как я думаю) выбрала ту же тактику – не задавать никаких вопросов. Возможно, сыграл роль лаконичный текст моего объявления. Но о чём же тогда разговаривать?

Несомненно, ей было не меньше сорока; лицо, впрочем, без морщин; губы слегка тронуты помадой, серые глаза, спокойно-задумчивый взгляд, какой-то даже грустный, словно она говорила себе: ну что с него взять?.. На этой женщине была скромная лиловая шляпка, шею прикрывала, доходя до подбородка, полупрозрачная косынка, сбоку завязанная бантом. Чтобы скрыть морщины на шее, подумал я. Серое демисезонное пальто скрадывает полноту. Интеллигентный вид. Конечно, как всякий нормальный мужик, я сразу представил себе, как она будет выглядеть в постели. И, должен сознаться, особого энтузиазма не испытывал.

Помолчав, она проговорила (кофе остывал в чашках на столе):

«Как я понимаю, вы хотите откланяться».

«Откланяться, почему?»

Она пожалала плечами. «Видимо, решили, что я вам не подхожу».

В ответ я изобразил вежливо-протестующую мину. Инициатива предложена мне; обычная ситуация. Как на вечерах во времена, которые мы ещё успели застать: кавалер выбирает, барышня ждёт, когда её пригласят. Но ведь, чёрт возьми, мы живём теперь в другом веке. Другие танцы.

По крайней мере, стало ясно, что она не имеет в виду то, чего я опасался. А именно, что я отнюдь не собираюсь предлагать себя за плату.

Она заговорила:

«Мы с вами не знаем друг друга и, по-видимому, ничего не узнаем, ни вы обо мне, ни я о вас. Это ведь и было условием, правда? Извините за откровенность, я прекрасно понимаю, что вы имели в виду. Встретиться с женщиной, чтобы с ней переспать. Говорят, теперь это довольно обычный способ знакомства. Но, в общем-то, чем он плох? Встретились, разошлись, никаких обязательств. Я тоже решила встретиться... Но я почему-то думала...»

«Что я окажусь старше?»

«Нет. Вернее, так: или уж очень молоденький – или старик».

«Может быть... – я не договорил, она вопросительно взглянула на меня. – Может быть, мы пойдём?»

«Куда? Вы хотите меня проводить?»

«Нет... пойдём туда, куда мы хотели пойти».

«Да, но куда же?» – спросила она, улыбаясь. У неё были хорошие ровные зубы.

Я отпил глоток, моя рука подпирала подбородок, я смотрел на мою подругу. Подругу ли?

«В чём дело?»

«Вот именно, – пробормотал я, – в чём дело».

«Вы, я вижу, даже не решили, где мы...»

«Нет; не то чтобы не решил. Я просто хочу вам предложить вот что. Мы, конечно, можем где-нибудь поблизости: у меня есть комната. Не моя, но она полностью в нашем распоряжении».

«Послушайте, – сказала она, берясь за чашку. Подняла и поставила на зад. – Мне кажется, вы заставляете себя. Одним словом, у вас нет ко мне никакого интереса. Давайте расстанемся».

Я расплатился, мы поднялись. На улице я предложил ей поехать за город, совершенно уверенный, что она откажется. Она как будто даже не очень удивилась. Смотрела на меня иронически.

«Даю вам слово, – сказал я. – Вас никто не ограбит. Ехать недалеко. Места очень красивые. Сегодня прекрасная погода. Особого комфорта нет, но... кровать найдётся. Ну и, конечно, пообедаем. А потом я отвезу вас в город».

Мы двинулись на вокзал.

В вагоне она впала в задумчивость, смотрела в окно. Народу было немного, вагон покачивался, летели мимо унылые окраины, кирпичные, столетней давности железнодорожные корпуса, пакгаузы, свалки мусора. Вот, думал я, двое встретились случайно и чего ради потащились в чёртову даль? Навстречу нам тархтел электровоз, стуча, погромыхивая, тащились

вагоны, цистерны. Электричка замедлила ход. Моя спутница перевела на меня затуманенный взор, вот сейчас она встанет, не прощаясь, пройдёт между пассажирами в тамбур и исчезнет из моей жизни невзначай, как и появилась. Платформа уже плыла за окнами вагона. Дама все ещё сидела передо мной. Поезд не остановился. Прибавил ходу. Теперь за окном тянулись пустые поля, мелькали осенние, всё ещё густолиственные перелески. Она снова на меня взглянула. Скоро, сказал я. Ещё минут десять.

Мы стояли в тамбуре. Станция приближалась.

«А там пешочком минут пять, не больше... Что за чёрт!» – сказал я.

Вагон медленно ехал мимо платформы, и вот она уже осталась позади. Придётся сойти на следующей. Пожалуй, это было нехорошее предзнаменование.

Проскочили мост, электричка шла по дуге, были видны передние вагоны, следующая станция показалась. Красный огонь светофора. Слава Богу, поезд затормозил. Неохотно раздвинулись двери. Кроме нас, никто не сошёл на платформу, и вообще кругом ни души.

Побрели в зал ожидания, выяснилось, что на этом полустанке останавливаются лишь редкие поезда. Ближайшая электричка в обратном направлении – через два часа; быстрее дойти пешком. Это даже неплохо, заявил я, прогуляемся, подышим воздухом. Через полчаса будем на месте. И мы пустились пешком в обратный путь. Медное солнце стояло высоко над лесом. Не помню, о чём мы говорили по дороге.

Мне кажется, ни о чём. Шли и шли; лес всё гуще; и скоро стало ясно, что мы заблудились. Вообще говоря, всё произошло не совсем так. Не он написал объявление, а я. Вернусь к началу.

Мне не поверят, если я скажу, что эта фраза мне явилась во сне. Не вижу необходимости рассказывать, чем я занимаюсь, ничего особенного, когда-то мечтала стать актрисой, журналисткой, даже фотомоделью, словом, Бог знает кем, а вот – приземлилась в редакции тухлой ведомственной газетки. Но зато на работу мне надо к двенадцати часам, и я этим очень дорожу. Ненавижу раннее вставание. Утром я нежусь в постели, задрёмываю и вижу сны. Фраза, которая мне приснилась, выглядела (или звучала) так: «Дама ищет кавалера».

Был ли это – как когда-то говорили – перст судьбы?

Весь день слова эти вертелись у меня в голове, в конце концов (вернувшись вечером) я уселась за стол и написала на чистом листе от руки, большими буквами: «Дама ищет...» – подумала и добавила: «спутника». Этот вариант показался мне недостаточно точным, я вернулась к первому. Мне часто приходится редактировать разные корявые тексты. И вот я как будто свихнулась: ходила по комнате, садилась и записывала варианты, приходившие в голову. Неизменным оставалось главное условие: объявление должно быть коротким.

Текст, на котором я остановилась, меня тоже не вполне удовлетворял, но

усердие начало иссякать, я почувствовала, что странное вдохновение, лучше сказать – наваждение, покидает меня.

«Она хочет встретиться с ним. Никаких обязательств не требуется».

И – просьба прислать фотографию. Главпочтамт, до востребования таковой-то (я указала свою девичью фамилию).

Почему я это сделала? Сейчас могу дать только один ответ: потому что мне это приснилось. Так сказать, снимаю с себя ответственность. Но почему приснилось? Я живу одна. Мой муж, офицер, погиб в Афганистане, это случилось довольно давно, мы не успели обзавестись ребёнком, с тех пор я успела изрядно состариться, но, конечно, не настолько, чтобы соблазнительные видения перестали посещать меня во сне. Любопытно, что в последнее время мне как раз ничего такого не снилось. Я привыкла жить одна, я ценю свою независимость и не испытываю ни малейшего желания выйти вновь замуж.

Захотелось бабе какого-нибудь приключения? Может, и захотелось, но вообще-то эти слова ко мне плохо подходят. По натуре я человек замкнутый, недоверчивый, боязливый. Возможно, неумение преодолеть скованность и было настоящей причиной, почему я избрала такой странный способ знакомства. «Дама ищет...» – смешная фраза без конца повторялась в мозгу, когда я валялась утром с открытыми глазами; я бы даже сказала, что она-то и открыла мне глаза. Я почувствовала, что меня тошнит от моего привычного образа жизни. Это со мной иногда бывает; может быть, зависит от погоды или от моего цикла. Лежу и думаю о себе, о своей жизни. До последних мелочей знаю, как пройдёт мой день и чем кончится. И завтра, и послезавтра будет то же самое. Знакомые надоели мне. Сослуживцы... я могла безошибочно предсказать, о чём пойдёт разговор, что мне скажут, что я отвечу.

Теперь представим себе, что будет, если кто-то клюнет на объявление. Мне пришлют фотокарточку, которая мне ничего не скажет. Фотографии всегда лгут. Какой-нибудь красавчик, а вместо него явится уродливый, хамоватый, чего доброго, с физическим дефектом, ведь люди этого сорта чаще всего и хватаются за такую возможность. Лечь с ним в постель?.. Как? Где? Разумеется, не здесь, не у меня дома. Допустим, в гостинице. И, конечно, платит за номер он. Иначе говоря, он меня покупает. С таким же успехом можно купить женщину по рекламе в газете или просто на улице, я знаю, где они ходят. Странно, что клиентов привлекают такие наряды. Будь я на месте этих девиц, я оделась бы иначе: скромно, со вкусом. По крайней мере, тогда можно рассчитывать, что к тебе подойдёт порядочный человек.

Приходилось ли мне в моей жизни испробовать секс без иллюзий, когда заранее известно: переспим, и привет? Да, конечно; раза два; чего уж там притворяться. Потом неприятный осадок; в том-то и дело, что обходиться без «предрассудков» не так просто.

Из моего окна виден перекрёсток и угол противоположного дома, по тротуару снуют пешеходы, народ толпится у светофора. Не видно было, чтобы кто-нибудь обратил внимание на мой белеющий на стене дома листок.

На другое утро я не выдержала, опять поглядела в окно и заметила, что

кто-то читает объявление. К вечеру оно исчезло. Вероятно, его сорвало хулиганьё.

Тем не менее, подождав день-другой, я отправилась на Центральный почтамт, писем для меня не было. Письмо, единственное, пришло в пятницу. Однажды по телевидению рассказывали о террористах, рассылающих письма с начинкой. Я уселась в углу в зале почтамта и осторожно, держа письмо подальше от глаз, надорвала конверт. Там не было фотографии. Короткая записка: мне предлагали встретиться в субботу. Я решила не ходить.

У меня бывает состояние, когда я выхожу из-под собственного контроля. Например, хочу идти по этой стороне улицы, а ноги сворачивают к переходу, и я оказываюсь на противоположной стороне. В прекрасное субботнее утро я собралась ехать к одной приятельнице, которую не видела два года. Правда, окончательно мы не договорились, я должна была позвонить. В результате я очутилась в одном из новомодных кафе, которое, видимо, пользуется популярностью: мне с трудом удалось найти местечко у окна. Я даже пришла немного раньше, чтобы освоиться, прийти в себя; всегда удобнее сидеть на месте, чем кого-то искать; пусть сам ищет. Посреди зала за круглым столом сидела визгливая компания – одни девицы. Вертлявые официантки шныряли между столиками. Заказала пирожное и кофе. Неизвестно было, сумею ли я его узнать. Угадает ли он меня?

Как я выглядела? Немаловажный вопрос. Как уже сказано, я должна была ехать к приятельнице. Но, пожалуй, с самого начала это был самообман; я одевалась тщательней, чем требовалось для визита к подруге. Надела, между прочим, на всякий случай красивое кружевное бельё.

Я мгновенно догадалась, что это он: вошёл человек довольно незначительной внешности, невысокого роста и, без сомнения, моложе меня, я дала бы ему лет тридцать. По крайней мере, он не выглядел отталкивающе – и на том, как говорится, спасибо. Я ожидала встретить кого угодно: потасканного искателя приключений, старого холостяка, прыщавого юнца, развязного хама. Этот явно не страдал избытком отваги, топтался, мешая входящим и выходящим, обвёл глазами публику, взглянул на компанию девиц, меня, по-моему, совершенно не заметил. Я предоставила последнее слово судьбе: перевела взгляд в окно. Если он сам не поймёт, значит, так тому и быть, посижу немного и уйду.

Всё была одна сплошная глупость. Я подумала, с каким облегчением я вернусь к себе. Позвоню по телефону подруге, а ещё лучше – никуда не поеду, сброшу платье, растянусь на софе, включу музыку. Я уже сказала, что больше всего ценю мою свободу.

И это тоже глупость: я поняла, что буду ужасно разочарована.

Но почему, собственно, я решила, что это тот самый, приславший письмо? Не знаю. Рука судьбы. Повернув голову, я увидела, что он стоит возле моего столика. Доброе утро, сказал он.

Я ответила: «Здравствуйте».

Он спросил, можно ли ему сесть, я кивнула.

«Вы пришли по объявлению?» – спросила, стараясь выдержать как можно более спокойный тон.

«Да», – сказал он неуверенно.

«Кто-то его сорвал».

«Я его отклеил. Чтобы другие не воспользовались. Вы... моё письмо получили?»

Я улыбнулась.

«Кофе, – сказал он официантке. – Конечно; ведь иначе вы бы и не пришли. Можно вас спросить?»

«Пожалуйста».

«Объясните мне... Что это значит: обязательства не требуются?»

«Что это значит, – проговорила я и взглянула на свои пальцы, на маникюр. – Это значит вот что. Если вы... если мы побудем вместе. Ни я вам, ни вы мне ничем не обязаны. Я не знаю вашего имени, вы не знаете моего имени. Вы вообще ничего обо мне не знаете. Ведь так оно и есть?»

«Да, конечно».

«Я тоже ничего о вас не знаю и ни о чём не спрашиваю. Мы свободные люди. Встретились – разошлись».

«Ясно. Но ведь всё-таки... мы встретились с определённой целью».

«Вы удивительно догадливы».

Мы оба засмеялись, мы почувствовали себя заговорщиками, итак, сказала я или, может быть, сказал он, что же мы предпримем, куда двинемся, я сказала, лучше в гостиницу, только вот не знаю, в какую, я никогда не была в гостиницах, для меня это вообще совершенно необычное приключение, для меня тоже, сказал он. И мы опять засмеялись.

«У меня есть предложение, – сказал он, опустив глаза. – Гостиница, по моему, отпадает».

Он объяснил, но я и сама понимала, что толкаться туда нет смысла. Он предложил ехать за город, на пустующую дачу своих друзей.

«Ну нет, куда это я потащусь», – сказала я.

«Давайте отойдём в сторонку. (Мы стояли на тротуаре.) Я вам объясню... Уверю вас, это гораздо лучше. Там совсем неплохо, вы увидите. Мы будем совершенно одни, полная свобода. И в конце концов, если мы хотим вырваться из обычной жизни... прожить один день совершенно по-другому...»

«Прожить один день по-другому?» – сказала я.

Нет, я просто сошла с ума. Он изучал расписание. Побежали, сказал он, четвёртая платформа. Мы влетели в вагон, и тотчас двери захлопнулись. Народу было немного, мы сидели друг против друга, у окна. На кого мы были похожи? На мать и сына? Возможно. На супругов? Вряд ли. На любовников? Вот уж нет.

Как всякое недоразумение, случай в дороге можно было истолковать двояко. Мужчина винил себя: в спешке он невнимательно прочёл расписание. Женщина посмотрела в том, что поезд не остановился на полустанке, вменя-

тельство судьбы. Об этом они толковали, дружно шагая по лесной дороге. Ничего не зная друг о друге, будущие любовники чувствовали, что приключение сблизило их. Словно они отпили из чаши с коктейлем, где к алкоголю подмешаны капля желания и чайная ложка авантюризма. Пели птицы, и настроение было превосходное. Он сказал, что через полчаса они будут на месте. Она возразила, что непочтёно подышать чистым сосновым воздухом. Не кажется ли ему, спросила женщина, что предвкушение того, что должно произойти, может быть лучше того, что произойдёт? Я думаю, что у нас всё получится, ответил он. Надеетесь? – спросила она. Уверен, был ответ. Эта категоричность отличалась от его прежнего тона, больше не было этого потерянного выражения, с которым мужчина, войдя в кафе, оглядывал посетителей и которое, видимо, подкупило женщину. Двое продолжали свой путь. Солнце, опускаясь, блестело сквозь чащу. Они остановились. Может быть, проговорила она... ведь неизвестно, когда мы дойдём. Может, нам лучше вернуться?

Ему пришло в голову, что спутница устала. Устала от ходьбы или устала ждать? Они могли бы присесть отдохнуть, могли бы, в конце концов, – почему бы и нет? – соединиться здесь, на поляне. Поляна осталась позади, они брели мимо густого малинника, мимо высоких, в человеческий рост, зарослей крапивы, под меркнувшим тёмно-голубым небом. Что ж, сказала она, если вы считаете, что лучше не возвращаться... Я уверен, перебил он, осталось уже немного. Увидели поваленное дерево; может быть, присядем, предложила она. Но тогда... пробормотал он. Ах, сказала женщина, вам не надо было это говорить. Он возразил: я пока ещё ничего не сказал. Но подумал, сказала женщина. Трезвость и смущение сменяли друг друга. Шли дальше. А что тут такого, если даже и подумал, сказал он, что тут такого. Вы ведь тоже подумали. Не всё, о чём думают, говорится вслух, сказала она шутя. Всё должно происходить само собой. Интересная идея, заметил он, мы сами всё затеяли, а теперь оказывается, что все должно происходить без нашей воли. Они остановились. Мужчина спросил: можно вас поцеловать? Она спросила: на лоне природы? Птицы пели всё громче. Это значит, что наступил вечер, сказала спутница. И добавила: комично, что вы спрашиваете разрешения. У дамы, которая вывесила такое объявление. Позвольте, возразил он, но ведь это я дал объявление. Это была новая тема для разговора, и несколько времени они вяло спорили о том, кто был первым. Теперь дорога слегка блестела под небом цвета синей жести.

«Знаете, может быть, даже лучше, что мы проявили такую выдержку, я бы сказал: такое терпение», – промолвил мужчина, чей облик в общих чертах был описан выше, только теперь что-то переменилось. Возможно, от того, что спутница успела присмотреться к нему, он уже не казался невзрачным и неприметным человеком, как все. Или сыграло роль освещение.

«Вы хотите сказать – это дало нам возможность немного познакомиться с другом?»

«Конечно, нам ничего не стоит, – продолжал он, – расположиться прямо здесь... где-нибудь в кустах. В конце концов, ради чего...»

«Ради чего мы встретились. Скажите проще: вам расхотелось».

Молча шли дальше.

«Ведь правда?»

Он ответил:

«Нет; то есть я не знаю. Нет, конечно, вовсе не расхотелось. Не в этом дело».

«Вы отложили желание на после, это вы хотите сказать?»

«Может быть. Вот вы говорите, возможность познакомиться... Познакомиться – это значит начать немного уважать друг друга. Может быть, даже любить...»

«О! Как вы заговорили».

«Хотите, раз уж мы решили дойти, я вам расскажу одну историю, – сказал мужчина. – В общем-то, довольно банальную, такие случаи бывают у многих... Эта история произошла со мной».

«Я так и знала».

«Вам скучно слушать?»

«Нет, мне очень интересно... что за история?»

«Мне было восемнадцать лет, и это было как раз то время, можно сказать, начало эпохи, когда все условности, весь этот этикет, вдолбленный чуть ли не с детства, – всё стало казаться старомодным, причём надо сказать, что девушки приспособились к новым правилам поведения гораздо быстрее».

«Чем молодые люди?»

«Чем я, например. Мне даже казалось, что девицы давно мечтали о том, чтобы сбросить с себя эти путы...»

«Ну, не скажите».

«Вернее, поняли то, чего ребята понять не могли, – что рано или поздно, в один прекрасный день эти путы спадут... Тут вдобавок узнали о пилуле. Можно не заботиться о беременности. Самое главное – изменилась атмосфера. На Западе произошла сексуальная революция, постепенно всё это стало доходить и до нас. И всё-таки я хочу сказать – как трудно было преодолеть скованность. Если бы ещё социальная среда была попроще... А так, знаете, мы все интеллигентные мальчики и девочки, ведём умные разговоры... Мы учились в институте на одном курсе. Была любовь, были долгие прогулки по вечерам, стихи, были робкие поцелуи в подъезде, тайком, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не застукал. Словом, всё было как надо».

«Или... как не надо?»

«Совершенно верно. Любовь должна развиваться, шаг за шагом двигаться к своей цели, но чем дальше, тем очевидней было, что мы пошли не по той дорожке».

«Вроде того, как мы сейчас?»

«Я до сих пор не могу понять: надо было вести себя именно так или как-нибудь иначе... Вернее, я понимаю, что надо было действовать иначе, но не могу представить себе, как бы я мог вести себя по-другому. Первый раз,

когда я её увидел, когда первый раз заговорили, я сразу подумал – даже не подумал, на это бы смелости не хватило, а словно мне кто-то шепнул на ухо: что, если я вот когда-нибудь с этой девочкой...»

«У вас уже был опыт?»

«Был, но совсем неудачный... не хочется вспоминать. Короче говоря, мы стали дружить, как это тогда называлось, а время, как я уже сказал, изменилось, и дело шло к тому, что мы должны соединиться. Мы искали, не говоря ничего друг другу, убежище. Я жил с родителями, она в общежитии. Сидели на скамейке в пустынном парке, оставался, может быть, один шаг, один совсем невысокий порог – ни я, ни она не могли его переступить. Известную роль играла, конечно, и бездомность: некуда было деваться. Осень кончилась, мы грелись в подъездах. И всякий раз, когда момент оказывался упущен, было это двойное чувство: с одной стороны, что удобных случаев будет всё меньше, всё труднее будет к этому вернуться, снова взять разбег, а с другой – облегчение, словно стоял на краю крыши и вовремя отошёл. Кстати сказать, женщины в то время были одеты довольно сложно».

Она улыбнулась. «Вам было известно, что носили женщины?»

«Более или менее. Можно было догадаться. Не смейтесь. Я же говорю, это очень банальная история».

«Короче говоря, никакого выхода; я даже не умел ей поведать, как я её люблю; я был как закупоренная бутылка. Чем сильнее я её любил, чем прекрасней она становилась – тем непозволительней казался мне "акт". Я гнал от себя эту мысль, я не представлял себе, как я смогу коснуться её груди, не говоря уже о том, чтобы попытаться её раздеть; да и где это сделать? Иногда сквозила гнусная догадка, что она, чего доброго, ждёт, чтобы я был смелее, наглее, но тут же мне начинало казаться, что я её унижу, нанесу ей жестокое оскорбление. И снова оттягивал решающий момент. А она капризничала, дулась на меня, к чему я как будто не давал никакого повода. Я боялся натолкнуться на оскорблённую чистоту, и мне не приходило в голову, что сама эта боязнь её обидеть была для неё обидной».

«Она не могла вам простить то, что вы не были старше. Вашим главным и непоправимым недостатком в её глазах была ваша молодость», – сказала женщина.

«По-видимому, она решила всё-таки взять инициативу в свои руки. Сначала очень осторожно, как бы на ощупь, например, взяла себе манеру поправлять чулок. Мы идём, она останавливается – ах, у меня чулок спустился – отходит на шаг в сторону и приподнимает платье, чтобы подтянуть чулок на бедре повыше. Вдруг снова выдалось подряд несколько солнечных дней, и как-то в воскресенье мы поехали за город. Она явилась на вокзал с толстой сумкой».

«Я вижу, что загородная любовь для вас не новость».

«Ни она, ни я не подавали виду, что мы едем – по всей видимости – с

определённой целью. Выбрали малолюдную остановку, сошли и двинулись куда глаза глядят. Была чудная погода».

«Странно, – промолвила женщина. – Ведь вы моложе меня. Теперешняя молодёжь ведёт себя иначе. Прямо говорят: как насчёт того, чтобы лечь в постель».

«В то время тоже так говорили: хочу с тобой пожениться. Имелась в виду, конечно, не женитьба, а совокупление. Но в среде интеллигентной молодёжи произнести вслух эти слова было абсолютно невозможно. Даже объясниться в любви было непросто. Писали друг другу письма. На письме как-то легче... Понимаете, – сказал он, – я не собираюсь описывать тогдашние нравы, вы и сами всё знаете. Я говорю только о себе...»

После этого наступила пауза. Узкую дорожку пересекали корни деревьев, кое-где приходилось обходить топкие места. Лесному царству не было конца.

«Приехали, идём, я несу сумку, она срывает цветы. Ничего не значащий разговор, как здесь славно, какой воздух. Огромная разница по сравнению с городом и так далее. И что особенно мне бросилось в глаза – её наивный вид, словно она ни о чём не подозревала, словно никогда – может, так оно и было, иного я не мог себе представить – не была с мужчиной. Что-то пела... Я чувствую сильное беспокойство, стыжусь моих грязных мыслей, мне совестно, что я подглядываю за ней, а она, чистая душа, даже не догадывается. Мало-помалу моё напряжение передаётся ей, раньше можно было сваливать всё на невозможность уединиться, но теперь-то мы были вполне предоставлены друг другу. Свернули на еле заметную тропинку и очутились на поляне – одни во всём мире».

«Как мы теперь».

«Да. Как мы...»

«Куда же мы всё-таки идём?»

«Куда-нибудь доберёмся».

«Вы уверены?»

Он продолжал:

«Мы стояли и смотрели на небо, на верхушки сосен – но не друг на друга. Она не хотела встречаться со мной глазами. Я подошёл к ней. Сейчас, думал я, обниму её. Сердце колыхалось, как колокол, как резиновый шар, наполненный ртутью. Был короткий момент, когда мы колебались, не броситься ли друг другу в объятия. Это сейчас я понимаю, что она ждала, иступлённо ждала... И я было уже сделал какое-то движение навстречу ей... Она как-то ловко увернулась и сказала весело: "Ну что ж, пора закусить. Ты пойди немножко прогуляйся, а я тут всё приготовлю". Я ходил по лесу, расстроенный и раздосадованный, и всё ждал, что она меня позовёт. Наконец, возвращаюсь – она расстелила подстилку, разложила еду, тарелки, вилки... Тут же стоит и бутылка, с портвейном, кажется. Вино тогда было для нас большой роскошью.

Уселись друг против друга, я стал открывать бутылку, штопора не оказалось, ковырял пробку вилкой, ножом. Мужчина должен уметь открывать

вино. Она смотрела на меня насмешливо, это она была закупорена, и я не знал, как к ней подступиться. Мужчина должен! Вот что мы вбили себе в голову. Но как соединить обожание и смелость?»

«Страх перед половым актом, это бывает», – заметила дама.

«Наконец, она вырвала у меня из рук бутылку, выдула из горлышка пробковые крошки, протолкнула остаток пробки внутрь. "За что же мы выпьем?" – "За нас!" – сказал я. Она возразила: "За то, чтобы не было войны". Я спросил, причём тут война. "Ну хорошо, выпьем за то, чтобы у нас всё было хорошо. Ну что же ты?.." Я держал в руках стакан с вином, её вопрос, очевидно, должен был означать: что же ты не пьёшь? Сама она отпила глоток и поставила свой стакан на подстилку. Я подполз к ней поближе, и мы стали целоваться, сначала боязливо, потом всё уверенней.

И тут, мне кажется, я понял – что-то было в её поцелуях, они не были жадными или нетерпеливыми, они были долгими, закрыв глаза, она не столько меня целовала, сколько отдавалась моим поцелуям, – тут я понял, что ею руководит не вожделение, даже не ожидание вожделения, нет, ею владело сознание, что в её жизни совершается чрезвычайно важное событие, и нельзя допустить, чтобы это ожидание было обмануто. Она готова была вот-вот опуститься ничком на траву. Её глаза открылись, огромные глаза уставились на меня, она как будто молила скорее сделать с нею то, что надо было сделать. Всё это продолжалось одно мгновение. Она лежала, слегка согнув ноги в коленках, потом они выпрямились, ещё мгновение – она снова подняла колени и как-то произвольно стала от меня отодвигаться. Подстилка тащилась за ней, бутылка опрокинулась. Я почувствовал, что ничего не могу, я был словно парализован.

Она поднялась, мгновенно одёрнула платье, "ах ты Господи", – проговорила она, подстилка была залита вином, пострадали и закуски. Она сидела на корточках, и что-то там делала, собирала, я сидел на траве, в бутылке осталось ещё немного, мы вяло ели, перебрасывались фразами, точно выдавливали из себя разговор. Как вы думаете, – спросил мужчина, – можно было как-нибудь поправить дело?»

«Не знаю. Надо было сказать что-нибудь... Что-нибудь не такое серьёзное. Надо было спокойно и откровенно поговорить друг с другом».

«Назвать вещи своими именами?»

«Пожалуй».

«А вам не кажется, что это окончательно бы её расхолодило? Ведь она ожидала не слов, а действий».

«Вам было бы легче приступить к делу, если бы вы произнесли хотя бы несколько слов».

«Я не мог. Мы оба не могли. У нас для этого не было языка».

«И вы не испытывали желания... вы же мужчина... когда, наконец, стало ясно, что она не против?»

«Желания трахнуть её?»

«Фу», – сказала дама.

«Вот видите. И у вас нет языка. Ещё бы, – сказал он, – ещё как хотел. Но только пока её не было рядом».

«Ваш роман так и остался платоническим?»

«Да... пока ей не надоело».

«Знаете, – сказала спутница, – я тоже однажды испытала ужасный страх. Правда, немного в другом роде... Это было давно».

«Мы нарушили правило», – сказала она.

«Правило?»

«Мы забыли наш уговор. Ничего не рассказывать друг другу».

«Итак, – сказал он, – ваша очередь».

Шли и шли; дорога вела их вперёд. Куда? Но ни он, ни она не могли бы сказать, действительно ли они идут к цели.

«Вы говорите, для вас была невозможна даже мысль о совокуплении... А я не представляла себе одно без другого, любовь без полового акта. Я рано овдовела, замуж вышла девчонкой, до этого у меня ещё никого не было. Как у вашей подружки... Я тоже училась в институте, познакомилась с ним на втором курсе. Любовь была, что называется, с первого взгляда. Он был военный, капитан, был старше меня, сразу пошёл в наступление, однажды я даже чуть было не уступила, он пощадил меня. Он знал, что он первый... Он мне безумно нравился. Это было такое, знаете ли, соединение мужественности, рыцарского поведения, уважительности и, конечно, нежности. И мама моя покойная мне тоже говорила: ну, девочка, ты дождалась своего принца... Я не буду вам рассказывать все подробности, скажу только, что я вовсе не была такой уж мимозой, знала, конечно, всё и мечтала о том, как это всё произойдёт. Мы расписались, всё как положено; у него родителей совсем не было, у меня одна мама. Народу было немного. Пришли его друзья, несколько моих подруг, самых близких. Мы с мамой постарались – стол ломился от угощения. И то и дело: "горько, горько!" – я сама ничего не могла есть, я даже плохо помню, голова кружилась от вина, от волнения, от счастья. А вот что было потом, этого я никогда не забуду.

Было уже, наверное, сильно за полночь, все стали подниматься. Мама ушла к соседке, чтобы нам не мешать. Решили не мыть посуду, всё оставить на завтра.

Он там где-то ещё возился, я уже лежала. Кто-то говорил, что новобрачная должна укладываться первой и ждать. Вот я и ждала. Ждала с замиранием сердца. И вот я слышу его шаги. Притворилась спящей, одеяло натянула на нос, голова набок, лежу, закрыв глаза. Он притворил дверь за собой и остановился. Вздохнул и проговорил: "Ну-с..." Я открыла глаза, и он повторил: "Ну, как?" Я спросила – чувствую, сердце сейчас выпрыгнет: "Что – как?" – "Как насчёт этого самого?" – сказал он игривым тоном. Представьте себе, у него был совершенно другой голос. Как будто, пока я лежала с закрытыми глазами, вошёл другой человек. Не думаю, чтобы он был так уж пьян, выпил, конечно, но ведь не настолько же. Подошёл к кровати и пота-

шил с меня одеяло. "Давай, – говорит, – покажись, какая ты". Мне стало не по себе; главное, этот голос, точно его подменили. "Лёша, – говорю (его звали Алексей), – ложись, уже поздно". Сама не знаю, что говорю. "Нет, я тебе спать не дам. Снимай рубашку!" Я что-то такое лепечу – пусть он хотя бы потушит свет. "Нет, я желаю на тебя посмотреть. И чтобы ты меня тоже увидела". Я уже вам говорила, что я была достаточно просвещённой барышней, уже в пятом классе всё знала, что делает мужчина, что делает женщина. Девочки всегда всё знают. Знала, что в первый раз это должно быть больно. Но я боли не боялась, ждала её. Это был другой страх, это был ужас, я была в панике. Он стащил с себя рубашку, остался в трусах, потом и трусы вон – и стоял в чём мать родила, и я увидела этот чудовищный набухший член, увидела глаза моего мужа, в них ничего не было, пустота... как будто на меня направили чёрное жерло – был человек, и нет его больше, вместо него чёрные зрачки. Я билась, кричала, он зажал мне рот. Одним словом, что там рассказывать, – он меня изнасиловал, самым обыкновенным, безжалостным образом изнасиловал, как будто столкнулся со мной в глухом переулке».

«Что же было дальше – вы с ним расстались?»

«Да ничего. На другой день встали... Потом стали жить. Я как-то попривыкла. О том, чтобы разойтись, не могло быть и речи. Мне даже показалось, что он сделал мне ребёнка. Но это была ошибка... Потом началась война в Афганистане, правда, нигде тогда не говорилось, что это война... Ну вот, – сказала она после некоторой паузы, – я даже расстроилась. Не знаю, зачем я всё это рассказываю».

Он ответил: «Вы правы. Мы нарушили условие».

«Мы вообще позабыли, зачем мы здесь».

«После таких разговоров...»

«М-м? Вы так думаете?»

«После этих разговоров, – сказал он, – вернуться, так сказать, к нашей теме...»

«Понимаю».

«Понимать-то вы понимаете. Только ведь мы не можем даже сейчас называть вещи своими именами».

«Нет, отчего же, – сказала дама. – Вам хотелось бы, наконец, приступить к делу. Для вас теперь это вопрос мужской гордости. Вы хотите доказать мне... или, вернее, самому себе... Кроме того, кто вас знает? Может, как раз наоборот. Может быть, эти разговоры, наши с вами сексуальные неудачи подстрекнули вас. Я так и чувствую, – она засмеялась, – как вы на меня сейчас наброситесь».

«Р-р-р!»

«Только имейте в виду: я всё-таки женщина. Со мной надо поаккуратней. Знаете, – она продолжала смеяться, – я догадалась, кто вы такой. Очень просто; только не обижайтесь. Вы, как это называется, страдаете половым бессилием – может быть, с тех самых пор – и решили, что с незнакомой женщиной у вас получится...»

«Ну что ж, – он старался поддержать игру, – давайте я вам докажу, что это именно так».

«Прямо здесь?»

«А что нам мешает. Вон там, под кустиком».

«Я думаю, на земле холодно, – сказала она, – может быть, как-нибудь иначе?»

«Как вам будет угодно».

«Но тогда...» – сказала она.

«Что тогда?»

«Я хочу сказать, после этого. Нам нужно будет просто разойтись. А мы и так заблудились».

«Это единственное, что вас смущает?»

«Ах, – сказала дама, – предвкушение лучше осуществления».

Шли медленно по лесной тропе; спутник проговорил:

«А вот вам не приходило в голову, что есть что-то... что-то унижительное в сексе без любви?»

«Унижительное – для кого?»

«Для обоих, я думаю».

«Обычно считалось – для женщины. Но знаете: меня даже радует, что вы так стеснительны».

«Стеснителен?»

«Конечно. Вы стыдитесь говорить о том, что само собой разумеется. Да, мы мало знаем друг друга, точнее, вовсе не знаем».

«Я уже кое-что знаю...»

«Ах, это всё далёкое прошлое. О настоящем мы ничего не знаем. Мы всего лишь договорились о главном: я принадлежу вам – разумеется, на самое короткое время. Вы принадлежите мне. Мотивы совершенно ясны. Никакого лицемерия. Мы удовлетворяем наше естественное желание».

«С первым попавшимся?»

«Да, с первым попавшимся. Или с первой попавшейся. Мы свободные люди!»

«В том-то всё и дело, – возразил он, нагнулся на ходу и сорвал былинку. – В том-то и дело, что нет. Удовлетворить естественное желание, говорите вы... – Он жевал былинку. – Удовлетворить желание можно и с проституткой. Свободные люди, х-ха... Я хотел вырваться, понимаете? Вырваться из клетки. Мне надоело жить этой жизнью, где ты как лошадь в хомуте и оглоблях... Вы говорите: секс с незнакомкой поможет преодолеть трудности. Нет, дорогая, я не импотент. Хотя сношаться по заказу тоже не умею».

«По заказу? Кто же вам заказал?»

«Вы! Я сам. Мы оба. Но я жаждал свободы, понимаете?»

Спутница молчала.

«А получается, что мы-то как раз и не свободны!»

«Почему?»

«Потому что мы действуем не по свободному выбору, понимаете, я живой человек...»

«Почему же вы не выбрали себе какую-нибудь из знакомых женщин, есть же у вас, наверное, приятельницы».

«Есть. Но они принадлежат всё той же рутине. Все сидим в одной клетке. А я хочу вырваться на волю».

«Что вам мешает?»

«Я хочу сам принимать решения».

«И не можете?»

«Да, не могу, потому что решаю не я, а случай. Случай подсовывает мне партнёршу, и я повинуюсь. Свободные люди встречаются и расходятся, но выбирают сами. Я для вас не избранник, а просто кто-то, лицо без лица, и вы для меня лицо без лица – так, ходячий половой аппарат. Или, вернее, лежачий».

«Фу, как вы выражаетесь».

«Мы с вами современные люди».

«А вы мне показались как раз несовременным. Знаете что, – сказала она и остановилась. – Хватит разговоров. Ляжем, и дело с концом».

Шли и шли – теперь уже по инерции.

Дама возобновила разговор:

«Вы что-то говорили насчёт того, что это вас унижает...»

Он ответил, глядя себе под ноги:

«Унизительно то, что не надо принимать никаких решений. И... нет никаких препятствий».

«Что вы этим хотите сказать?»

«Я думаю, вы и сами понимаете. Вот, представьте себе. Вы садитесь за стол играть, поставили на кон изрядную сумму. А вам сразу же выплачивают выигрыш. У игры есть своя мораль. И с точки зрения этой морали такой оборот для вас унижителен».

«Вы, я вижу, романтик».

«Романтик не романтик, а дело в том, что любовь – это... Это такое дело, что...»

«Вы заговорили о любви – вот как!»

«В этом слове – два смысла, и один смысл может уничтожить другой. Вы будете смеяться, но любовь, настоящая любовь, которая всегда включает в себя преклонение перед тем, кого любишь, благоговение, что ли... такая любовь в самом деле может сделать человека на какое-то время импотентом».

«Это я поняла из вашего рассказа. Вы пережили эту любовь, вы не можете её забыть, она измучила вас, оттого вы и предпочли любовь без любви. Я вам рассказала, как повёл себя мой муж в нашу первую ночь. Как видите, я тоже не могу позабыть эту историю».

Женщина остановилась.

«В чём дело?»

«Я думаю, – проговорила она, – что наша с вами история закончилась, даже не начавшись».

Наша история началась после того, как она закончилась, хотел он сказать и тоже остановился.

Ага, вскричал он, я же говорил! Мы всё-таки на верном пути. В сумраке лесную тропу пересекала просёлочная дорога, виднелись колеи; вопрос был только в том, куда повернуть, направо или налево. Я думаю – куда зашло солнце, сказала спутница, ведь город находится на западе. Собирается ли она вернуться в город, спросил он. Визг плохо смазанных колёс вывел их из недоумения. Показалось что-то, лошадь кивала большой головой. Сидя боком, ехал мужичок на телеге, маленький, как ребёнок, свесив ноги в больших сапогах.

«Эй, дядя», – сказал, выходя на дорогу, мужчина.

Лошадь остановилась.

«Вас посылает нам судьба», – сказала радостно женщина.

«Чего?» – спросил возница.

«Я говорю, сама судьба послала вас к нам».

«Чего?»

Мужчина вмешался:

«Как бы нам...»

«Довезти, что ль? Садись...» Он не спросил – куда.

И они уселись рядом с другой стороны, возчик чмокнул губами, поднял кнут, лошадь затрусилась по ухабистой дороге. Спутник обхватил даму за талию; телега вихлялась в кривых колеях. Стало светлеть. Чем темней становилась дорога, тем ярче разгоралось серебряное зарево над лесом.

«А куда, собственно, мы едем?»

«Не бойсь. Доедем».

Выехали на опушку. Небо, пепельно-розоватое на востоке, раскрылось над ними, синяя луна стояла над лесом. Озеро в чёрных камышах блестело, как жемчуг.

Вопрос прилип к губам женщины. «Ещё не приехали, потерпи чуток», – промолвил вожатый. Телега остановилась у воды.

«Я проголодалась», – снова сказала женщина.

«Там найдёшь».

Держась за руку спутника, дама ступила в лодку, мужичонка оттолкнулся веслом, лодка выехала из камышей. Слышался только мерный всплеск опускающихся вёсел, лодка оставляла серебристый след на тёмной, как графит, воде. Тьма сгущалась. Подплыли к острову. Вожатый остался в челне. Вот, сказал он, живите, сколько хотите. Мужчина вынул кошелек, вожатый покачал головой.

Мужчина и женщина выбрались на берег. Свет луны, мертвенно-синий, превратил всё кругом в пространство сна. Любовники обернулись: не было ни мужика, ни лодки. Взошли на крыльцо, вступили в сени и обнялись, не сказав друг другу ни слова.



физик, автор множества романов и повестей (фантастика и детективы), опубликованных, в частности, в журналах «Искатель», «День и ночь», в антологиях и сборниках издательств «Текст», «АСТ», «Армада», «Эксмо», «Рипол-классик». Живет в Израиле.

СТОЯЩИЕ У ВРАТ*

Глава 6

Время от времени я вспоминал разговор, случившийся у нас с рабби Аврум-Гиршем в период моей вынужденной безработицы. Не помню, с чего он начался – может быть, с любимых нашим раввином рассуждений о прежних реинкарнациях обитателей гетто. Я высказался в том смысле, что подобным образом может быть оправдано любое зло. «Неужели, – спросил я тогда, – можно предположить, что нынешний злодей, душа которого чернее ночи, способен стать праведником, вернувшись к земной жизни в ином обличье и совершив некоторое количество праведных дел?» Реб Аврум выразился в том смысле, что, наверное, носитель абсолютного зла был бы лишен подобного шанса. «Но ведь абсолютного зла не бывает, – сказал он. – И значит, любой человек имеет шанс новым воплощением избавить свою душу от посмертных мук...» Утверждение о том, что абсолютного зла не бывает, поразило меня в большей степени, нежели предположение о возможности спасения злодеев, под которыми и я, и мой собеседник, разумеется, подразумевали Гитлера и его банду. Просто в окружении истощенных и телом и душой несчастных, стоявших в бесконечной и страшной очереди за пайком, мы инстинктивно остерегались произносить эти имена вслух. И, как я полагаю, не столько из страха перед доносчиками, сколько из инстинктивного опасения одним только таким упоминанием призвать именно сюда и именно сейчас чудовищ, олицетворяющих смерть.

– Да, – повторил господин Шейнерзон, – абсолютного зла нет. И быть не

* Окончание. Начало см. в № 6 «NB».

может. Есть только низшая степень добра. Так писал каббалист Моше Кордоверо, и то же самое утверждал рабби Исраэль Баал-Шем-Тов. Что вас так удивляет, реб Йона? Вы смотрите вокруг себя, видите свою и нашу нынешнюю жизнь и говорите: «Это не жизнь! Это ужас! Это зло! Зло абсолютное!» Но лишь потому, что вы пока не видели ничего более страшного, верно, доктор?

Говоря все это, наш грустный клоун поглаживал пепельную свою бороду и размеренно покачивал головой.

– В давние времена, во времена кровавых дел Хмельницкого и его гайдамаков, – сказал он, – когда злодеи на глазах матерей разрубали детей, подносили к их лицам кровавые куски и спрашивали: «Эй, жидовка, это тref или кошер?» – в те жуткие времена, учнейший доктор Вайсфельд, разве не казались те чудовища абсолютным злом? Разве не вынесли тогда раввины галахическое постановление – не жить евреям на Украине и не иметь там имущества? Но прошли столетия – и мы уже по-другому смотрим на те злодейства. «Э, – говорим мы, – это, конечно, страшные дела, кровавые дела, но ведь они миновали, а народ жив. Зло? Ну, так оно мертво, то давнее зло, что о нем вспоминать!» Может быть, и на сегодняшние злодейства люди будут смотреть так же – как на историю? Может быть, все дело лишь во времени? – он уже не просто качал головой – он раскачивался всем телом, словно на молитве. – Может быть, человек не вправе определять степень зла? И если давние кровавые дела уже не вызывают в наших душах того отклика, какой вызывали у современников, то давнее зло не было абсолютным? Ведь то, что абсолютно, не подвержено воздействию времени. А если зло – не абсолютно, значит, рабби Моше из Кордовы прав: это всего лишь низшая степень добра. Зла нет, но есть добро, есть абсолютное добро, и Добро – Творец...

В очередной раз я вспомнил этот разговор вечером, когда мы с Шимоном Холбергом отправились к рабби Шейнерзону. Я примерно представлял себе вопросы, которые мой друг собирался задать нашему раввину, и потому помалкивал; что же до г-на Холберга, то он, по обыкновению, не спешил посвящать меня в свои мысли.

Так, в полном молчании, мы дошли до угла улиц Пращской и Короля Фридриха. Здесь находилось пристанище рабби Шейнерзона. Собственно говоря, он жил не один – мне было известно, что тут же обитали дети – мальчики от восьми до десяти лет, чьи родители умерли уже здесь, в гетто.

Один из них встретил нас снаружи у входной двери. Он стоял, прислонившись к стене, с деланно ленивым видом, и зорко поглядывал по сторонам. С нашим приближением мальчик сразу же скрылся за дверью.

Мы остановились у входной двери.

– Подождем, – сказал г-н Холберг. – Думаю, мальчишка побежал предупредить о нашем появлении.

Через несколько минут появился раввин. Он плотно прикрыл за собой дверь и лишь после этого поднял на нас глаза.

– Доктор Вайсфельд, – сказал он. – Да. Добрый вечер, доктор. Это вы. А это... – он перевел взгляд на г-на Холберга. – А это вы. Да. Я вас узнал.

Добрый вечер. Что вас привело ко мне, господа? Или вы просто так – проходили рядом?

– Нет, не просто так, – ответил Холберг. – Я шел повидаться с вами. А доктор Вайсфельд согласился меня сопровождать. Сейчас мы с ним вместе занимаемся одним делом. И нам нужна ваша помощь.

Моей скромной особой рабби не заинтересовался. Но его явно очень занимал мой спутник. Он рассматривал его так долго, что это могло бы показаться в других обстоятельствах бесцеремонностью или невоспитанностью.

– Я вас не знаю, – сказал он наконец.

– Верно, простите... – г-н Холберг виновато улыбнулся. – Меня зовут Шимон Холберг, к вашим услугам, рабби. Когда-то – в другой жизни – я был полицейским. Ловил воров и грабителей.

Рабби Шейнерзон кивнул.

– Да, это очень важная работа, – промолвил он уважительно. – Только не говорите – в другой жизни. Ваша жизнь сегодняшняя и та, которую вы вели за воротами Брокенвальда, – суть одна и та же. Просто разные отрезки одного не очень долгого пути. Что было в вашей прежней жизни – в настоящей прежней жизни, в прежнем вашем воплощении, – о том ни вы, ни я судить не можем. Но, видимо, что-то необычное было. Иначе вы не оказались бы в нынешней жизни в Брокенвальде... Да. Так зачем я вам понадобился?

Шимон Холберг выглядел несколько растерянным.

– А ведь вы правы, реб Аврум-Гирш, – он вдруг рассмеялся. – Моя нынешняя жизнь – да, в ней я продолжаю делать то, что делал смолоду. Когда-то я ловил преступников – воров, грабителей, мошенников. И убийц, конечно же. И сейчас то же самое. Я ловлю убийцу. Пытаюсь поймать...

– Вы говорите об убийце господина Ландау? Именно в связи с этим вы пришли ко мне? Вы думаете, что я могу вам помочь? Что я знаю то, чего не знаете вы? Может быть, может быть... – реб Аврум-Гирш снова задумался. – Тогда вам придется немного подождать. Видите ли, я занимаюсь с мальчиками. Мы изучаем Тору. Здесь у нас что-то вроде ешивы. Мальчики должны учиться. И я учу их здесь. Но это запрещено. Еврейское образование запрещено. Значит, в любой момент сюда могут прийти злодеи – синие или черные – и отправить всех нас в каменный мешок. Потому мы не можем терять ни минуты. И приходится соблюдать осторожность.

– Поэтому один из ваших учеников и дежурит у входа? – спросил я.

– Да, это Хаим. Он сторожит дверь чаще других. Он схватывает все на лету, наш Хаим, у него светлая голова и резвый ум. Поэтому время от времени я именно его прошу постоять на улице, пока объясняю другим темные места из Писания. Хотя, конечно же, это все лишь самоуспокоение. Пока никто не донес, мы можем успокаивать себя тем, что наш Хаим успеет увидеть опасность... – раввин вздохнул. – Кто знает, успею ли я подготовить к бар-мицве хотя бы одного из них... Подождите, уважаемые гости, я сейчас скажу детям, чтобы они пошли на задний двор погулять, и мы с вами поговорим более-менее свободно.

Когда ученики рабби Шейнерзона послушно отправились во двор, мы вошли внутрь. Обиталище нашего раввина, одновременно и жилище, и ешива, представляло собой длинную и узкую комнату, образованную, по-видимому, из двух в результате сноса простенков. С одной стороны шли двухъярусные нары – восемь пар, в дальнем углу располагался небольшой стол, вокруг которого стояли несколько ящиков, заменявших табуреты. Реб Аврум-Гирш сделал приглашающий жест и занял один из ящиков. Мы последовали его примеру. Реб Аврум-Гирш вопросительно взглянул на моего друга.

– Как вы уже поняли, господин Шейнерзон, я пытаюсь отыскать убийцу режиссера Макса Ландау. А доктор Вайсфельд мне помогает. Должен сказать, что, хотя Юденрат позволил нам этим заниматься, я не имею права никого принуждать к даче показаний. Если вы не хотите говорить со мною – можете не говорить.

– Вы действительно рассчитываете найти преступника? – реб Аврум-Гирш прищурился, от чего его правый глаз почти полностью спрятался под мохнатой бровью. – Вы настолько верите в свои силы?

– Я собираюсь все для этого сделать, – ответил г-н Холберг. – Удастся ли мне – вопрос другой. А насчет веры... Если это не удастся мне, значит, этого не сделает никто. Хотя мои слова, наверное, звучат излишне самоуверенно.

– Хорошо, – рабби сложил руки на груди. – Я отвечу на ваши вопросы, реб Шимон. Я не думаю, что вам удастся найти убийцу, но я отвечу на ваши вопросы. Знаете почему? – он коротко рассмеялся и снова посерьезнел. – Потому что вы почти дословно повторили слова раббана Гиллеля Великого. Сказанные, правда, по другому поводу. Но – пусть у вас будет шанс, реб Шимон.

– Спасибо. Скажите, господин Шейнерзон, а что вас привело в примерную после спектакля? – спросил Холберг.

Раввин явно был готов к этому вопросу и ответил тотчас:

– Господин Ландау просил меня об этом заранее. Утром, в день спектакля, он зашел ко мне и сказал, что у него кое-что для меня будет. Не для меня лично, а для моей ешивы. Он был очень весел... – реб Аврум-Гирш задумался. – Нет, пожалуй, не весел, а возбужден. Очень возбужден, знаете ли, как будто предвкушал что-то интересное в ближайшем будущем.

– Кое-что будет... – повторил Холберг. – Так. Очень интересно. Но вы, конечно, не знаете, что он имел в виду?

– Почему же? Знаю, разумеется, – раввин вытащил из кармана большой носовой платок, чистый, но утративший цвет от частой стирки. – Очень даже знаю, господин сыщик. Это ведь не в первый раз. Покойный мне помогал уже около месяца. Не знаю уж, каким образом ему это удавалось, но он время от времени снабжал меня продуктами для моих учеников. Это было очень кстати, потому что детский паек в Брокенвальде... Ну, вы сами знаете. Его не хватает.

Мы с Холбергом переглянулись. Он был удивлен не меньше моего.

– Интересно, – пробормотал бывший полицейский. – Весьма интересно. Снабжал продуктами в течение месяца.

– Обычно это происходило в канун субботы, – добавил раввин. – Я да-

же могу сказать точно, в течение какого времени. Это, значит, спектакль был в пятницу. Это, значит, нынешняя суббота – четвертая... – он помрачнел. – Когда я пришел и увидел... Ужасная картина, ужасная... Первая мысль, которая пришла мне в голову в тот момент, была очень глупой: я подумал, что кто-то позарился на продукты, предназначавшиеся моим мальчикам. И убил господина Ландау, чтобы завладеть ими. Да, глупо, глупо, конечно... И очень стыдно... Ай-ай-ай, реб сыщик, как же мне было стыдно! – реб Аврум-Гирш скривился, будто от зубной боли. – Не дай вам Бог испытать такой пронзительный стыд!

– Почему стыдно? – спросил Холберг.

– Потому что, увидев мертвого человека, я в первую очередь подумал, что мы теперь больше не получим продуктов, – расстроено объяснил раввин. – Только потом мне пришло в голову, что ведь человека лишили Божьего дара – жизни. И, может быть, как раз из-за этой самой еды – нескольких буханок хлеба, пары-тройки брикетов маргарина, дешевых конфет... – он зачем-то встал со своего ящика, подошел к угловым нарам, взял в руки лежавшую там тетрадку. С рассеянным видом пробежал записи. – Как трудно быть человеком в наше время... – негромко произнес он.

– Думаю, человеком быть трудно в любое время, – заметил Холберг. – В этом смысле наше время отличается от остальных только большей концентрацией зла – и в душах, и в мире вообще.

– Да, вы правы, – рабб тяжело вздохнул. – Концентрацией зла. Это вы очень точно сказали, реб Шимон... – он помолчал немного. – Рабби Ицхак Луриа, Ари а-Кадош, да будет благословенна его память, учил, что искры Божественного света рассеяны повсюду и что каждую из этих искр окружают силы зла, именуемые клипот. Когда-то, еще на заре творения, произошла надмирная катастрофа, которую мы называем «швират а-келим» – «сокрушение сосудов». Сосуды – каналы, по которым должен был распространяться Божественный свет, не выдержали его полноты, разбились. Тогда-то и рассыпались искры по тьме нижних миров, а остатки сосудов стали тем злом, которое удерживает частицы света и не дает им соединиться и вернуться к Творцу, в первоначальное состояние... – он говорил размеренным, чуть суховатым тоном. Таким точно тоном он, по-видимому, читал лекции своим ученикам – еще в давние времена, когда преподавал в лодзинской ешиве. – Разумеется, реб Шимон, это всего лишь жалкая попытка на человеческом языке выразить явления сверхчеловеческие, для описания которых нет в нашем языке средств... А голус, рассеяние народа Израилева, – это было лишь отражение в нижнем мире той катастрофы, которая произошла в высшем. Но не только происходящее в высших мирах отражается в земной жизни. Все, что случается здесь, точно так же влияет на происходящее там, – он указал пальцем вверх. – Когда окончится рассеяние, когда соберутся в Святой земле все изгнанники, явится Мессия. Но придет он лишь тогда, когда ни одной частицы Божественного света, ни одной искры не останется в плену клипот. И его конечной целью будет завершение процесса «тиккун», процесса ис-

правления и возвращения всей вселенной к первоизданной гармонии... – раввин окинул нас долгим взглядом расширенных светлых глаз, дважды моргнул. На лице его появилось выражение смущения. – Простите, господа, я увлекся... – пробормотал он и поднялся со своего ящика.

– Нет-нет, рабби, это очень интересно, – поспешил его успокоить Холберг. – Очень интересно... Вы, значит, полагаете, что рассеяние евреев, изгнание – явление временное?

Рабби опустил голову и заложил руки за спину.

– Да, – сказал он. – Я часто рассказываю своим ученикам об одном суждении Маарала Пражского*, да будет благословенна память его. Он был человеком весьма сведущим не только в Писании и Законе, но и в светских науках – математике, астрологии, астрономии. И часто, толкуя то или иное духовное понятие, прибегал к аналогиям из этих, казалось бы, вполне материальных наук. Так вот, в «Нецах Исраэль», рассуждая о голусе, о рассеянии евреев, он пишет следующее. В механике существует понятие устойчивого и неустойчивого равновесия. Устойчивое равновесие – например, состояние, в котором свинцовый шарик лежит в глубокой чашке, на доннышке. Вы можете его сдвинуть, но он вернется в начальное положение. Но переверните чашку и положите тот же шарик на самый верх образовавшегося купола. Вы получите состояние неустойчивого равновесия: толкнув шарик, вы заставите его скатиться вниз. Назад он уже не вернется самостоятельно. Я полагаю устойчивое равновесие естественным состоянием, а неустойчивое – противоестественным. Естественный порядок вещей долговечен, а противоестественный всегда ограничен коротким промежутком времени... – он сделал небольшую паузу, окинул задумчивым взглядом сначала меня, затем Шимона Холберга. – Как вы полагаете, реб Шимон, можно ли рассматривать не физические, а общественные явления в аналогии?

– Думаю, да, – ответил г-н Холберг, явно заинтересовавшийся рассуждениями раввина. – Во всяком случае, есть достаточно много примеров того, что явления, происходящие в природе, имеют свои аналоги в человеческом обществе.

– Очень хорошо, – реб Шейнерзон удовлетворенно кивнул. – В таком случае вполне разумно будет предположить, что и в жизни человеческого общества естественный порядок вещей долговечен, а противоестественный – нет... – заложив руки за спину, он прошелся по узкой комнате-пеналу, словно аудиторией его были не два случайных гостя, а сотня увлеченных учеников. – В изгнании – голусе – содержится тройное нарушение естественного порядка вещей. Первое: народ не может быть насильственно отделен от собственной земли. Это противоестественно. Все народы – дети Адама, и, значит, не должен один народ находиться в подчинении у другого. Это противоестественно. Не может один народ жить рассеянно среди других народов.

* Маарал Пражский, «Море рабейну Ливо ми-Праг» – «Господин и учитель наш рабби Ливо из Праги», рабби Иегуда-Ливо Бен-Бецалель, великий мудрец, легендарный создатель Голема.

Это противоестественно. Коль скоро противоестественное состояние всегда ограничено относительно коротким промежутком времени, то и голус, будучи тройным нарушением естественного порядка вещей, непременно закончится... – рабби немного подумал и добавил, печально разводя руками: – Конечно, этот промежуток времени короток по сравнению с жизнью народа, но не с жизнью отдельного человека. Потому он и кажется нам вечностью... И все-таки мои ученики часто спрашивают: как Бог допустил то, что происходит сейчас? Как Бог – если он любит свой народ – допустил такое его существование? Почему Он, воплощенное милосердие, не вмешался?

– Я и сам задаю себе такие же вопросы, – признался г-н Холберг. – Правда, мне проще. Я не верю в Бога. Во всяком случае, в течение последних нескольких лет понял, что не могу в него верить. Как он может наблюдать за всем происходящим – и не вмешиваться? Одно из двух – либо Его нет, либо... – он пожал плечами. – Да нет, без всякого «либо». Значит, Его нет.

Рабби снова сел на нары, помолчал немного, словно обдумывая сказанное Холбергом.

– Когда Всевышний проявляет свою власть над миром, история молчит, – сказал он негромко. – Чудо – оно вне истории. Вы говорите – почему Бог не вмешивается? Я не знаю, реб Шимон, почему. Я даже не знаю, не вмешивается ли. Может быть, мы просто не чувствуем этого – до поры до времени. Как не чувствовали поколения, жившие до нас. Так часто пытались враги уничтожить народ Израилев. Но он существует по сей день. Это и есть вмешательство Творца в историю... Недавно я рассказывал своим ученикам о том, насколько Бог любит свое творение. Он даровал человеку высшее проявление Своей любви. Он даровал человеку свободу выбора. «Вот, – словно бы говорит Творец, – Я мог бы создать тебя таким, что зло не появилось бы никогда в твоей душе. Но Я не сделал этого, ибо что значила бы Моя любовь?» – реб Аврум-Гирш замолчал, несколько раз погладил дрожащей рукой лежавшую на коленях тетрадь. – Сначала Бог намеревался построить мир на принципах строгой справедливости – так говорили наши мудрецы, да будет благословенна их память. Но в мире справедливости не было бы места Божественному милосердию. И он сотворил мир, соединив справедливость с милосердием. А ведь именно милость Бога дает людям силы восставать против Него. Мир, построенный на Божьей справедливости, не смог бы выдержать Божьего гнева, мир, построенный на Божьем милосердии, погиб бы из-за человеческой гордыни. Поэтому есть суд и есть Судья. Но суд бесконечно откладывается благодаря Божьему милосердию и долготерпению.

– И вы полагаете, – сказал г-н Холберг, – что Божье милосердие оправдывает Его же молчание сегодня? Странное оправдание, – он повернулся ко мне. – Вы так не думаете, Вайсфельд?

Лицо раввина приобрело строгое выражение.

– По-вашему, Бог должен был вмешаться? – сказал он. – Да, наверное. Весь вопрос – когда? Когда это вмешательство могло бы предотвратить сегодняшнюю трагедию? Когда должен был вмешаться Творец, чтобы спасти

Свой народ от преследования и истребления? Может быть, он должен был помешать вторжению немцев в Польшу? Или предотвратить победу Гитлера на выборах? Или даже вообще помешать рождению этого злодея? – рабби покачал головой. – Вас ведь, господин Холберг, и вас, доктор Вайсфельд, поражает не само злодеяние, а его масштаб, разве не так? Сейчас страдает целый народ, и вы восклицаете: «Где же Ты, Господи?» Но для Творца нет разницы – страдает миллион или один невинный человек. А разве была на протяжении всей истории человеческой хотя бы одна минута, когда бы где-нибудь не страдал невинный? И значит, чтобы предотвратить появление страдания в мире, Он вообще не должен был сотворить человека таким, каким сотворил. Он творил человека с любовью к нему, а высшая форма Божественной любви – дарование свободы выбора. Человек с самого начала выбрал неверный путь – но это был свободный выбор, а не навязанный ему высшей силой. Может быть, действительно, этот мир следовало бы разрушить, а вместо него сотворить другой? – он пожал плечами. – Не знаю. И никто не знает. Разве есть сегодня человек, готовый подсказать Богу правильный путь? И нужна ли Творцу такая подсказка?.. Знаете, что я вам скажу, высокоученый доктор Вайсфельд, уважаемый реб Иона? Думается мне, доктор, кажется мне, господин замечательный сыщик Холберг, реб Шимон, не верящий в Бога, что Он ждет от нас сегодня только одного.

– Чего же? – спросил я.

Рабби поднялся с нар, аккуратно спрятал тетрадку под подушку и только после этого ответил:

– Чтобы мы Его простили...

– Что ж... – г-н Холберг выглядел несколько ошарашенным последним утверждением. – Можно и так считать... – он смущенно откашлялся. – Все это чрезвычайно интересно, рабби. И, наверное, умно. Но мы несколько отвлеклись от события, которое привело нас сюда сегодня – от убийства режиссера Макса Ландау. Итак, после окончания спектакля вы направились в гримерную господина Ландау, где тот должен был передать вам продукты для ваших учеников.

Реб Аврум-Гирш кивнул.

– Вы шли... поправьте меня, если я ошибаюсь... вы шли из зрительного зала через фойе...

– Нет, – сказал раввин. – Не из зала. Я не был на спектакле. Не обижайтесь, господин сыщик, и вы, доктор Вайсфельд, но я не понимаю этой формы развлечения. Я... Извините, – прервал он сам себя, – это неинтересно. Так вот, я шел с улицы, через широкий коридор. Который вы называете фойе. И прямо во второй коридор, тот, который вел к гримерным и другим подсобным помещениям, это вы верно сказали. Да. И пришел. Дверь... – рабби задумался. – Дверь, как мне кажется, была слегка приоткрыта. Да, точно. Оттуда падал свет. Знаете, такая узкая полоска.

– Вы никого не встретили в коридоре? – спросил Холберг.

– Как будто, нет... Мне так кажется. Хотя... – рабби опустил голову и

некоторое время внимательно разглядывал пол. – Вы знаете, – сказал он, наконец, – сейчас, когда вы спросили... Я вспоминаю, что там, в темном коридоре, я видел какое-то движение.

– Что вы имеете в виду? – быстро спросил мой друг. – Какое движение?

– Там было темно... – пробормотал раввин. – Очень темно, особенно после светлого фойе... Вы же помните, вы же сами там были... Когда я подходил к двери... Мне показалось, что за моей спиной кто-то быстро прошел. Помните, там такая ниша. Краем глаза я заметил нечто вроде тени... Или человека, двигавшегося бесшумно, как тень...

– Очень интересно, – Холберг посмотрел на меня. – Да, там есть ниша, в которой вполне может скрыться человек. И даже не один. Помните, доктор, мы с вами тоже там стояли? Хорошо, – он вновь повернулся к раввину. – А в примерной – вы долго пробыли рядом с телом?

– Нет, конечно, нет! – раввин даже замахал руками. – Я просто испугался. От неожиданности. Сначала я подумал... Не знаю, что я подумал, но уже через секунду я понял, что господин Ландау мертв. Я сразу же побежал кого-нибудь позвать. Встретил доктора Вайсфельда, позвал его. Дальше вы и сами все знаете. Нет, – повторил он, успокаиваясь, – совсем недолго я там был, не больше двух минут. Ну, может быть – трех...

– Вы успели разглядеть что-нибудь? – спросил бывший полицейский без особой надежды. – Насколько я понимаю, вы бывали в этом помещении. Странно, что я ни разу вас там не встретил... Впрочем, сам я приходил туда лишь перед сном, да и впустил меня господин Ландау за три дня до смерти... Так что? Вы не увидели ничего особенного? Ничто не бросилось вам в глаза?

Рабби отрицательно качнул головой – раз, потом еще раз.

– Понятно... – г-н Холберг вздохнул. – Проходя по коридору, вы ни на кого больше не наткнулись?

– Если бы я встретил кого-то раньше, чем встретил доктора Вайсфельда, я бы привел его и не стал бы разыскивать доктора. Просто он оказался первым, кого я увидел. То есть, – поправил себя рабби, – там было много людей, очень много. Но в моем состоянии... Увидев знакомое лицо, я словно увидел единственного человека...

– Пока вы бегали за доктором Вайсфельдом, в примерную вернулся я... – задумчиво произнес Холберг. – Но в коридоре уже никого не было. Ни теней, ни людей, похожих на тени. Да. Скажите, реб Аврум-Гирш, а что вы можете сказать о семейных проблемах вашего знакомого? О его отношениях с женой?

На лицо г-на Шейнерзона легла тень.

– Об этом вспоминать тяжело, – сказал он сухо. – Я пытался с ним разговаривать, я рассказывал ему историю праведной Рут-моавитянки, я говорил ему, что его жена – такая же праведница, пожелавшая разделить судьбу своего мужа и всего народа Израилева в годы скорби... Все было напрасно! Он закрывал свой слух. Не знаю, может быть, она чем-то провинилась перед ним раньше, когда они оба были молоды. Но даже в этом случае ее нынешнее поведение испустило прежние грехи.

– В том числе и грехи прежних воплощений? – спросил я и тут же пожалел о неудачной шутке. Рабби холодно посмотрел на меня, осуждающе покачал головой.

– Вам больше не снятся непонятные сны, реб Иона? – поинтересовался он с легкой насмешкой. – Рад за вас, реб Иона, очень рад... Да, – сказал он, обращаясь к г-ну Холбергу, – он вел себя с женой очень недостойно. Но не мне осуждать его. Он умер, и мои осуждения более не достигнут его уха. А там Судья Праведный вынесет ему свой приговор. Мы же скажем: да будет благословенна его память...

– Что же, – мой новый знакомый поднялся со своего места, – большое спасибо, реб Аврум-Гирш.

Рабби передернул плечами, словно отмечая благодарность г-на Холберга.

– У вас больше нет ко мне вопросов? – спросил он. – В таком случае, я вас провожу немного. И заодно посмотрю, чем занимаются мои ученики... – реб Аврум-Гирш сделал приглашающий жест в направлении двери. – Прощу вас, господа.

Двор больше походил на каменный колодец, образованный задними глухими стенами четырех длинных домов, стоявших под прямым углом друг к другу. Ученики рабби Аврум-Гирша стояли небольшим кружком в дальнем углу. Мальчики были одеты кто во что горазд – одни в наспех перешитой взрослой одежде, другие – в детской, но не по размеру. Головные уборы тоже разнообразны – старые кепи, мужские шляпы с потерявшими форму краями, у одного – вязаная лыжная шапочка. При всем различии в одежде и возрасте, ребята действительно выглядели неким единым сообществом – это впечатление складывалось от похожего выражения лиц – сосредоточенного и углубленного. Стоявший в центре парнишка что-то втолковывал остальным. При этом руки он заложил за спину – явно подражая учителю.

Двор оказался неожиданно людным. Кроме детей здесь находилась еще и группа взрослых. Ее составили пять или шесть мужчин среднего возраста, лица которых показались мне знакомыми. Когда каждый из них поприветствовал меня кивком, я узнал новичков, прибывших недавним транспортом из Франции. Эта группа была относительно тихой. В этом углу двора рос старый дуб, ствол которого столь причудливо изогнулся, что образовал нечто вроде скамьи. На этой скамье и расположились новички. Они сидели молча и неподвижно, глаза их казались потухшими. Друг с другом они не разговаривали.

Мы подошли к ученикам рабби Аврум-Гирша.

– ...И мне кажется, рабби Йоханан был неправ, когда упрекнул рабби Шимона бен-Лакиша в былых прегрешениях, – закончил при нашем подходе стоявший в центре, в котором я узнал Хаима, следившего за приближением к бараку подозрительных личностей. – Ведь раскаяние рабби Шимона было полным и искренним, иначе его бы не допустили заседать с мудрецами! А рабби Йоханан уязвил его прошлым.

Рабби похлопал Хаима по плечу.

– Но ведь и сам рабби Йоханан раскаялся в своих словах, разве нет? – ска-

зал он. – Я ведь рассказывал вам об этом. Рабби Йоханан пожалел о том упреке, который в пылу спора бросил рабби Шимону по прозвищу Реш-Лакиш.

– Да, но от его упреков рабби Шимон умер, – возразил Хаим. – И рабби Йоханан часто вспоминал о нем, потому что у него не стало оппонентов. Об этом вы тоже рассказывали, рабби Аврум.

– Да, это верно.

– О чем идет речь? – поинтересовался Холберг, прислушиваясь к разговору.

– Недавно я рассказал мальчикам о вашем тезке, великом мудреце Шимоне Бен-Лакише. В молодости он был гладиатором, а потом и разбойником. Но встреча с рабби Йохананом заставила разбойника бросить свое ремесло, прийти в академию, которая находилась в городе Явне в Святой земле. Там Шимон Бен-Лакиш вскоре отличился острым умом – столь же острым, что и его меч в гладиаторские времена. Но однажды в пылу спора рабби Йоханан оскорбил того, кого сам же привел на путь учености. Спор касался нечистоты каширования режущих инструментов: ножей, топоров, кос – и точка зрения рабби Шимона не совпала с точкой зрения рабби Йоханана. И рабби Йоханан сказал: «Конечно! Кому и разбираться в топорах да ножах, как не разбойнику!» Это заявление друга и учителя очень оскорбило рабби Шимона. Настолько, что он тяжело заболел и вскоре умер.

Г-н Холберг покачал головой.

– Удивительно! – сказал он. – В своей полицейской практике я часто встречался с подобными историями. Преступник раскаялся, но ему при каждом удобном случае колют глаза прошлыми прегрешениями. Чаще всего истории заканчивались печально. Впрочем, мало кто умер от оскорбления, – заметил он с легкой улыбкой. – Но вот то, что многие, в конце концов, возвращались к прежним своим занятиям и становились еще более страшными преступниками, чем до попытки исправления, – могу засвидетельствовать. Поучительная история, весьма поучительная, – он улыбнулся мальчикам, протянул руку рабби Шейнерзону. – Спасибо за помощь, рабби. Извините, что отвлекли вас от ваших занятий... Да, кстати, – спросил он, отведя раввина в сторону и чуть понизив голос. – Вам известно, что господин Ландау был католиком?

От изумления у рабби Аврум-Гирша, похоже, отнялся дар речи. Он уставился на моего приятеля, будучи не в силах ни слова произнести. Потом опомнился, замахал руками:

– Бог с вами, сыщик, что это вы такое говорите?! Это невозможно! Все субботы он проводил у меня, мы вместе молились! Он помогал моим ученикам и сам охотно слушал толкование Торы! Нет-нет, вы ошибаетесь. Уверен: вы ошибаетесь.

– Возможно, возможно. Еще раз, спасибо, рабби. До свидания.

– Все дело в прошлом, – сказал реб Аврум-Гирш, сосредоточенно глядя перед собой. – Я еще должен подумать, тут есть, над чем подумать, реб

Шимон. Но в одном я уверен: причина смерти несчастного господина Ландау – в его прежней жизни. Смерть пришла оттуда, господин Холберг, да-да, господин Вайсфельд. Из прошлой жизни. Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау! Я в этом уверен. Я знаю это.

Попрощавшись с раввином и его учениками, мы вышли на улицу.

– Вы не очень устали, Вайсфельд? – спросил меня г-н Холберг. Я заверил его, что вполне еще способен продолжать расследование, и тогда он сказал: – Мы сейчас недалеко от дома, в котором жил покойный режиссер. Я хочу поговорить с его вдовой. Еще раз повторяю – если вы устали, я пойду один. Но, насколько я помню, вы были с ней знакомы.

Я повторил, что готов следовать за ним к госпоже Ландау. Хотя внутренне испытывал некоторое смущение от предстоящей встречи. Почему-то мне вспомнились слова доктора Красовски насчет того, что немке и баронессе фон Сакс, отправившейся в гетто за мужем-евреем, я сочувствую больше, чем любой несчастной еврейке, прибывшей к нам после каторжно-го труда и издевательств концлагеря Берген-Бельзен.

При всей грубости этого заявления, было в нем нечто близкое к действительному моему ощущению. Да, я сочувствовал госпоже Ландау-фон Сакс, может быть, и больше, чем другим женщинам, оказавшимся в Брокенвальде – например, моей помощнице, – потому лишь, что никто не заставлял ее следовать за мужем. Никто и ничто – кроме долга жены, как она это понимала. И притом я знал, сколь чудовищно относился к ней этот муж. О покойниках плохо не говорят, но что мешало мне плохо думать о тех из них, кто при жизни не заслужил иного?

Впрочем, за последние несколько дней мои представления о Максе Ландау тоже претерпели серьезные изменения. Особенно повлияло то, что сказал рабби Аврум-Гирш: покойный режиссер помогал продуктами мальчикам-сиротам из подпольной ешивы г-на Шейнерзона.

Теперь убитый Ландау предстал в несколько ином свете.

Но и загадка крылась в сказанном нашим рабби. Откуда мог взять продукты неработающий заключенный? Обменять? Но на что?

Г-н Холберг негромко заметил:

– Никакой загадки тут нет. Думаю, Макс Ландау выменивал продукты для учеников рабби Аврум-Гирша на морфин. А боль – что ж, боль он предпочитал терпеть...

– Да, наверное, вы правы... – ответил я рассеянно и тут же остановился, будто громом пораженный. – Холберг! Черт возьми, но это невозможно!

– Что именно? – поинтересовался мой друг. – Вполне возможно. Получая морфин от вашей помощницы, он обменивал его на какое-то количество продуктов. Все или почти все передавал г-ну Шейнерзону.

– Я не об этом, – я раздраженно отмахнулся от его слов. – Каким образом вы угадали, о чем я думаю?! Вы что же – можете читать мысли? Но я не верю в эту чепуху!

Холберг удивленно воззрился на меня.

– Но это же так просто, доктор. Мы заговорили о госпоже Ландау. У вас на лице обозначилось смущение или даже робость, из чего можно было сделать вывод, что вы все еще помните об аристократическом происхождении баронессы фон Сакс. Естественно, вы тотчас подумали о ее муже, судьбу которого она разделила с такой самоотверженностью, затем – слова раввина о нем. А главной новостью – по сути, единственной, которую мы узнали от Аврум-Гирша относительно убитого, так это то, что Макс Ландау снабжал его продуктами для учеников! И тут вы даже немного замедлили шаги, поскольку главная загадка этого сообщения – откуда мог брать продукты покойный. Тогда я объяснил вам – откуда. Никакого чуда тут нет, и чтения мыслей – тоже. Просто, – г-н Холберг улыбнулся уголками губ, – у вас очень выразительное лицо. О таких людях говорят: у него все на лице написано.

При этих словах у меня вдруг появилось странное ощущение дежавю: мне вдруг оказалось, что я уже проживал когда-то эту сцену. Или же просто читал нечто подобное.

– Пойдемте, – Холберг похлопал меня по плечу. – У нас не так много времени, – когда мы двинулись с места, он сказал: – Думаю, не так трудно будет установить и тот канал, по которому господин Ландау получал продукты. Я вспомнил о той девушке, актрисе, которая зашла в гримерную перед появлением вашей помощницы. Ракель Зильбер. Вы сказали, что она работает в кухонном блоке, и я тоже вспомнил ее. Не исключено, что это она осуществляла обмен. Или была посредницей в нем. Тогда ясна цель ее визита после спектакля: она шла за очередной порцией ампул. И обратите внимание: как я уже сказал, она посетила гримерную перед вашей помощницей. И госпожа Бротман оставленных двух ампул в гримерной не нашла. Разумеется, она могла очень поверхностно все осмотреть, хотя и производит впечатление очень серьезной и внимательной особы. Но я все же думаю, что ампул уже не было. Они исчезли за считанные минуты до прихода госпожи Бротман. В сумочке госпожи Зильбер. Причем действия Ракели Зильбер нельзя считать кражей: если мои предположения верны, все было давно оговорено с Максом Ландау.

– Да – кроме его убийства... – пробормотал я.

– В условиях, подобных нынешним, люди часто становятся циниками. Во всяком случае, черствеют, – заметил г-н Холберг. – Госпожа Зильбер, конечно же, была шокирована, обнаружив в гримерной убитого режиссера, человека, давно ей знакомого и, по-видимому, весьма ею уважаемого. Но трудно удержаться от соблазна чуть-чуть поправить свои дела с помощью двух маленьких стеклянных ампул. Да и потом: в случае, если бы господин Ландау остался жив, он сам вручил бы ей две ампулы морфина. Так почему бы ей их не взять самой?

– Потому что в случае, если бы Макс Ландау был жив, она отдала бы ему какое-то количество продуктов, – ответил я.

– Что же, она их и отдаст, – эти слова Холберг произнес обманчиво-беспечным тоном. Но я понял, что он уже готов к предстоящему разговору с работавшей на кухне Ракеель Зильбер.

– Вы сами отдадите продукты раввину? – поинтересовался я.

– Или вы, – равнодушно ответил Холберг. – Не суть важно.

В том, что он сказал, конечно, был резон. Скорее всего, именно так и обстояло дело – Макс Ландау обменивал морфин, получаемый от Луизы, на продукты. Хотя я плохо представлял себе Макса Ландау человеком, стойко переносящим боль ради того, чтобы помочь нескольким сиротам. Но, повторяю, то, что мы узнали о нем сегодня, меняло сложившийся образ.

– Пришли, – сказал мой друг, когда мы остановились у трехэтажного кирпичного здания в двух кварталах от дома, в котором проживали рабби Аврум-Гириш и его ученики.

Подъезд был освещен довольно ярко, в окнах тоже горели огни – сумерки уже сгустились почти до ночной плотности, хотя вряд ли было больше десяти вечера. Часов я лишился давно, но за два года пребывания в Брокенвальде научился определять время достаточно точно.

Холберг уверенно поднялся на второй этаж и здесь так же уверенно выбрал правую из трех дверей, выходящих в коридор.

За дверью оказался еще один коридор, образованный уже не стеной, а полустенком. Поскольку в этом доме – во всяком случае, на втором этаже – жили, в основном, семьи, Юденрат позволил сделать внутреннюю перестройку. Такое объяснение дал мне г-н Холберг, пока мы искали очередную нужную дверь.

Найти оказалось неожиданно легко: на коричневой двери на уровне глаз красовалось изображение смеющейся маски. Надпись над маской гласила, что здесь проживают господин и госпожа Макс Ландау.

Г-н Холберг постучал. Получив разрешение войти, толкнул дверь. Я вошел следом, вновь испытывая неловкость. На мой взгляд, самой неприятной чертой в деятельности сыщика является необходимость то и дело бесцеремонно вторгаться в чужие жилища и чужие жизни. Разумеется, все это делается ради благой цели раскрытия преступления, но ведь невозможно каждую минуту мысленно искать оправдания своим поступкам.

Госпожа Ландау сидела на невысоком топчане, в самом его углу, подобрав под себя ноги и укрывшись выцветшей шалью. Черты ее лица по-прежнему были безукоризненны, но в них мало что оставалось от той блестящей берлинской аристократки, какую я встретил много лет назад. Я не успел толком разглядеть ее во время недавнего прихода в медицинский блок вместе с мужем. Сейчас же мне представилась такая возможность. Волосы урожденной баронессы фон Сакс поседели, кожа на исхудавшем лице казалась хрупкой, большие серые глаза потускнели. Взгляд, которым она встретила незваных гостей, был вполне равнодушным. Она даже не сделала попытки встать. Вернее, какое-то ее движение можно было признать за попытку соблюсти правила вежливости, но жест г-на Холберга не-

медленно эту попытку пресек. Г-жа Ландау опустила голову и осталась полужелезять, только чуть собрала шаль-покрывало.

Я огляделся. Крохотное пространство – примерно два с половиной метра на два – занимал уже упомянутый топчан, два небольших табурета и придвинутый в стене столик. Под столиком на полу находился ящик с минимумом посуды. У двери на гвозде висело серое, залатанное в нескольких местах пальто. Рядом с ним на деревянных плечиках оказались несколько очень красивых, но невысказанных в Брокенвальде платьев. Под платьями я усмотрел аккуратно сложенную на застеленной чистой бумагой коробке стопку нижнего белья.

Никаких вещей, напоминавших о том, что здесь до недавнего времени жил мужчина, не было видно.

Шимон Холберг оглянулся на меня. Я вышел чуть вперед и спросил, невольно понижая голос:

– Госпожа Ландау, как вы себя чувствуете?

Она подняла на меня взгляд и ничего не ответила.

– Вы меня помните? Я – доктор Вайсфельд, – сказал я. – На днях вы заходили ко мне... – я чуть было не сказал: «С мужем», – но вовремя спохватился.

– Да, – произнесла она тихо. – Я помню. Здравствуйте, доктор. Это очень мило с вашей стороны... И со стороны вашего друга, – Лизелотта Ландау внимательно посмотрела на Холберга. – Очень мило, что вы пришли поинтересоваться моим здоровьем. Благодарю вас. Я чувствую себя хорошо. Настолько, насколько это возможно в моем положении... – она все-таки приподнялась и села, кутаясь в шаль. – Прошу вас, господа. Садитесь. Здесь тесно, но ничего не поделаешь. Я так понимаю, вы ведь пришли не только за тем, чтобы выразить мне соболезнования и поинтересоваться моим здоровьем?

Мы разместились на табуретках.

– Госпожа Ландау, – сказал я, – возможно, вы не помните. Но мы знакомы очень давно, и с вами, и с вашим мужем. Нас познакомили на премьере в Берлине, в тридцать первом году.

Она оглядела меня все так же равнодушно.

– Да, может быть. Извините, доктор, я не помню. Действительно, прошло слишком много времени. Слишком много стран. Слишком много людей.

Возникла неловкая пауза, которую прервал Холберг.

– Госпожа Ландау, – негромко начал он. – Я бы не стал вас беспокоить в эти дни, но это необходимо. Вы, конечно, знаете, как умер ваш муж.

Г-жа Ландау кивнула. Ее губы чуть дрогнули, но она ничего не сказала.

– Я – бывший полицейский. Меня зовут Шимон Холберг. Я пытаюсь расследовать это дело и найти виновного, – продолжил мой друг. – Я бы хотел кое о чем вас спросить. Вы, конечно же, можете не отвечать... Если вам интересно – вот документ, выданный мне Юденратом, – Холберг извлек из кармана уже известное мне предписание. – Вы можете видеть из него, что мне

запрещено требовать ответов на вопросы от кого бы то ни было. Вообще-то говоря, я действую на свой страх и риск, так сказать, частным образом.

– Для чего? – тихо спросила г-жа Ландау. – Макса уже не вернешь. За чем вы всем этим занимаетесь?

Холберг пожал плечами.

– На этот вопрос у меня нет однозначного ответа, – признался он. – Я и сам толком не знаю. Видимо, профессиональные привычки заставляют меня поступать так, а не иначе. Ваш муж был режиссером и актером. Он ставил спектакли везде, где жил. Даже здесь, в гетто. Он действовал так, потому что не мог жить по-другому. Наверное, и я тоже занимаюсь расследованием преступлений везде, где они совершаются. По-другому не могу.

Г-жа Ландау некоторое время сидела неподвижно, глядя перед собой. Потом качнула головой.

– Наверное, так и бывает, – сказала она. – Наверное. Но мне это непонятно. Впрочем, это не имеет значения. Сейчас уже многое потеряло смысл.

– Вас не интересует, кто убил вашего мужа? – спросил г-н Холберг.

– Не знаю. Я не думала об этом... Может быть... Не знаю. Неважно, – повторила она. – Вы хотите, чтобы я ответила на какие-то вопросы? Извольте, я отвечу.

– Вы не присутствовали на спектакле. Почему?

– Макс не разрешил мне. Он сказал, что я реагирую на некоторые вещи излишне эмоционально... – госпожа Ландау усмехнулась, от уголков глаз губам побежали тонкие морщинки. – Вряд ли в это можно поверить, глядя на меня, правда? Но Макс видел меня не сегодняшней, а той, которую встретил в двадцать девятом году. Он сказал, что я очень устаю на работе и что будет лучше, если я просто отдохну вечером дома.

– У вас не сложилось впечатления, что он хотел от вас что-то скрыть? Например, встречу с кем-нибудь?

– Нет, не сложилось, – равнодушно ответила г-жа Ландау. – Если вы имеете в виду встречу с женщиной, то я никогда его не ревновала. Ни в те времена, когда он был модным режиссером, которого окружали поклонницы, ни в наших зигзагах последних лет, ни, тем более, здесь, в гетто. Правду сказать, он редко подавал повод для ревности. Думаю, он меня любил. Остальные женщины для него не существовали. Как женщины, я имею в виду. Короткие увлечения, разумеется, случались, но это ведь несерьезно.

Мы переглянулись. Поведение Макса Ландау менее всего походило на поведение любящего мужа. Заметив этот взгляд, вдова нахмурилась.

– Я понимаю, о чем вы подумали, – сказала она. – Все эти скандалы, истерики, сцены, которые он устраивал мне время от времени – это ведь от любви. Просто он очень не хотел, чтобы я следовала за ним – в нынешней обстановке. Он думал, что я, в конце концов, не выдержу его придирок и упреков и уйду из гетто. Уйти было действительно просто. Если бы я подала в комендатуру прошение о разводе, его бы немедленно удовлетворили. Я знаю, мне об этом говорили прямо. Нас бы развели, и я могла уехать.

Вернуться к другой жизни, к жизни стопроцентной арийки... – г-жа Ландау презрительно поморщилась. При этом ее тонкие пальцы, форма которых, некогда безукоризненная, нарушалась сломанными и небрежно подпиленными ногтями, судорожно сжали шаль. Они были такими же серыми, как выцветшая ткань. Потом пальцы безвольно разжались, лоб разгладился. – Да, – сказала она. – Макс очень хотел этого. Он терзался из-за того, что я решила разделить его судьбу. Он понимал, что я его люблю и никогда не поступлю так. И вбил себе в голову, что если он будет вести себя грубо, жестоко, то моя любовь умрет, и я, в конце концов, уйду. От него и из гетто... – она замолчала, нервно покусывая губу.

После короткой паузы Холберг осторожно спросил:

– А сейчас? После его смерти вас уже ничего не держит здесь, не так ли?

– Ошибаетесь, – ответила г-жа Ландау–фон Сакс. – Держит.

– Что же?

– Он. Макс. Неужели вы думаете, что теперь я облегченно вздохну и уеду из Брокенвальда? – вдова покачала головой. – Ни за что. Теперь это было бы предательством по отношению к памяти о нем.

И вновь в каморке воцарилась тишина. Я все больше чувствовал себя не в своей тарелке. Думаю, и Холберг тоже.

– Скажите, – спросил он, – не замечали ли вы каких-то изменений в его поведении? Я имею в виду – в последнее время?

Г-жа Ландау задумалась.

– Нет, ничего такого. Он был таким же, как всегда. Может быть, настроения менялись чаще, чем обычно. И на скандалы он меня старался вызывать чаще. Даже по ночам. Но я отношу это на счет его болезни.

– Так вы знали о том, что он смертельно болен?

– Знала. Не от него, разумеется. Мне об этом сказала медсестра. Луиза Бротман. Мы с ней тоже знакомы были очень давно. Еще с тридцать четвертого года... Да, точно. С тридцать четвертого года. Мы познакомились в Вене. Незадолго до нашей поездки в Советский Союз.

Глава 7

В самом начале пребывания в Брокенвальде я постоянно обращал внимание на обилие полицейских и на регулярно появлявшиеся распоряжения коменданта и Юденрата, регламентировавшие жизнь заключенных (так нас называли приказы коменданта; в распоряжениях Юденрата чаще фигурировало другое словосочетание – «обыватели Брокенвальда»). Но чем дальше, тем меньше привлекали мой взгляд неподвижные фигуры, стоявшие редкой цепью вдоль каждой улицы, тем реже читал я свеженаклеенные листки с остроконечными готическими буквами, увенчанные орлом со свастикой. Человек привыкает ко всему, в том числе, и к тому, что его жизнь становится жестко регламентированной и управляется внешними силами.

Невозможно полностью управлять человеком. Всегда остается хотя бы крохотная степень свободы. Например, время естественных отправлений, которую определяет организм, а не указание г-на Генриха Шефтеля или даже гауптштурмфюрера Леонарда Заукеля.

Хотя на это можно найти веское возражение. Коль скоро предписания немцев регламентируют, среди прочего, режим и характер питания, они же влияют и на способности организма отправлять те или иные физиологические функции. И значит, время посещения отхожего места каждым конкретным обитателем гетто – в том числе, например, доктором Ионой Вайсфельдом – тоже зависит от решения коменданта, доведенного до «обывателей Брокенвальда» соответствующим отделом Юденрата. В таком случае можно предположить, что создание подобного гетто есть решительный шаг на пути прогресса – превращении человека стихийного, естественного, так сказать *homo naturalis*, в человека управляемого, общественного – *homo socialis*. Действительно, сколь эффективнее и рациональнее, когда человеческая особь подчиняется решениям властей на уровне инстинктов и безусловных рефлексов. Или, по крайней мере, рефлексов условных, выработанных соответствующими действиями властей.

Уборные в Брокенвальде являлись самым ярким напоминанием о том, что наш социальный статус изменился в корне. Айзек Грановски, уже упоминавшийся капо нашего дома, во время очередного утреннего философствования пожаловался мне: «Доктор Вайсфельд, если бы вы знали, с чем я никак не могу примириться здесь! Не с урезанным пайком – организм, в конце концов, с ним свыкается, и вообще – война, думаю, и там, на свободе, люди терпят лишения. И не с отсутствием медикаментов – при желании их можно раздобыть и здесь, стоит лишь серьезно этим заняться. И даже не с отсутствием семьи – не исключено, что так лучше и для меня, и для них... Но я не могу мириться с тем, что в туалете, кроме меня, всегда есть еще несколько человек... Боже мой, мне ночами снится мой домашний туалет! Рулон туалетной бумаги! Освежитель воздуха! Я мечтаю о том времени, когда смогу сходить, пардон, в полном и благословенном одиночестве!»

Что же до полиции, то для нас, старожилов гетто, она постепенно превращалась в собрание невидимок. Или неодушевленных предметов, которых следовало опасаться примерно так же, как опасаются не на месте стоящих столбов в сумерках или одиноких деревьев ночью на проселочной дороге. Сделав шаг-другой в сторону, вы рискуете набить себе шишку и даже получить серьезную травму, но чтобы избежать этого, достаточно быть внимательным и вовремя обходить препятствия.

И это, равно как и система прямых и непрямых запретов, интенсивно практикуемая властями, тоже способствует эволюции человека. Представители власти, которые становятся невидимыми, которых перестают замечать и на которых реагируют лишь как на вечные и необходимые приметы окружающего пейзажа, – о подобном в прежние эпохи правитель не мог даже мечтать! Тем более что полицейские – это не просто представители вла-

сти, но исполнители силовых функций последней, часть репрессивного аппарата! А вот поди ж ты – нет их для нас, по большей части – нет...

Мы встретились с Холбергом сразу после завтрака. Погода была такой же, как вчерашняя: мелкий дождь сыпался крохотными ледяными бусинками с затянутого низкими серо-голубыми тучами неба, ветер временами рябил образовавшиеся лужи. Мысли же о неодоушевленных полицейских посетили меня в очередной раз из-за того, что Брокенвальд казался опустевшим. Так было каждое воскресенье – на улицах никого, кроме неподвижных фигур в синей форме. Исключением были дни, когда в гетто появлялся очередной транспорт. Тогда полицейские оживали, кроме них на улицах появлялись озабоченные члены Юденрата и квартальные капо, а из распахнутых ворот медленно втягивался в город людской поток, еще не распавшийся на отдельные элементы. Затем поток рассасывался, город вновь пустел, и полицейские застывали в неподвижности на тротуарах и перекрестках.

Парижская улица располагалась на восточной окраине. В свое время меня заинтересовало, чьей фантазии этот крохотный и не очень ровный участок Брокенвальда обязан таким звучным названием. Но в конце концов я привык к нему, и оно совсем не казалось мне выспренным. В конце концов, есть здесь улица Пражская и Венский переулок. Куда более странно звучат сегодня другие названия. Например, медицинский блок находится на улице Ново-Еврейской, а дом, чердак которого занимаем мы с г-ном Холбергом – на Старо-Еврейской. В этом мне тоже чудилось проявление иронии истории – той иронии, перед которой человек чувствует себя обескураженным и уязвленным.

Именно на Парижской улице, по словам г-на Холберга, проживал глава лютеранской общины Брокенвальда пастор Гризевеиус. Его-то мы и отправились навещать воскресным утром.

Дождь на какое-то время прекратился, сквозь истончившуюся ткань облаков пробились слабые солнечные лучи. Они казались лишенными естественной окраски. Именно таким, светлым и бесцветным, всегда казалось мне солнце Брокенвальда.

– Здесь, – коротко бросил Холберг, когда мы поравнялись с одноэтажным баракком, стены которого были сложены из неоштукатуренного кирпича. Парижская, 17.

– Откуда вы знаете номер дома? – полюбопытствовал я.

– Я взял адреса некоторых интересующих меня фигурантов в Юденрате, – отвечая, он внимательно осматривал строение и окрестности. – Воспользовался разрешением Генриха Шефтеля на расследование и тут же потребовал, чтобы мне были сообщены адреса нескольких человек. Зандберга весьма покорибила моя напористость, но возражать против распоряжения начальства он не стал.

– До сих пор не могу понять, – признался я, – каким образом вам удалось получить это разрешение. Неужели Юденрат придает такое значение убийству одного из евреев Брокенвальда?

– Дело не в этом, – по лицу моего друга скользнула легкая тень. – Тут сыграли роль мои давние связи. Очень давние, – он на мгновение крепко сжал губы. Я понял, что о своих связях г-н Холберг говорить не собирается. Во всяком случае, сейчас. Настаивать я не стал, тем более что Холберг прекратил осмотр и направился к входу в здание – невысокой двери, врезанной с торцевой стороны. Прежний вход, как я успел заметить, находился со стороны фасада, но был зачем-то заложен, относительно недавно.

От двери внутрь здания вел короткий коридор, далее – еще один вход, нечто вроде маленького тамбура с дверной коробкой и петлями, но без двери – ее роль играла портьера, заброшенная за толстый шнур, натянутый по одну сторону коробки. Сразу за тамбуром начинались ряды двухъярусных нар. Большая их часть пустовала – обитатели дома-барака сгрудились в дальнем углу вокруг пожилого лысоватого мужчины, державшего в руке небольшого формата книгу. Те же, кто оставался на своих местах, смотрели в ту же сторону и напряженно вслушивались в негромкий, но хорошо поставленный голос, которым пожилой что-то зачитывал.

По этой причине нас никто не заметил и даже не обернулся на слабый скрип половиц под ногами. Я прислушался.

– «Если мы зададимся вопросом, что же, по замыслу Божию, должно ожидать народ иудейский, отвергнувший некогда Спасителя и обрекший Его мучительной казни, здесь таится искушение для любого, кто задумается о том», – прочитав эту странную, на мой взгляд, фразу, мужчина опустил книгу и поправил криво сидевшие на мясостом носу очки. – Тут уважаемый богослов совершенно прав. Многие сегодня готовы соблазниться легкостью объяснений несчастий, обрушившихся на евреев, как запоздалую кару за тот давний неискупленный грех, – сказал он. – Но как же тогда объяснить трагическую судьбу тех, кто принял Спасителя всем сердцем, но, будучи связанным с древним народом происхождением, разделил с ним гонения нечестивцев? И вот что я вам скажу: нигде, ни в одном послании святых апостолов не говорится о каре, которую Господь уготовил в будущем народу Израиля. Напротив, апостол Павел прямо пишет... – он перелистал свою книгу, и я сообразил, что это не книга, а очень толстая, с расстрепанными краями, тетрадь. – Апостол Павел... да... Вот: «Обетование, данное отцам евреев Господом, будет исполнено, и они также вкусят от вечного блаженства, поскольку слова Господа непреходящи и не подлежат воздействию времени...» – он обвел взглядом слушателей. – Для Творца нет тайн ни в прошлом, ни в будущем, ибо Он творец и времени тоже. И, значит, Он провидел и упрямство иудеев, отвергших Его Сына. Провидел уже тогда, когда давал сынам Израиля обетование и подтверждал его святым пророкам. А значит, весь еврейский народ, несмотря на прегрешения отдельных его сынов, войдет в Царство Небесное, как это обещал Творец великим еврейским пророкам древности...

Тут взгляд говорившего – или, скорее, проповедовавшего – упал на нас. – Что вам угодно? – спросил он.

– Мы разыскиваем пастора Арнольда Гризевеуса, – ответил мой друг. Лысоватый мужчина неторопливо закрыл тетрадку, спрятал в карман просторного пиджака очки и лишь после этого сказал:

– Я Арнольд Гризевеус.

Обитатели барака смотрели на нас настороженно, но без особого страха.

– Прошу вас уделить мне несколько минут, – учтиво произнес г-н Холберг.

Пастор задумчиво посмотрел на него, словно решая, стоит ли разговаривать дальше. Решив, что стоит, поднялся с нар и направился к нам. Он оказался маленького роста. При ходьбе Гризевеус сильно хромал. Один из недавних слушателей спешно подал ему палочку, на которую пастор тотчас оперся с видимым облегчением.

– Я вас слушаю, – сказал пастор, приблизившись. Глаза его, глубоко сидевшие под редкими седыми бровями, смотрели цепко и недоверчиво. – Что вас привело, господа?

– Вообще-то мы разыскиваем не вас, а отца Серафима, – слегка понизив голос, произнес мой друг. – Простите, что отвлекли вас от дела, но не могли бы вы нам помочь?

– Почему вы думаете, что он здесь? – взгляд пастора Гризевеуса быстро перебежал от Холберга ко мне. – Да, я знаком с ним, но, боюсь, ничем не могу вам помочь. Изредка мы встречаемся с *господином* Серафимом Мозесом, – он сделал ударение на слово «господин». – Но где он в настоящий момент и чем занимается – увы, – пастор развел короткими ручками.

– Пастор, мы разыскиваем *отца* Серафима по очень важному делу, – Холберг, в свою очередь, подчеркнул слово «отец». – Одна из его прихожанок сказала, что по воскресеньям он проводит здесь мессу.

Пастор насунился и ничего не ответил.

– Поймите же, – с досадой сказал мой друг. – Мы не доносчики и не собираемся причинять вам неприятности. Ни вам, ни ему. Нам необходимо поговорить с ним в связи со смертью одного из прихожан. Режиссера Макса Ландау. Вы слышали об этом?

– Да, разумеется, но... – Гризевеус снова замолчал. – Какое отношение вы имеете к этой смерти? И какое отношение к ней имеет... э-э... отец Серафим?

– Я хочу задать отцу Серафиму несколько вопросов, – ответил Холберг. – Дело в том, что Ландау не просто умер, он был убит. Мы с доктором Вайсфельдом пытаемся найти убийцу.

Лицо Гризевеуса окаменело. Он надменно задрал голову, заложил руки за спину.

– Вот как? – холодно произнес он. – Стало быть, вы представляете официальные власти? Полицию города Брокенвальда? Так-так. Не могу сказать, что рад нашему знакомству. Впрочем, это не имеет равным счетом никакого значения. Я ничем не могу вам помочь, господа. Названное вами лицо бывает здесь крайне редко. Прошу меня извинить, – он повернулся к нам спиной. Холберг удержал его за руку.

– Постойте, пастор! – воскликнул он. И тут же понизил голос: – Нам ни-

кто ничего не поручал. Мы сами взялись за это расследование – к неудовольствию Юденрата и без ведома комендатуры.

Гризевиус холодно взглянул – даже не на самого г-на Холберга, а на руку, цепко ухватившую его повыше локтя. Потом повернулся к нам снова. Теперь на его круглом лице обозначилась откровенная насмешка.

– Сами? Полагаю, таким делом должны заниматься профессионалы, – в его голосе слышалась издевка.

– Совершенно верно, вот я и есть – профессионал. Бывший, разумеется, как все мы здесь.

Пастор немного помедлил, разглядывая пол под ногами.

– Не все, – сказал он сухо. – Не все бывшие... Хорошо. Я помогу вам найти отца Серафима. Но вам придется немного подождать. Служба скоро закончится.

Я облегченно вздохнул. Пастор Гризевиус коротко взглянул на меня и чуть заметно пожал узкими плечами.

В ожидании отца Серафима я принялся разглядывать небольшую картину, висевшую на стене возле нар пастора. Выполненная в экспрессионистской манере, она изображала трех мужчин ярко выраженной семитской внешности, с обритыми головами, сидящих за столом и жарко о чем-то спорящих. В их лицах была одна странность, которая не сразу становилась понятна зрителю: спорщики в действительности представляли собой портреты одного и того же человека, но изображенного в трех ракурсах. Главным отличием были детали, опять-таки не сразу бросающиеся в глаза. Правый спорщик поднимал над столом красный томик, на котором красовалась надпись «Капитал. Карл Маркс», левый размахивал крестом с распятием; сидевший посередине обеими руками держал свиток Торы. Но у каждого на лацкан грязно-серой одежды пришита была желтая шестиконечная звезда с надписью «Jude».

Заметив мой интерес, пастор Гризевиус сказал:

– Картина называется «Три еврея». Автор – Лео Коген. Третьего дня мы его похоронили.

Минут через пятнадцать в дальнем углу барака, рядом с нарами, на которых, когда мы пришли, сидел пастор Гризевиус, открылась незаметная незнакомому взгляду дверь. Из нее начали выходить люди. Они ни на минуту не задерживались, быстро шли к выходу. Здесь пастор и еще несколько обитателей барака останавливали их и выпускали небольшими группами через неравномерные промежутки времени. Среди прочих я заметил и Луизу Бротман. Моя помощница при виде г-на Холберга замедлила шаги, но не остановилась, а лишь коротко кивнула ему. Меня же она не увидела – или не захотела увидеть. Только когда она вышла, я вспомнил, что хотел вернуть ей коробку с морфином – специально захватил с собой, – но не успел. Пока я раздумывал, догонять ли госпожу Бротман сейчас или отложить разговор на завтра, редкая цепочка прочих прихожан отца Серафима преследовала на улице. Я решил, что присутствие мое при разговоре быв-

шего полицейского с католическим священником сейчас важнее. Вернуть же Луизе лекарство я смогу и завтра. Тем более что в медицинском блоке это будет безопаснее.

Последним из потайной двери вышел человек, показавшийся мне двойником пастора Гризевууса. Только не хромавшим. Но такого же роста, такого же сложения – разве что плечи пошире. Даже короткий седой ежик издали выглядел такой же лысиной. И неторопливые движения, которыми он протер круглые очки в металлической оправе, как будто копировали движения главы лютеранской общины.

Я сразу же догадался, что это и есть отец Серафим. Мой друг направился было к нему, но пастор, с неожиданной прытью заковылявший к священнику, опередил его. Холберг тотчас остановился, терпеливо ожидая, пока Арнольд Гризевуус шепотом сообщит отцу Серафиму о нашем визите. Выслушав своего протестантского коллегу, духовник Луизы кивнул и внимательно посмотрел на моего друга. Я удостоился лишь короткого взгляда.

Отец Серафим неторопливо приблизился к нам, поздоровался. По приглашению пастора Гризевууса мы сели на пустовавшие нары. Видимо, глава лютеран пользовался в бараке непререкаемым авторитетом. Во всяком случае, никто не стремился подслушать наш разговор или, тем более, вмешаться. Вокруг нас, словно по мановению маленькой ручки пастора, образовалось мертвое пространство, достаточное для того, чтобы можно было поговорить, не опасаясь чужих ушей. Впрочем, почти сразу после начала нашего разговора барак опустел. Я вспомнил слова Холберга о том, что католическая и лютеранская община по очереди служат в воскресенье в одном и том же помещении. Видимо, настал черед проповеди почтенного пастора.

– Итак, – отец Серафим снял очки, протер их платочком и вновь надел. – Пастор Гризевуус сказал мне, что вы меня искали и что вас интересует недавно умерший господин Макс Ландау. Он утверждает также, что вы ведете нечто вроде расследования, поскольку обстоятельства смерти господина Ландау не совсем обычны. Это действительно так?

– Да.

– Как печально, – прошептал отец Гризевуус. – Я очень хотел посмотреть его работу. По рассказам господина Ландау у меня сложилось впечатление об очень интересном и совершенно новом подходе к этому творению Шекспира, и мне очень хотелось сравнить это представление с самим спектаклем. Боюсь, мне это уже не удастся... – он замолчал и опустил голову. Холберг коротко взглянул на меня и едва заметно пожал плечами.

– Простите, – сказал отец Серафим, поднимая голову, – но пастор упомянул о не совсем обычных обстоятельствах смерти. Что он имел в виду?

– Режиссер Ландау был убит, – сказал г-н Холберг. – Ударом ножа прямо в сердце, сразу же после спектакля, в котором он играл роль Шейлока.

На лице священника отразилась искренняя боль.

– Убит... – прошептал он. – Боже милосердный, убит... Но это ужасно... – его седые брови (еще одно второстепенное отличие от пастора – у

того брови казались редкими пучками выцветших волос) сошлись на переносице. Он снял очки и вновь их протер, хотя, на мой взгляд, это было излишним – стекла более не нуждались в чистке. – Ну конечно, я слышал об этом... Почему же вы не задаете вопросы? Я готов отвечать, господин... господин? – он вопросительно взглянул на Холберга.

– Меня зовут Шимон Холберг, – представился бывший полицейский. – А это мой помощник, доктор Иона Вайсфельд. Как часто вы общались с Максом Ландау – я имею в виду здесь, Брокенвальде?

– Не очень часто, – ответил отец Серафим. – Видите ли, господин... э-э... господин Холберг, я ведь знал его еще до войны, по Вене. Он приезжал несколько раз, иногда привозил свои постановки, а иной раз – просто так, мне кажется, Вена его завораживала... – отец Серафим замолчал, потом счел необходимым пояснить: – Разумеется, старая Вена, донацистская. Впрочем, нацистскую Вену он не застал, но и те изменения, которые господин Ландау наблюдал в свой последний приезд, девять лет назад, не могли его радовать. Как не могли они радовать ни одного нормального человека.

– Именно в тот, последний, приезд господин Ландау крестился? – спросил Холберг. – Вы ведь крестили его?

– Да, это так, – отец Серафим вздохнул. – Мне кажется, я совершил ошибку. Одна из моих духовных дочерей... Упросила меня побеседовать с господином Ландау. Он говорил очень экзальтированно, очень страстно – о своей вере, о поисках духовного пути. И сказал, что хочет принять крещение по католическому образцу... Он показался мне искренним, возможно, и был таким. Во всяком случае, сам считал свое решение искренним. Но, как мне стало казаться уже здесь, он не пришел к Христу. Мало того, мне кажется, он стыдился своего христианства – в наше время антиеврейских гонений он вдруг начал считать свой шаг предательством. Хотя, как видите, нацистов нисколько не интересуют религиозные взгляды. Кровь – вот что стало определять! Еврейство по крови – а там можете быть хоть католиком, хоть иудеем, хоть язычником... Собственно, вы обо всем этом знаете не хуже меня. Словом, став католиком в тридцать четвертом году, при моем участии, – здесь, в Брокенвальде, он не ходил к причастию и не желал исповедоваться. Да он и в Вене, девять лет назад, вел себя... – отец Серафим покачал головой. – Помню, тогда произошел скандал. Одну из газет – кажется, «Театральную Вену» – венские нацисты обвинили в том, что она развращает общество и традиционную австрийскую культуру. И, разумеется, причиной этого назвали еврейство главного редактора – Карла Бакштейна. А г-н Бакштейн несколькими годами ранее крестился. И теперь не нашел ничего лучшего, как опубликовать факсимиле своего свидетельства о крещении на первой странице «Театральной газеты». Это лишь добавило масла в огонь скандала. Господин Ландау по этому поводу громогласно заметил, что на месте нацистов опубликовал бы на первой странице фотографию детородного органа господина Бакштейна – как доказательство того, что никакое крещение не нарастит еврею крайнюю плоть... – отец Серафим осуждающе

поджал губы. – Это было сказано публично и к тому же несправедливо. Фактически, в такой вот грубой форме господин Ландау поддержал нацистов. Хотя, безусловно, и господин Бакштейн повел себя глупо – с этой публикацией. Впрочем, его убили сразу же после аншлюса. Прямо на улице...

– И все-таки, – мой друг постарался направить разговор в нужную колею, – как сложились ваши отношения здесь, в Брокенвальде? Вы ведь встречались с ним? Пусть не на мессе и не на исповеди, но разве он ни разу ни о чем с вами не беседовал?

– Пару раз он приходил ко мне, спрашивал совета... – ответил отец Серафим. – Это были странные вопросы, ничуть не похожие на вопросы, которые могут задавать духовнику. Словно он экзаменовал меня странными схоластическими формулами. Например: можно ли во имя любви убить любимого человека? Или следует убить любовь во имя любимого человека? Можно ли предать предателя? Кому из двоих равно нуждающихся следует помочь в первую очередь – тому ли, с кем тебя связал Господь, или тому, с кем у тебя кровная связь? «Оба голодны, святой отец! – восклицал он. – Оба голодны в равной степени, смертельно! Кусок хлеба может спасти каждого, но у меня – один кусок хлеба! Кому из них отдать?»... – на этот раз пауза затянулась. Отец Серафим смотрел на свои руки, словно прислушиваясь к воспоминаниям о покойном режиссере. – И время от времени он открыто высмеивал собственный переход в христианство – называл это соломинкой, через которую пытался сделать глоток иного, не болотного воздуха. А воздух оказался таким же едким и ядовитым, как и прежний... Он так часто повторял это сравнение, насчет соломинки и воздуха, что я запомнил, – пояснил священник.

– Когда вы видели его в последний раз? – спросил Холберг.

– Накануне спектакля, – тотчас ответил отец Серафим. – Он пришел пригласить меня. Я обещал прийти, но, к сожалению, чувствовал в день спектакля слабость.

– В его поведении в тот день не было ничего необычного?

– Его поведение всегда было необычным, – заметил священник. – Я вам уже говорил. В тот день... Что-то было... – отец Серафим задумался. – Что-то... Да, насчет предательства предателя он спросил именно при нашей последней встрече.

– Вот как? И что же, по-вашему, это означало?

– Не знаю, – отец Серафим пожал плечами. – Он никогда не объяснял, что на самом деле имел в виду, когда задавал свои вопросы.

– Постарайтесь вспомнить, как именно он говорил о предательстве, – попросил Холберг. – И когда именно.

– В каком... Хорошо, я попробую вспомнить, – отец Серафим закрыл глаза. – Что-то... Кажется, он зачем-то вдруг вспомнил о своей давней поездке в Москву. Да. Он ведь прямо из Вены, чуть ли не на следующий день после купели уехал в Россию. Признаюсь, я был обескуражен и уже тогда подумал о том, что поторопился с обрядом. Новообращенный католик не

находит ничего лучшего, как прямо из церкви отправиться в объятия безбожных коммунистов... – священник строго взглянул на нас, словно это мы сбили с толку покойного режиссера. – Да. И в тот день, накануне спектакля, он почему-то вспомнил о своей поездке. Сейчас... Как же он сказал? Нет, не помню, – разочарованно произнес он.

– Но вы уверены, что эта фраза была связана с воспоминаниями о Москве? – спросил Холберг.

– Да, мне кажется – да. Я почти уверен.

По проходу между нарами неторопливо прошелся высокий, очень худой человек с белой повязкой на рукаве – здешний капо. Он очень сутулился, так что узкий длинный подбородок словно лежал на груди. Остановившись рядом с нами, он наклонился к отцу Серафиму и сказал громким шепотом – так, чтобы мы с Холбергом тоже услышали:

– Простите, святой отец, служба скоро закончится. Мне крайне неловко говорить, но пастор Гризевинус очень рискует... Не могли бы ваши гости покинуть это здание? Их приход насторожил и напугал некоторых... могут пойти разговоры...

– Да, разумеется, – отец Серафим тотчас поднялся. – Простите, господа, но я не хочу злоупотреблять гостеприимством пастора Гризевинуса. Позвольте, я вас провожу. Если у вас есть еще вопросы, можете задать их по дороге.

Нам ничего не оставалось, как подчиниться. Капо наблюдал за нашим уходом с видимым облегчением.

На улице отец Серафим сказал:

– Я восхищаюсь пастором. Знаете, в отличие от меня, он мог остаться на свободе. С точки зрения нацистов, я-то – еврей, а вот в пасторе еврейской крови всего лишь четверть, еще его дед принял святое крещение. Сам он из Бремена, и, когда в его городе новая власть начала гонения на евреев, он обратился к пастве с требованием всячески противиться этому. Закончилось все тем, что несколько молодчиков его избили – прямо в кирхе, в одно воскресенье. Избили зверски, так что он хромот по сей день. А прихожане, пока он лежал в больнице, переизбрали его, и пастором стал человек, лояльный нацистам... Когда мы с ним познакомились, он сам предложил мне воспользоваться помещением позади барака для воскресной мессы. Это было очень великодушно с его стороны... Да. Ему все происходящее кажется куда более чудовищным, чем в моем представлении или вашем. В отличие от него, я-то помню, что родители назвали меня не Серафимом, а Симхой... – священник покачал головой. – Мой отец отдал меня учиться в иезуитский колледж, а потом, когда я решил креститься и вступить в Общество Иисуса, сидел по мне шиву. Как по покойнику. А сейчас, когда я, исповедник ордена Иисуса, сопровождаю умершего христианина на кладбище, мне цепляют на одежду шестиконечную звезду, – отец Серафим взглянул на меня, потом на Холберга. – Знаете, – сказал он задумчиво, – оказавшись в Брокенвальде, я поначалу решил, что попал в ад. Но

нет, нет... – он покачал головой. – Это не ад. Лишь его преддверие. Лимб. Помните «Божественную комедию»? Самый первый, не такой уж страшный круг. Да, господа, мы не в аду. Мы просто стоим у адских врат. И ждем, когда же они, наконец, откроются. Да. Так что вы хотели спросить?

– Вы знакомы с женой... я хотел сказать, с вдовой Макса Ландау? – спросил Холберг.

– Госпожа Ландау–фон Сакс бывала несколько раз на моих мессах, – ответил отец Серафим. – Но никогда со мной не разговаривала.

– И не исповедовалась? – уточнил г-н Холберг.

– Даже если бы исповедовалась, неужели вы думаете, что я рассказал бы вам о том, что узнал на исповеди? – отец Серафим нахмурился. – Но – нет, не исповедовалась. Хотя, полагаю, ей хотелось облегчить душу. До меня доходили слухи о том, что муж обходится с ней не лучшим образом. Чего эта женщина не заслужила, как мне кажется. Говорят, он всячески тиранил ее, даже пускал в ход руки. И это здесь, в Брокенвальде! Как же слаба добродетель... – он запнулся. – Простите, мы ведь говорим о покойнике. Да будет милостив к нему Господь.

– Вы знали, что он смертельно болен? – спросил Холберг.

Священник удивился:

– Смертельно болен? Макс Ландау? Впервые слышу! Он всегда выглядел достаточно бодро. Исхудавшим, правда, но ведь это – отличительная черта всех нас. И почти всегда был весел, даже вопросы свои задавал весело. Правда, была в этой веселости изрядная доля злости. Смертельно болен... Странно, очень странно... Но ведь умер он не от болезни?

– Его убили, как я уже сказал, – ответил Холберг. – Ударом ножа в сердце. Очень точный удар, должен заметить... Значит, госпожа Бротман не говорила вам о болезни своего крестника?

– А она знала? Нет, ничего и никогда не говорила, – отец Серафим остановился. – Господа, я вас оставляю. Пастору Гризевииусу может понадобиться помощь. Кроме того, мы по воскресеньям играем в шахматы.

Но едва он сделал шаг по направлению к бараку, как мы получили подтверждение того, что местный капо волновался не зря. На улицу вдруг въехал крытый грузовик, из накрытого брезентом кузова которого высыпали десятка полтора «синих». Нас грубо швырнули в сторону с криком: «Лицом к стене! Ноги расставить! Руки на затылок!» Мы подчинились с возможной быстротой, но это не спасло от нескольких чувствительных ударов дубинками.

Уткнувшись лицом в сырую ноздреватую поверхность стены, я мог лишь догадываться, что происходит в бараке пастора Гризевииуса.

– Я выполняю приказ председателя Юденрата! – услышал я голос г-на Холберга. – Вот предписание, извольте прочитать!

Осторожно, чтобы не вызвать малоприятной реакции полицейских, я повернулся в эту сторону. Холберг стоял у стены, подняв одну руку вверх, а вторую протягивая грузному человеку в штатском, видимо, распоряжав-

шемуся облавой. Кроме него, рядом с нами стояли еще двое «синих». Отца Серафима не было.

Штатский с недоверчивым лицом выхватил у Холберга бумагу.

– Гм-м, расследование, вот как... – процедил он, пробегая ее глазами. – Хотите сказать, что здесь вы занимались именно этим? Хорошо, опустите руки, – ему явно не хотелось отпускать подозрительного типа в пестром пальто, но документ за подписью председателя Юденрата Шефтеля и начальника полиции Зандберга заставлял его это сделать. Он еще раз прочитал документ, сложил его и вернул Холбергу. – Ладно, убирайтесь отсюда.

– Минутку, – сказал Холберг, пряча бумажку. – Этот господин, – он указал на меня, – мой помощник. Я не уйду один. Прошу немедленно освободить его.

Полицейский начальник смерил меня тяжелым взглядом.

– Удостоверение, – приказал он. Я осторожно опустил руки и предъявил картонное удостоверение с фотографией и печатью Юденрата. Он повертел ее в руках, буркнул: – Вы тоже свободны.

В это время полицейские вывели из барака пастора Гризевиуса и еще несколько человек. Лицо Гризевиуса было разбито в кровь, остальные выглядели не лучше. Их бесцеремонно затолкали в машину, где, как я заметил, уже находился отец Серафим. Католический священник выглядел не лучше лютеранского. Несколько полицейских быстро затянули брезент, один из них сел в машину. Грузовик с натужным ревом поехал в сторону центра.

Те полицейские, которым не хватило места в кузове, последовали за ним по мостовой, громко переговариваясь между собой. Некоторые подозрительно поглядывали в нашу сторону. Штатский с повязкой на рукаве остался у дверей здания.

– Пойдемте, пойдемте, Вайсфельд, а то нам снова придется объясняться с кем-нибудь, – сказал мой друг.

Но я все еще не пришел в себя от пережитого шока. Лицо полицейского начальника сейчас, после отъезда грузовика, приобрело вполне человеческое выражение. Я рискнул подойти к нему и спросить, в чем причина облавы.

– Приказ коменданта, – нехотя ответил он. – Евреям запрещено исповедание христианской веры, а также организация и посещение богослужений. Юденрату велено пресечь подобные вещи. Христианами могут оставаться только арийцы, проживающие в гетто, и лица смешанного происхождения. Все остальным настоятельно рекомендуется вернуться в лоно иудаизма, – он говорил словно по писаному. И добавил, с насмешкой в голосе: – Приобщение к христианству может создать у евреев иллюзию освобождения от принадлежности к своей расе. А этого допускать не следует. И вообще: не стоит грязными еврейскими ртами осквернять чистейшее имя Господа нашего, Иисуса Христа, евреями же и распятого.

– То есть вместо мессы им теперь нужно посещать синагогу? – спросил г-н Холберг. – Кстати, разве в Брокенвальде есть синагога?

– Еврейское богослужение запрещено категорически, – механическим го-

лосом ответил полицейский начальник. – Разрешены только бракосочетания и похороны по религиозному обряду. Вам стоило бы внимательнее изучить правила проживания в Брокенвальде. Например, среди них есть и такое: запрещено на улице задавать любого рода вопросы членам Юденрата. Я мог бы вас арестовать за нарушение этого правила. Вы получили бы по трое суток тюремного заключения и лишились бы пайков на двадцать четыре часа, – теперь в механическом голосе послышалась не насмешка, а горькая ирония. – Если вас интересует что-то еще – запишитесь на прием в секретариате. Меня зовут Пауль Гринберг. Я возглавляю отдел штрафов и наказаний.

Всю дорогу от Парижской улицы мы молчали. Холберг размашисто шагал, сосредоточенно глядя перед собой. Я чувствовал, что мысли его витают далеко от сегодняшнего происшествия. Мне же снова и снова вспоминались слова Аврум-Гирша о том, что зла не существует, что зло – всего лишь низшая степень добра.

После обеда мне следовало выйти на работу – сменить доктора Красовски. С Холбергом мы расстались в квартале от медицинского блока. Мой сосед отправился по своим делам. «Кое-что проверить», – как он выразился, не вдаваясь в подробности.

Я не испытывал никакой неловкости при мысли о предстоящей встрече с Луизой Бротман, которая тоже выходила по воскресеньям на работу во второй половине дня. Совсем недавно я, наверное, сгорел бы от стыда при одной мысли о своей нынешней роли помощника сыщика. Теперь же меня всерьез увлекла процедура расследования – настолько, что личности как жертвы преступления, так и тех, кого я, вслед за Холбергом мысленно называл свидетелями, отступили на задний план. На первый же вышел вопрос: «Кто это совершил?»

Действительно, кто? Кому настолько помешал режиссер Ландау? Увы, мне ничего не приходило в голову, так что, в конце концов, я махнул рукой и решил дождаться вечера, чтобы послушать, к каким выводам пришел за день г-н Холберг.

Подходя к медицинскому блоку, я замедлил шаги. Мне предстояло не только общение с новой Луизой – монахиней и крестной матерью убитого режиссера. Я должен был вернуть ей остаток морфина. Только поднимаясь по ступеням крыльца, я вдруг понял, что это может оказаться опасным – тот же Красовски, найди он у меня ампулы (неважно, в кармане или в комнате), не замедлит обвинить несимпатичного ему доктора Вайсфельда во всех смертных грехах, от лицемерия до элементарного воровства. Насколько я знал, морфина в официальных запасах медикаментов не было, но почему бы не предположить, что я обменял на него имевшиеся на складе лекарства?

Погруженный в эти невеселые думы, я миновал коридор, рассеянно отвечая на приветствия заполнивших его посетителей. Несмотря на воскресный день, больных было не меньше, чем в будни. Как всегда, г-жа Бротман уже сидела за столом с картотекой. Красовски отсутствовал. Луиза приветствовала меня кивком. Ее взгляд показался мне не таким теплым, как обычно.

Конечно, я мог ошибаться. Мне трудно было забыть о позавчерашнем долгом и тягостном разговоре, из которого я узнал так много неожиданно о своей верной помощнице. Ей же, по-видимому, не очень понравилось наше утреннее присутствие в бараке пастора Гризевиуса.

– Успели отдохнуть? – спросил я.

– Да, благодарю вас, – сухо ответила Луиза. – Все хорошо.

Я вымыл руки.

– Что у нас сегодня?

– То же, что и всегда, – Луиза пододвинула к себе пачку квадратных карточек. – То же, что и всегда, – повторила она. – Доктор Красовски уже ушел.

От этого известия я почувствовал облегчение – по вполне понятным причинам.

– Прежде чем я начну прием... – я подошел к столу. – Прежде чем я начну прием, Луиза, я должен вернуть вам кое-что. Хотел сделать это утром, но не успел, – с этими словами я положил на стол коробку с ампулами. – Только, пожалуйста, спрячьте это сразу же, не дай Бог, кто-нибудь найдет.

Г-жа Бротман посмотрела на плоскую коробку без надписей. На лице ее появилось выражение брезгливого отвращения.

– Нет-нет, доктор, мне они больше не нужны... – сказала она. – Я не хочу никаких напоминаний об этом кошмаре. И потом – я просто не знаю, что с ними делать. Пусть лучше они остаются у вас, доктор Вайсфельд.

– Возьмите и спрячьте, говорю вам! – я невольно повысил голос и сам этому удивился. – И запомните, Луиза: вы ни в чем не виноваты, вы поступили великодушно...

Она хотела возразить, но передумала. Закусила губу и молча спрятала злосчастную коробку в тумбу стола, под стопу медицинских карт.

– Вот так-то лучше... – проворчал я. – Обменяйте это на продукты, они вам не помешают. Да, кстати: вам известно, что Макс Ландау, похоже, ни разу не воспользовался вашим средством? То есть воспользовался, но не по назначению.

Она непонимающе посмотрела на меня.

– Да-да. На его теле отсутствуют следы инъекций.

– Как это может быть?

– Ваш подопечный обменивал морфин на продукты. А продукты передавал раввину Шейнерзону. Для детей-сирот, которые живут вместе с рабби.

Более мы не возвращались к этой теме. Я принимал больных, Луиза вела картотеку. Время тянулось очень медленно. Солнце еще не зашло, хотя почти коснулось крыш серых зданий, а я уже почувствовал себя донельзя вымотанным. Луиза приготовила мне традиционную кружку желудевого кофе.

Иной раз действие, совершенное дважды, может перейти в разряд ритуала. У меня так произошло с дневным питьем кофе. Получив из рук молчащей Луизы кружку, я вышел на улицу, обогнул здание медицинского блока и примостился здесь в тупичке на знакомой скамейке.

Солнце скрылось за горой, увенчанной замком. Как я уже говорил, ту-

ман, окружавший горную вершину, никогда не рассеивался полностью. И сейчас, после захода солнца, его лучи, причудливо преломляясь в пелене, клубящейся вокруг замка Айсфойер, окрашивались в темно-багровый тревожный цвет и придавали всему ландшафту – и Брокенвальду в том числе – характер странный и фантастический.

От домов побежали длинные и тоже причудливые тени, рассекшие пространство улиц. Даже, казалось, городские звуки, наполнявшие вечерний воздух, стали глуше и невнятнее, сливаясь в негромкий, но вполне слышимый гул, напоминавший шум крови в висках, – если бы он зазвучал вдруг снаружи.

Изменившаяся картина окружающего мира произвела на меня удручающее впечатление. Как человек с лабильной нервной системой, я всегда хуже всего чувствовал себя в сумерках, в более-менее краткий миг прохождения линии терминатора, линии, отделяющей день от ночи и ночь от дня, когда нет ни света, ни тьмы. В Брокенвальде эта особенность моей психики проявлялась особенно четко. День – время работы, ночь – отдыха. Утро и вечер, не относящиеся ни к первому, ни ко второму, создавали зыбкое и раздражающее состояние, почти не определяемое словами.

Пока я наблюдал за превращениями окружавшей меня реальности, напиток в кружке остыл, так что утратил даже слабое сходство с кофе. Тем не менее я допил его – скорее машинально – и совсем уже собрался идти, как неожиданное обстоятельство заставило меня остаться на скамейке.

В узком проходе, образованном двумя глухими стенами соседних зданий, на фоне облаков, подсвеченных снизу лучами уже зашедшего солнца, появилась черная фигура, поначалу показавшаяся мне неестественно высокой. Впрочем, искажение пропорций было следствием изменившегося освещения. Еще через мгновение я узнал в человеке Шимона Холберга. Я собрался окликнуть его, но передумал. Мой сосед вел себя очень странно. Если бы до этого здесь же прошел кто-нибудь другой, я счел бы, что г-н Холберг ведет слежку за подозреваемым, одновременно скрываясь от слежки за собой. Он быстро и бесшумно двигался вдоль одной из стен, то и дело исчезая в неровных глубоких тенях. Да и сам походил, скорее, на тень, скользившую не по земле, а по стене.

С того места, где он стоял, моей скамейки не было видно: росшее за скамьей дерево укрывало меня почти непроницаемой тьмой.

Он остановился шагах в двадцати, внимательно осмотрелся. Не знаю, что заставило меня осторожно подвинуться так, чтобы остаться незамеченным. Какое-то чувство подсказывало мне, что сосед мой совсем не заинтересован в чем-либо присутствии. Включая мое.

Г-н Холберг быстрыми неслышными шагами пересек облюбованный мною пустырь и скрылся в длинном проулке, который, как я знал, выходил к зданию Юденрата. Движимый вполне естественным любопытством, я последовал за ним.

Мой сосед шагал быстро, упершись подбородком в грудь и более не

оглядываясь. Я двигался за ним на приличном расстоянии, стараясь не упустить из вида высокую фигуру в широком бесформенном пальто.

На небольшой площадке перед Юденратом Холберг остановился и еще раз окинул пристальным взглядом окрестности. Я отпрянул за угол.

Осторожно выглянув, я обнаружил, что он уже не один. Правда, собеседника моего соседа мне разглядеть не удалось – его скрывала открытая боковая дверь, я видел лишь длинную густо-черную тень, падавшую на Холберга.

Их разговор продолжался недолго – минут пять, может быть, шесть. Затем невидимый человек что-то протянул моему другу – протянутую руку я видел достаточно четко. Рука сжимала небольшой сверток. Холберг покачал головой. Некто, стоявший за дверью, произнес какую-то фразу. Бывший полицейский нехотя взял сверток. После этого рука исчезла, боковая дверь захлопнулась.

Г-н Холберг еще какое-то время стоял, задумчиво разглядывая сверток. Затем сунул сверток в карман и пошел назад.

Я ждал в стену. Видимо, небо услышало мои молитвы. Он быстро прошел в двух шагах от меня погруженный в свои мысли и не заметил меня. Когда мой сосед оказался достаточно далеко, я позволил себе перевести дух.

Вернувшись в кабинет, я вновь занялся приемом больных. Но мысль о загадочных действиях моего соседа не давала покоя. С кем он мог встречаться? С какой целью? Что за предмет передал ему невидимый незнакомец?

Имеет ли это отношение к расследованию убийства режиссера Ландау?

Можно было, конечно, предположить, что Холберг вынужден ежевечерне докладывать о ходе расследования господам Шефтелю и Зандбергу. Но вряд ли это заставило бы его приходить в Юденрат тайно. Ведь не приходило же ему в голову скрывать от кого бы то ни было, что расследование он ведет с разрешения властей! Я вспомнил сцену, случившуюся утром, во время ареста пастора Гризевиуса и отца Серафима. Тогда Холберг немедленно предъявил свой документ, избавив от ареста и меня, и себя.

Значит, его тайный визит в Юденрат, скорее всего, не связан с расследованием. Тогда с чем же?

Неожиданная мысль заставила меня замереть на месте. Я как раз направлялся к двери проверить – остались ли еще посетители. Луиза удивленно посмотрела на меня. Я смущенно улыбнулся своей помощнице, проворчал: «Ничего, все в порядке...»

Что, если в обмен на разрешение заниматься следствием г-н Холберг дал согласие стать осведомителем? Неважно – Юденрата ли, коменданта, но – агентом-информатором. И какими сведениями он расплачивается за право быть сыщиком?

У меня заныли виски и затылок, как будто от небольшого скачка давления. Менее всего мне хотелось, чтобы г-н Шимон Холберг, к которому я уже испытывал вполне искреннюю симпатию и безусловное уважение, оказался заурядным шпиком. Конечно, он не походил на осведомителя, каким я его себе представлял. Но, может быть, я неправильно представлял себе осведомителя?

Вернувшись домой, я застал Холберга сидящим у окна на ящике в привычной позе нахохлившейся птицы. Пальто, которое он не снял, спало широкоими складками, вызывая ассоциацию со сложенными крыльями.

– Вот и вы, доктор, – приветствовал он меня. – Берите кресло – я имею в виду вон тот ящик – и присаживайтесь. Сегодня я вас кое-чем порадую.

Я последовал приглашению, раздумывая, спросить ли его о странной встрече, свидетелем которой невольно стал.

– Вы ведь курильщик, верно? – спросил Холберг. – Впрочем, что я спрашиваю. Недавно вы сами признавались в том, что мучаетесь без табака больше, чем от недостатка еды.

Действительно, не далее как вчера я мельком упомянул о периодически возникавшем у меня желании закурить.

– Ну вот, – он заговорщически подмигнул и извлек из кармана небольшой сверток – тот самый, полученный от неизвестного. – Угадайте, что здесь?

Я молча пожал плечами. Холберг неторопливо развернул оберточную бумагу и показал мне плоскую черную картонную коробку с золотым тиснением. Раскрыв ее, он торжественно протянул мне.

– Прошу вас, угощайтесь, доктор. Сигары! Редкая для Брокенвальда вещь. И, между прочим, запрещенная – так же, как алкогольные напитки. Но мы ведь позволим себе нарушить предписания коменданта, верно? Хотя должен вас предупредить: нарушение запрета на курение влечет за собой арест до десяти суток.

Я осторожно взял коричневую трубочку с золотым пояском. Она была красива и элегантна, на ее пояске красовался имперский орел со свастикой.

– Конечно, это не настоящая сигара, – заметил Холберг. – Эрзац. Всего лишь бумага, пропитанная никотином. Но все-таки хоть какая-то замена. И даже, по-моему, немного пахнет сигарным табаком... – у него в руке появился осколок стекла, которым он ловко отрезал кончик сигары. – Вот, воспользуйтесь этим осколком, Вайсфельд. Не надо откусывать, мокрая бумага, даже если она пропитана никотином, оставляет во рту мерзкий вкус.

Я так и сделал. Он поднес мне зажженную спичку, прикурил сам. Тут же закашлялся. Впрочем, я и сам с трудом сдержался, ибо горький дым мгновенно вызвал соответствующую реакцию, мгновенно развеяв восхитительную иллюзию, вызванную нарядным видом имперских эрзац-сигар. Тем не менее от искушения трудно было отказаться.

Какое-то время мы курили молча. Нельзя сказать, что с наслаждением – во всяком случае, я, – скорее, с каким-то странным чувством, похожим на ностальгию и слегка покальвающим память всякий раз, когда мне удавалось уловить в дыме от горелой бумаги слабый табачный аромат. Наверное, его и не было в действительности.

Так я получил ответ на один из мучавших меня вопросов – что за сверток получил мой друг от таинственного незнакомца. Но зато появился вопрос другой: платой за что стали эти запрещенные в гетто бумажные трубочки? То, что сигары являлись именно платой, у меня сомнения не вызы-

вало. Платой за осведомительство? Или за результаты следствия? Но следствие – пока, во всяком случае, – ни к чему не привело.

Или же мой друг пошел по пути доктора Красовски – стакнулся с контрабандистами. При этой мысли я вдруг испытал некоторое облегчение. Контрабанда – преступление, но на фоне сотрудничества с властями оно выглядело куда как невинно. Во всяком случае, в моих глазах. Я вдруг вспомнил слова рабби Шейнерзона об относительности зла.

Холберг, молча наблюдавший за мной с бесстрастным лицом, вдруг спросил:

– О чем вы думаете, Вайсфельд? Если это, конечно, не секрет.

Я ответил вполне искренне:

– Мне снова пришли на ум слова рабби Шейнерзона. Насчет того, что абсолютного зла не существует. Что зло – относительно. Странно, правда? Но именно здесь, в гетто, начинаешь иной раз думать: а ну как он прав? И зло – на самом деле, добро. Пусть всего лишь низшая ступень, но – добра! Что скажете, Холберг? Вас это не удивляет?

– Что тут может удивлять, Вайсфельд? – спросил он, задумчиво глядя на редкие огоньки в сгустившихся сумерках. – В конце концов, все может быть объяснено совсем не так, как нам кажется сегодня.

– Например?

– Например, некоторые особенности жизни в Брокенвальде. Голодный паек? Но сейчас идет война, испытывают недостаток и даже бедствуют многие жители самой Германии. А здесь, в Брокенвальде, большая часть – подданные иностранных, враждебных государств. Разве не так? Или вот – здесь запрещают табак и алкоголь. Но можно ведь и это расценить не со знаком минус, а со знаком плюс, правда? Например, как заботу о здоровье обитателей гетто. Вы же медик, вы сами знаете, сколь пагубно могут отразиться подобные излишества при нехватке нормальной пищи. А о продуктах я уже говорил... Можно найти много рационального в приказах коменданта – в конце концов, он заботится о дисциплине, а без дисциплины в тяжелых условиях войны и гетто выжить тяжело, – он повернулся ко мне, и я увидел смутную улыбку на его лице. – Все можно объяснить различными способами. И во всяком зле обнаружить всего лишь низшую степень добра, как сказал наш раввин.

– Сегодняшнее событие тоже может иметь положительную интерпретацию?

– Какое событие вы имеете в виду?

– Арест пастора и священника. Запрет на христианское богослужение. То, что запретили еврейские обряды, еще укладывается в какую-то логику – логику гетто. Но при чем тут месса? Нет, это я не понимаю.

– Напротив, – ответил он серьезно. – И это столь же логично – разумеется, я имею в виду ту логику, которую вы удачно назвали логикой гетто. Разве вы сами этого не понимаете? Еврей-христиане всегда испытывали некий дискомфорт: в глазах других христиан они все равно несли печать происхождения. В глазах же соплеменников, оставшихся в лоне иудаизма,

выглядели ренегатами. Новое распоряжение комендатуры позволит им преодолеть эту душевную раздвоенность и соединиться со своим народом.

Как я ни старался, мне не удалось уловить в голосе моего друга ни малейшего намека на иронию.

После короткой паузы, он сказал – уже другим, деловым тоном:

– Я всего лишь сыщик. И для меня зло – очень конкретно... – он погасил окурок. – Вы еще не хотите спать?

– Нет, нисколько.

– Очень хорошо. Тогда, доктор Вайсфельд, расскажите о ваших встречах с покойным режиссером. Я уже убедился в вашей наблюдательности и, честно вам скажу, очень рад, что нашел такого помощника. Итак, я слушаю вас, доктор.

Слова его мне польстили – притом, что я совсем не был уверен в их искренности. Тем не менее я постарался возможно подробнее воспроизвести мою историю знакомства с Максом Ландау, вплоть до последнего его появления в моем кабинете вместе с женой. Г-н Холберг слушал с обычным внимательно-благожелательным видом. По поводу первой моей встречи – давней, в нацистской Германии – с Ландау он не задавал никаких вопросов. Когда же я заговорил о том, как оказался рядом с режиссером в очереди за обедом, он оживился и попросил меня рассказывать как можно подробнее.

– Это ведь произошло незадолго до убийства, – объяснил Холберг. – Каждая деталь может оказаться важной. Даже если поначалу она показалась вам мелочью. Например, какая-то черта поведения, которая выглядела странной. Может быть, кто-то подходил к нему в очереди. Может быть, он с кем-то заговаривал. Вспомните все очень подробно, Вайсфельд.

– Кроме меня, он разговаривал только с Самуэлем Горански, – сказал я. – В «Купце» он играл Антонио... Ах да, вы же не смотрели спектакль...

Я рассказал о старом попрошайке и об удивившем меня трогательно-нежном отношении к нему язвительного Ландау. Затем перешел к раздражению по отношению к жене, раздражению, которого режиссер не только не стыдился, но даже словно выставлял напоказ.

– Да-да... – пробормотал Шимон Холберг. – Но об этом мы уже знаем. И, думается мне, оценка самой госпожи Ландау совершенно точна. Она верно оценивала причины поведения мужа. Я уже думал об этом. Макс Ландау любил свою жену. Очень любил. Любил до безумия. И его поведение, как мне кажется, имело совершенно иную причину – любовь. Он надеялся, что госпожа Ландау, в конце концов, не выдержит его упреков, скандалов и прочего – и бросит его. А значит, уйдет из гетто. Похоже, все действительно обстояло именно так... Вернемся к вашему разговору. Значит, ничего странного в его поведении не было?

– Мне кажется, нет... – я честно попытался вспомнить все детали той встречи. – Он вел себя в обычной своей манере, насколько я могу судить. Экзальтированной, излишне эмоциональной. Но таковы, я думаю, многие творческие личности. Правда... – еще раз вспомнив поведение Ландау, я вдруг

подумал, что ему есть иное объяснение. – Мне кажется, что он все время выводил себя на выплескивание эмоций еще и по чисто медицинской причине.

– Что вы имеете в виду? – спросил Холберг.

– Его болезнь. Судя по тому, что вы сказали, он не пользовался морфином, который ему передавала Луиза. Наверное, ваша догадка справедлива, и он действительно обменивал морфин на продукты, а продукты отдавал ученикам рабби Шейнерзона.

– Кстати, – сказал Холберг, – это уже не догадка. Я побеседовал с госпожой Ракель Зильбер. Она действительно помогала Максу Ландау обменивать морфин на продукты. Знаете, на продовольственном складе разработана целая система хищения продуктов. То есть хищениями это трудно назвать – просто сведения об умерших они подают на сутки позже. Отсюда всегда имеется излишек продуктов... Да, юная Ракель взяла две ампулы, предназначенные для обмена покойным... – он помолчал немного. – Я посоветовал ей сделать то, что собирался сделать господин Ландау. Передать продукты рабби Шейнерзону для его учеников.

– Думаете, она так и сделает? – спросил я.

– Уверен, – ответил Холберг спокойным голосом. – Возможно, сделала уже сегодня. Не сомневайтесь, Вайсфельд, госпожа Зильбер – очень порядочная и очень несчастная девушка. Здесь, в Брокенвальде, она лишилась родителей. И семью ей заменил Макс Ландау. Она обрадовалась, когда узнала, что ей представляется возможность сделать то, что не успел сделать ее кумир. Она ведь не знала – что делает Ландау с продуктами, которые обменивает на морфин. Сегодня Ракель Зильбер впервые не чувствует себя преступницей – ведь она, оказывается, участвовала в миссии по-настоящему благородной... Но я вас перебил, доктор. Продолжайте, прошу вас.

– Я хочу сказать, что, поскольку покойный режиссер не пользовался морфином, ему приходилось справляться с болями без лекарств. И мне кажется, что своими эскападами он еще и старался заглушить физические страдания. При этом – вспомните – госпожа Ландау сказала, что в последний месяц скандалы между ними стали много чаще. Причина та же.

– Bravo, – серьезно заметил Холберг. – Очень точное наблюдение, доктор. Признаться, об этом я не подумал. Хотя и жил в предоставленном им помещении. Но он бывал там редко, и в эти редкие часы я уходил из гримерной, чтобы не мешать. Поэтому мне ни разу не довелось быть свидетелем его взрывов. Да, вероятно, вы правы. И даже наверное правы.

Я снова вспомнил покойного режиссера, с его резкими колебаниями настроения, с дерзостью по отношению к окружающим. Вспомнил, как он выкрикивал первый монолог Шейлока в лицо немцам, вспомнил...

– Постойте, – сказал я охрипшим от волнения голосом. – Вы спрашивали о странности в поведении. При нашей первой встрече у кухонного блока. Кажется, я кое-что вспомнил. Мне показалось, что в какой-то момент он кого-то увидел... Знаете, Холберг... Он повел себя так, как будто увидел кого-то, кого никак не ожидал увидеть.

– Увидел в очереди? – переспросил Холберг.

Я помотал головой.

– Нет, не в очереди. На противоположной стороне. Там как раз проходили новички. В тот день пришли сразу два транспорта – из Берген-Бельзена и из Марселя.

– То есть он увидел кого-то в группе новичков?

– Нет, я не уверен, – я уже не был уверен даже в том, что все происходило именно так. – Возможно, кто-то просто стоял на противоположной стороне, когда проходили новенькие.

Уловив нотки сомнения в моем голосе, Холберг спросил:

– Но он действительно кого-то увидел? Или просто запнулся... закашлялся... задумался о чем-то? – он неопределенно повел рукой. – Знаете, как бывает иногда – неожиданная мысль приходит человеку в голову, он теряет нить разговора. Или же произошло то, о чем вы сами только что говорили, – приступ сильной боли?

– Может и так... – во мне крепла уверенность, что все сказанное явилось плодом моей фантазии. – Может быть, вы правы. Но мне тогда показалось то, что показалось.

Холберг на мгновение задумался. Махнул рукой.

– Хорошо, – сказал он. – Пока оставим это. Вы упоминали о его визите в медицинский блок. Вместе с женой. Накануне спектакля. Что-нибудь вам запомнилось в его поведении?

– Только то, что уже получило объяснение, – ответил я. – Его отношение к жене. Он оскорблял ее, требовал, чтобы мы запретили ей ходить на работу. Но едва г-жа Бротман сказала, что в этом случае его жене урежут паек, как он тут же остыл и вышел. А затем вернулся. Был очень любезен, вручил нам билеты на спектакль.

– И все?

– Все... – мне казалось, что я упустил важную деталь, нечто, маячившее на периферии сознания и никак не желавшее оформиться в четкий образ. – Нет, погодите... – я закрыл глаза. – Погодите... Что-то такое было в тот день еще. Я имею в виду, во время его визита в медицинский блок. Так...

Я вызвал в памяти коридор, в котором сидели несколько больных. И Макса Ландау, с виноватой улыбкой вручающего мне пригласительный билет. А затем...

– Да, – сказал я. – Кажется, я вспомнил. Он произнес странную фразу. Он спросил – кто эти люди... Там ожидали приема несколько новичков. И когда я сказал – из Франции, он засмеялся и спросил: «Да? Из Франции? А из России у вас, случайно, никого нет?» Примерно так. А потом снова засмеялся и сказал, что это шутка.

– Вот как... – протянул Холберг. – Снова новенькие. Что бы это могло значить, Вайсфельд? Я имею в виду его слова о России. Как вы думаете?

– Не знаю, – ответил я. – Может быть, он имел в виду широту охвата. От Франции до России. От Запада до Востока. Знаете, художественная натура.

Холберг промышал что-то невразумительное, судя по интонации – выражая таким образом согласие с моим мнением. Его острый птичий профиль вырисовывался на фоне подсвеченного прожектором темно-багрового неба, словно вырезанный из картона и окрашенный черной краской персонаж индонезийского театра теней. Во время пребывания моего на Востоке мне пару раз довелось видеть представления такого театра. И я вспомнил еще, что характер перехода линии носа в линию лба на силуэте определял свойства персонажа для зрителей: если нос удлинённый, аристократичный и составляет с линией лба одну линию – персонаж героический и, безусловно, положительный. Если же указанные линии соединяются под углом – персонаж отрицательный. Возможно даже демон.

Линия носа моего соседа действительно почти продолжала линию лба, и, значит, в соответствии с эстетикой индонезийского театра, он мог быть только положительным героем, вышедшим на схватку с демонами.

В сердце каждого взрослого живет ребенок. И я не составляю в данном случае исключения, ибо меня успокоило это наблюдение. Настолько, что недавние подозрения стерлись из памяти, словно их и не было.

Я продолжал разглядывать Холберга. Он на миг поднял руку и протер глаза, напомнив давешнюю свою жалобу на периодическую боль и воспаление.

– Ваши глаза, – сказал я. – Они у вас действительно болят? Или вам нужен был повод задержаться в моем кабинете?

– Повод? – черный силуэт даже не дрогнул. – Совсе нет. У меня действительно болят глаза. Последствия давней контузии, заработанной мною на Западном фронте в ноябре шестнадцатого года. На Сомме... – по интонации мне показалось, что он улыбнулся. – Кстати, вы знаете, Вайсфельд, что там же и тогда же был ранен фюрер? Наши роты соседствовали. Я был знаком с его командиром. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, мы даже встречались сразу после войны на каком-то собрании бывших фронтовиков... Да, а моя болезнь усугубилась в последние годы. Бродяжничество не способствует здоровью, хотя некоторые романтически настроенные личности завидуют, например, цыганам.

– В наше время даже романтики вряд ли позавидуют цыганам, – заметил я. – Удел, уготованный им нацистами, ничем не отличается от еврейского.

– Да. Верно... Знаете, я ведь был арестован вместе с остатками одного цыганского табора. Я, видите ли, в своих странствиях добрался аж до Румынии. И какое-то время жил в Трансильвании. Вместе с теми самыми цыганами прятался в развалинах какого-то средневекового замка в Тимешоарах. Местные крестьяне говорили, что это замок Влада Цепеша – самого графа Дракулы, знаменитого вампира. Большую часть времени я скрывался в подземелье, выходил только в сумерках, а чаще – по ночам. Так что глаза мои привыкли к ночной тьме и отвыкли от дневного света. Впрочем, я и прежде не любил светлое время суток. После контузии мне долго при-

шлось носить дымчатые очки, которые меня изрядно раздражали. А снимать я их мог только в сумерках. Вот я и разлюбил день. Зато ночью я порою мог обходиться без освещения. Да и сейчас могу. Это весьма пригодились в бытность мою полицейским...

– А что же Тимешоары? – напомнил я. – Что произошло с теми цыганами, которых арестовали вместе с вами?

– Их отправили в Берген-Бельзен, – ответил он. – А меня – сюда, в Брокенвальд. По причине... Впрочем, это уже другая история. Когда-нибудь я вам ее расскажу... Знаете, доктор, – он повернулся ко мне, я видел, как в красноватом зареве на мгновение странно блеснули его глаза, – никто из цыган, среди которых я тогда оказался, ни разу не спросил меня, кто я такой. И это, наверное, хорошо: ведь полицейский для них всегда враг, даже если судьба поставила их по одну сторону. Ко мне они относились с некоторым суеверием. Причиной которого, кстати, было мое умение видеть в темноте. Не удивлюсь, если они меня самого отождествили с легендарным хозяином замка... – он негромко рассмеялся. – Представляете – знаменитый вампир вместе с транспортом цыган оказывается в лагере Берген-Бельзен. И начинает действовать в соответствии со своими привычками. Как вы полагаете, останется ли он для нас воплощением зла, если его жертвами станут эсэсовцы?.. Все относительно, – пробормотал он, поднимаясь с ящика и укладываясь на свой матрас. – Все относительно. Спокойной ночи, Вайсфельд.

Глава 8

Утром Холберг, старательно проделав весь комплекс своих китайских упражнений и дыхательной гимнастики, вернулся на чердак. Я же отправился на работу, пребывая в некоторой растерянности. Мне никак не удавалось нащупать зацепку в деле об убийстве Макса Ландау, которая помогла бы вывести нас на преступника. Столь соблазнительная на первый взгляд история с морфином разрешилась вполне – разговором Холберга с госпожой Зильбер в ней была поставлена точка. Никто из тех, кто соприкасался с убитым в последние дни, похоже, не имел отношения к его убийству. Я перебирал в уме все имена – начиная с председателя Юденрата Генриха Шефтеля и заканчивая моей помощницей Луизой Бротман.

Вчерашний разговор с Холбергом о странностях поведения режиссера придал моим мыслям новое направление. Я то и дело обращался к последним встречам с г-ном Ландау, пытаюсь до мельчайших деталей вспомнить его слова и даже жесты. Вот мы стоим у ящиков на кухонном блоке... Вот он вбегает в кабинет с гневным выражением лица... Вот, уже с другим выражением, он в коридоре вручает мне пригласительный билет ...

Долго предаваться размышлениям мне не удалось. Улицы гетто не очень приспособлены для отвлеченных умственных упражнений – пото-

му хотя бы, что всегда полны народу. Особенно в будние дни по утрам. Большинство моих сограждан торопливо шли в направлении кухонного блока, меньший поток двигался навстречу. Некоторые неподвижно сидели и стояли вдоль серых стен – то ли ожидая чего-то, то ли просто не имея сил для ходьбы. Все это напоминало хаотическое броуновское движение молекул и атомов. Причем не только своей непрерывностью, но и кажущейся безрезультативностью: у стороннего наблюдателя должно было сложиться устойчивое впечатление о мнимости движения и об истинной неподвижности всех частиц-людей. Если прибавить к этому удивительную похожесть лиц – вне зависимости от пола и возраста стертых примерно в равной степени, если прибавить общность их выражений и в равной степени сношенную, тусклую, выцветшую одежду, сравнение с единообразными молекулами, беспорядочно снующими в разных направлениях и остающимися, по сути, в неподвижности, не казалось плодом чрезмерной фантазии.

Плотность человеческого потока, по мере продвижения моего к медицинскому блоку, возрастала, что заставило меня, по крайней мере временно, окончательно забыть об убийстве режиссера Макса Ландау и сосредоточиться на лавировании среди встречных.

С самого пробуждения я чувствовал легкое головокружение, причиной которого могла быть слабая толика никотина, содержащаяся в выкуренной вчера эрзац-сигаре. От калейдоскопа прыгающих лиц и странного смешения запахов головокружение усилилось, так что на углу улиц Галки и Скверчичи мне пришлось остановиться и прислониться к стене.

Здесь меня неожиданно нагнал Шимон Холберг.

– Что с вами? – встревоженно спросил он. – Вы очень бледны. Боюсь, это моя вина – вам не следовало вчера курить. После большого перерыва, да еще при регулярном недоедании... – он покачал головой. – Давайте-ка, доктор, я вас провожу.

Для меня его появление было большим облегчением. Я действительно чувствовал себя скверно – к головокружению прибавилась общая слабость. Тем не менее я сделал слабую попытку обойтись без его помощи.

– Вы как будто собирались остаться дома, – сказал я. – Передумали? Если это связано со мной, не стоит беспокоиться, Холберг. Я вполне дойду до службы самостоятельно.

– Ничего, все в порядке, доктор, – Холберг улыбнулся. – Я изрядный эгоист, так что из нашей совместной прогулки надеюсь извлечь максимум пользы для расследования. Пойдемте. Если вам действительно тяжело, можете опереться на мою руку.

Мы продолжили путь вместе, причем – странное дело – несмотря на то, что вдвоем мы занимали на тротуаре больше пространства, чем я один, встречные задевали нас гораздо реже.

– Не даст мне покоя сказанное вами насчет поведения господина Ландау накануне смерти, – Холберг сосредоточенно смотрел перед собой, не

забывая при этом слегка придерживать меня за локоть. – Кого он увидел? Что его удивило?

– Вы полагаете, его поведение связано с убийством? – спросил я.

Холберг пожал плечами.

– Все может быть, – ответил он задумчиво. – Конечно, *post hoc – ergo, propter hoc* – пример ложного умозаключения, но в расследовании убийства любая деталь поведения жертвы непосредственно перед преступлением зачастую становится единственным ключом к разгадке. И если мы знаем, что накануне убийства нечто насторожило господина Ландау – ведь его что-то насторожило, верно? – то нам следует попытаться ответить на вопрос: что именно? Так что я решил заняться проверкой заключенных, прибывших в Брокенвальд тем транспортом.

– В тот день было два транспорта, – напомнил я. – Один из Франции, из Марселя. Бывшая неоккупированная зона. Второй – из Берген-Бельзена.

– Да-да, я помню, – Холберг кивнул. – У меня есть основания предполагать, что покойного Ландау заинтересовал все-таки именно марсельский транспорт. И это определенным образом облегчит поиски.

– Почему вы так думаете?

– Но вы же мне вчера именно об этом и сказали! – заметил мой друг, немало меня удивив. И тут же пояснил: – По вашим словам, придя к вам с женой в день премьеры, он заинтересовался кем-то в коридоре. А этот кто-то входил в группу заключенных, прибывших из Франции. Он ведь спросил вас – откуда прибыл новый транспорт. И вы ответили...

– И я ответил – в основном из Франции, – сказал я. – Да, именно так.

– Значит, в тот момент в коридоре находились заключенные, прибывшие из Франции, – заключил Холберг. – Потому я и говорю, что поиски немного облегчаются. Хотя и это – работа адская.

Я хотел спросить, каким образом он намеревается осуществить свою проверку. Вряд ли г-н Шефтель ознакомит его с картотекой вновь прибывших. Если только г-н Холберг не приведет в действие те самые связи, о которых он упоминал вскользь. Мне вспомнилась вдруг вчерашняя сцена, невольным свидетелем которой я стал: мой сосед о чем-то беседует с незнакомцем у заднего крыльца Юденрата. Нет, спрашивать о возможностях Холберга я вряд ли рискну. А даже если рискну, он, скорее всего, не ответит откровенно. Во всяком случае, так мне казалось.

В это самое мгновение людской поток, двигавшийся нам навстречу и казавшийся бесконечным, вдруг остановился и словно распался надвое, образовав относительно широкий проход посредине улицы. Мы тоже остановились.

Спустя короткое время стала понятна причина происшедшего. По мостовой в направлении ворот двигалась скорбная процессия. На четырехколесной телеге, в которую была запряжена крепкая гнедая лошадка с коротко подстриженной гривой – одна из трех, являвшихся собственностью Юденрата, – стоял сколоченный из струганых досок гроб. Телегу сопро-

вождали несколько человек, среди которых с некоторым удивлением я обнаружил председателя Юденрата Генриха Шефтеля и глав обеих христианских общин – отца Серафима и пастора Гризевууса. С лица пастора еще не сошли следы побоев, а губа, рассеченная полицейской дубинкой, казалась почти черной. Отец Серафим тоже выглядел не лучшим образом – глаза его глубоко запали, а острые скулы выпирали так, словно за сутки пребывания в тюрьме он похудел минимум килограммов на десять. Оба священнослужителя являли собою контраст внешне вполне благополучному г-ну Шефтелю, не утратившему своей дородности, с пышными, закрученными вверх усами. Правда, так же, как прочие жители гетто, председатель Юденрата был коротко острижен.

Правду сказать, мое мнение о Шефтеле диктовалось личной неприязнью к еврейскому руководству гетто. И базировалась моя неприязнь, как я подозревал не без оснований, на несложившихся отношениях с одним из членов Юденрата – моим непосредственным начальником доктором Алексом Красовски.

На углу, как раз напротив нас, похоронная процессия остановилась – из-за внезапно заупрямившейся лошади. Пока хмурый возница с длинным кнутом, заткнутым за голенище рыжих потрескавшихся сапог, поправлял запутавшуюся ветхую сбрую, обрывая при этом бумажные черные цветы, кем-то вплетенные в короткую гриву, г-н Холберг, не отпуская моего локтя, шагнул с тротуара, увлекая за собой меня, и мы оказались рядом с отцом Серафимом.

– Отец Серафим, здравствуйте, – сказал Холберг. – Рад, что вас уже освободили...

Священник окинул потухшим взглядом сначала его, потом меня.

– А, это вы... Да. Здравствуйте, господа. Господин доктор Вайсфельд и господин полицейский, господин... Да, вас зовут Холберг. Да, господин Холберг, нас отпустили. Вчера же вечером благодаря заступничеству господина Шефтеля, – он покосился на председателя Юденрата, бросившегося помогать вознице. – А вот сегодня... – он показал на гроб и сокрушенно покачал головой. – Как видите.

Холберг тоже посмотрел на гроб, похожий на обычный длинный и узкий ящик.

– Кто-нибудь из ваших прихожан? – участливо спросил он.

– Прихожан? Нет-нет, господин Шейнерзон не был моим прихожанином, что вы. Просто мы с пастором сочли необходимым отдать ему последний долг. Ведь, кроме нас, в Брокенвальде теперь не осталось священнослужителей...

До меня не сразу дошел смысл сказанного. Когда же дошел, головокруженье, почти прекратившееся, вернулось резко и с такой силой, что я едва не упал. И упал бы, если бы не рукав арлекинского плаща моего друга, в который я вцепился в последний момент...

Холберг, похоже, был поражен не меньше моего:

– Господин Шейнерзон... Погодите, отец Серафим, вы хотите сказать, что рабби Аврум-Гирш умер? Боже мой, какое несчастье...

С упрямой лошастью и ее сбруей, наконец, удалось справиться. Процессия двинулась дальше. Мы пошли рядом с отцом Серафимом, подстраиваясь к его семенящей походке.

– Мы виделись с ним позавчера, никаких признаков болезни я не заметил, он показался мне вполне здоровым, – г-н Холберг выглядел искренне расстроенным. – Надо же...

Только сейчас я обратил внимание, что кроме Шефтеля, Гризевиуса и отца Серафима за гробом в некотором отдалении шла маленькая группа знакомых нам мальчиков – учеников рабби Аврум-Гирша.

Отец Серафим, опасливо оглянувшись по сторонам, сказал еле слышно:

– Рабби не был болен. И умер он не от болезни. Тело обмывали при мне. У него на шее рана, вот тут, – священник осторожно коснулся пальцем своей яремной впадины и тут же поспешно убрал руку. – Вот тут – рана. От ножа. Или... В общем, от чего-то острого.

Холберг невольно оглянулся и, тоже понизив голос, произнес:

– Вы хотите сказать, что рабби был убит?

Священник молча кивнул.

– Разрез широкий? – спросил Холберг вполголоса, так что даже мне приходилось напрячь слух. – Простите святой отец, вы не специалист, да и не время сейчас. И не место. Но все-таки: как вы полагаете, лезвие ножа, которым был убит рабби, широкое или узкое?

Отец Серафим задумался и даже немного замедлил шаг. Пастор Гризевиус покосился на нас с неудовольствием, но ничего не сказал. Что же до г-на Шефтеля, то он вообще не заметил нашего появления среди провожающих.

– Узкое, – сказал, вернее, выдохнул священник. – Узкое лезвие. Сейчас мне кажется... Я даже не подумал сразу... Да, узкое, как...

– Как у медицинского ланцета? – подсказал Холберг и коротко взглянул на меня. – Как у хирургического скальпеля?

– Да-да, совершенно верно, как у ланцета, – отец Серафим оживился, но тут же снова помрачнел и зашагал быстрее, словно не желая более разговаривать с моим другом.

К выходу из гетто мы подошли в полном молчании. Полицейские, следовавшие до того в некотором отдалении, оцепили небольшой пятак, так что в центре его остались телега с гробом, г-н Шефтель, оба священника – протестантский и католический, – и мы с Холбергом. Шефтель собирался и нас удалить, но, видимо, узнав моего соседа, передумал. Прочих оттеснили в боковые улицы, выходы из которых немедленно перекрыли «синие». Оказавшись неожиданно для самого себя включенным в число близких умершего раввина, я испытал определенную неловкость. У гроба следовало бы стоять ученикам подпольной ешивы, хотя бы тому же Хаиму, оттесненному полицейскими в один из переулков и изо всех сил тянувшего голову, чтобы увидеть последние минуты змного пути своего учителя. Но

просить об этом г-на Шефтеля представлялось бессмысленным: формально у рабби Шейнерзона не было в гетто родственников. Ученики в эту категорию не входили, тем более что религиозной школы как будто и не существовало. Впрочем, в случившейся неловкости усматривался особый смысл: Холберг уже увидел в обстоятельствах гибели рабби Аврум-Гирша связь с убийством Макса Ландау, и, значит, наше присутствие здесь и сейчас необходимо. Притупив чувство неловкости этим аргументом, я постарался внимательнее следить за происходящим.

По знаку главы еврейского самоуправления двое полицейских сняли гроб с телеги и поставили его на землю. Церемония прощания обычно занимала не более десяти минут, но тут произошла внезапная заминка. Пастор Гризевийус, сказав несколько слов главе Юденрата и перебросившись короткими фразами со священником, решительно миновал оцепление и подошел к ученикам покойного рабби, сбившимся испуганной стайкой за спинами полицейских. Наклонившись к Хаиму, он что-то спросил у бывшего любимого ученика рабби Аврум-Гирша. Мальчик испуганно отпрянул, потом отчаянно замотал головой. Гризевийус оглянулся на г-на Шефтеля, затем на отца Серафима. Выглядел он растерянным. Вернувшись в круг, пастор подошел к Шефтелю и негромко сказал:

– Вот незадача – некому читать кадиш. Дети слишком малы, никто из них не достиг совершеннолетия, – при этих словах я вспомнил сказанное рабби Аврум-Гиршем при нашей последней встрече: «Кто знает, успею ли я подготовить к бар-мицве хотя бы одного из них...»

Шефтель нахмурился. Он тоже не был готов к подобной ситуации. Между тем вахтман-эсэсовец уже вышел из своей будки и мерным шагом направился к нам. «Минутку...» – пробормотал Шефтель, отстраняя пастора. Подойдя к эсэсовцу, он что-то сказал тому, указывая на стоящий на земле гроб. Эсэсовец чуть наклонил голову в глубоком стальном шлеме и вернулся в укрытие.

– В нашем распоряжении несколько минут, – сказал г-н Шефтель, вернувшись к нам. – Придется обойтись без чтения кадиша. Я не могу сейчас послать за кем-нибудь, кто знает текст. А молитвенников в гетто нет, они запрещены, и вам это известно не хуже, чем мне, – в голосе его слышалось раздражение. – Обойдемся без кадиша. Рабби Аврум-Гирш нас простит.

– Нет, – упрямо возразил Гризевийус. Его лицо приобрело багровый оттенок. – Это неправильно. Это недостойно по отношению к рабби Шейнерзону, мир его праху.

Г-н Шефтель открыл рот, чтобы возразить, но, видимо, не нашелся. Махнул рукой и зачем-то провел пальцами по нашитой на лацкан пальто шестиконечной звезде. Точно такие же звезды украшали одежду пастора и отца Серафима. Мне тут же вспомнилась висевшая в бараке пастора Гризевийуса картина «Три еврея» Лео Когена.

Пастор взглянул на отца Серафима и о чем-то задумался. Губы его подрагивали, словно он хотел что-то сказать, но не решился.

– Вы, – сказал он, наконец. – Вы, отец Серафим. В отличие от меня, вы ведь учились когда-то в ешиве. В юности. Вы же сами рассказывали мне. И, значит, вы сможете прочесть молитву по памяти. Вот вы и прочтете кадиш над несчастным рабби Шейнерзоном. Только не говорите, что не помните! У вас превосходная память, вы пересказываете наизусть Евангелия целыми главами. Я уверен, что и те молитвы, которым вас учили в детстве, вы помните не хуже.

Отец Серафим отшатнулся, словно от удара.

– Вы это серьезно? – казалось, он не верил собственным ушам. – Вы предлагаете мне прочесть над покойником кадиш? Мне, христианину? Священнику? Господи, как могло вам в голову прийти такое кощунство?

– Почему же кощунство? Отец Серафим, из всех нас вы единственный, кто знает текст молитвы и в состоянии ее прочесть! Так сделайте это! Хотя бы из милосердия! – лицо пастора Гризевиуса было спокойным, голос – по-прежнему негромким, и только на виске неожиданно проступила мерно бьющаяся голубоватая жилка. – Ну же, отец Серафим! Вы ведь были друзьями с рабби Аврум-Гиршем! И, поверьте, это самое малое, что сегодня христианин обязан сделать для еврея – проводить его к месту последнего успокоения так, как того требует иудейская религия – материнское лоно истинного христианства.

– Но я не иудей, я католик... – отец Серафим вытер прыгающей рукой разом вспотевший лоб. – Это будет похоже на кощунство не только с точки зрения христианской, но и с точки зрения еврейской...

– Оставьте, отец Серафим! – пастор повысил голос. – Все мы здесь евреи! Все! И никого другого здесь нет! Забудьте, что вы католик. Забудьте о христианстве. Вы – еврей, отец Серафим. Отныне – и навсегда... – и добавил тихо, так, что его, возможно, услышал только я один: – Отрекитесь от Христа, друг мой. Если вы, конечно, еще верите в него. Христос вас простит за это. Возвращайтесь домой...

Несколько мгновений, показавшихся нам бесконечно долгими, отец Серафим молча смотрел на пастора, тоже замолчавшего. Затем столь же долго и внимательно посмотрел на нас. И, наконец, устремил сосредоточенный взгляд на притихших учеников рабби Шейнерзона, отделенных от нас цепью «синих».

– Да, – сказал он негромко. – Вы правы, пастор Гризевиус, а я – нет. Здесь и сейчас нет и не может быть христиан. Истинный христианин в наше время обязан стать евреем. Особенно если он все еще помнит свой еврейский дом и своих еврейских родителей. Вы правы, пастор. Простите меня. Это была всего лишь минутная слабость. Трусость, если хотите. И мне стыдно.

Отец Серафим направился было к мальчикам, но снова остановился. Расстегнув воротник рубашки, он снял с шеи крестик и протянул его пастору.

– Возьмите, Гризевиус, – голос его дрогнул. – Он мне больше не нужен. Возьмите. Отныне мне достаточно желтой звезды с надписью «Еврей».

Пастор принял крестик, хотел что-то сказать, но промолчал. Отец Сера-

фим подошел к Хаиму – полицейские посторонились, – потрепал его по щеке и что-то сказал на ухо. Мальчик нахмурился, испытующе посмотрел на священника. Видимо, лицо отца Серафима внушило ему доверие. Хаим извлек из-за пазухи какой-то сверток. Отец Серафим бережно принял сверток, ласково улыбнулся любимому ученику рабби Шейнерзона и вернулся к нам. Развернув сверток, он долго рассматривал содержимое – это оказались тфилин полосами и талес, принадлежавшие покойному.

Неожиданно он улыбнулся, лицо его разгладилось. Он закатал левый рукав и принялся наматывать ремень на руку, беззвучно повторяя положенное благословение. Вторую кожаную коробочку, внутри которой находился стих Торы, он укрепил на лбу. Покрыв голову талесом, отец Серафим медленно приблизился к гробу. Его шаги казались очень медленными и тяжелыми, но вот, остановившись над гробом рабби Шейнерзона, он сказал – по-еврейски: «Барух а-Шем бэ-Олам...» Станным образом звуки еврейской речи коснулись моей памяти, и я вдруг вспомнил, что сказанное означало «Да возвысится и освятится Его Великое Имя в мире, сотворенном по воле Его...» И мои губы, раньше, чем я успел сообразить, сами произнесли: «Амен».

Он читал, с каждым мгновением голос его становился сильнее – не громче, а именно сильнее. А мы четверо стояли и слушали, как прощается с рабби Аврум-Гиршем – нет, не священник отец Серафим, а ешиботник Симха, некогда бежавший из еврейского дома, а нынче вернувшийся в него. Мы слушали и повторяли «Амен», вплоть до того момента, когда, после небольшой паузы, отец Серафим произнес: «Превыше всех благословений и песнопения, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире, и скажем: "Амен!"». В последний раз произнес «Амен!», мы замерли еще на какое-то время, медленно возвращаясь из странного, гротескного мира-сна в столь же странный и гротескный, фантастический мир-реальность, расстояние между которыми было равно расстоянию между священником Серафимом и раввином Симхой.

Сняв тфилин и талес, отец Серафим присел над гробом. По его указанию, полицейские приподняли крышку, и он бережно положил молитвенные принадлежности на грудь рабби Шейнерзону. Я успел заметить, что г-н Холберг, мгновенно сбросив с себя оцепенение, вызванное необычной молитвой, приблизился к отцу Серафиму и заглянул через его плечо. Видимо, он хотел своими глазами убедиться в справедливости сказанного священником о характере раны. Это перемещение окончательно вернуло меня к реальности.

Последовала обычная процедура проверки, вахтман в черном плаще и стальном шлеме махнул рукой. Тяжелые створки темно-красных ворот, сваренные из листового железа, с колючей проволокой по верху, медленно распахнулись, следом поднялся шлагбаум. Телега с гробом, сопровождаемая пастором, священником и председателем Юденрата, двинулась дальше – в колеблющуюся и расплывчатую мглу, словно заполненную душными испарениями, в которых мне мерещились уродливые тени, непрестанно меняющие очертания.

Затем шлагбаум опустился, ворота закрылись – и в то же мгновение цепь полицейских бесшумно распалась, а сами «синие» исчезли, словно их и не было. Мы с Холбергом остались на площади, которая уже через мгновение вновь заполнилась народом.

– Холодно... – Холберг зябко поежился. – Как похолодало сегодня. Вы не находите, Вайсфельд? – он поднял голову, посмотрел на низкое небо, затянутое тяжелыми тучами. – К вечеру пойдет дождь... По-моему, вы опаздываете на службу.

Действительно, опоздание уже составляло минимум час, и меня почти наверняка ожидал заслуженный и весьма язвительный выговор доктора Красовски. Тем не менее я вовсе не горел желанием сейчас же идти в медблок. Причина была в том, что я все еще не знал, как строить линию поведения с новой Луизой – монахиней и крестной матерью убитого режиссера.

Имелась и еще одна причина – Холберг. Мне не терпелось услышать, что же теперь думает мой новый друг и сосед о чудовищных событиях последних дней? Мне самому, после смерти рабби Аврум-Гирша, все происходящее стало казаться лишенным всякого смысла – даже того смысла, который обычно имеется в самых тяжких преступлениях.

– Маньяк... – пробормотал я, по-прежнему не двигаясь с места. Люди обходили нас, но по их лицам можно было предположить, что они не видят двух странных типов, стоящих в центре маленькой, почти круглой площади, у самых ворот. – Не кажется ли вам, Холберг, что тут действовал сумасшедший? И ваше намерение проверить заключенных, прибывших в Брокенвальд из Марселя, потеряло значение – сейчас, после гибели Шейнерзона? Да, кстати, как вы собирались это сделать? Обратиться к Шефтелю? Думаете, он позволит вам рыться в досье?

– Пойдемте, доктор, – вместо ответа Холберг потянул меня за рукав – довольно бесцеремонно. – Вам пора на работу, и я хочу вас проводить. Вы очень плохо выглядите. Хотите, я провожу вас домой, а сам зайду в медблок и скажу, что вы приболели? Такое случается даже с врачами и даже в гетто.

При этих словах я словно очнулся. Пропала плотная прозрачная пелена, укутавшая меня с момента встречи похоронной процессии и поглощавшая или, во всяком случае, существенно приглушавшая все внешние звуки и цвета.

– Нет, ничего, – сказал я. – Нет, я пойду на службу. Сейчас. Извините, Холберг, просто меня очень расстроила смерть рабби... – как все-таки искусственно звучат слова при попытке объяснить подобное состояние. – Ничего, – повторил я. – Все в порядке. Пойдемте, Холберг. Конечно, если нам по дороге.

Мы медленно двинулись прочь от ворот. Собственно говоря, Холберг явно хотел идти быстрее, но я чувствовал себя так, словно отмахал не менее двадцати километров, ни разу не присев (такое действительно случилось однажды – два года назад, осенью 41-го года, под Ригой).

Станным образом люди, шедшие навстречу, вызвали в моей памяти

слова рабби Аврум-Гирша о бесконечном обращении душ, в земных свои воплощениях искупающих прегрешения прежних жизней.

– Холберг, – спросил вдруг я, – вы никогда не задумывались о том, кем были в прошлом? В иной жизни? Сто лет назад, тысячу? Какое прегрешение могло привести вас в нынешнем вашем воплощении сюда, в Брокенвальд? В гетто? Рабби уверял, что все, происходящее с нами, определяется заслугами или проступками, совершенными нами давным-давно. Мы, разумеется, не помним. Не можем помнить о них... – я вздохнул. – Это была его излюбленная тема. Он часто говорил об этом. Даже при нашей последней встрече разговор, в конце концов, свелся именно к этому. Помните? Судьбу несчастного Макса Ландау он тоже объяснял таким образом. Он сказал: «Все дело в прошлом. Смерть пришла оттуда, из прошлой жизни. Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау»... А что, если он прав? А, Холберг? Вам не приходило в голову, что убийство режиссера и самого рабби не имеют здесь, в этой жизни, объяснения? Что никаких мотивов у убийцы не было – мотивов, которые вы сможете установить? Вот – нет, и все тут. Есть неведомые нам отношения, связавшие душу преступника с душой жертвы давным-давно, когда жертва не являлась жертвой, а преступник – преступником?

Холберг пожал плечами и ничего не ответил. Он слушал меня, не перебивая, но по рассеянному выражению его лица можно было понять, что слова мои не заставляют его задуматься.

– Смерть пришла оттуда, из прошлой жизни. Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау, – повторил я. – Все дело в прошлом...

– Да-да, – рассеянно сказал Холберг. – Все дело в прошлом. Я тоже вспомнил. Да, именно так он и сказал, когда мы прощались. Совсем недавно прощались, Вайсфельд, вчера, всего лишь сутки назад. А кажется, прошла вечность... Вечность. Я, признаться, даже не задумался над его словами. А ведь они знаменательны. Сейчас я вспоминаю, с каким вниманием слушали его мальчишки. Хотя вряд ли они понимали, о чем идет речь... – он замолчал, потом вдруг медленно произнес: – По-моему, с нами тогда стояла ваша помощница. Или я что-то путаю?

– Путаете, разумеется, – я даже остановился от неожиданности. – С Луизой, то есть с госпожой Бротман, мы беседовали днем раньше.

– Да? – он тоже остановился, чуть поморщился. – Видимо, я переутомился... – Холберг потер указательным пальцем висок. – Извините, Вайсфельд, я иной раз путаю время событий. Особенно, когда обстоятельства схожи... Ч-черт, как голова ноет... – он недовольно глянул вверх, где среди истончившихся серых облаков на мгновение показалось тусклое солнце. – Меня раздражает солнечный свет... Впрочем, вы знаете. Черт возьми, я забыл с утра закапать в глаза... – мой друг вздохнул. – Никогда раньше не жаловался на память, но, похоже, отсутствие витаминов сказывается... Забываю

услышанные слова, забываю обстоятельства... Конечно, с госпожой Бротман мы беседовали днем раньше, чем с несчастным рабби Аврум-Гиршем. Вы, безусловно, правы. Там стояла госпожа Лизелотта Ландау-фон Сакс. Ну конечно, ведь после раввина мы беседовали с ней. Верно, Вайсфельд?

Я встревоженно заглянул ему в лицо. Холберг был чрезвычайно бледен, только глубоко запавшие глаза лихорадочно блестели.

– Черт возьми, Холберг, уж не заболели ли вы? – спросил я. – Дайте-ка пощупать ваш пульс.

Он послушно протянул мне руку, сухую и горячую на ощупь, продолжая думать о чем-то своем. Пульс, как я и предполагал, оказался учащенным, с неровным ритмом и слабым наполнением.

– Да вы, похоже, всерьез заболели, мой друг, – заметил я в растерянности. – Можете свалиться в любую минуту... То ли у вас начинается серьезная простуда, то ли вы очень переутомились.

Холберг убрал руку.

– Может быть, я и в самом деле заболел, – сказал он с характерным для больного раздражением. – Не исключено, что болезнь и путает мои мысли. Что ж, такое бывает... – он вдруг зашелся коротким приступом сухого кашля. – Простите, – сдавленным голосом произнес Холберг. – Я просто поперхнулся... Да, но все-таки... Во время разговора с раввином, вот так стояли мы, вот так – мальчики во главе с юным гением Хаимом, а вот так, в нескольких шагах слева, – несколько дам... – его чуть подрагивающая рука повисла в воздухе. – Разумеется, поскольку я думаю о нашем деле, я мог перепутать одну из них с госпожой Бротман или госпожой Ландау... Ну да, теперь я точно вспомнил: там стояли три женщины, и одна из них несколько напоминала вашу помощницу. Потому я и ошибся...

Я потерял терпение. Упрямство, с которым Холберг отстаивал свое заблуждение, носило, конечно же, болезненный характер, и мне не следовало так уж жестко на него реагировать. Но сегодняшние события – да и все, произошедшие в последнюю неделю, – стали слишком серьезным испытанием для моих нервов.

– Да ничего подобного, Холберг! – запальчиво воскликнул я, не сдерживаясь более. – Никаких женщин при нашем прощании с рабби Аврум-Гиршем не было и в помине!

– Но кто-то же там стоял! – Холберг тоже повысил голос, так что двое или трое прохожих испуганно шарахнулись в сторону. Бывший полицейский покосился на них и смущенно хмыкнул. – Кто-то же там стоял, – повторил он чуть спокойнее. – Боковое зрение у меня порой острее прямого. Я ясно видел.

– Да, стояли, – я тоже немного успокоился. – Стояли. Трое или четверо мужчин, и ни один из них, уж поверьте, никак не мог вам напомнить ни госпожу Бротман, ни госпожу Ландау!

– Но как же так... – озадаченно пробормотал Холберг. – По крайней мере, одно из лиц мне определенно показалось знакомым...

– Один из них действительно мог показаться знакомым! – заявил я с поразившей меня самого запальчивостью. – Но не вам, Холберг, а мне! Потому что я его действительно знаю! Некий господин Леви, из Марселя.

Холберг забавно приоткрыл рот, отчего его лицо стало неожиданно детским.

– Господин Леви? Из Марселя? – потерянно повторил он. – Не понимаю... Неужели у меня в голове все до такой степени перепуталось? Кто такой этот господин Леви? Разве вы нас знакомили? Да-да, кажется... Когда я приходил к вам, на следующий день после убийства?.. – он огляделся по сторонам. – Бедная моя голова, что же это делается... Послушайте, Вайсфельд, похоже, это не я вам помогу добраться до работы, а вы мне – до ближайшей скамьи или ящика... Вот, хотя бы сюда, – он показал рукой на пустовавшую скамью с поломанным сидением. – Дайте-ка, я обопрусь о вашу руку. Вот так...

Устало опустившись на скамью, он виновато улыбнулся.

– Простите, Вайсфельд, что-то странное со мной происходит сегодня. Говорите, я заболел? Нет, вряд ли, это, скорее, из-за того, что я еще не завтракал. Вы, кстати, тоже. Мысли плывут, как будто впрямь при лихорадке... Да. Так что вы говорили? Я вас перебил. Да, насчет господина Леви из Марселя. С которым вы меня познакомили, когда я пришел к вам на работу. И что же господин Леви?

– Господин Леви был накануне, – сухо ответил я. – Вместе с прочими заключенными из нового транспорта. А вас я знакомил с доктором Красовски. Впрочем, нет. Я вас ни с кем не знакомил, кроме госпожи Бротман. Даже с Красовски вы познакомились без меня.

– Неужели? – теперь его лицо приобрело отрешенное выражение, словно он утратил то ли нить разговора, то ли интерес к нему, но еще пытается его поддерживать из чистой вежливости. – Да, с доктором Красовски я познакомился сам. Вы совершенно правы... – он нахмурился и сказал, обращаясь то ли ко мне, то ли к самому себе: – Я нуждаюсь в отдыхе. Вот в чем дело. И в какой-то пище. Знаете что, Вайсфельд? Попробую-ка я заглянуть на кухню. Очень надеюсь, что госпожа Зильбер угостит меня хоть чем-нибудь. А вы отправляйтесь на службу, во избежание неприятностей. Встретимся вечером. Идите, идите, Вайсфельд. Я посижу немного и тоже пойду.

На углу висела большая афиша. Она сообщала о премьере комедии Уильяма Шекспира «Венецианский купец», поставленной драматическим театром Брокенвальда. Кроме этого сообщения, на афише изображен был Шейлок, нисколько не похожий на покойного режиссера – типичный уродливый еврей с карикатуры Штюрмера. Единственное, что напоминало о том Шейлоке, представленном Ландау, были черные тени под глазами и черная же слеза, выкатывающаяся из уголка правого глаза.

На душе у меня стало совсем скверно. Я оглянулся. Мой друг сидел на скамье, укутавшись в свое нелепое пальто и упрятав длинный нос в воротник. Видимо, почувствовав мой взгляд, он поднял голову и слабо махнул

рукой. Я помахал в ответ и свернул на улицу, ведущую к медицинскому блоку. Внезапный порыв ветра сорвал плохо державшуюся афишу, и карикатурный портрет Шейлока на мгновение прилип к моей груди.

Глава 9

Вернувшись на работу, я долго не мог включиться в давно уже ставший рутинной рабочий процесс. Мое сознание словно раздвоилось. Какая-то его часть действовала, когда я принимал больных, давал указания Луизе, объяснялся с доктором Красовски – словом, занимался тем, чем привык заниматься каждый день на протяжении почти полугода с перерывами. Одновременно другая часть сознания занята была почти неотличимыми одна от другой фантастическими картинками. Я видел бесконечную череду стертых лиц, плывущих навстречу по узким улицам Брокенвальда. Время от времени вмешивалось воспаленное воображение – собственно, память, загруженная чужими снами, на которую я когда-то – целую неделю назад – жаловался покойному рабби Аврум-Гиршу. Память, которая услужливо подбрасывала мне по ночам чужие сны, сны чужих душ, зачем-то прихотливо сплетшихся в моем брэнном, неприспособленном для этого теле. Сегодня, в отличие от недавнего времени, сны начали вплетаться в реальное восприятие окружающей действительности, и я ничего не мог с этим поделать.

Воображение весьма своеобразно уточняло черты реальности. Лица представлялись мне плоскими, небрежно вырезанными из бумаги торопливыми взмахами огромных ножиц. Сама бумага – старая, пергаментного оттенка – казалась хрупкой, ломкой, отчего в изготовленных из нее лицах появлялись трещины. Этими трещинами были безгубые рты и безресничные глаза обитателей Брокенвальда. Небрежно изготовленные неправильные овалы, закрепленные на каких-то шестах, шесты, драпированные утратившими цвет тряпками, – все это напоминало кукольный театр.

Когда, во второй половине дня, устав от игр собственного сознания, я вышел в крохотный двор-тупик, видения вновь заплясали перед моими глазами, заслоня обшарпанную стену медицинского блока. Среди нереальных, картонно-тряпичных кукол, которыми представлялись мне мои товарищи по несчастью – обитатели Брокенвальда, – несколько человек выглядели настоящими людьми, а не состарившимися безжизненными игрушками: убитый режиссер Макс Ландау, погибший раввин Аврум-Гирш Шейнерзон и бывший полицейский Шимон Холберг. И в этот миг я ясно понял, почему сегодня обрушились на мою бедную голову столь странные видения, сны наяву. Удивительным образом в последние несколько дней – начиная с того момента, когда в гримерной я увидел мертвое тело Ландау, – и вплоть до сегодняшнего утра, до похорон раввина, я чувствовал, что живу настоящей жизнью. Я действовал, размышлял, двигался не механически, а по собственной инициативе.

Я почувствовал настоящую жизнь – или, по крайней мере, убедил себя в том – по той лишь причине, что столкнулся не со смертью от истощения или инфекционной болезнью, не с гибелью, порожденной невероятной скученностью и антисанитарией гетто, дрянным и недостаточным питанием, нехваткой лекарственных средств, – словом, не с тем, что каждый день происходило в Брокенвальде, а с убийством, когда один человек лишает жизни другого собственными руками и по собственной воле.

Вернее сказать, когда у меня появилась возможность поучаствовать в процессе следствия – в погоне и наказании убийцы.

– Как это ужасно... – пробормотал я вслух. – Воспринимать окружающую реальность реальностью только благодаря совершенному убийству...

«Разумеется, – знакомый голос Шимона Холберга прозвучал чрезвычайно отчетливо, я лишь через мгновение понял, что он звучит у меня в воображении. – Разумеется, – повторил воображаемый Холберг. – Ведь убийство господина Макса Ландау – это доброе старое убийство, как говорится. Убийство из довоенных времен».

– Да-да, – согласился я. – Да-да, в этом все дело... И потому вы не в состоянии его раскрыть, Холберг.

«Почему же? – лицо воображаемого Холберга дрогнуло в улыбке, губы медленно растянулись, и его рот тоже стал походить на трещину в старом пергаменте. – Я ведь и сам оттуда же, Вайсфельд. Я – сыщик из довоенных времен».

– Вайсфельд! – а вот этот голос, голос доктора Алекса Красовски, прозвучал уже не в воображении и сразу разметал остатки сна-оцепенения, опутавшего мое восприятие. Я поднял голову. Приближения моего начальника я ждал с некоторым напряжением. Утром, как и следовало ожидать, Красовски устроил мне разнос за опоздание; правда, услышав о похоронах, тотчас остыл. Сейчас он был традиционно хмур, но, к моему удивлению, не пьян. Остановившись рядом с моей скамьей, он некоторое время рассматривал носки собственных ботинок. – Вайсфельд, – сказал он, – у меня к вам просьба. Утром я прооперировал двух мужчин. По поводу гнойного перитонита. Дважды зашивал... – его лицо на миг исказила гримаса. – Ткани рыхлые, просто разрываются нитями. Все расплзается, ч-черт... Да, так вот – я хочу, чтобы вы, ближе к вечеру, перед уходом осмотрели их. Они в послеоперационном блоке. Остальные там, по-моему, идут на поправку. А эти двое... – он покачал головой. – Словом, проведите обход. Меня срочно вызывают в Юденрат. Какое-то заседание... Ночью дежурит госпожа Кестнер, опытная сиделка. Да вы ее знаете, Вайсфельд. Я вполне ей доверяю, но она придет в восемь. Так что зайдите, посмотрите... – он провел рукой по щекам, словно проверяя качество бритья. Глаза его, как обычно, были воспаленными. – Никакого смысла... – пробормотал он. – Операции, больные. Кровь, гной... Днем раньше, днем позже. Просто привычка... – он говорил словно пьяный, но спиртным от него сегодня не пахло.

– Значит, ланцет нашелся? – зачем-то спросил я.

Доктор Красовски ошалело взглянул на меня.

– Ланцет? Какой ланцет? А... – тут до него дошло, он побагровел. – Вы с ума сошли, Вайсфельд! Все еще играете в сыщика? Черт вас побери, поэтому вы и опоздали сегодня? И я должен был принимать ваших больных? – вспомнив, видимо, о похоронах раввина, он запнулся. – Плевать мне на ваши подозрения, Вайсфельд. Не забудьте осмотреть больных.

Он круто развернулся на каблуках и чуть ли не бегом направился к зданию.

Я почувствовал себя неловко, тем более что вопрос о ланцете, неосторожно сорвавшийся с моего языка, не содержал никаких намеков. Мысль эта всего лишь продолжала короткое послеполуденное видение – мысленный разговор с Холбергом. Красовски же естественным образом воспринял мои слова то ли глупой и грубой шуткой, то ли намеком на его причастность к убийству – убийству режиссера Макса Ландау. Об истинной причине смерти рабби Аврум-Гирша я не сказал ни ему, ни Луизе.

Я вытащил из кармана халата операционную салфетку, которую использовал в качестве носового платка и стер со лба пот, выступивший во время полудремы. Вновь вспомнив о Холберге и его внезапной болезни, я подумал о том, что нервное напряжение дало себя знать и в моем случае. Воображаемое замечание Холберга заставило меня задуматься и о том, что тяготы повседневной жизни в гетто в конечном итоге требовали меньше напряжения, чем несколько дней жизни, которая показалась настоящей. Возможно, впрочем, все дело в продолжительности – два с половиной года и четыре дня.

Я вернулся в кабинет, где г-жа Бротман привычно оформляла карточки сегодняшних больных – в основном, с признаками надвигавшейся инфлюэнцы и сенного насморка.

Мою помощницу кончина раввина расстроила – как любого из нас, наверное, расстроила бы кончина знакомого, но не очень близкого человека. Правда, не более того, что, впрочем, было вполне понятным. Если не ежедневно, то уж, во всяком случае, еженедельно среди тех, кого провожали за ворота в наскоро сколоченных длинных ящиках, непременно оказывался человек, с которым вы, как минимум, встречались более одного раза. Или хотя бы здоровались на улице.

Часам к шести поток посетителей иссяк. Я присел в углу у ширмы. Луиза привычно работала с картотеккой, так что карточки, казалось, сами перелетали из одного ящика в другой, на почти неуловимый миг замирая в ее красивых белых пальцах. Я задумался над причиной, побудившей столь привлекательную женщину искать смысл жизни в монашестве. Затем я вспомнил о просьбе Красовски и заторопился: до конца рабочего дня оставалось менее двух часов. Попросив г-жу Бротман заменить меня, если появятся больные, я направился в послеоперационный блок – тесную пристройку с замазанными белой краской окошками. Попасть в нее можно было, выйдя из основного здания и обогнув стоящий рядом жилой дом, похожий на казарму. Осмотрев лежавших в забытии больных, я вернулся в свой кабинет. Мой начальник был прав. Оба прооперированных были обречены.

Прежде чем уйти домой, я отыскал среди немногих медикаментов, бывших в моем распоряжении, упаковку аспирина, в которой оставались еще три таблетки. Ничего иного предложить внезапно заболевшему Холбергу я не мог. Видя, что г-жа Бротман внимательно наблюдает за мной, рассказал ей о внезапном недомогании моего друга.

– Странно, – сказала она. – Он производит впечатление человека, который никогда не болеет. Разве что чрезмерная худоба и цвет лица нездоровый. Но этим, по-моему, отличаются все обитатели нашего Брокенвальда.

«Кроме вас», – подумал я. Вслух же сказал:

– Думаю, на него подействовали похороны раввина. Мы ведь встречались с рабби за день до его смерти, – я никак не мог заставить себя сказать об убийстве. Но что-то в моем голосе заставило Луизу внимательнее посмотреть на меня.

– С этой смертью что-то не так? – спросила она. – Я хочу сказать, на вас и на вашего друга подействовала не только сама смерть, но и еще что-то? Какие-то обстоятельства? Извините, мне не следовало спрашивать. Но это как-то связано со смертью Макса?

– Холберг считает, что да, – я отвернулся и принялся шарить в тумбочке лекарств – просто чтобы не смотреть на Луизу. Она поняла, что я не расположен распространяться о подробностях. Я спрятал аспирин в карман, попрощался с нею и направился к выходу.

– Погодите, – сказала г-жа Бротман. – Вот, возьмите для вашего больного, – она протянула мне картонную коробку. – Это молочный концентрат. Горячее молоко – прекрасное средство.

Прежде чем подняться на чердак, я зашел к нашему капо. У Айзека Грановски в крохотной прихожей стоял большой бак с кипятком. В его обязанность входило обеспечение обитателей дома горячей водой, но он делал это так, словно оказывает величайшую услугу, исключительно от природной щедрости. Правда, мне он налил котелок кипятка без привычных сетований на занятость и непосильную работу, но скорчив гримасу, свидетельствующую именно об этом. Я сообразил вовремя спрятать пакет с сухим молоком, иначе мне пришлось бы оставить капо добрую половину. Поблагодарив Грановски, я поднялся по скрипучей лестнице на чердак.

Холберг соорудил из двух ящиков и матраса нечто вроде кресла, в котором полулежал. Пальто он не снимал и укрылся к тому же какой-то рогожей, обнаруженной, по всей видимости, в одном из углов. За два с половиной года, в течение которых я занимал это помещение, у меня ни разу не дошли руки до того, чтобы обследовать кучи мусора и тряпья по углам чердака.

Уже стемнело. Лицо моего друга смутно белело на фоне окна. Я щелкнул выключателем, грозившим вот-вот выпасть из плохо оштукатуренной стены. Желтый свет маленькой лампочки под картонным абажуром осветил комнату, положив на лицо Холберга глубокие черные тени под глазами и подчеркнув и без того острые скулы. Думаю, и мой облик немногим отличался от его.

– Вот и вы, доктор, – голос бывшего полицейского звучал утомленным. – Рад вашему приходу. Я и сам пришел не так давно. Что это? Горячая вода? Очень кстати.

Я поставил котелок на ящик, служивший нам столом, снял пальто и сел на топчан напротив Холберга. Пар от горячей воды поднимался вверх, к лампочке и медленно заворачивался белесыми спиралями, чуть смягчив и размыв черты лица моего соседа.

– Ну что, доктор Красовски не очень вас песочил? За опоздание? – спросил он. При этом уголки его бледных губ дрогнули, словно в мимолетной снисходительной улыбке.

Я молча пожал плечами, поставил рядом с чайником две кружки. Засыпал в них по две чайные ложки молочного порошка – он выглядел белой пылью. Осторожно залил кипятком.

– Берите, – я пододвинул ему кружку. – А на ночь выпьете аспирин.

– Что это? – спросил он, не двигаясь с места.

– Горячее молоко, – ответил я. – Подарок госпожи Бротман. Я сказал ей, что вы заболели.

– Очень щедро с ее стороны, – пробормотал Холберг. – И очень трогательно. Я был уверен, что не пользуюсь ее расположением... – он с некоторым усилием приподнялся в своем импровизированном кресле, взял кружку. Рука его заметно подрагивала, так что ему пришлось взять кружку обеими руками. – Молоко... Я давно забыл его вкус.

Он поднес кружку к губам, но вместо того чтобы сделать глоток, втянул носом запах.

– Как странно... – прошептал Холберг. – Какой забытый запах... Спасибо, Вайсфельд, вы приготовили необыкновенный ужин. Волшебный. Мне нужно восстановить силы, доктор.

– Вы так плохо себя чувствуете? – я пристально посмотрел на него. Лицо Холберга чуть колебалось из-за поднимавшегося от чайника и кружек прозрачного пара. – Выпейте молока. А перед сном проглотите пару таблеток аспирина. До завтра все пройдет.

– Да, – сказал он. – До завтра все пройдет. Вы совершенно правы, доктор, – его интонация удивила меня. Казалось, в эту совершенно невинную фразу он вкладывал особый смысл, ускользавший от моего сознания.

Между тем Холберг пододвинулся ближе к столу и осторожно отпил немного молока. Зажмурившись, он смаковал вкус белой жидкости с таким видом, словно в кружке находился не разведенный водой суррогат, а, по меньшей мере, старое вино. Эта театральность начала меня раздражать. Я сказал:

– Бросьте, Холберг, это всего лишь концентрат, сильно разбавленный кипятком. Нет в нем на самом деле ни вкуса, ни запаха настоящего молока. Одна иллюзия.

Он открыл глаза и удивленно взглянул на меня.

– Иллюзия? Вайсфельд, но ведь иллюзия – единственная ценность, которую стоит сохранять до конца жизни, – сказал он. – Иллюзия – часть иг-

ры. А игра – то, что давно уже заменило жизнь если не всему человечеству, то значительной части его представителей. Мне, например. И вам тоже... – Холберг поставил кружку на стол. – Да, иллюзия. Как странно, Вайсфельд... – он пристально посмотрел на меня. – Вы хорошо сказали насчет суррогата. Суррогата, создающего иллюзию подлинности. Знаете, а ведь именно это, если вдуматься, и стало причиной гибели Макса Ландау. Некто воспринял иллюзию как подлинность, реальность. И тот, кто стал угрозой этой иллюзии, тот, из-за которого иллюзию могли отнять, был убит... – Холберг зябко потер руки, хотя в комнате было не так холодно. – Вот так, доктор. Относитесь к иллюзиям серьезно.

Сначала я воспринял слова моего друга как отвлеченные рассуждения. Только спустя несколько мгновений до меня дошел истинный смысл сказанного.

– Холберг, – пробормотал я, – Холберг, послушайте... Этого не может быть... Вы раскрыли эти убийства? Как... Как это возможно, господи... Весь день я думал лишь о том, что ваше расследование – бессмысленная игра, никому не нужная и безрезультатная...

Он молча пил молоко, вновь зажмурив глаза. При этих словах он отнял кружку от губ.

– Игра? – он пожал плечами. – Да, возможно. Игра в иллюзию и реальность, вернее, игра в соотношение одного и другого. Бессмысленная? Безрезультатная? Нет, доктор, игра не может быть такой, – бывший полицейский улыбнулся уголками губ. – Кстати, я должен поблагодарить вас и извиниться перед вами. Учащенный пульс – это фокус, которому можно научиться за несколько минут. Если вы, разумеется, знакомы с китайской дыхательной гимнастикой. Просто мне нужно было кое о чем вас спросить так, чтобы вы ничего не заподозрили. Я не хотел раскрывать свои догадки раньше времени... В то же время, Вайсфельд, если бы не вы, вряд ли мне удалось бы распутать это дело.

– Но которое из двух? – спросил я. Признание Холберга в симуляции болезни меня, как ни странно, не задело, хотя в какой-то момент я почувствовал себя уязвленным, но чувство это так же мгновенно прошло, как и появилось.

– Разумеется, убийство Макса Ландау, поскольку смерть несчастного рабби Аврум-Гирша – часть этого дела, – ответил Холберг. – Еще вчера вечером, после вашего рассказа о поведении Ландау накануне убийства, я подумал, что, может быть, причина преступления никак не связана ни с морфином, ни с театральной дерзостью, ни с известными всему Брокенвальду конфликтами между супругами Ландау. Разумеется, стопроцентной уверенности у меня не было, я не мог полностью отменить все эти версии. Ну, поскольку вы уже знаете мои возражения относительно участия немцев или виновности господина Шефтеля, я не буду повторять их снова. Скажу лишь, что почти с самого начала я чувствовал, что причины преступления лежат в чем-то совсем ином. Вы рассказали мне вчера о странном поведении режиссера накануне убийства. Во-первых, в день, когда прибыл транс-

порт из Марселя и Берген-Бельзена. Во-вторых – в самый день убийства, когда он пришел к вам в медицинский блок с женой. Так?

– Так, – ответил я. – Но о чем, по-вашему, говорит это странное поведение?

– А вот смотрите, Вайсфельд, – Холберг откинулся на широкий лист фанеры, игравший роль спинки «кресла». – Судя по-вашему рассказу, господин Ландау удивила встреча с кем-то, пока нам неизвестным. Вернее, две встречи – на улице и в коридоре медблока. Я чувствовал, что убийство, последовавшее вслед за этими встречами, каким-то образом с ними связано. А встречи эти, в свою очередь, связаны с какими-то событиями прошлого, верно? Ведь тот человек только появился в Брокенвальде и никаких контактов с режиссером в гетто не имел. Значит, речь может идти только о прошлом. И вот тут-то я обратил внимание... Впрочем, нет, – оборвал он сам себя. – Об этом чуть позже. Пока же следует сказать, что чувство – это одно, а понимание – совсем другое. К сожалению, понимание пришло лишь сегодня утром, после того как мы узнали об убийстве раввина Шейнерзона. Что могло связывать этих двух людей? Продукты, которыми снабжал учеников рабби Аврум-Гирша покойный Ландау? Признаться, в какой-то момент мне вдруг пришла в голову мысль абсурдная: некий безумец настолько ненавидит несчастных детишек-сирот, что убивает сначала их кормильца, а затем – наставника и опекуна...

– Не так уж абсурдно это выглядит, – заметил я. – В наше время происходит вещи куда более абсурдные.

– Да-да, разумеется, – ответил Холберг, – но ненависть к детям наверняка выразилась бы и в случаях агрессии против них самих. А подобных случаев – я узнавал, представьте себе! – подобных случаев не было. Но что же все-таки связывало этих людей? Что сделало их жертвами одного и того же убийцы? То, что тут действовал один и тот же убийца, сомнений не было. Так что связывало? – он задумчиво взглянул на меня. – Помните, что рассказал нам рабби о том, как обнаружил тело режиссера? Ему тогда показалось, что в коридоре кто-то был. Прятался в нише. А теперь предположим, – он поставил чашку на ящик, служивший столиком, и зябко потер руки, – предположим, что там, в коридоре, действительно находился убийца, который видел, как раввин вошел в гримерную и как он из гримерной выбежал. Что получается? Преступник должен был счесть раввина опасным свидетелем. Во-первых, рабби мог что-то заметить в гримерной – в конце концов, убийца располагал очень коротким промежутком времени, и гарантии того, что не осталось никаких следов, у него не было. Во-вторых, рабби мог заметить его в коридоре – и он действительно заметил. Правда, всего лишь мелькнувшую тень, но откуда убийца мог об этом знать? – Холберг сделал небольшую паузу. – Словом, убийца имел основания избавиться от нежелательного свидетеля. Вы согласны, Вайсфельд?

Рассуждения моего друга выглядели вполне убедительными, но я сразу же заметил в них один изъян, на который тут же указал.

– В таком случае, – заметил я, – он должен был действовать очень быстро. Но между двумя убийствами прошло трое суток!

– А-а, вы тоже это заметили! – воскликнул Холберг. – Совершенно верно. И это ожидание говорит о том, что преступник не был уверен в том, что существование раввина ему угрожает. Должно было произойти что-то еще, что укрепило его подозрения, сделало их для него непреложной истиной. Спустя два дня после убийства Макса Ландау произошло нечто, окончательно убедившее преступника в том, что рабби Аврум-Гирш владеет опасной для него информацией. Что же произошло?

– Теряюсь в догадках, – пробормотал я. Холберг укоризненно посмотрел на меня и покачал головой.

– Вайсфельд, друг мой, ведь именно вы подсказали мне сегодня, что же произошло, – вкрадчиво сказал он. – Вспомните наш разговор после похорон. Вы сказали: «Смерть пришла оттуда, из прошлой жизни. Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау», – он сделал паузу, потом медленно повторил: – Все – дело – в прошлом. Помните, Вайсфельд? Так вы сказали сегодня утром. Это были слова раввина Шейнерзона. Но что они означают? А, Вайсфельд? – Холберг прищурился. – Что эти слова означают?

– Я уже объяснял. Переселение душ, – ответил я. – Излюбленная тема рабби Шейнерзона. Он полагал, что наше пребывание здесь связано с тем, что у каждого из нас в прошлой жизни имелись деяния, подлежащие исправлению... – я немного напряг память. – Это так и называется «тиккун» – исправление.

– Совсе нет, – возразил Холберг. – То есть, с вашей точки зрения, с точки зрения человека, ранее неоднократно обсуждавшего эту тему с покойным, речь шла о реинкарнации. Но если предположить, что слова раввина слышит кто-то другой, незнакомый... О чем говорил раввин с точки зрения этого, незнакомого? Подумайте, доктор. Неужели же непонятно? Впрочем, что я говорю – я ведь и сам не обратил на эти слова внимания, пока вы не напомнили их. Повторяю еще раз. Раввин сказал: «Все дело в прошлом. В греховном прошлом. Именно там причина смерти господина Ландау!»

– Но я о том и говорю... – начал было я и замолчал. До меня дошло, что имел в виду Холберг. – Боже мой... – пробормотал я.

– А-а, вы поняли! – воскликнул г-н Холберг и возбужденно сбросил с себя рогожу, которой все это время кутал ноги. – Слава Богу. Некто, слышавший эту фразу кроме нас, мог воспринять ее как намек на реальное прошлое, не на инкарнацию души убитого, а на прошлую связь в этой жизни убитого и убийцы. На то самое прошлое, о котором я уже говорил – в связи со странностями поведения господина Ландау накануне убийства. Вот в чем дело. И вот в чем причина убийства раввина. Преступник, их услышавший, окончательно убедился, что рабби Аврум-Гирш для него опасен. И убил его – спустя несколько часов после этого, едва представилась

такая возможность... Пойдем дальше. Кто слышал сказанное раввином? Вы, я, его ученики... А еще? Обратите внимание, Вайсфельд, звуки имеют обыкновение разноситься во все стороны. И, значит, слова, произносимые в разговоре, слышат не только те, к кому они обращены, но и те, кто просто стоит неподалеку. Просто на него никто из собеседников не обращает внимания. Помните? Там стояли трое или четверо мужчин. И среди них – один новенький. Вы сами назвали его сегодня утром. Он прибыл с транспортом из Марселя, накануне убийства Макса Ландау.

– Верно, – взволнованно сказал я, – я даже разговаривал с ним на следующий день после прибытия! В день убийства!

– Мало того, – подхватил Холберг, – из ваших слов я сделал вывод, что он находился в коридоре медблока в тот самый момент, когда Ландау приводил к вам жену.

– Да-да, – пробормотал я, – да-да... – я словно воочию увидел эту сцену: режиссер, удивленно глядящий на небольшую группу вновь прибывших, центром которой являлся господин Мозес Леви, бывший партнер по теннису марсельского префекта полиции. – Да-да, он спросил: «Откуда эти пациенты?» Я ответил: «Из Франции». И он тогда засмеялся и сказал: «Из Франции? А из России, случайно, нет?» Вот... Точно так, Холберг, все так и было. И, знаете, сейчас я готов поклясться, что смотрел он в этот момент именно на господина Леви. И накануне он смотрел на людей из нового транспорта с таким же выражением лица... – я закрыл глаза, вызывая в памяти ту сцену – совсем недавнюю, но казавшуюся очень давно прошедшей. – Холберг, – сказал я, – а ведь там, возле кухни, напротив нас, шел тот же самый человек. С чемоданом в руке. И толкал перед собой маленькую тележку с двумя сумками, привязанными бельевой веревкой. Тот же самый человек.

– Он же стоял и рядом с раввином, когда тот произнес роковые, как оказалось, слова, – негромко произнес Холберг. – И вы его уже назвали. Утром. И сейчас тоже.

И я назвал это имя еще раз:

– Господин Леви. Мозес Леви. Но какое отношение он имел к режиссеру? Вы сказали – их что-то связывало в прошлом. Что-то, ставшее причиной убийства. Что именно?

– То, что они встречались, – ответил Холберг. Взгляд его был обращен в дальний, плохо освещенный угол чердака. – То, что они встречались в прошлом – вот причина убийства. Господин Ландау узнал в господине Леви человека, с которым встречался ранее. И господин Леви понял, что режиссер его узнал. Потому и убил. Он находился в коридоре в тот момент, когда доктор Красовски ушел, оставив незапертой дверь кабинета. Войти в кабинет и позаимствовать ланцет – дело нескольких минут, никто бы ничего и не заметил. А если бы и заметил, господин Леви легко мог бы объяснить, что спутал два кабинета – вполне извинительно для человека, впервые оказавшегося в медицинском блоке. Шкаф с инструментами хорошо виден из коридора при каждом открытии двери – как раз с того места, где сидят

больные в ожидании вызова. На это я сам обратил внимание – когда приходил побеседовать с доктором Красовски.

– Да-да, это понятно, – нетерпеливо сказал я. – Но что там было, в этой их прошлой встрече? Что именно толкнуло Мозеса Леви на убийство?

– Обстоятельства встречи, – Холберг заглянул в кружку с остатками молока. Если бы вместо горячего белого раствора он пил кофе, я бы подумал, что он гадает на кофейной гуще. – Как, по-вашему, Вайсфельд, где они встречались?

– Насколько я помню, Ландау рассказывал, что они с женой бывали во Франции...

Холберг отрицательно качнул головой.

– Нет, – он поставил кружку на ящик, поднялся и подошел к окну. – Нет, доктор. В этом случае ваши слова о Франции не вызвали бы у него удивления. Вспомните, что он сказал: «Из Франции? А из России у вас, случайно, не было пациентов?» А еще вспомните, что рассказывал отец Серафим: в день убийства режиссер вспоминал о Москве, причем был он при этом весьма возбужден и, как говорил отец Серафим, спрашивал о вещах странных. Насчет обмана обманщика, кажется. Жаль, конечно, что отец Серафим не смог вспомнить точно фразу, произнесенную Ландау, но одно он утверждал уверенно: речь шла о столице Советской России. Москва... Столица Советской России. Вот где встречались господа Ландау и Леви до того, как встретились в Брокенвальде. В тридцать четвертом году.

– Даже если так, – сказал я, – что в этом страшного? Ну, да, возможно, они встречались в Москве. Действительно, это объясняет фразу, услышанную мной от Ландау. И то, что рассказывал отец Серафим. Предположим. Он с кем-то встречался в Москве. Теперь встретил этого человека в гетто. И что же?

– А то, Вайсфельд, что в Москве, девять лет назад, встреченный им человек носил другое имя... – Холберг помолчал немного. – Это убийство, – негромко сказал он, – это убийство, Вайсфельд, уникально. Помните, я говорил вам об иллюзии? О суррогате? В этом уникальность преступления, доктор Вайсфельд. Оно могло быть совершено только здесь. Только в Брокенвальде, месте столь же уникальном... – он вновь вернулся к своему ящику-креслу, сел. – Представьте себе человека, Вайсфельд, который выполняет секретную миссию за пределами своего государства. Во Франции. Не будем вдаваться в подробности самой миссии, они нас не интересуют. Он ведет двойную жизнь, пользуется чужой биографией. Мы не можем сейчас точно установить, по какой именно причине его биография оказалась биографией французского еврея. Но предположить кое-что можем. С двадцатого по тридцать третий год я служил в полиции, а в последние три года даже возглавляя городское полицейское управление. И хотя мне, в основном, доводилось заниматься уголовниками, но политическую ситуацию я тоже знал достаточно хорошо. Среди коммунистов и социалистов было очень много евреев, откровенно симпатизировавших Советам. Не ис-

ключено, что еврейская биография до поры до времени была весьма полезна для того, о ком мы с вами сейчас говорим, именно в силу симпатий евреев к Советскому Союзу. Вращаясь в еврейских кругах, ему достаточно просто было найти сочувствующих и привлечь их к работе. Разумеется, это всего лишь предположение. Но вот началась война, и Франция разбита и оккупирована Германией за фантастически короткое время. Наш знакомый оказывается в ситуации чрезвычайно тяжелой. Мы с вами эту ситуацию знаем. В конце концов, его депортируют – в числе евреев, депортируемых из неоккупированной зоны. Он готов к самому худшему – я почти уверен в том, что он был вполне информирован о судьбе, которую уготовили нацисты евреям. И вдруг попадает сюда. В Брокенвальд. Не в Берген-Бельзен, где от каторжного труда заключенные гибнут самое большее через полгода после прибытия. Не в Аушвиц-Освенцим, о котором вы наверняка слышали – как и многие, хотя притворяются, что даже названия такого не знают... Нет, в Брокенвальд, где все похоже на нормальную жизнь. Где вполне можно выжить. Нет, конечно же, это не настоящая жизнь, это всего лишь суррогат, подделка. Но те немногие черты ее, которые напоминают реальность, – они помогают обманываться. Вот, – Холберг поднял кружку над столом, перевернул ее. На стол не пролилось ни капли, дно кружки было сухим. – Вот, Вайсфельд. Сейчас ни в кружке, ни у меня во рту не осталось ни малейшего намека на молоко. Кружка высохла без единого пятнышка. И молочного привкуса я больше не ощущаю. И понимаю, что даже запаха молока не было, это память сыграла со мною шутку, заставила на минуту поверить, что я пью настоящее молоко. А суррогат жизни в Брокенвальде заставляет поверить в то, что это – подлинная жизнь. Или, во всяком случае, очень на нее похожая. Можно притвориться, что нет никаких немцев. Вышка? А вы не смотрите на нее. Зámок, в котором находится комендатура? Он вечно укрыт туманом, поди догадайся, что за флажок болтается над донжоном. Высокая смертность? Но кто ее считает? А люди умирали и до войны. Плохое питание? Каторжный труд? Запреты на элементарные вещи? Все может быть объяснено, оправдано. Или же не замечено. Понимаете, Вайсфельд? Выжить! Можете представить себе этот внезапный скачок от чувства обреченности к надежде? И вдруг судьба сталкивает его с тем единственным человеком, который знает его во второй – или первой – ипостаси. Одно лишь слово режиссера, даже не со зла сказанное, и он, этот пришелец из Марселя, которого мы называем Мозесом Леви, из просто депортированного еврея превратится в агента Коминтерна. И тогда Брокенвальд ему пришлось бы сменить на камеру в берлинском управлении гестапо. А вот там уже не выживают... – Холберг утомленно прикрыл глаза, потер указательным пальцем правый висок. – Остальное вам, надеюсь, понятно. Ланцет из шкафа доктора Красовски, примерная режиссера Макса Ландау, удар в сердце... – Холберг медленно повторил: – Убийство во имя суррогата. Во имя иллюзии настоящей жизни, то, о чем я вам говорил... – он вздохнул. – Ну, а затем – рабби, в котором господин Леви заподозрил свидетеля убийства и,

возможно, человека, также знакомого с его тайной – со слов того же Ландау. Фраза рабби Шейнерзона, укрепляющая его подозрения. Второй удар ножом... Кстати, именно убийство раввина позволило мне окончательно сформулировать смутные подозрения. Так что это убийство было не просто лишним – оно было роковой ошибкой. Тем более что господин Леви забыл – в гетто имеется еще один свидетель. Вернее, свидетельница. Вдова господина Ландау. Она ездила в Москву вместе с мужем. Она опознала господина Леви. Сегодня днем. По моей просьбе. Фамилии его она не помнила. Но то, что этот человек присутствовал на нескольких полуофициальных встречах в Москве, помнила прекрасно. Конечно, она бы его не узнала на улице. Все-таки у ее мужа – театрального режиссера – память на лица была куда как лучше, он привык мысленно накладывать грим актерам и снимать его, примерять к одной и той же физиономии разные костюмы. Поэтому сначала, когда я показал ей господина Леви, она его не узнала. Тогда я попросил ее мысленно представить себе это лицо в другом одеянии – например, в смокинге или дорогом костюме. И она вдруг сказала: «Да. Я его узнаю. Только тогда он был не в смокинге, а в военном френче».

Пораженный, я ничего не мог сказать. В голове у меня роились самые фантастические образы и картины, порожденные выслушанным рассказом.

Холберг медленно отошел от окна к своему ящику. Походка его стала тяжелой, он сутулился, словно законченное расследование отняло у него слишком много энергии. Наверное, так оно и было.

Сев на ящик, он оперся локтями на стол. Глаза его прятались в черных тенях.

– Значит, госпожа Ландау уже знает, кто и за что убил ее мужа? – тихо спросил я.

Холберг отрицательно качнул головой.

– Нет, разумеется. Я не стал ей объяснять, зачем понадобилось опознание Мозеса Леви. А она не спрашивала. О чем-то она, возможно, догадывается. Но не более того, Вайсфельд, не более того. И человек, называющий себя Мозесом Леви, тоже ничего не знает. И, конечно, я ничего не сообщил ни господину Шефтелю, ни господину Зандбергу. Знаем только мы. Вы – и я. Вот и все, Вайсфельд. Знаем только мы. Больше никто не знает... И не будет знать, – добавил он после крошечной паузы, так что эти последние слова только и показались имеющими смысл.

Сумерки давно перешли в ночь, свет крохотной лампочки под картонным абажуром показался мне вдруг болезненным и воспаленным. Я не знал, что ответить на неожиданное заявление моего друга. На чердаке повисла тишина, которая поглотила и те звуки, что ранее долетали через окно с улицы. Словно уличная темнота впитала их в себя.

В конце концов, тишина стала действовать мне на нервы.

– Холберг, – сказал я, – скорее всего, вы не ответите. Но все-таки... Понимаете, я не могу не спросить... Если никто и никогда не узнает, кто убил Макса Ландау и рабби Шейнерзона, каков же смысл самого расследования?

Я хочу сказать, – мне самому сказанное показалось невнятным, – я хочу сказать, если никто не узнает, то ведь выходит, что и самого расследования как бы не было, верно? Убийства были, а расследования не было.

Молчание Холберга показалось мне чрезвычайно длительным, я подумал, что он уже не ответит. Но он ответил. Сначала он поднялся со своего места и подошел к окну, а потом сказал:

– Погасите свет, Вайсфельд, и подойдите сюда.

Голос его был ровен, без малейшего намека на властность, но я подчинился, не спрашивая, зачем нужно гасить свет.

– Посмотрите, – бросил он, когда я встал рядом. Я послушно посмотрел на улицу. Сейчас, когда в помещении был погашен свет, темнота снаружи уже не была черной. Небо имело явственный багровый отсвет, и в нем заметно было медленное круговое вращение – то ли облаков, то ли дыма, тянувшегося откуда-то из-за горизонта. Сама улица выглядела пустой, с редкими тускло светившимися окнами.

Я перевел взгляд на площадь у ворот, как раз напротив нашего дома. Вышка, в искаженном густой дымкой облике, вновь – как в ту предпасхальную ночь, когда детей Ровницкого гетто отправили в Освенцим, – представилась мне уродливым всадником, сидящим на гигантском уродливом же коне с непомерно длинными ногами... Впрочем, нет, сейчас мне вдруг вспомнилась иллюстрация к изданию романа Герберта Уэллса «Война миров». Вышка походила на боевой треножник марсиан с этой иллюстрации. Она казалась почти черной на фоне темно-багрового неба. Вся картина представлялась замершей в пугающей неподвижности.

Но уже через мгновение я уловил в замершей темноте движение. Ворота медленно подались внутрь, раскрылись – и на улице потянулись две ровные шеренги уродливых, искаженных тревожным освещением теней. Ни один, даже самый слабый звук не коснулся моего слуха, тени словно плыли беззвучно над тротуаром, двумя потоками обтекая пяточок площади и заливая улицы.

– Что это? – прошептал я. – Что происходит?

– Вот вам и ответ, – ответил он. В это время в разрыве облаков проглянула желтая луна, залив чердак призрачным светом, и в этом зыбком неестественном свете я увидел, что Холберг улыбается.

– Чему вы улыбаетесь? – потрясенно спросил я.

– Тому, что однажды вы заподозрили в преступлении меня самого, правда. Помните? Правда, я не знаю – то ли в убийстве, то ли в том, что я являюсь осведомителем, – ответил он.

Я пробормотал что-то невнятное. Мне было очень неуютно под его чуть насмешливым взглядом, я даже на какое-то мгновение забыл о пугающих тенях на улице. Конечно, он имел в виду ту его встречу с незнакомцем, свидетелем которой я стал случайно.

– Я сам дал вам к этому повод, – сказал Холберг, посерьезнев. – Мне следовало рассказать вам кое-что из моей прошлой биографии. Но однаж-

ды я сказал себе: «Прошлой жизни нет, а значит, нет и меня прежнего». Поэтому, когда какое-то событие – например, смутившая вас встреча... – он покосился на меня. – Конечно, я сразу же должен был объясниться с вами. Но не сделал этого – в силу причин, которые я назвал. Да, представляю, что вы могли подумать, обнаружив, что ваш сосед, и без того странный и подозрительный тип, тайно встречается с кем-то из Юденрата, да еще получает оттуда в качестве то ли подачки, то ли платы запрещенные в гетто сигары...

В его голосе не было ни насмешки, ни осуждения, спокойная и даже доброжелательная интонация. Луна снова скрылась за тучами; теперь внутренность чердака была освещена прежним рассеянным тускло-багровым светом.

– Не смущайтесь, доктор Вайсфельд, любой бы на вашем месте задумался о том, кто же я такой – на самом деле, – устало сказал Холберг. – А сыщик вы неопытный – я сразу вас заметил. Вы не умеете прятать свою тень... Хотите сигару? – он протянул мне уже знакомую коробку, в которой лежали две последние коричневые трубочки с золотистыми ободками. – Берите, берите, – сказал он, видя, что я медлю, тоже взял сигару, аккуратно обрезал кончик ее крохотным осколком стекла, протянул осколок мне. – Я ведь вам уже говорил – не обкусывайте, это же не табачные листья, а всего лишь бумага, пропитанная никотином... Знаете, пока есть время, расскажу-ка я вам еще одну историю. Интересная история, вам понравится. Как вы уже знаете, я занимал пост начальника городского полицейского управления. Однажды у нас в полиции появился новый сотрудник. Молодой человек, с неплохим образованием и прекрасными способностями к сысному делу. Очень исполнительный и старательный. Я взял его под свою опеку и сделал его очень неплохим полицейским. Потом он ушел из полиции. Мне было жаль, молодой человек подавал большие надежды. Доходили слухи, что он вступил в нацистскую партию и сделал там приличную карьеру. В тридцать третьем году он вновь появился в управлении. В черной униформе СС... – Холберг сделал паузу. – Этого многообещающего молодого человека звали его Леонард Заукель. Ныне – комендант гетто Брокенвальд, гауптштурмфюрер СС. Когда я попал в Берген-Бельзен – я вам рассказывал эту историю, – он оказался там. Узнал меня. Вот по его протекции, – он усмехнулся, – я был переведен сюда. Он сообщил куда надо о моем боевом прошлом, о том, что я – ветеран войны. И я оказался в экспериментальном гетто. У меня с Заукелем сложились странные отношения. Знаете ли вы, почему комендант гетто приносит мне сигары, безусловно запрещенные здесь? Именно потому что я – его начальник. Бывший, но все-таки начальник. И первый учитель. Заукель считает необходимым отчитываться передо мной. Мне кажется, что подсознательно он жаждет моего оправдания. Или даже одобрения...

– Зачем вы мне об этом рассказываете? – потерянно спросил я.

Холберг отошел от окна и сел на топчан, напротив меня.

– Как вы уже поняли, это с ним я встретился тогда. И сегодня тоже. И

это он время от времени не только дарил мне запрещенные предметы, но и рассказывал кое-что. Некоторые вещи, о которых не должен был бы рассказывать заключенному. Но я-то – его начальник. Так вот. Вы спрашиваете – почему я ничего не рассказал госпоже Ландау? Почему я не довожу до конца расследование? Почему не выступаю с разоблачением убийцы? – он указал в окно. – Вы спрашиваете, что это значит? Утром из гетто Брокенвальд уходит транспорт в Аушвиц. В Освенцим. Все кончено, Вайсфельд. Гетто Брокенвальд ликвидируется. Руководство Рейха признало эксперимент по созданию еврейского города неэффективным.

Его слова казались невесомыми, но были холодны, словно льдинки.

– Заукель показал мне список, – слова шелестели в сгустившемся сумраке. – Список тех, кто попал в первый транспорт. В нем есть все – свидетели, сыщик, подозреваемые. И убийца тоже. Все. Понимаете? Вы, я, Лизелотта Ландау–фон Сакс, Луиза Бротман, Ракель Зильбер. Господа Шефтель и Красовски. Пастор Гризевийус и священник отец Серафим. Все участники этой детективной истории. Если хотите – детективной игры. Нынче ночью игра в детектив – в нормальную жизнь, доктор! – закончилась. Понимаете, Вайсфельд? И разоблачение убийцы, эффектная финальная сцена потеряла смысл.

Мы молча стояли у окна. Дым наших сигар смешивался с туманом, все так же клубившимся над Брокенвальдом. Мне показалось, что вокруг черных силуэтов эсэсовцев, оцепивших улицы, он сгущался.

– Германия обречена, – сказал вдруг г-н Холберг. – Германия обречена, мало что этого не понимает. Победа союзников неизбежна. В этом году или в следующем – не суть важно. И неважно, что произойдет со всеми нами... – он прикрыл глаза. – То есть неважно для истории. Когда эти монстры уйдут, как вы думаете, что будет? Что произойдет? Если евреи еще останутся на этом континенте. Хотя бы в небольшом количестве...

– Не знаю, – ответил я. – Я не знаю, что будет потом.

– Гетто, – сказал Холберг. – Будет гетто. Где-нибудь за пределами Европы. Где-нибудь на Мадагаскаре. Или даже в Палестине, как того хотят сионисты. Вы знакомы с сионизмом, доктор? Это такая еврейская утопия.

«Арийская утопия» – вспомнил я слова доктора Сарновски.

Словно услышав меня, Холберг отозвался эхом:

– Арийская утопия. Изоляция евреев. Рейх будет повержен, никакого сомнения быть не может. Война идет уже более четырех лет, Германия выдохлась. Так что победят союзники, это факт. Но что же дальше? Как вы думаете, легко ли будет европейцам жить с мыслью о поголовном соучастии в нацистском варварстве? Думаете, их не будет раздражать тот факт, что Гитлер не доделал своего дела до конца и тем самым вынудил их испытывать комплекс вины? Перед кем? Перед этими хитрыми, жадными, отвратительными евреями? Нет, не вину они будут испытывать, а именно раздражение и сожаление. Поэтому останется жить нацистская утопия – Европа без евреев. Разумеется, они страстно возжелают довести до конца эту идею нацистов. Эту

арийскую мечту. Но каким образом? Я вам скажу, каким, доктор Вайсфельд. Созданием гетто. Созданием места, куда можно будет, наконец, сплавить всех евреев и их родственников. Пусть даже не город, а целая страна. Главное, за пределами Европы и вообще – за пределами того, что они называют цивилизованным миром. Целая страна – страна-гетто. И евреи – оставшиеся в живых евреи, когда они получат свое гетто, будут счастливы – как до поры до времени были счастливы обитатели Брокенвальда. И даже будут платить за то, чтобы попасть в свою утопию – как еще недавно некоторые платили за то, чтобы попасть в Брокенвальд, а не в Освенцим. И будут приезжать в свою утопию, в свою еврейскую утопию, и не задумаются над тем, что на самом деле они приезжают в утопию нацистскую, в ее остатки, пережившие авторов. Европейцы поспешат удалить евреев. Не обязательно так грубо, как это делают сегодня немцы. Но – удалить. Убрать из своего организма этот вирус. Избавиться от него, наконец. Решить еврейский вопрос... В стране-гетто будет свое правительство – Юденрат. И члены Юденрата будут по каждому поводу советоваться с подлинными хозяевами мира – не знаю, кто в те времена будут хозяевами. А вернее – спрашивать разрешения. Во внутренние дела никто не будет лезть – как не лезли немцы внутрь Брокенвальда – вплоть до сегодняшней ночи. И жители будут играть в реальность – так же, как мы с вами играли в детектив. Но сегодняшняя ночь – особая ночь. Она имеет обыкновение повторяться. Она наступит и для государства-гетто. Вся беда в том, Вайсфельд, что никто – в том числе и сами евреи – за две тысячи лет не научился строить для себя ничего, кроме гетто.

Он замолчал. Я смотрел в окно, затягиваясь горьким дымом, в котором почти не угадывался привкус табака.

Поначалу мне казалось, что все снаружи осталось по-прежнему. Но нет – через несколько секунд я заметил, что ворота вновь беззвучно раздвигаются. Это происходило очень медленно. Наконец, створки разошлись полностью, и новые клубы багрового тумана рванулись на пустынную площадь.

Вскоре из тумана, подсвеченного прожекторами, выступила темная фигура, поначалу показавшаяся мне гигантской. Спустя мгновение я узнал коменданта. Он стоял в центре пустой площади и смотрел в нашу сторону.

«Завтра, – подумал я. – Завтра, в вагоне, я спрошу у госпожи Ландау и у человека, который называет себя Мозес Леви, правду ли сказал Холберг. Завтра. Вернее, уже сегодня. И я, возможно, узнаю – так ли все было на самом деле. Сегодня. По дороге в Освенцим».



кандидат исторических наук, прозаик, переводчик, член Союза литераторов России. Автор книги рассказов «Побег» (СПб., 1998), ряда публикаций в периодике и альманахах, переводов произведений У. Голдинга, Айрис Мердок и др. Живет в России.

ПОВОРОТ КОЛЕСА

Трудно сказать, почему Александр Петрович Котельников так и не женился на Люсе. Они познакомились в тридцать восьмом, в Крыму, и мысль о женитьбе мелькнула чуть ли не сразу. Он помнил отчетливо, как сидел, поджидая ее, в Массандровском парке, а Люся шла к нему по прямой, темной от густой тени аллеи, и, глядя на ее белое платье и легкий стремительный шаг, он, сам себе удивляясь, подумал: «Это моя жена, я жуюсь на ней». Оказалось, что оба они – ленинградцы. Не такое уж необычное совпадение, но он и в нем разглядел указующий перст. Возвращались из Ялты вместе. Александру Петровичу не захотелось остаться в Крыму, хотя и мог бы пробыть у моря еще неделю.

Еды на дорогу купили, словно на семерых. Так что в пути шел сплошной пир горой. С соседями повезло: тощий и мрачно-серьезный, но временами вдруг начинающий заразительно хохотать студент Толя готов был глотать съестное в любых количествах, а краснощекий Семен Афанасьевич и ему давал три очка форы. Самозабвенно поедая жареных цыплят, свежую баклажанную икру, помидоры, он радостно отдувался и поминутно кричал: «Молодожены! Эх, смотреть завидно!.. Ну, за ваше здоровье и все там такое прочее!» Они смеялись. Люся с азартом хозяйничала, двигалась беспрестанно, то открывая, то закрывая окно, извлекая из разных корзинок и сумок неисчерпаемые запасы снеди. Глаза ее весело танцевали, тонкие шелковистые брови задорно подпрыгивали, а Котельников снова и снова ловил себя на неприятной мысли, что смотрит на нее как-то со стороны, как Толя и как Семен Афанасьевич, и, как они, отмечает – будто не видел этого прежде (а ведь и в самом деле не видел) – что все в ней как-то на диво слаженно и гармонично, и любой поворот головы, любой жест

создает на миг в воздухе нежный, пленительный и дразнящий рисунок. Станным образом это не радовало, а вызывало едва уловимую и все-таки гложущую тревогу. К счастью, такое накатывало нечасто и почти сразу же забывалось, таяло в смехе, в счастливом, чуть кружащем голову ощущении праздника. А потом промелькнула Любань, старухи, продававшие пышные яркие георгины и астры, и вот уже всё мельтешит, запаковывается, хлопчет и пробирается к выходу, а вот уже и Московский вокзал, перроны, сетка дождя...

Люся жила в конце Васильевского, у Смоленки, в маленькой или просто очень заставленной мебелью комнате. Войдя туда следом за ней, Александр Петрович на миг усомнился, что эта худенькая женщина в сером плаще – та самая Люся, что так стремительно шла к нему в белом платье, а всего несколько часов назад смеялась и хлопотала в купе, еще пахнущем югом, морем и солнцем. «Сейчас быстро переоденусь – и напою тебя чаем», – прерывая повисшую паузу, бодро сказала она, но Котельников запешил и, торопливо поцеловав ее, ушел, пообещав позвонить вечером.

К этому времени Александр Петрович, закончив ординатуру, уже четыре года был среди сотрудников известнейшего профессора Кромова. Попасть в институт Кромова было его мечтой, и, когда эта мечта как-то легко, удачно, быстро воплотилась, он на минуту пришел в восторг, но, в общем-то, воспринял ход событий как закономерность и стал напряженно трудиться, с каждым днем увлекаясь все больше, все больше чувствуя трудность и дальность избранного пути. Работал почти без отдыха, редко брал отпуск, поездка в Крым была тут исключением, обычно он уезжал лишь на несколько дней в Архангельск, к родителям, и торопился поскорее вернуться, взявшись за дело.

Знакомство с Люсей, их роман, в сущности, мало изменили жизнь Котельникова. Поздно вечером он приезжал к ней на Васильевский, привык постепенно к заставленной темной мебелью комнате, к портретам, строго глядевшим со стен, и к ленинградской Люсе: чуть настороженной, подтянутой, иногда грустно-робкой. Раскованность, легкость, присущие ей в начале знакомства, исчезли почти без следа, но ему это даже нравилось. Он с удовольствием приходил к ней, с удовольствием у нее оставался и все же с трудом представлял себе, что останется здесь навсегда. Идея женитьбы не отпадала, но торопиться было некуда и не тянуло вдруг взять и шагнуть в непонятное будущее. Временами, в трамвае или на улице, он наткнулся на мысль поменять ее комнату на Смоленке и его, на Халтурина, на что-нибудь общее (по возможности рядом с клиникой), но почти сразу же забывал о ней. Надо было, конечно, обговорить это с Люсей, что-то в таком разговоре его пугало. О себе Люся почти ничего не рассказывала. Александр Петрович знал, что отец ее умер в двадцать девятом, а мама – несколько лет спустя: у нее было больное сердце. К моменту знакомства с Котельниковым Люсе исполнилось двадцать пять, и она преподавала немецкий: в Техноложке и в Горном.

В тот первый год они часто ездили за город. Как-то раз, в воскресенье, почему-то поехали в Сиверскую; долго бродили по лесу, накрапывало, но было видно, что дождик не разойдется, и все сверкало, и капли дрожали на листьях. Притянув к себе мокрую ветку ольхи, Люся прижалась к ней лицом: «Это не просто влага. Это "слова богов щедрым льются дождем, рождая отзвуки в рощах"». И, отвечая на его удивленный взгляд, пояснила: «Так можно перевести одну строчку из Гёльдерлина. Хочешь, прочту целиком?», и, не дожидаясь ответа, ровным и тихим голосом стала читать стихи, а он увидел еще одну, незнакомую ему прежде Люсю: строгое отрешенное лицо словно прислушивалось к чему-то; прекрасное, но чужое. И как когда-то в вагоне, что увозил их из Крыма, встреча с вдруг проявившейся в ней новой гранью царапнула, и царапнула больно, уничтожая привычную простоту и устойчивость, – то, что ценилось им выше всего.

Их общие будни были для него полны прелести. Включали и нежность, и долгие задушевные разговоры. Люся прекрасно умела слушать; прочитав несколько книг по гематологии, неплохо ориентировалась в ходе исследований, которыми он занимался. «Твое лицо помогает мне найти нужный ответ, – говорил он, – ты так много даешь, что кроме тебя мне, пожалуй, вообще никого не надо». Редко, но все же ходили в театр. Больше всего Котельников любил Александринку. Певцов, Корчагина-Александровская, Черкасов... «Какая мастерская работа», – говорил он об их игре. В искусстве ценил серьезное, алгеброй поверял гармонию, от всего, намекавшего на возможность четвертого измерения, инстинктивно отшатывался, и сейчас, в этом осеннем лесу, глядя на побледневшее лицо читающей стихи Люси, вдруг заметил его опасную близость и внутренне сжался. «Я и не знал, что ты переводишь», – сказал он, когда ее голос умолк. «Когда-то переводила», – она пожалала плечами и улыбнулась. «А что тебе помешало? Разве нельзя совмещать переводы с преподаванием?»

«Можно, но у меня это не получается», – очень спокойно сказала она и сразу заговорила о чем-то другом.

Летом тридцать девятого они задумали путешествие по Кавказу. Строили планы, как совместить Пятигорье, Боржоми, Тифлис. Что-то мы слишком жадничаем, в какой-то момент усмехнулся Котельников, и Люся, сидевшая на диване, плотнее закуталась в свой большой, темный, с кистями платок. А потом стало известно, что тяжело заболел отец Александра Петровича, и он, два года не видевший стариков, понял, что должен поехать домой не на несколько дней – на весь отпуск. Люся отправилась в Киев, где, как оказалось, жила ее престарелая тетка. Когда полтора месяца спустя оба вернулись в Ленинград, жизнь сразу, будто и не было перерыва, вошла в привычную колею. Котельников приходил на Смоленку и ночевал там, может быть даже чаще, чем прежде, но за город они ездили не так часто, и еще реже видна была в Люсе та крымская искристость и веселость, которая год назад нет-нет да и пугала Александра Петровича, а теперь вспоминалась с каким-то странным и сладковато-саднящим чувством, которое

можно, наверно, назвать ностальгией. В мае сорокового, получив телеграмму о смерти отца, он сразу же, бросив все, отправился в Архангельск, пробыл там, сколько мог, с матерью, размышляя все это время, что надо бы, вероятно, уговорить ее продать дом – переехать к нему в Ленинград, вернулся измученный, недовольный собой и, чтобы как-то забыться, еще глубже, чем раньше, ушел с головой в работу.

Здесь, правда, тоже хватало своих огорчений. Метод, предложенный им три года назад, давал, в общем, худшие и совершенно не совпадавшие с ожидаемым результаты. У исполнительных Левы Михальчука и Агеева дело по всем показателям двигалось лучше. «Вот вам и Котельников! Перехвалили, пора бы уже и одернуть», – довольно ясно читалось на лицах сотрудников. Старик Кромов продолжал, правда, подбадривать Александра Петровича, но ведь случается, нюх изменяет и старым зубрам. «Все в Бонапарты лезем, в Пастеры, а надо всего лишь тихо и скромно долбить камень каплей», – однажды сказал Котельников Люсе, когда зимним вечером – снег мягко падал – они после кино шли по Невскому. Она попробовала возразить, но он резко одернул: «Оставь. Я заранее знаю все, что ты скажешь».

Теперь они виделись редко. Донимающий непрерывно вопрос «где же ошибка, почему застопорилось?» заставлял его часто работать чуть ли не круглые сутки. На свой страх и риск, уже не советуясь даже с Кромовым, Котельников ставил новые серии опытов, спал в ординаторской, на обитом клеенкой черном диване. Ближе к весне начал ругать себя за эгоизм. Он не один и не имеет права превращать Люсину жизнь в придаток своих сумасшедших поисков. Да, ему трудно, но он сам выбрал путь, а за что мучается и терпит грубости она? Пытаясь вернуть ощущение крепкого тыла, он снова стал проводить много времени на Смоленке и с изумлением обнаружил, что ее это не радует. Или почти не радует. На столе высились стопки немецких книг. К Гёльдерлину прибавилось еще одно незнакомое имя: Новалис. «Ты хочешь переводить его?» – «Нет, пожалуй». Его вопрос вызван был искренним интересом, но она не поверила этой искренности, и он обиделся. Помолчал, привычно заговорил о своем; она слушала очень внимательно, но какой-то особенно ценный оттенок в этом внимании отсутствовал. Остановившись на полуслове, он сказал, что в последнее время читает на ночь Толстого. «Толстой как снотворное?» – уточнила она. «Да нет, ровно наоборот». – «Тогда давай почитаем вслух». Она сняла с полки сильно, но как-то любовно затрепанное тома: «Что хочешь? "Войну и мир"? С какого места начать?»

Внешне все оставалось по-прежнему. Они не ссорились, но ясно было, что дело идет к концу: вода вытекала и вытекала через невидимые глазу трещины, и Котельников наблюдал это отстраненно и даже как бы лениво. Изменить что-то, остановить, переделать было ему не под силу, и оставалось лишь механически проживать день за днем и ждать, как, когда и на что переменится эта странно зависшая в воздухе неизменность.

В апреле он познакомил Кромова с новым планом исследований. «Ду-

маю, это и выполнимо, и интересно, – профессор задумчиво посмотрел на ученика, – но знаете, дорогой, сначала вам нужно все-таки защититься. Смотрите, кто только вас не обходит! И не тяните, дружок. Ведь я недолго смогу быть вам ширмой». Он улыбнулся, и Александр Петрович впервые увидел, что перед ним сидит очень старый, больной человек.

Мобилизован, как врач, Котельников был в первые дни войны. Двадцать седьмого в последний раз пришел к Люсе. Обоим было ясно, что прощаются навсегда, что война только ускорила то, что и так уже назревало. «Ты живи, – сказала она, строго глядя ему в глаза. – Это все будет страшно. Столько смертей, столько крови, но ты постарайся все-таки выжить, я тебя очень прошу, это моя последняя просьба. И ты не можешь ее не исполнить. Пообещай, что исполнишь».

Четыре года войны были для Александра Петровича годами тяжелой и бесперывной работы. Время предельно сжалось, «вчера» и «завтра» исчезли, реальность, которую было никак не представить весной сорок первого, властно схватила и повела своими путями, не выпуская ни на минуту; люди мелькали вокруг, но он в них не всматривался, слишком несовместимым казалось то, что его окружало, с обычной жизнью, в которой есть место планам, раздумьям, находкам. В результате его не любили. Медведь, бирюк. Медсестры боялись его, врачи сторонились, раненые поглядывали с опаской, но уважением он пользовался: работал точно, с предельной сосредоточенностью, как раз навсегда заведенные, идеально правильные часы, и вытаскивал многих, кого без него было бы, вероятно, не вытаскать. В августе сорок пятого он едва не попал на Дальний Восток, но неожиданно был отправлен в распоряжение Ленинградского военного округа, чему, к удивлению своему, не обрадовался. Дом, в котором он прежде жил, разбомбил, с Люсей все было кончено, Кромов умер в самом начале войны, институт, который он возглавлял, был расформирован. Выявлялась необходимость начинать все с начала, но для этого не было ни желания, ни сил.

Проблемы с новой жилплощадью он уладил практически без труда, но перспектива устраиваться одному – угнетала. Хотелось, впервые в жизни хотелось заботы, тепла. Однако, предложив матери поселиться вместе, он получил очень твердый отказ. «Куда ж я поеду, – сказала она. – Здесь дом, здесь могила отца, здесь знакомые люди. А там у тебя все чужое». Конечно, она была трижды права, Котельников это прекрасно видел, был благодарен ей за мудрую реакцию и задним числом удивлялся, как сам-то он мог, вдруг поддавшись нелепому импульсу, едва не втянуть и ее, и себя в неприятнейшее положение. «Обычная послевоенная лихорадка», – думал он, стоя перед афишной тумбой. Ритм, в котором жил город, казалось, особенно не изменился, но тем отчетливее видны были то так, то этак проявляющиеся отличия. «Что же готовит мне грядущий день?» – невесело усмехался он. Довоенная жизнь вспоминалась как безвозвратная молодость. Александр Петрович о ней не грустил. Ему было бы страшно вернуться в то время азарта, амбиций, обманных надежд. Теперь впереди была не беско-

нечность, а ровные, как столбы, годы, которые штабелями укладывались в десятилетия. Их нужно разумно и с толком прожить. Но как?

Встреча с Левкой Михальчуком со сказочной быстротой поставила все на место. «Неладно скроен, да крепко шит», – в веселые минуты говорил о своем подопечном Кромов. Как-то, постукивая карандашом, сказал другому: «И как исследователь, и как врач он ноль, но вот энергия... Вам бы такую! – и со смехом добавил: – Рассуждение в духе Агафьи Тихоновны. У Гоголя – помните? "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича..." Когда Михальчук защитил лихо состряпанную (и комар носа не подточит) кандидатскую, Кромов, с укором посмотрев на Александра Петровича, процедил мрачно: «Кто смел, тот и съел. А вы сидите, ждите второго пришествия». Теперь Михальчук, уже доктор наук, профессор, радостно хлопал Котельникова по плечу: «Что? Как? Еще не демобилизован? Ну, вероятно, ждать недолго. Как только освободишься – давай ко мне. Я тут получил кафедру. Не слышал?» И через полгода Котельников стал ассистентом кафедры Льва Кирилловича Михальчука.

Сказать, что осенью сорок шестого Александр Петрович был очень несчастен, так же неправильно, как и доказывать обратное. На рефлексии времени просто не оставалось: вхождение в новый коллектив, дебют на преподавательском поприще, какие-то хлопоты по устройству жилья, театр, по которому изголодался за войну. Ему было тридцать пять лет, и он как бы вышел на плоскогорье. Пейзаж, открывавшийся перед ним, был не особенно радостным, ясно было, что милостей от природы не ожидается и добиваться надо всего самому: приноровиться к исследованиям, которые продвигал у себя Михальчук, обзавестись, наконец, семьей, детьми. Теоретически стать мужем и отцом хотелось, до дела, однако, не доходило. «Вот уж я – точно Агафья Тихоновна, – с теплой улыбкой вспоминал он Кромова. – Хорошо пожил старик, много сделал». В памяти возникали два-три визита в квартиру на Петроградской. Кромов, естественно, приглашал чаще, но Александр Петрович под разными предлогами отказывался. В профессорском доме пахло глубокой укорененностью в какой-то совсем непонятный ему уклад, и Котельников, несмотря на радушие и гостеприимство хозяев, чувствовал себя там неуютно. Кромов с супругой ни в каком смысле не могли быть образцом той семьи, которую он собирался построить, дом родителей тоже не образец. Не на что оглянуться, но как бы там ни было, главное не спешить, постепенно врасти в эту новую послевоенную жизнь, осмотреться, лучше понять, какая она.

Осматриваться, впрочем, было некогда. Действуя по своему генеральному плану, Михальчук засадил его «быстренько написать диссертацию» и, несмотря на сопротивление Котельникова, в несколько месяцев добился требуемого результата. Став еще и доцентом, Александр Петрович сделался в институте женихом номер один. Лаборантки и аспирантки кружились стаей. Но их желание флиртовать вызывало одно лишь легкое раздражение. Вспоминая расхожее «эх, поменять бы одну жену в сорок на две по

двадцать», он откровенно пожимал плечами. Однако и к дамам бальзаковских лет особенно не тянуло. Появлялись и обрывались не оставлявшие следа связи. Холостяцкая жизнь делалась постепенно привычной, как домашние туфли.

На Пятой Красноармейской, где он теперь обитал, в комнате рядом, стенка в стенку, жила красивая и еще чем-то неуловимо выделяющаяся из ряда женщина. «Анна Евгеньевна», – с удовольствием говорил он про себя, вдыхая легкий аромат ее духов. «Ваша комната – просто какой-то сказочный остров», – впервые попав к ней, непроизвольно воскликнул Котельников. Она плотно задернула оранжевые с легкими серебристыми разводами шторы: «Все объясняется очень просто. Я художник. По тканям». Он огляделся: соломенные циновки, веселые самодельные куклы на этажерке, яркие акварели на стенах. «Все это ваши работы?» Она кивнула: «Да, развлекаюсь в часы досуга». Насмешливо улыбнулась. Над ним? Над собой? Предложив чаю, в лицах рассказывала о разных знакомых художниках, о своей жизни во время эвакуации. Вечер прошел очень приятно, но уже назавтра Котельников поймал себя на нежелании как-либо продолжать это знакомство.

И все-таки судьба сумела их столкнуть. Как-то, придя в свою любимую Александринку, он вдруг увидел впереди Анну Евгеньевну и, прежде всего, обрадовался, что их разделяют целых три ряда, но почти тут же почувствовал странный укол: рядом с Анной Евгеньевной возвышался некто в солидном костюме, и Котельников с изумлением понял, что это ему неприятно. Весь вечер будет испорчен, успело мелькнуть в голове, но мужчина вдруг наклонился к сидевшей слева блондинке, и Александр Петрович вздохнул с облегчением: Анна Евгеньевна была в театре одна. После спектакля они столкнулись в дверях, и отступить было некуда. Котельников весело поздравился, улыбнулся. Погода стояла чудесная и, без слов поддавшись порыву, они пошли к дому пешком. Говорили обо всем сразу, легко, не задумываясь. В увлечении прошли мимо собственного подъезда, свернули за угол, сделали круг, другой. Когда, наконец, поднялись к себе на площадку, Анна Евгеньевна предложила: «Идемте ко мне ужинать». Но Котельников отказался: «Увы, к сожалению – нет. Мне нужно еще посидеть над завтрашней лекцией». Через неделю он столкнулся с ней возле дома. Подтянутая и оживленная, с приколотым к отвороту букетом фиалок она спешила куда-то и весело помахала ему рукой: «Нет, это не весна, а чудо, правда?» Он с трудом удержался, чтобы не обернуться, не проводить ее взглядом.

Весна будоражила. Михальчук, присмиривший в холодные зимние месяцы, заново начал произносить речи и суетиться, а потом, не откладывая, рванул в Москву: выбивать деньги, ставки и оборудование. Вернувшись, он вызвал к себе Котельникова и, приложив палец к губам, запер дверь: «Ты помнишь, конечно, тупицу Агеева? Так вот: он не только тупица, но и пройдоха. Черт его знает как, приобрел репутацию светила. Демонстрирует то, что ты делал перед войной. Ни тебя, ни Кримова даже не вспоми-

нает и держится, как Колумб. А виной тому ваше, голубчики, чистоплывство. Сколько раз говорил старику: "Николай Аристархович, публиковать надо каждое слово! Живем ведь не среди ангелов – среди людей"». – «Перестань горячиться. Все доведенное до конца было полностью опубликовано». – «Все, да не все. А теперь они заново изобретают велосипед и мечтают представить его открытием века. Не выйдет, голубчики. В худшем случае, мы заставим их поделиться. Ты бы послушал этих мазуриков! Словом, я уже дал заявку, и через месяц ты докладываешь в Академии».

Спорить с Михальчуком было бессмысленно, и Александр Петрович подчинился, хотя ощущал себя человеком, которого заново заставляют искать дорогу в разрушенный (отчасти и по его вине не спасенный) дом. С сорок первого года он не читал ни одной публикации по своей теме. А наука ведь не стояла на месте. В Штатах, в Англии сделано, надо думать, немало. А чтобы верно анализировать прошлые достижения и неудачи, надо хоть в общих чертах понять, как они выглядят с позиций дня сегодняшнего. Впрочем, сначала предстоит вспомнить день вчерашний. К счастью (на удивление?), архив скончавшейся не своей смертью клиники профессора Кромова был живехонек, и, просидев там около недели, он уже с разгоревшимся любопытством отправился смотреть новое: библиотека – стараниями Михальчука – пополнялась отлично.

Зарубежную периодику на дом не выдавали, и это Александра Петровича устраивало: все под рукой, все на месте, рядом необходимые справочники. Материал был огромный, результаты ошеломляюще интересные. «Как вы быстро читаете, – не то укорила, не то восхитилась библиотечарша, – откуда, если не секрет, у вас такой английский?» – «Английский у меня кошмарный, – глядя ей прямо в глаза, отчеканил Котельников, – но по своей специальности я, если нужно, прочту по-арабски». В пятницу он попросил очередной номер лондонского журнала, и девица – та самая – вдруг замялась: «К сожалению, он на руках». Александр Петрович обвел взглядом зал, и она покраснела: «Нет, он не здесь, он... выдан». – «Кому? Мне нет дела, что вы нарушаете правила. Мне статья нужна: и не позже чем через час».

Выяснилось, что журнал у Ольги Степановны Зайцевой, но, к сожалению, Ольга Степановна больна. Вечером, после работы девица готова была к ней съездить, так что, скорее всего, в понедельник... «Не в понедельник, а через час!» Попросив номер телефона Зайцевой, Александр Петрович сразу же набрал его, жестко уведомил болящую, что в шесть вечера заберет незаконно позаимствованный ею в читальном зале «London Medical Review», не слушая тут же бурно полившихся извинений, резко повесил трубку и, только уже отыскав нужный дом на Потемкинской и поднимаясь на третий этаж, осознал, что ведь, в сущности, он непростительно нагрубил не так уж и виноватой любительнице домашнего чтения научной литературы. Нужно было как-то исправить это, и, когда Ольга Степановна, в теплом коричневом халате, с завязанным горлом и лицом, горевшим не то

от смущения, не то от температуры, произнесла, чуть задыхаясь: «Может быть, вы войдете хоть на минуту, отдохнете от нашей ужасной лестницы и вообще», – согласился чуть ли не с радостью: он совершит акт вежливости – и «инцидент будет исперчен». Вслед за горбившейся, наверно все-таки от смущения, Ольгой Степановной он вошел в очень приятную, обставленную старинной мебелью комнату, соединенную распахнутыми двустворчатыми дверями с еще одной, соседней, кажется, тоже большой и тоже очень приятной. Сев напротив него, Зайцева снова принялась извиняться, и тут он сообразил, что, конечно же, видел на заседаниях и в коридорах эту бесцветную аккуратистку. Впрочем, сейчас она не казалась такой бесцветной. Температура или волнение нежно окрасили щеки, и Александру Петровичу сделалось совестно: ведь он явно поднял ее с постели. «Нет-нет, – сказала Ольга Степановна, – я стараюсь немножко ходить. Температуру мы сбили. Но ангины противная вещь. Я с детства часто болею ангинами». Вид у нее был такой, словно и за ангины она должна перед ним извиняться. «Ну сколько же можно», – подумал Котельников и сделал решительную попытку сбить этот жалкий тон. «А я знаю прекрасный способ лечить ангину, – сказал он, прихлопнув ладонью по столу. – Надо полоскать горло армянским коньяком – и как рукой снимет. Я, правда, сам не пробовал, так как ангин никогда не бывало». «Думаю, это действительно прекрасный способ», – прозвучал совсем близко грудной женский голос, и из соседней комнаты, казавшейся почему-то Котельникову пустой, вышла очень молодая, но стройная дама в темно-синем, до полу, вероятно домашнем, платье. «Моя мама Варвара Васильевна», – проговорила Ольга Степановна, еще сильнее заливаясь румянцем. Подойдя быстро решительными шагами, дама дружески протянула руку стремительно подскочившему Котельникову и пристально посмотрела ему в лицо блестящими живыми темными глазами. От взгляда и от пожатия веяло такой бодрой энергией, что Александр Петрович даже почувствовал что-то вроде прилива сил. Неужели все это вызвано седой женщиной пенсионного возраста, удивленно подумал он, но размышлять было некогда: отойдя к угловому шкафчику, Варвара Васильевна извлекла из него закупоренную бутылку и, весело ею помахивая, спросила, можно ли полоскать горло за столом и в компании или и в самом деле нужно смотреть на коньяк, как на настой ромашки. Котельников повторил, что своего опыта не имеет, и решено было, что Ольга Степановна сначала действительно уподобит коньяк настою лекарственных трав, а потом, вероятно уже исцеленная наполовину, вернется в столовую, где Александр Петрович и Варвара Васильевна составят болящей компанию в полоскании горла по более приятному методу. Бутылку открыли, Ольга Степановна, взяв стакан, вышла, а Варвара Васильевна, расставляя тарелки и рюмки, сказала: «Очень приятно, наконец, с вами познакомиться. Муж, – легкий кивок на висевшую где-то в углу фотографию, – говорил мне, что Ника, то есть, простите, Николай Аристархович, считал вас своим талантливейшим учеником». Она вдова Зайцева, – наконец понял Котель-

ников. Занудливейший был тип. И Кромов относился к нему без большого энтузиазма. Ника! Но они ведь ровесники. Может, учились вместе в гимназии или еще раньше – играли в песочек. Вернулась Ольга Степановна. «Ну как, лекарство подействовало? – спросила ее чуть насмешливо мать и, уже обращаясь к Котельникову, продолжила: – Терпеть не могу, когда возле меня болеют и лечатся; дух медицинский не выношу, даром что целую жизнь кручусь возле медиков». «Мама доцент кафедры химии в Педиатрическом», – прокомментировала эту реплику дочь.

Ушел Александр Петрович в тот вечер с Потемкинской, когда начало бить двенадцать. «Господи, вы же больны», – с шутливой растерянностью проговорил он, поспешно вставая. Мать и дочь засмеялись в ответ; прощаясь, одинаковым жестом подали руки. Когда через несколько дней, в институте, Котельников встретил выздоровевшую Ольгу Степановну, она уже не казалась ему бесцветной: была в ней своя миловидность, явственно проступавшая в минуты радости и волнения. До ночи просиживая над бумагами, Александр Петрович раза два вспомнил ее. Трогательная – да, это слово, пожалуй, полнее всего описывало ее.

До московского совещания оставалось совсем уже мало времени. «Готово? Но и как оно, прошлое, в свете новейших достижений?» – блестя глазами, спросил Михальчук, когда Александр Петрович принес ему текст. «Так же, как и в сороковом. За океаном делают то же, что делали мы. И с тем же отсутствием результата. Похоже, тут усердием не обойдешься. Либо мы все шли в тупик, либо, чтобы пробить барьер, нужен какой-то момент озарения». «Так зачем дело стало? – Михальчук улыбнулся. – Знаешь, как называл тебя старик Кромов? Обыкновенный гений». «Какой же ты фантазер, Левка», – попробовал отмахнуться Александр Петрович. Но Михальчук, животом навалившись на стол, посмотрел ему прямо в глаза: «Поэтому я на тебя и поставил, Саша». Котельников усмехнулся: «Напрасно. От меня толка не будет. Устал». «Не страшно, – Михальчук весело подмигнул, – мы и со старого сможем купоны стричь. А кроме того, вы, гении, непредсказуемы. Черт тебя знает, что еще выкинешь лет через десять!»

В этот день, выйдя из института, он вдруг увидел впереди Ольгу Степановну, догнал ее, взял под руку, а потом, на углу, купил ей букетик фиалок, точно такой же (странно, но время фиалок все продолжалось), какой был приколот к жакету Анны Евгеньевны. «Не думайте, что это просто цветы – это взятка, чтобы вы палец в чернилах держали, когда я буду дрожать перед академиками», – сказал он, отчасти в шутку, а отчасти опасаясь, как бы Ольга Степановна по своей кроткой наивности не приняла цветочное подношение за что-то серьезное. Но когда он вернулся из Москвы (заседание, как и должно было, обернулось пустой говорильней) и Ольга Степановна с гордостью показала ему густо-лиловый палец, то не подумал «феноменально глупа» или «не по летам инфантильна», или еще что-нибудь, столь же разумное и подходящее случаю, а умилился всерьез и очень подробно ей рассказал «как все было».

Летом, в конце июня, когда они вместе гуляли на Островах, он впервые подумал отчетливо: «А почему бы и нет? Все ведь скорее "за", чем "против". И возраст у нее подходящий, и решено будет сразу много проблем». Он повернул к себе ее голову. Ее голубые глаза смотрели доверчиво и испуганно; и просяще. Губы были какие-то удивительно мягкие, и волосы мягкие, и очень нежной была молочная кожа плеча, а сердце испуганно колотилось. «Ну что ты, зайчишка?» – сказал ей Котельников и понял, что никогда, пожалуй, не относился к женщине вот так. Он вспомнил ее с завязанным горлом. Хрупкость и беззащитность. Она была первой за долгие годы женщиной, которая не пугала, не вызывала желания обороняться, и он неожиданно понял, что, да, хочет идти по жизни рядом с этим забавным, слабым и милым существом. Подавить это желание было нетрудно. Но стоило ли? Чем, собственно говоря, мог быть чреват такой брак? Мягкая и, как оказалось при более близком знакомстве, вовсе не глупая женщина. Отчетливо хочет замуж, будет, скорее всего, хорошей женой и хорошей матерью его детям. Котельников на минуту нахмурился. В самом ли деле он хочет детей? Вернувшись из армии, он, правда, ясно определял свое будущее словами «женитьба», «дети», «семья», но был ли он вполне искренен в тот момент, точнее, осознавал ли весь смысл скрывавшегося за этими как бы простыми словами?

Он медлил какое-то время, боясь опрометчивого решения. Потом однажды вспомнились похороны отца. Жаркий день, синее небо. Провожающих было немало, но почему-то они смотрелись на кладбище маленькой серой кучкой. Он снова увидел все это словно со стороны и вдруг сказал вслух: «Я хочу иметь сына». И все-таки сделать решительный шаг было трудно. Что-то мешало. Уж не соседство ли Анны Евгеньевны? Как-то вечером он постучал к ней. Она была дома и, улыбнувшись, провела в комнату. На круглом столе под низко висящей лампой разложены листы с эскизами, краски, кисточки. «Я помешал вам?» – «Нисколько. Я как раз собиралась передохнуть. Хотите рюмку "Напареули?"» – «Да, с удовольствием». Мягко-красивыми движениями она выставила на маленький стол у окна бутылку, тарелку с печеньем, сыр. Сколько в ней женственности и сколько силы. «Расскажите о вашем муже», – неожиданно попросил он. Она как будто не удивилась. «Его убили в декабре сорок первого. Мы поженились студентами. Вскоре стало понятно, что этот брак – ненадолго. Ссор не было: было какое-то постоянное напряжение. И разрешилось оно двухлетней разлукой. Его отправили на Урал, а я с ним не поехала. Но когда он вернулся, у нас был настоящий медовый месяц длиною в год. Прекрасный медовый месяц, который, однако, не мешал понимать, что пройдет сколько-то времени и мы все же расстанемся. Потом началась война. Он ушел, ушел, зная, что не вернется. Так оно и случилось». «Экая вы inferнальная женщина», – растерянно выговорил Котельников. Хотел, чтобы вышло с иронией, но получилось с опаской. Ситуация складывалась дурацкая. Анна Евгеньевна, похоже, забавлялась его сомнениями, мучительным непонима-

нием, как быть. Свободная, готовая к любому повороту событий, она была так хороша, что хотелось отключить все тормоза и предохранительные системы, разбежаться, нырнуть. Но трезвый голос предупреждал: «Осторожно. Подумай». И он не мог не прислушаться: этот роман способен был затянуть его, лишить нужных сил, необходимых, чтобы построить дом и вырастить детей. «У вас торжественное лицо, – ее голос звучал насмешливо и спокойно. – По-моему, вы приняли какое-то решение». «Да, – подтвердил Котельников. – Вы пожелаете мне счастья?» Она кивнула, показала, чтобы он наполнил рюмки и выпила свою до дна: «Пусть все получится так, как вы задумали!»

На следующий день он сделал предложение Ольге Степановне. Вечером, после концерта (фрагменты из «Спящей», «Франческа» и «Струнная серенада» Чайковского) они тихо шли по Потемкинской к ее дому. Воздух был обволакивающим и теплым: дурмящий запах цветов сливался с острым запахом летней, сильной, но еще свежей листвы. Во всем этом ему вдруг почудилось что-то знакомое, и он вспомнил, как в тридцать девятом, семь лет назад, в прошлой жизни, шел с Люсей мимо решетки Летнего сада. Да-да, такой же, на удивление такой был вечер, такой же неподвижный воздух, его торжественность, замершие на миг стрелки часов и – догадка, что Люся ждет от него... чего? формального предложения? «Какая нелепость, – кольнуло его тогда, – неужели она не уверена в прочности наших отношений?» А ведь если б он произнес тогда эти слова, она поехала бы с ним к заболевшему отцу, поехала бы как жена. Неужели именно та минута разрушила все дальнейшее? Нет, это было бы слишком глупо.

Они уже подходили к дому Ольги Степановны, звук шагов далеко разносился по тихой улице, и Александр Петрович вдруг понял, что они идут молча и слаженно, а объяснение должно состояться здесь и сейчас. «Оля», – начал он тихо. «Может быть, все же не надо» – успело мелькнуть в голове, но губы уже говорили невесть откуда взявшиеся слова, и, глядя на дрожащее лицо Ольги Степановны, он думал, что вся эта сцена словно взята из плесенью пропахшего романа, в котором немолодой чиновник, взвесивший все обстоятельства, наконец решает соединиться с девицей О. «Ты согласна? Ты хочешь этого?» – строго спросил Александр Петрович, изо всех сил пытаясь отодвинуть червяком извивающегося титулярного советника. «Да, – сказала она, – прижимая руки к щекам и правильно чувствуя интонацию сцены, добавила: – Время еще не позднее. Может быть, ты зайдешь? Мама будет так рада».

Варвара Васильевна не спала, сразу же вышла навстречу, в том же самом, до полу, платье, и на секунду Котельникову показалось, что она точно знает, что сейчас будет сказано, и хорошо подготовилась, а, точнее сказать, и подготовила все сама. «Какие глупости могут вдруг иногда прийти в голову», – думал Александр Петрович, глядя на сдержанную и воспитанную даму, которая со смехом рассказывала о погасшем вдруг час назад свете, спрашивала о концерте и предлагала пить чай с «тянучками от Ели-

сеева». Все это быстро успокоило Котельникова и даже уничтожило неловкость, возникшую четверть часа назад, когда он просил Ольгу Степановну выйти за него замуж. Он уже чувствовал себя так, будто эти слова и не сказаны, и появилось ощущение, что ничто не потеряно, есть еще время обо всем хорошенько подумать, тянучки были отличные, за окном шумел сад, разговор приобрел лирический оттенок, и как раз тут Ольга Степановна сказала: «А мы должны сообщить тебе новость, мама». – «Да? – Варвара Васильевна весело повернулась к Котельникову, – и что же случилось?» Услышав, в чем дело, она так же весело и спокойно продолжила: «Ну, поздравляю, друзья мои, а также могу признаться, что я этого ожидала, и очень рада. А теперь, думаю, самое верное – выпить немножечко коньяка». И, подмигнув Котельникову, она с ловкостью фокусника мгновенно вытащила «Армянский. Марочный».

Тут же, за коньяком было легко и быстро решено все дальнейшее. Вылнить незачем. Александр Петрович может переезжать к ним хоть завтра. В среду Варвара Васильевна уезжает на три недели в Сестрорецк. Если погода сохранится, то молодые смогут приезжать к ней – купаться в заливе. Помпезная свадьба – глупость. По мнению Варвары Васильевны, в ней есть даже какой-то оттенок вульгарности. Но вечеринку с оповещением о событии нужно будет, конечно, устроить, например, в конце августа или в начале сентября, когда вернутся разъехавшиеся на лето. А пока Ольге Степановне с Александром Петровичем тоже надо куда-нибудь съездить. Начали строить планы, Варвара Васильевна расстелила на столе карту, время шло незаметно, и, случайно взглянув на часы, Александр Петрович испуганно подскочил, но Варвара Васильевна уговорила не торопиться: транспорт уже все равно не ходит, такси можно вызвать в любой час ночи.

Намеченную программу они выполнили до мелочей. Даже погода не подвела. В начале августа Ольга Степановна с Александром Петровичем съездили в Спасское-Лутовиново и в Ясную. Идею далекого путешествия отменили; разумно было, не откладывая, заняться вопросом обмена: в случае прибавления семейства двух смежных комнат на Потемкинской будет уже недостаточно, да и к чему пустовать восемнадцати метрам котельниковской жилплощади?

Хорошо отдохнувшая в Сестрорецке Варвара Васильевна со страстью занялась поиском новой квартиры, но в ноябре подходящий вариант еще не был найден. Первый нанятый маклер оказался «типичным мошенником». Второй заявил, что вариант – трудный, но он надеется. Ольга Степановна срочно готовилась к кандидатским экзаменам. Под пальто живот был еще незаметен, стоило пальто снять, и наметанный глаз различал беременность моментально. Событие должно было произойти в конце мая. «Почему это надо называть "событием", – раздраженно думал Котельников. Он каждый день оставался в лаборатории допоздна. Ужинали в десять, и почти каждый раз застолье превращалось в нечто вроде военного совета: пункт за пунктом, серьезно и горячо обсуждались проблемы будущего. Когда заседание,

наконец, закрывалось и общая жизнь разделялась на две сепаратные, Ольга Степановна, сияя, обращала к Котельникову свои переполненные любовью, доверчивые и восхищенные глаза. «Может, пока суд да дело, нам пожить месяца два на Псковской, ведь тебе там у меня понравилось?» – спросил он как-то, задумчиво глядя на угрожающе ошетилившиеся в полутьме силуэты шкафов, но лежавшая рядом Ольга Степановна так испуганно вскинула голову, что сразу стало понятно: обсуждать это – бесполезно.

«Так что же, нет и не может быть выхода?» – спросил он себя, выходя в черноту то ли осеннего, то ли зимнего вечера. Идти на совет в Филях не хотелось, и он, решив пройтись, двинулся наугад, но довольно скоро обнаружил, что держит путь к Васильевскому. Если так, то разумнее было воспользоваться трамваем. Но зачем я туда поеду? Ответа не было.

С предвоенных времен остановку перенесли, но Котельников, сделав небольшой крюк, подошел к дому Люси тем давним, привычным путем. Странное было ощущение – как во сне, что ли? Он крепко провел рукой по лицу. Ощущение зыбкости сохранялось. Лестница до мельчайших подробностей та же. Да, вот она осязаемость воспоминаний. Но – сон. Во сне может случиться что угодно.

Он, наконец, поднялся на нужный этаж, узнал, что Люся умерла от голода не то в феврале, не то в марте сорок второго (уточнить в жакте можно, туда сходите), и с предельной, сомнению и пересмотру не поддающейся ясностью осознал вдруг, что и сам он давно уже (как давно?) мертв.

РАЙСКИЕ КУЩИ

По ночам снится тарелка супа. Она полна до краев. Суп горячий и золотистый. Тарелка большая. Фарфор толстый, грубый. Иногда кажется, что суп – луковый, о котором неоднократно читала в романах, иногда – суп-лапша, который ел на экране на Собакевича похожий Лаврецкий в «пронизанном солнцем» фильме. Фильм был тутти-фрутти: просторный усадебный дом, колонны, злословье в гостиной, юная героиня, борзые, любовь. Все это сваялось в клубок, и клубок закатился куда-то. Осталась в памяти супница; с благородным рисунком, тяжелая. Лаврецкий держал ее крепко своими медвежьими лапами. Ложки не было видно. А было слышно какое-то чавканье или рычанье. Отчетливо: Федор Иванович Лаврецкий страдает от голода возле огромной, лапшой и бульоном наполненной супницы. Он мучается, в глазах стоят слезы, а над рекой поднимается тонкий туман.

Единственный раз, когда мне случилось и вправду почувствовать вкус

еды, пришлось на неподвижный (жара облепляет со всех сторон) летний полдень. И был густой сад, буро-коричневые стволы деревьев, белый, среди деревьев расположившийся стол. На стол поставили скромного вида закусочную тарелку с резными краями, изображавшими синий с золотом виноградный веночек. На этой тарелке лежал кусок кекса. Я вежливо-осторожно взяла его, медленно поднесла ко рту, почувствовала, как запах только что испеченного теста щекочет мне ноздри, зажмурилась – и проглотила. Чудо: секунду я была полна счастьем и сытостью. Но только секунду, а потом сразу все кончилось, и пустая тарелка белела на мраморном столике, синие с золотом виноградные листья – дразнили. «Ну как, червячка заморила?» – «Да, заморила» (с отчаяньем). – «Вот и отлично». И они продолжали о чем-то своем разговаривать. Мне было восемь лет, и непонятно, почему я не крикнула: «Я еще хочу!» Почему не сказала: «Я голоднее, чем раньше. Я ничего не успела распробовать. Дайте мне что-нибудь!» Я молчала: молча сидела возле стола. Над головой шелестели сочувственно ветки и листья. Шмель жужжал, и пустая тарелка все время притягивала мой взгляд. Слабость к тарелкам, расписанным кобальтом с золотом, так же как слабость к садовым мраморным столикам, я сохранила. «Ну а теперь нам пора, нас ждут дома к обеду». – «Очень приятно, что заглянули. Ну как, кекс был вкусный?» Путь домой по жаре, бесконечный и трудный.

По ночам снится тарелка супа.

Но неужели мне никогда не случилось есть досыта? И что мне мешает сделать это сейчас? Я беру сковородку. Котлеты, картошка – и сразу же ощущение: ничего не получится. Но почему же? Еще есть морковь и капуста. Если заправить как надо... Звонок телефона резко врывается в приготовление. «Я сейчас ухожу, я уже в сапогах», – говорю я Алене-Надюше-Марише. У меня нет никакого желания с ней разговаривать. Но ей и не нужно, чтобы я говорила. Она хочет произнести монолог и немедленно приступает. Она говорит – я не слушаю, но что-то из ее речевого потока все-таки добирается до сознания, и от какого-то, в общем, случайного слова во мне закипает и паром рвется наружу протест. Еще понимаю, как это нелепо, но кто-то решительно-бойкий уже дал приказ в наступление, и я рвусь в атаку, я иступленно жму на гашетку, и, наконец, мой огонь заставляет умолкнуть надсадное гарахтенье ее пулемета. Тишина. Трубка повешена. Я с удивлением смотрю на свои тарелки. Видно, что на них были морковный салат и котлеты, следы картошки с капустой уничтожены начисто.

В свое время Игорь Петрович часто водил меня в рестораны. Если перечислять их, список получится пышный. И все названия вызывают какой-то отклик. Я помню размеры и форму залов, расположение столов, пальмы в кадках (стиль ретро) во вновь открытом, десятые годы «воссоздающем» дорогом кабаке и крысиную мордочку музыканта в не менее дорогом, но другом. Помню буфетчицу – красавицу с ярко-багровым шрамом на скуле, помню огромный, лепниной украшенный ресторан на вокзале, маленький павильончик на взморье, дубом обшитый старинный зал (вход для избран-

ных) и рыжую тапершу в платье с большим декольте, которая мощно, с надрывом играла сентиментальные пьески, и это было смешно и грустно, но стук ножей-вилочек, звуки отодвигаемых стульев, гул голосов так удачно аккомпанировали роялю, что все мы вдруг превращались в массовку какого-то полузабытого фильма. Похожее настроение дал чуть позже «Регтайм», такой же эффект давал, как я слышала, «Мост Ватерлоо». Пьяно и сладко, и вечер окончен. Ты идешь по проходу к бесшумно распахивающимся дверям. Зеркало. Низкий поклон гардеробщика, получившего щедрую на чай. Швейцар. И все кончено. Но еда? Где еда? Еды не было.

Ладно. В конце концов, стоит ли вспоминать милейшего Игоря Петровича? Он призрак эпохи румынских оркестров, и рестораны его – тоже призраки. А разве я мало общаюсь с сегодняшними людьми? И разве мало меня зовут в гости? И разве не кормят? Например, та художница. Она меня несколько раз зазывала, но я каждый раз находила предлог отказаться. А потом кто-то обмолвился, что она дивная кулинарка, и я запомнила это и начала предвкушать, как она снова меня пригласит, и я приду к ней, и крабы, салаты и кулебяки радостно мне улыбнутся, а хозяйка, сказав «минуту, сейчас», войдет, вся сияя, внесет жаркое на блюде, прикрытом диковинной – с тремя ручками – крышкой, и сытный, благословенный запах еды наполнит уютную, празднично освещенную, маслом картин сверкающую комнату. Я предвкушала, сглатывала слюну, и в день, когда приглашение поступило, бегом побежала: купила полураскрытые розы у черного, совесть давно потерявшего маленького грузина, спешила, счастливая, под дождем среди колющих зонтиков, ругани, луж; радостно позвонила, взлетев на четвертый этаж, и растеряла свои предвкушения, как только хозяйка (брючки в обтяжку, туфли на металлических каблучках), чмокнув меня «ай да розы, сейчас я ими займусь, загляденье», куда-то исчезла, а очень вежливый и совершенно мне незнакомый мужчина с длинным «актерским» лицом подошел, чтобы взять и повесить мой плащ. Теперь понятно, что правильнее было не раздеваться, а сразу уйти, но трусость, а также остатки надежд не позволили. Ноги сами собой повели в комнату, где сидели какие-то люди и среди них пожилой седовласый «норвежец» – как объяснила мне, тут же ко мне спиной повернувшись, вертлявая обезьянка лет сорока в монашеском балахоне и с цепью на поясе. Стульев на всех не хватало.

Лежали на шкуре медведя, томились у стен. К столу идти было незачем; там стояло декоративное блюдо, а вокруг – хоровод таких же декоративных тарелок. Вошла художница, принесла нечто, утыканное изысканными резными палочками; заговорила о Сартре (она была уже очень немолодой, пик ее популярности приходился на середину шестидесятых). «Я люблю русскую водку», – сказал норвежец. Бородач в густолатаных джинсах играл на гитаре. Смотрелось все это неплохо, но мучил отчаянный голод, а на стене прямо напротив меня висел большой натюрморт (бесстыдство натурализма): каравай хлеба, гигантские яблоки, рыба со вспоротым брюхом.

И все-таки быть не может, говорю я себе. Ты сядь спокойно, сосредото-

точься – и вспомнишь. В Таллине, например. Ты столько раз была в Таллине. Подумай, и вспомнишь обед или ужин в чудесном сказочном Таллине, где на каждом шагу кафе-кофיק, взбитые сливки и теплые булочки с маком, корицей и тмином. Еда красива, как на обложках рекламных журналов, да и весь город похож на рекламу: окно в Европу, мечта аксеновских мальчиков. Пройдись-ка мысленно снова по улицам. Вспомни: стена обвита плющом, в стене – узкая дверь. Лестница ведет вниз, пахнет кофе, едва осязаемо – поджаркой и специями. Столы стоят полукругом вдоль стен. Середина свободна, и создается площадка, залитая желтым светом, как будто ждущая действия. Пауза – и оркестрик начинает играть танго. Еще одна пауза – на площадку выходят двое. Ему, вероятно, под шестьдесят, ей – чуть меньше. Он смотрит поверх голов, доброжелательно и спокойно. Она в черной шляпке и в черных туфлях на очень высоких прямых каблуках. Ноги безукоризненны, ноги Марлен, эмблема тридцатых. Движения спаяны с музыкой идеально, а может быть, устрашающе? Нет, все-таки идеально. Они танцуют, и мы все, словно катапультированные в иное время, смотрим, затаив дух. Они уходят. Пауза – и затем воздух взрывается ревом электрогитары и барабана. Прекрасно. Но почему ты не вспоминаешь про антрекоты, которыми славился этот подвальчик? Потому что я их не помню. Закованная в броню элегантности ретро-пара съела все прочие впечатления. Но неужели нет ужина, который ты помнишь весь, от начала и до конца? Да, пожалуй. В «Паласе».

Мы были там вчетвером. Днем я по настоянию Наташи купила темно-зеленый брючный костюм. Решено было, что он сумеет приемлемо заменить вечернее платье, без коего появляться в «Паласе» просто невыносимо. Наташа была знатоком местных нравов. Она уже год жила здесь (в Эстонии) с мужем Костей, выпускником военно-морского училища, а я приехала к ним на два дня. Четвертым в компании был Эдик Нукрус, коренной таллинец, при одном взгляде на которого у Кости портилось настроение и начинала чесаться макушка. В честь стрелки на брюках Эдика и в честь сияния его ботинок так и хотелось сложить или гимн, или оду. «Да, в ресторанах здесь одеваются так», – в десятый раз говорила Наташа, но было неважно, что она говорит. В муаровом платье-змее она была очень красивой. Нукрус небрежно-изящно закуривал сигарету и так же изящно стряхивал с нее пепел. Костя с каждой минутой мрачнел все больше. Не зная, к чему прицепиться, он начал вдруг хаять всех этих выпендренников и их дурацкие правила, на что Наташа, мечтательно глядя на Нукруса, тихо сказала: «А мне здесь хорошо». И тут случилось. До сей минуты бесшумно и мягко отворявшаяся дверь вдруг распахнулась со стуком, и вошло человек двадцать баб с одинаково толстыми икрами и с ними четверо мужичков в пиджаках, но без галстуков. Это был «наш» экскурсионный автобус, и для них был накрыт большой общий стол, к которому они и устремились, обгоняя друг друга, делясь впечатлениями. «Га, братва, налетай! Петька, ты что теснишь даму?» Костя повеселел, с удовольствием крикнул официан-

ту: «Товарищ, поторопитесь с закуской!» Эдик Нукрус приятно всем улыбался. «Ты ведешь себя так же, как и они», – с презрением сказала Наташа Косте. «Ну и что?» – бодро откликнулся лейтенант. Но тут свет приушили, и началось представление с «герлс». Русский стол громко выражал им свое одобрение и возмущение. Костя от души аплодировал «девушкам», но заставлял Эдика подтверждать, что его, Кости, жена даст три очка форы всем этим кралям. Эдик – и в темноте было видно – все так же вежливо улыбался. Наташа хмурилась и пыталась напомнить Косте, где он находится, на что Костя резонно отвечал: «Как где? На родине. У себя дома. Вот где». Зажегся свет. Эдик Нукрус разливал по бокалам вино. Костя с жадностью волка набросился на еду, и мы, может быть, так ничего и не заметили бы, но русский стол сразу заметил и начал передавать по цепочке: «Смотрите, вот он! Да не туда смотри, в угол. В кожанке, видишь? И она тоже. Боком. Да говорю тебе, это она!» И они были правы, я тоже увидела. Марина Влади была в чем-то коричневом, в узенькую полоску. Когда она встала, выяснилось, что это платье с юбкой до середины колена и тоненьким пояском. Высоцкий взял ее под руку и шагнул к центру зала. «Пошли танцевать, разглядим их вблизи», – возбужденно закричал Костя, вытирая рот салфеткой. Мы вскочили и вместе с толпой из автобуса ринулись к танцплощадке. Тетки с толстыми икрами чинными парами закачались вокруг. «Прошу прощения, – говорил Костя, – простите», – и, лавируя между танцующими, мы приближались медленно к цели, и нас было много, наше кольцо сжималось вокруг знаменитой на весь Советский Союз и окрестности пары; и в какой-то момент они оказались в капкане, остановились. Дальше, как по сценарию: Высоцкий глянул из-под бровей, нагнул голову, будто боднуть собирался, и тут же они устремились в образовавшийся узкий проход. Шли быстро, он держал ее за руку, Влади едва поспевала на своих длинных стройных ногах. Подойдя к столику, она быстро схватила квадратную плоскую сумку, повесила на плечо, не глядя ни на кого пошла к выходу; Высоцкий стремительно расплатился – успел догнать ее у дверей. Эх, красиво! И все возвращаются шумно к своим столам. Наташа ругает нас дикарями, «русский стол» громко жужжит разговорами, подсевший к нам пьяный эстонец клянет советскую власть за то, что гостиница «Виру» торчит, как фига. И где? В центре города! Эдик приветливо всем улыбается. Снова вступает оркестр. Кино, да и только.

Что-то запоминается навсегда, запоминается глазами, как натюрморты малых голландцев в Эрмитаже. Нежный кружок лимона, оправленный в желто-белую шкурку, рядом с ним – конус из сахарного песка, густой душистый темно-коричневый кофе в легкой бело-коричневой чашке и желтое, в цвет лимона, пирожное с крупными красными ягодами – что-то из «Красной Шапочки», что-то из мира Гензеля, Гретль. Гензель похож был, наверно, на этого длинношеюго юношу в синей фуражке студента. Пристроившись к стойке – из узких рукавов куртки торчат непомерной длины запястья, – он ест корзиночку с красными, как кровь, ягодами; кадык боль-

шой, острый, ходуном ходит под тонкой кожей. Такой полезет на баррикады и будет убит уже в первый день. Забыв про кофе, лимон и пирожное, не отрываясь смотрю на этого мальчика и вспоминаю, как я беспомощно и нелепо плакала в полупустом зале «Хроники», где нам показывали полнометражный документальный фильм «Чехословакия – год испытаний».

В двадцать лет совесть напоминает о себе непрестанно, и взгляд натывается снова и снова на мальчиков с тонкими шеями. В тридцать жалость к себе сильнее, чем всякие прочие чувства. В июле восьмидесятого (Афганистан, не Афганистан) я съела бы, не моргнув глазом, корзиночку с красными ягодами – мальчик в студенческой фуражке не помешал бы. Что-то разладилось, что-то ушло навсегда, что-то раз навсегда утонуло в плеске волн и в запахе зимней хвои.

А как удивительно пахла та елка в Зеленогорске, в столовой пансионата! Запах зеленых иголок перебивал даже запах ботинок и лыжной мази. Лыжи составлены были тут же, у двери, и никто не был в претензии. Все было предпраздничным; официантки вставали по очереди на стулья, вешали осторожно гирлянды и осыпали серебряным дождем ветки, а потом, ловко спустившись на пол, на шаг отступали и любовались красавицей-елкой, и опускали монетки в щель музыкального автомата, а он послушно запевал сладким ласкающим баритоном «а я прие-э-ду, я прие-э-ду» и обещал целый короб различнейших радостей, и почему-то все поддавались его обещаниям, слушали очень доброжелательно, без возражений, а рядом с нами сидели какие-то люди с детьми, и плавали в голове мысли, что эти семейные сценки, скорей всего, наше не очень далекое будущее. Вот так же будут капризничать мальчики-девочки, а мы будем им говорить: «Нет, Миша, суп не горячий, ну-ка, смотри, это вкусно». А пока звякают елочные украшения и стучат ложки; хлопает дверь, на секунду впуская холодный уличный воздух; на улице снег скрипит, прямо над головой висят крупные – на зуб просятся – ясные звезды, а в нашем пансионате тепло, «я прие-э-ду», Дед Мороз тащит мешок подарков, все любят друг друга. «Миша, еще две ложки», – отец-наседка распростер крылья над розовощеким, хорошеньким мальчиком в свитере с олененком, а мы разговариваем о том, что можно, наверное, пожениться прямо сейчас, в январе, а можно через полгода, летом. «Мань, брось монетку», – кричит блондинка в крахмальной наколке. Она вся вытянулась на стуле, стараясь забросить как можно выше алмазные блестки; и снова баритон обещает приехать, а мимо носят тарелки с борщом, нарезанное крупными ломтями мясо, жареных кур и гречневую кашу.

«Слушай! – говорит девочка Катя, сверкая глазами. – А давай мы устроим... пир!» – «Что?» – «Пир-р! Настоящий, огромный». «Давай», – говорю я не слишком решительно. Я не совсем понимаю, что она хочет делать. Румяного Миши, которого кормят в Зеленогорске после удавшейся лыжной прогулки, еще нет на свете, и его папа с мамой, скорее всего, не успели еще познакомиться. Мы с Катей учимся в шестом классе и вчера в первый раз встретили Новый год вместе со взрослыми. А сейчас мы одни в квартире.

Все мои родственники ушли, и поначалу мы очень радовались, что остаемся одни. А теперь нам не очень понятно, что делать. Пир – и Катя распахивает холодильник. Он плотно забит тарелками, плошками, мисками. Гусь громоздится на блюде. Соперничая друг с другом, нам предлагают себя ветчина, буженина, икра и северяга. И странно, и до сих пор не понять, почему, но именно в этот момент я каким-то щемящим чувством стыда понимаю, что *пира* не будет.

И ладно. Все это прошло и проехало. Прокатилось. Нет большей глупости, чем сожалеть о несбывшемся. Я выставляю на стол масленку с отбитым краем, кусок засохшего сыра, сметану. «Не хлебом единым...» – бормочу я под нос. «Не стыдно, – говорит кто-то. – Ты бы газетку еще подстелила, заодно – считаешь». «Ехидничать – это нетрудно, – парирую я привычно, – а с жизнью бороться – бессмысленно». Я наливаю в стакан простоквашу и машинально жую бутерброд. «Ильф и Петров отмечали: в Америке вся еда очень красивая, но абсолютно безвкусная», – говорю я коту Апельсину. Кот смотрит с календаря понимающе. «Чтобы снова почувствовать вкус, Ильф и Петров возвратились домой, – продолжаю я объяснять, – но прошло всего несколько лет, и Анна Андреевна Ахматова объяснила, что "веселое слово *дома* нам отныне уже незнакомо", и ничего тут, мой друг, не поделаешь».

И все-таки я поднимаюсь еще на одну попытку. Взяв сумки, мешки и авоськи, я отправляюсь на поиски пищи. Я приношу домой хлеб ржаной и пшеничный, лук зеленый и репчатый, желтую брюкву, блестящие синие баклажаны и красную свеклу. Я приношу очень милых цыплят в пупырышках и броней-чешуей покрытую рыбу. Я приношу трехлитровые банки сока, бутылки растительного масла, коробки с грибами-шампиньонами, тыкву, орехи, печенье и трубочки, которые почему-то называются «лицейскими». Все это я с трудом размещаю у себя на кухне. Кот Черныш, заменивший в свой месяц кота Апельсина, смотрит на меня возмущенно. «Я принесла много разной еды, – говорю я ему, – я гостей позову и приготовлю отменный обед. Стол будет, как в лучших грузинских фильмах. Ты понимаешь?»

...Вечером я стою перед грудой посуды. Обедки, опивки, оплевки. Какая-то дикость. Бедлам. Как будто Мамай прошел. Разорение полное. Я стою, прислонившись к стене. Потом мою посуду. Пою (помогает от тошноты). Девочка Катя, которая предлагала устроить огромнейший пир, тоже пела. Катя, ау, где ты, Катя? Катя – добраться бы до кровати.

А по ночам снится суп.



юрист, автор нескольких романов («Ментовка», «Легионеры трясины», «Пестрые версты» и др.), повестей и рассказов. Живет в России.

БЕСТИЯ

(подслушанная история)

1

Тетя моя Токас Марина Сергеевна переехала из Салехарда в Введенку и поселилась рядом с домом моей мамы. Это в Хлевенском районе, около Задонска. Я же со своей семьей приехала с Севера только позапрошлой весной. Пришлось сменить климат из-за сына Ильюши. Сначала сняли однушку в Воронеже, а вещи оставили у мамы в Введенке. Токас крутило от злости, что мы поселились здесь. Она ведь имела виды на дом моей мамы – для своей дочери.

Нам повезло – дали статус переселенцев, и мы получили двушку в Воронеже, хотя и на первом этаже.

Мы, радостные, заехали в деревню к маме, рассказали, что все так удачно сложилось. До Токас дошли слухи, что у нас все утряслось. А у нее-то никак – ее дочка тоже хотела переехать. Но некуда.

Токас стала задираться. Забыла про то, что мой муж Егорыч когда-то помог: устроил к себе в речной порт вахтером, а так бы на стройке отморозила себе все. А надо было бы... Люди не помнят добро... Надо сказать, что Токас очень раздражительная, злючка и к тому же любительница выпить. И вот мы только на порог к маме помочь дела делать – мама ведь старенькая, ей семьдесят шестой пошел, – как Токас к забору – и нас корить. Еще когда мы контейнер разгружали, она видит мебель: диваны, стенку, кресла – и лезет, выведывает. Мы отсылаем, знаем, что от нее ждать. А ей кишки выворачивает: как это так – двор моей мамы от неё уплывает. И давай делить

огород – сначала захотела три мамины грядки прихапать. Закидала их камнями, прибила клубнику.

Я вижу такое дело. Меня как всплеснуло! Да что ж она нас зажмала! А кто за мать заступится? Я у нее старшая дочь! Она одна нас, троих дочерей, подняла. Я камни назад. А та взяла булыжник и в меня целится. Ну, убила бы... Да мама увидела:

– Осторожней!

Я подымаю голову – Токас с камнем... Обронила камень, ногу себе пришибла. А написала на нас, что мы её поранили. И пишет, что я убивала ее, а на мужа, Егорыча, что газовым пистолетом хотел пристрелить. Газовым! Ну, хохма, да и только. У Егорыча не то что газового, но и другого пистолета в помине не было! Он тихоня, мухи не тронет. Никогда не дрался.

Приехал дежурный милиционер, глянул – клубника прибита, понял, что там все липа. И отписал. Этот налет был в мае, два года назад, как только мы приехали.

А сейчас Токас уже хочет двадцать соток... Вы знаете, для меня все это жуть – я ведь в детском садике воспитателем всю жизнь проработала, ни в каких разборках не участвовала, а тут – такое.

2

Мы помогали маме, привозили продукты, перекапывали огород, пропалывали, старались Токас не замечать. И вот двадцать первого сентября в тот же год приехали докапывать картошку и уже собирались домой. Токас шла из Задонска пьяная, скандалила со встречными, увидела нашу машину, Егорыча, стала на него кричать:

– Машину не ставь! Вы здесь ездить не будете!

Собственница нашлась. Мол, это все её. Собиралась дальше огораживаться, двигать загорошку. Уже и так поставила самовольно. Там, где мы ходили – теперь колья ее. И давай стучать по машине. Я была в доме. Слышу шум, выхожу с кастрюлей дать щи собаке. Она орёт на мужа. Я к ней.

– А, и ты тут! – кричит.

Хватает меня за свитер, тащит к забору. Я ей и плеснула щами в харю. Она как цапанёт меня за ухо и вырвала сережку, да ещё рукой по свитеру и по всему телу. Затащила к себе за загорошку. Свитер разорвался пополам, одна часть спадает, другая в её руках, я – почти голая. В лифчике. Стою. Егорыч рядом у машины – не может вцепиться в неё, он – порядочный. Сын Илья выбегает – и к бабушке. Та услышала голос Ильюши – и с палкой, чтобы отбиться... Но уже выскочил сожитель Токас и утащил пьяную в дом... Она, даята, даже не различала, что в руках у нас было, а понаписала... Пишет, что я, Егорыч, мама побили ее палками до потери пульса. Да если бы ее палками, она бы вся в синяках была!

Я этим же вечером говорю ей:

– Приедут с милиции и тебя заберут.

Ну а как же терпеть такое! Я к участковому. У дома участкового стоит «козлик». И жена участкового говорит, что он в отделе. Я в отдел. Нашла там участкового и ему:

– Вот, смотрите! Токас ободрала с ног до головы. Давайте разбирайтесь, задерживайте её!

Он:

– Да уже поздно. Домой к ней не зайдешь.

Обкрутил нас. Дал направление на экспертизу в Задонск, чтобы побои подтвердить. В семь утра мы поехали в Задонск – ухо разорвано, се-режка вырвата и на животе синяки. Я думала – пугнула Токас, но не тут-то было.

Токас подсобил участковый. Помог написать заявление на нас, послал на экспертизу – она прошла её двадцать шестого сентября, – и ей сделали, что переломан палец... А этот палец переломан еще в Салехарде, когда работала на стройке.

Судья судить – два заявления: от неё и от меня. Начинает мирить. Мама помирилась с ней, её вычеркнули. Судья смотрит на нас:

– Миритесь, женщины!

Я:

– Не помирюсь! Она ещё убьет... И долго я буду от неё неправду терпеть!!

Мы – я и Токас – уперлись. Нас оштрафовали на пятьдесят минималок каждую – тогда это на четыре тысячи рублей. Да ещё с неё мне моральный вред восемьсот рублей, а с меня ей – тысяча рублей. Егорыча оправдали.

Потом спрашиваю судью:

– Что же ты лупанул на четыре тысячи? Так много.

Он:

– Я иначе не мог.

А ведь все началось с Токас. И почему мне то же, что и ей? Я говорю – кастрюля, а он пишет – ведро. Я понимаю, что не виновата, а меня порочат. Я дело смотреть, жалобу писать, а мне тормозят. Раз приехала – дело не дали. Снова приехала – тянут. А ведь ехать не ближний свет. Судили-то меня, как говорят, на сухую, не прислав даже обвинилровку.

Написала кассуху.

Мне:

– Езжай в Липецк! Там тебя пропустят, как сквозь сито...

Я не поняла, что это такое, и поехала с надеждой, что меня оправдают. А там женщина-судья увидела меня и покраснела. Я поняла, что ей доложили. Меня утолкали в зал, где слушали разные дела: про кражи, угоны, убийства. Зачем меня послали в зал, не знаю. Может, хотели утешить? Но я сидела и терпела. Вот в зале осталась я одна и судьи. Их было трое, один холеный мордастик, другой старичок и эта женщина. Они стали собираться на обед.

Женщина-судья:

– Давайте и это дело пропустим.

Зачем такая спешка? Поели бы, отдохнули и взялись бы за мое дело. А нет.

Дело зачитали.

Женщина мне:

– У вас одни жалобы! Одни жалобы!

Старичок хотел расспросить – что там было, но нет – мордастик и женщина встали, старенький за ними. Перешушукались за дверью, вышли и объявили:

– В жалобе отказать.

Всё там законно.

Я, обливаясь слезами, села в машину к Егорычу:

– Что же это они...

Мне хлевенский судья, что нас судил, даёт ответ на руки – а сам довольный, дело сделато. А что сделато – у меня судимость, должна уплатить штраф, возместить моральный вред.

3

Дожили до следующего лета. Я штраф не платила, хотя приходил пристав. Но мы с ним поговорили, и он стал взysкивать по крохам – с детских пособий. Мне Токас прислала восемьсот рублей переводом, а я ей не шлю. А с какой стати, когда я ей ничего не сделала?

В июне мы приехали полоть картошку. Я вижу, Токас уже злиться начинает, выпивши, задирается через загорошку, дожидается, с кем бы сцепиться. Я не обращаю внимания. А у забора наша соседка вечно пьяная Чукина, разговаривает с моей сестрой – та в отпуск с Салехарда прилетела. Вот сестра ушла. Чукина осталась качаться у забора. Мы допололи кончики картошки, пошли в дом. Я задержалась около Чукиной. Та пьяная, качается, держится за забор. А Токас развешивала белье. У неё все кипит, с кем бы сцепиться... Я подхожу, и мне Чукина – сожалеючи:

– До каких пор эта Тугунка будет тебе нервы трепать?

Токас еще в детстве не выговаривала «чугунка», называя её «тугунка», и ее прозвали Тугунка. В деревне как раз назовут, так и прицепится. Чукина-то не видит, что Токас развешивает белье.

Токас к забору подскакивает:

– Я – Тугунка? А ты-то кто такая?

Я засмеялась. Вижу – калитка распахивается, вылетает Токас – и за волосы меня:

– Когда будешь деньги отдавать?

Деньги по суду. Она же сразу уплатила, ей судья насоветовал. А я уперлась – чего платить. И вот давит. И всё по-старому. Рвать мои волосы... Ну, я и дала ей отпор...

А в заявлении пишет, что мы с сестрой били её тятками. Железяками! Да если бы тятками – осталась бы она живой?! Как брешет. Мы вцепились друг другу в волосы и сразу разбежались. А накатала, что убивали металлическими предметами. Дознаватель эту лапшу записал.

Закрутилось дело. Стали меня вызывать. А я – чего это поеду?! Меня снова хотят обвинить. Начали пугать: не явитесь – с наручниками приедем. Повестки бросят вечером, а явиться утром – в Хлевное, за сто километров. А как успеть доехать? Я же не самолет.

– Высылайте повестки заранее!

– Не будем под вас подстраиваться!

Я отбиваюсь. Грозят подключить конвой. Приезжают, ищут меня. Дети в ужасе! Соседи тоже. Живет нормальная, положительная семья, а к ней прицепились.

Телеграмму к начальнику милиции: дайте ответ, кто и на каком основании за мной приезжал. Он прыг-скок – ничего не отвечает. Я снова бумажку телеграфирую. Молчок. Ну, думаю, скотина, я на тебя управу найду. Смотрю, начальник запрыгал. Дело отдал другому дознавателю. Узнаю, послали запрос в Салехард, что-то им там понадобилось. Мою сестру зацепить. А оттуда смеются – такая мелочевка.

И вот кто кого опередит, кто кого начешет!

Участковый опрашивает свидетелей, выбеляет Токас – она же его самогоном опаивает, а я иду следом за участковым и выясняю, кто что сказал, а потом, прочитав протокол, нахожу нестыковки: кто-то якобы видел через загорошку, как я была Токас. Но ведь в загорошке (та высотой два метра) щели со спичечный коробок – и не могли увидеть! Показываю ложь. Нахожу очевидца, что горе-свидетели не только не могли видеть через щели, но и стояли далеко – и раскалываю лжесвидетеля.

Дело четыре раза прекращали, и четыре раза не соглашался с этим прокурор.

Токас проела прокурору плешь:

– Когда её посадите?!

Замначальника милиции – седой старикашка – хорохорился. Compliments мне сыпал, жениха из себя корчил: баба понравилась ему – и конфетки, и бутылочку вина предлагал... Ну, умора! Разве что не выплясывал. Но я такими делами не занимаюсь... Чего он хотел? Чтобы я проглотила всё и согласилась на амнистию (к тому времени вышла амнистия) или, может, на самом деле ему бес ударил в ребро, не знаю.

Только когда стала знакомиться с делом, поняла, где собака зарыта – меня обвинили в том, что я тяткой сломала Токас кисть! О кисти ведь не было и речи. И не было заключения экспертизы. Слава Богу, тут адвокат подсказал. Вынудили, наняла юриста. Пусть пашет. Хотя раскошелиться не спешила. От хамства милиции у меня все разыгралось. Я пригрозила поднять шум. Милиционеры зашевелились, стали искать экспертизу. И врать. У них нечистоган такой пошел... А хотели, чтобы я ляпу дала, не заметила.

А сами не увидели, что алкашка могла сломать кисть когда угодно, ей мог это учудить сожигатель, с которым постоянно дралась. Я связалась с Салехардом, чтобы подняли её медицинскую карточку – может, там есть что про перелом. Но карточка пропала.

4

Я чешу, знакомлюсь с делом в милиции.

И сказала им:

– Начинаю копать капитально. Цепляюсь зубами.

А мне всё старое:

– Подпишитесь под амнистией!

И молокосос дознавательница умоляет, говорит, прокурор сказал: «Сделай что угодно, но уговори».

А Токас мне шьёт десять тысяч морального вреда! Но ведь я этого не делала! Как я подпишусь?

– Я буду до суда! И потом буду судить её за клевету! Надо же оправдаться. Иначе я по жизни буду обвинённой. У меня же дети!

Моя мать говорит Токас:

– Что же тебе не жалко племянницу! Креста на тебе нет.

– А чё! – один её ответ.

Тут в суде крутится другое дело – о земле мамы, которую захватила Токас. Приходил местный архитектор, председатель поселкового совета, все смеялись, ничего не делали, а тут я привезла из Липецка эксперта. Всё было прищкнuto, всё ершом стояло – из области эксперт! Те почувствовали, что у нас есть свои люди – и я звоню судье:

– Дайте дело для экспертизы!

– Приезжайте.

И:

– Вас там уже ждет участковый.

Поняла, снова чего-то готовится, раз своего участкового суют, этого собутыльника Токас.

Звоню старикашке – заму начальника милиции:

– Дайте любого пепезника*! А этот участковый не нужен.

Тот замямлил, что все уехали на пожар, и ничего толком не сказал. Стал концы в воду прятать. Почувствовал, что я лезу на стенку и им несдобровать.

– Но смотрите, не наколите меня! – сказала я заму, и мы поехали производить замер.

Думала, что Токас пьяная, и мы не добьемся ничего. Но все обошлось. Токас была пьяная, и это сыграло нам на руку. Участковый побоялся, что её увидят пьяной, ещё заставят забирать. И придавил её сам. С экспертом

* Пепезник – милиционер патрульно-постовой службы.

из Липецка шутки плохи. Он сразу пригрозил, что если что не так, то виноватому не поздоровится. Он им не местный архитектор и не председатель совета.

Ещё при подъезде участковый нас заметил, опустил голову и стух. Мы его прозвали Пупсик – за рост, его даже в милицию из-за этого долго не брали. Так вот он прошел к её дому – а там шторы опущены. Токас не вышла. Предсовета сгодился за понятого, нашли ещё одного.

И провели замер.

Нарушения полнейшие!

А я, как генерал! Кручу, верчу.

Заехали к судье.

Эксперт судье:

– Что вы тут! Сколько можно издеваться?!

Слушок по Хлевному пошёл: я приехала, и кому-то плохо... Ну и надо так... А то что, всё Токас верх берет! А меня дуравят. У меня теперь два дела в суде: по огороде и еще по уголовке.

Прокатала уйму денег, заполучила массу психологических травм, и если не добьюсь своего, то с Токас дойдет до убийства... Я вся иссякла... Скажите, разве должна я упасть перед этой Тугункой на колени?

– Нанимай хорошего адвоката! – посоветовали мне.

У меня уже был адвокат. Но я ему не платила, а только кормила. И он слинял. Сунулась в консультацию за новым адвокатом. Долго выбирала. Одна мне адвокатесса и говорит, что всё у неё схвачено, всё она может. Я её привезла. А та с дознавателем, который на меня накропал, всё смешки. Закроются тетрадкой и шепчутся... До меня сразу дошло, здесь что-то не то. Сменила адвокатессу, жаль только деньги какие-никакие угробила. Она, жох баба, их выцыганила.

Мой новый адвокат, уже третий по счёту, два дня дело прочесывал и вздыхал:

– Наворочено...

Потом два дня какие-то жалобы писал, и я их рассылала. Я в него поверила. Ему сказала, что рассчитаюсь с ним сполна. А они – мои противники – почуяли – не все им в масть, я бодаюсь.

5

Вызвали на суд по уголовке – шиш им! – я взяла больничный. Послала телеграмму судье. Та крякнула, но проглотила. Тем временем гражданское дело – по земле... Я там неправду выявила: поддельный план.

Судья снова на уголовное дело – я приехала с адвокатом. Стала ходатайства заявлять. Судья морщится, спешит, хочет за три дня до майских праздников уложиться, спрашивает: а по телеграмме сестра (та основная свидетельница) придет?

Тут адвокат рот открыл, судья ещё шире: обвинилровку-то заместитель прокурора – папаня дознавателя утвердил. А ведь не мог!

Прокуроршу раззявило:

– А у нас испокон века так...

Она и не знала, что такое нельзя.

Ну, умора!

Они все там одна кружка: прокурор, а его дочь – следователь; зампрокурора, а его сынок – дознаватель; судья, а его племянш – опер... Ну, семьи одни. Клань. Они не на закон работают, а на свой карман. На сплетню. Что услышали в деревне, за то прямиком и бузуют. Подтусовывают. И вот как им теперь дальше конопатить-то? Карман набивать?

Утерла нос, ударила по рукам проходимцам.

А Тугунка так ничего и не поняла, когда судья, не скрывая радость (не пришлось возиться), фуганула дело назад в прокуратуру.

Надо же, они годами беззаконие творили: сынки расследовали, папаши-прокуроры в суд дела направляли, мамыши-судьи судили, дяди в тюрьме охраняли...

Семейный подряд!*

Как я их протяпала!

Но успокаиваться рано. Маленькая победа, но это ещё не все. Надо их дальше топтать. И вот начеркала жалобы на заместителя прокурора, на зама милиции – этого ухажера, на дознавателя – этого Чубайса рыжего, как наш магнат, – и пульнула в Липецк. Катнула письмецо и в саму Хлевенскую прокуратуру – а что делать, если не хотят прекращать дело и желают бодаться? Пусть их прочехвостят...

Денег убухала, что по копейкам на пасхальные куличи отовсюду скрести пришлось, но хлобыстнула!

Жалобу на заместителя прокурора отправили из Липецка в Хлевное. Хлевенский прокурор сидел, пыхтел, думал: что с ней делать? А пока опять моим делом сказал заниматься сыну зампрокурора.

Прокурор хотел дурачка сыграть. Но я не такая. Он по телефону выпендривается, злится, пыхтит.

Я:

– С кем разговариваю?

Тот:

– А с кем я анонимно разговариваю?

Голос-то мой узнал.

Я ему, что это я.

И:

– Дайте мне ответ!

Говорю, а у самой вспыхило:

* Закон запрещает участвовать в одном деле прокурору, судье, дознавателю, адвокату, находящимся в родственных отношениях.

– Чего это вы меня невзлюбили? А другую сторону любите?

– Я люблю только свою жену!

Так и сказал. Верного из себя строит!

– Мне-то что делать?

– Не надо никого беспокоить... Это дело уже рассматривается...

И назвал фамилию дознавателя.

– Опять сын!

Ну, концерт – снова сын зампрокурора!

– Он проверит доводы жалобы и примет решение.

А по поводу папаши, зампрокурора, молчит. Разбить свою кружку, шайку-лейку, не хочет. Зампрокурора ведь не накажешь! Мог липецкий прокурор наказать, да вот что-то не сработало. Отмазался. Хлевенскому подсунул, мол, разберись с замом сам, а тот-то не может.

Из меня так и вылетело:

– Бедный дознаватель!

Смехотура.

Снова семья: дознаватель, зампрокурора... Если опять напишу – у них будет кордебалет капитальный. Я его раскрутила. Им ох как не хочется снимать ни отца, ни сына.

Мы начали с прокурором про смешные истории.

– И мне вообще... – лепечет, – давайте это дело до конца доводить... Если виноваты – отвечать, если не виноваты – закрывать.

Чувствует, что я на пятки наступаю.

Из разговора я решила, что он дело не прочь закрыть. Но валит на горбатого, на дознавателя. Звоню дознавателю. Чувствую, его хотят выгородить. А я секу.

– Дайте мне... – называю фамилию.

Слышу, он трубку взял, весь трепещется.

– Моё дело у вас находится?

– Да-да... Нет-нет...

– Не поняла.

– Н-нет у меня...

– Где же оно?

– Оно там, в отделе...

– А чего оно там делает?

Молчок.

– Так я вам буду нужна?

– Нет-нет... Ой, нет, вы будете мне нужны...

– Зачем?

– Будете подписывать всё.

Ясно: они ершатся. Но сколько же дальше такое будет продолжаться?

Прячутся, а нос показывают. Я эту изюминку уловила сразу.

Мне надо было узнать: идет накрутка против меня или нет.

Я ведь артистка, решила: посуду и на месте разужаю. Пока дело у дозна-

вателя, надо его уталкивать, надо с ним вплотную. А то снова понапишут чёрт знает что.

6

Приехала в Хлевное – дознаватель мне повестку в руки сует, я ему: «Ты мою сестру опроси», он – шиш тебе, а не сестру. А она-то основной свидетель – видела всё.

Я к прокурору.

Прокурор с гонорком. Ерзает, думает, что я его записываю на диктофон, и мне:

– Я отвечать не буду.

– Как это так не будете?

– А вы что, меня допрашиваете?

Сидит, в носу ковыряет.

Я не выдержала:

– Когда же это закончится?! Вы год меня мурыжите, таскаете мою душу... Я езжу к вам, как в Эрмитаж... – и тут я выдала. – Конкретно, вы закрывать дело будете?

– Я эти вопросы не решаю.

А сам от меня на стуле так и отъезжает.

– Это милиция.

– Что вы с одной больной головы – на другую дурную?! Дознаватель шлангом забил на мои ходательства!

Хватается за телефон и пошёл давать указания дознавателю:

– Ты сделай то, это... – и добавляет. – Ты только смотри, во всем разберись, чтобы всё по закону...

– Вы по повестке не забудьте приехать, – сказал мне напоследок.

– А чего это вы мне, когда сами на мои письма не отвечаете?

– Это почта у нас плохо работает.

Я прощупку сделала и так и не поняла, прекращают они дело или дальше накаляют.

А моя сестра? Когда вся паника была – когда будто бы Тугунку тяпкой, сестра-то рядом стояла. И её в свидетели край надо. У неё с Тугункой счёты старые. Она подружке Тугунки наkostenяла за то, что та на огороде колья острыми концами навтыкала, – наша корова чуть глаза не выколола. И вот Тугунка насоветовала той накатать в милицию. Так за сестрой «козлик» целую неделю гонялся. Раз приехал вечером: дзинь. А она, баба неглупая, дверь на защелку и:

– Кто?

– Участковый, – из-за двери.

– А, это ты, Пинзень! Ты не вовремя!

Так и назвала – Пинзень. У неё никогда не залежится.

- Я всегда вовремя.
- Глянь на часы.
- Повестка тебе.
- Положь...

Ну, она утром по повестке в Хлевное.

Приехала, а с ней хи-хи да ха-ха и мурьжат во дворе милиции. Можно пятнадцать минут, двадцать, а её с десяти утра до пяти вечера продержали. Мимо неё – она в розовом платьице – всякую мразь водят: бомжей, калек, она уже чуть не плачет, а её не отпускают. Маленький капитанишка в белой рубашонке подсел, глазки-сливочки, ими хлоп-хлоп:

– Ну что у вас происходит?

А сам будто не знает.

Сестра оперилась немного.

Ножками задержала, а капитанишка:

– Сейчас мы пойдем туда.

И повели ее в суд. Привели – там кобра сидит. Сестру попутать захотела, но ей палец в рот не клади. Кобра к креслу так и прилипла – она ей хлысть. Хлысть. Полаялись. Кобра её штрафанула по самое некуда.

Теперь вот сестру к дознавателю на допрос тяну, чтобы рассказала, что за тварь эта Тугунка... Сынишку Ильюшку пускай допросят... Еще раз мою мать... Меня... «Надо во что бы то ни стало развалить дело», – как сказал мой очередной, уже третий по счету, адвокат. Надо только адвоката цепко в руках держать, чтобы пахал, дрался за меня, а рассчитаться с ним я завсегда успею...

Неизвестно, чем закончилась эта случайно подслушанная на скамейке у хлевенского суда история, кто кого положил на лопатки: Тугунка племянницу или племянница Тугунку, не окончилось ли все убийством и к кому перешёл огород в Введенке. Но доподлинно известно, что вскоре повис замок на дверях хлевенского суда. Судьи оказались на больничных койках. Закрылись на неопределенное время и двери кабинетов в прокуратуре и в милиции: прокурор уехал на стажировку и больше не появился, дознаватель и милицейский зам подались в Чечню – там спокойнее... Заместитель прокурора теперь отписывался от сотен падающих ему на стол жалоб, а по вечерам звонил сыну в Ачхой-Мартан и интересовался его здоровьем.



NON FICTION



профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме, автор книг «Воюющие силы», «Командование в войне» и «Трансформация войны», оказавших большое влияние на современную военную теорию. В опубликованной в 2004 году книге «Защищая Израиль» Ван Кревельд излагает оригинальный план решения израильско-палестинского конфликта. Живет в Израиле.

ПОЧЕМУ В ИРАКЕ БУДЕТ, КАК ВО ВЬЕТНАМЕ

Как сказал однажды Шекспир, у каждого актера есть свой выход и свой уход. Между 1975 и 1990 годами, после того как США потерпели поражение во Вьетнаме, военная история пользовалась в американской армии необыкновенной популярностью. После 1991 года военная история вышла из моды – в значительной мере в результате того, что многие называли «звездным часом» американской армии в Ираке. И в самом деле, если мы можем это *делать*, к чему нам изучать ошибки предшественников? Но сейчас, когда обрело популярность сравнение ситуации в Ираке с войной во Вьетнаме, история вновь требует от нас изучения ее уроков. Я хочу заняться здесь сравнением сходств и различий этих двух войн, представив оценку вьетнамской войны, сделанную одним профессиональным военным. Его звали Моше Даян.

Сегодня Даяна вспоминают – если вспоминают вообще – главным образом как символ израильского военного могущества, с одной стороны, и как одного из архитекторов израильско-египетского мирного договора – с другой. Тогда, в 1966 году, ему исполнился 51 год. Выйдя в январе 1958-го года в отставку с поста начальника Генерального штаба, он следующие два года посвятил изучению востоковедения и политологии в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1959 году он стал членом кнессета и министром сельского хозяйства. В ноябре 1964 года он снова ушел в отставку и присоединился к оппозиции.

Даян всегда много читал и был – при желании – блестящим оратором. В 1964 году он опубликовал свою первую книгу «Синайский дневник», которая доказала, что он умеет писать так же хорошо, как и воевать. В его душе, однако, нарастало ощущение, что он уже все видел, изведаль и перепробовал. Два его давних увлечения – археология и бесконечные любовные интрижки – уже приелись ему, и потому, когда влиятельная израильская газета «Маарив» предложила ему отправиться во Вьетнам в качестве своего военного корреспондента, он ухватился за эту идею. Статьи, которые он оттуда присылал, публиковались как в «Маариве», так и в британской и французской прессе. В 1977 году, будучи министром иностранных дел в правительстве Менахема Бегина, он собрал свои ивритоязычные статьи и издал их в виде отдельной книги. Возможно, цель публикации этой книги состояла в том, чтобы предостеречь соотечественников от тех последствий, которыми чревато их «позорное завоевание», как он называл присоединение к Израилю Газы и Западного берега в результате войны 1967 года. Если это так, то он, к сожалению, не очень преуспел.

Даян ничего не знал о Вьетнаме и решил серьезно подготовиться к поездке туда. Первым делом он отправился во Францию, где у него было много знакомых со времен франко-израильского союза 1950-х годов. Некоторые из них участвовали в первой индокитайской войне и помогли Франции ее проиграть. Первым его собеседником стал отставной генерал авиации Луиссон. По мнению Луиссона, в неудачах США во Вьетнаме виновато американское общественное мнение, которое недостаточно решительно поддерживало свое руководство (хотя в начале войны эта поддержка, на самом деле, была очень горячей). Луиссон считал, что США могут легко выиграть войну, если только американская общественность согласится с решением сбросить на Вьетнам атомную бомбу и «вбомбить» его в каменный век. К сожалению, сочетание вьетконговского терроризма и пропаганды мешает миру и даже южновьетнамцам понять, сколь справедливо дело, за которое сражаются американцы. Вот если бы во Вьетнаме можно было провести свободные выборы, утверждал Луиссон, то вьетнамский народ сам бы попросил французов вернуться. Свою лекцию он завершил просьбой сохранить высказанные им идеи в тайне. Даян, не усмотрев в этих идеях проблеска света в царстве тьмы, охотно согласился выполнить эту просьбу.

Встреча с другим его французским знакомым, генералом Нико, оказалась более полезной. За участие в попытке свержения Пятой республики в 1961 году он провел пять лет в тюрьме, что, как это часто бывает, дало ему возможность о многом поразмыслить и кое-что понять. Он сказал Даяну, что американцы используют не те, что нужно, силы против не тех, что нужно, целей. Их разведка попросту отвратительна, и чаще всего они бомбят не объекты противника, а безлюдные джунгли. По мнению Нико, решение проблемы состоит в использовании небольших групп в 5–7 человек, которые выслеживали бы вьетконговцев и служили бы «наводчиками» для вертолетов или артиллерии после обнаружения мест сосредоточения противника.

Кроме того, сказал Нико, попытки американцев воспрепятствовать проникновению вьетконговцев в Южный Вьетнам через демилитаризованную зону совершенно неэффективны, потому что всякий раз, как они блокируют одну дорогу, вьетконговцы находят другую, обходную. Видимо, войну можно выиграть, только отправив туда армию в миллион человек и перестреляв всех до единого вьетнамских мужчин. Но, увы – прошли те времена, когда такое было возможно. В заключение он сообщил Даяну, что ехать во Вьетнам нет никакого смысла, потому что он там все равно ничего не увидит. Даян, с типичным для него здравомыслием, ответил, что даже если он не сможет увидеть противника или военные операции, он, по крайней мере, увидит, что нечто он увидеть не смог, и это тоже будет поучительно.

Из Франции он отправился в Великобританию, чтобы повидаться с фельдмаршалом Монтгомери, который в это время работал над своей «Историей военного искусства». У Монтгомери были свои, вполне продуманные идеи касательно Вьетнама. Он считал, что главная проблема американцев в том, что у них нет определенной цели. Сам он, Монтгомери, беседа недавно с таким высокопоставленным деятелем, как бывший вице-президент Ричард Никсон, попытался понять, в чем заключается эта цель, но дело свелось к тому, что Никсон прочитал ему 20-минутную лекцию, которая оставила Монтгомери точно в таком же неведении, в каком он находился до этого.

Фельдмаршалу, военному человеку, который отличался исключительной дотошностью и всегда тщательно планировал все свои действия, такое отсутствие четко определенной политики казалось главной проблемой. Не имея продуманной стратегии, американцы разрешали своим полевым командирам действовать по их собственному усмотрению. Те делали, что могли, иначе говоря – требовали все новых и новых подкреплений, чтобы загнать все местное население в так называемые «стратегические деревни», а затем разбомбить их там, безотносительно к тому, к каким результатам это приведет – если приведет вообще. В конце разговора Монтгомери попросил Даяна передать от его имени американцам, что они «большие идиоты». Даян и тут согласился выполнить просьбу, хотя на сей раз по другой причине.

Из Лондона он вылетел в США и прежде всего отправился в Пентагон, где к нему прикрепили для сопровождения трех офицеров. Те старались держаться скромно и величали его «славный генерал Даян», но, как он заметил, были, судя по всему, исполнены готовности не только отвечать на его вопросы, но и подсказывать их. Он расстался с ними с ощущением, что они – и те, кого они представляли, – по-настоящему не соприкасались с войной и ничего в ней не понимают. Его особенно удивляло, что, имея (вместе с южно-вьетнамскими союзниками) четырехкратное численное превосходство над вьетконговцами, генерал Уэстморленд избегает концентрации своих сил и решительного наступления, в результате которого враг потерпел бы сокрушительное поражение. Ему отвечали, что генерал Уэст-

морленд считает такую операцию слишком рискованной. Этот ответ не казался Даяну особенно убедительным.

В течение нескольких следующих дней ощущение, что американцы не очень-то понимают, что делают, только нарастало. Сотрудники Пентагона, с которыми он общался, были преданны своему делу и трудились не покладая рук. Пылкие патриоты, они, казалось, весьма гордились тем, что делают, и считали, что действия США во Вьетнаме выше всякой критики. На вопрос, изменили ли они методы ведения кампании с тех пор, как вошли во Вьетнам, он услышал в ответ, что им ничего не пришлось менять, потому что все сработало даже лучше, чем они ожидали. В этой связи он отметил для себя, что американская армия никогда не делает ошибок, но не стал публично оглашать свой вывод. На него обрушили гору статистических данных: столько-то солдат противника убито, столько-то взято в плен – что должно было означать, что все под контролем и значительная часть территории Южного Вьетнама и его населения надежно защищены от атак вьетконговцев. Он, однако, заметил, что достаточно задать несколько элементарных вопросов, как сразу же выясняется, что в действительности дела обстоят далеко не так блестяще. Позднее ему суждено было убедиться, насколько он был прав: во всем Южном Вьетнаме не было ни одной дороги, надежно защищенной от Вьетконга. И точно так же ничто не мешало противнику возвращаться в те места, которые числились тщательнейшим образом «зачищенными» и «умиротворенными».

Тройку его собеседников самого высокого ранга составили заместитель главы Совета национальной безопасности Уолт Ростоу, генерал Максвелл Тэйлор, являвшийся тогда специальным советником президента Джонсона, и министр обороны Роберт Макнамара. Ростоу, экономист из Гарварда, только что опубликовал знаменитую книгу, в которой объяснял, как развивающийся мир может, сделав четыре четко сформулированных им и понятных шага, догнать развитые страны. Он втолковывал Даяну, что стремление к экономическому росту понуждает народы Азии к сближению с Соединенными Штатами. Даян, который в бытность министром сельского хозяйства наглядился на то, как энергично стараются арабские соседи Израиля избавиться от своих западных наставников даже ценой самых тяжелых экономических потерь, позволил себе усомниться в словах Ростоу (будь Даян жив сегодня, он, несомненно, сказал бы то же самое относительно американских иллюзий в Ираке). Ростоу также был убежден – или делал вид, что убежден, – что предстоящие выборы в Южном Вьетнаме будут демократическими и свободными и потому усилят позиции правительства. При всем том, однако, он был первым американцем – из всех, с кем Даян разговаривал до тех пор, – который готов был признать, что цель Соединенных Штатов состоит вовсе не в помощи Южному Вьетнаму, а в создании базы для постоянного военно-политического присутствия в Юго-Восточной Азии, чтобы нейтрализовать растущую мощь Китая.

Генерал Тэйлор был первым американцем, который обрисовал Даяну

детальный план военных действий во Вьетнаме. План этот состоял из четырех элементов: существенная интенсификация наземных операций; полномасштабное использование авиации для бомбежек Северного Вьетнама; резкий рост экономики Южного Вьетнама; и заключение «почетного» мира с Хо-Ши-Мином. Однако на вопрос, есть ли продвижение по какому-либо из этих направлений, он не смог дать внятный ответ. Как признавали сами американцы, операции Вьетконга, несмотря на тяжелые потери (Тэйлор оценивал их в 1000 человек за неделю), становились изо дня в день все более активными и масштабными. Тэйлор не сумел также доказать, что масштабированные бомбежки дают какие-то весомые результаты. Тем не менее он был убежден, что бомбежки наносят существенный ущерб противнику, так что рано или поздно он сломается.

Следующий собеседник Даяна – Роберт Макнамара пользовался репутацией тяжелого человека. К счастью, это оказалось не так, и Даян был приятно удивлен, когда на небольшой вечеринке с участием жены министра Марго, Росту и нескольких журналистов, Макнамара приложил все усилия, чтобы ответить на заданные ему вопросы. Он признал, что многие цифры, циркулирующие в Пентагоне – в особенности те, что касались процента «защищенной» части территории и населения Южного Вьетнама, – в лучшем случае бессодержательны, а в худшем – взяты с потолка. Хотя и он не смог сказать Даяну, как американцы намереваются закончить войну, в отличие от других, он был готов сознаться в своем неведении – пусть и как бы шутя. Теперь-то нам известно, что у него были сомнения в верности американской стратегии, которые побудили его в следующем году уйти в отставку. Он утешал себя тем, что война не сказалась отрицательным образом на американской экономике. Иными словами, эта война могла длиться и длиться – до тех пор, пока какая-нибудь из сторон не сложит оружие.

По дороге во Вьетнам – через Гонолулу и Токио – Даян суммировал в уме все услышанное. Никто из его американских собеседников не сумел растолковать ему, как США собираются выиграть войну. Большинство не могло даже объяснить, зачем американцы вообще оказались во Вьетнаме; а один сказал, что если бы президенту Джонсону представили план выхода из этой трясины, он бы тотчас ухватился за него и вывел свои войска. Что всех их раздражало, так это даже тень сомнения в их побуждениях и мотивах. Все они были убеждены, что их дело правое и благородное. Их, однако, удивляло поведение европейских союзников. Разделяя те же либерально-демократические ценности, они, тем не менее, были настроены критично по отношению к действиям США. Не умея объяснить это, американцы списывали их поведение на трусость, зависть или горечь разочарования, охватившие Европу в результате ее собственного недавнего поражения в этой «империалистической» войне. Даян был убежден, что, игнорируя позицию европейцев, американцы допускают серьезную ошибку.

Еще более непонятным казалось ему то, что готовность вашингтонской администрации пренебрегать мировым общественным мнением сочета-

лась с крайней чувствительностью к мнению собственного электората. Как он отметил, в тот момент 75% опрошенных американцев высказались в поддержку бомбежек Северного Вьетнама – точно так же, как в 2004 году большинство (правда, незначительное) все еще одобряло войну в Ираке. Тем не менее ему казался странным такой способ ведения войны, когда общественное мнение оказывает влияние на решение таких чисто военных вопросов, как бомбежка. Он полагал, что это чревато самыми тяжелыми последствиями.

Даян прибыл во Вьетнам 25 июля. В Сайгоне он провел два дня. Там ему выдали американскую форму, рюкзак, фляги с водой и каску; если бы это зависело от обслуживающего персонала, писал он, ему бы выдали также винтовку и гранаты. В Сайгоне же он встретился с вьетнамским профессором ядерной физики. Профессор сказал ему – абсолютно конфиденциально, потому что любые высказывания, расходившиеся с официальной линией, были небезопасны, – что Вьетконг значительно сильнее, чем думают – или хотят думать – американцы. Немного позже Даян получил возможность встретиться с заместителем южно-вьетнамского премьер-министра, министром обороны генералом Рнуен Ван Тъеу, а также с начальником Генерального штаба республики Южный Вьетнам. Оба были обязаны своими должностями американцам, и оба, по мнению Даяна, были весьма неглупыми людьми. Интересно, что более всего они восхищались не тем или иным американским военачальником, а северовьетнамским генералом Диапом, героем войны вьетнамцев против французов. Они надеялись, что он принудит Ханой пойти на мир с Америкой.

27 июля Даяна включили в подразделение речного патруля. Подразделение состояло из трех быстроходных катеров – на каждом тяжелые пулеметы, четыре «классных парня» с автоматами и командир в офицерском звании. Как отметил Даян, это было первое, со времен американской гражданской войны, участие американского флота в речных операциях. Они шли со скоростью 25 узлов в час, днем ориентируясь по местности, а ночью – с помощью приборов ночного видения. Время от времени они останавливались, чтобы обыскать одну из тысяч южно-вьетнамских лодок, перевозивших продукты из Дельты в Сайгон. Эти обыски пробудили в нем давние воспоминания. Точно так же вели себя англичане, охотясь за еврейскими террористами в Палестине: агрессивно, но, по большей части, безрезультатно. Американские моряки проверяли документы, небрежно осматривали груз и продолжали свой путь. Хотя эти лодки вряд ли везли оружие, но при желании вполне могли бы провезти его под самым носом у американцев. С другой стороны, подвергать тщательному обыску каждую лодку было за пределами возможного.

28 июля он поднялся на борт USA Constellation – самого большого из авианосцев, крейсировавших тогда у вьетнамских берегов. Он был профессиональным военным и много слышал и читал об этих судах, но то, что он увидел, произвело на него «захватывающее дух» впечатление. Авианосец

представлял собой пять акров суверенной американской территории, которые могли перемещаться куда угодно, не думая о помощи ненадежных союзников. Корабль был защищен «с воздуха, с моря, с земли, из-под воды и из космоса», и если в этих словах Даяна и была ирония – что ни говори, противостояли этой громаде маленькие желтые человечки в соломенных шляпах, – то он в ней не признавался. Этот плавучий завод производил огонь. Каждые девяносто минут, под аккомпанемент оглушительного грохота и вспышек пламени, с его палубы взлетали боевые самолеты – бомбить Северный Вьетнам; впрочем, когда речь зашла о точном объяснении целей, по которым наносились бомбовые удары, командир авианосца отказался отвечать на этот вопрос. Как и всюду, здесь тоже ощущалась гордость американцев за себя, свою страну и свою миссию. Подводя итоги визита, Даян заметил, что американцы «сражались не с проникновением коммунистов в Южный Вьетнам, не с партизанами, не с северовьетнамским вождем Хо Ши Мином, а со всем миром. Их подлинная цель состояла в том, чтобы продемонстрировать всем на свете – включая Великобританию, Францию и СССР, – свою мощь и решимость, а также дать понять: куда бы ни двинулись американцы, их не остановить».

В течение следующего месяца (Даян пробыл во Вьетнаме до 27 августа) он побывал в различных боевых частях. Сначала он отправился к морским пехотинцам, где был включен в состав подразделения, которое патрулировало территорию примерно в миле к югу от демилитаризованной зоны, чтобы воспрепятствовать проникновению в Южный Вьетнам вьетконговцев. Командовал подразделением лейтенант по имени Чарльз Кулак. Два дня и три ночи они тряслись на ухабах по джунглям, пересекали речные потоки, где утонуть было – раз плюнуть (в одном месте водоворот сбил Даяна с ног, и солдатам пришлось вытаскивать его из воды). Но за все это время единственной целью, по которой они открыли огонь, было какое-то мелькнувшее в зарослях джунглей животное. Видно, они его ранили, потому что его стоны не давали им уснуть всю ночь. 35 лет спустя отставной генерал Чарльз Кулак, бывший командир морских пехотинцев, рассказал мне, что однажды вечером, когда они в очередной раз разбили лагерь, Даян спросил его, что они здесь делают. По словам Кулака, Даян высказал мнение, что американская стратегия ошибочна. Им следует быть «там, где находится враг», а не бесплодно гоняться за ним там, где его нет.

Во время пребывания во Вьетнаме он неоднократно отмечал, что американцы исключительно преданны своему делу и гордятся тем, что несут свет надежды в эту далекую от благополучия страну. Но его не оставляло ощущение, что необходимо сделать еще очень много – так много, что это порождало сомнение: возможен ли в принципе успех на этой ниве? На него не произвели впечатления и попытки американских спецов увеличить благосостояние южно-вьетнамских крестьян с помощью новых методов ведения сельского хозяйства, улучшения пород скота и тому подобное. Как напоминают эти тщетные усилия американцев во Вьетнаме нынешнюю си-

туацию в Ираке, где тоже заново отстраивают школы и больницы, повышают зарплату врачам и т. д. и т. п.

Уже позже, в Париже, генерал Нико сказал Даяну, что «битва за души и умы» вьетнамцев обречена на провал, потому что у вьетнамцев есть свои давние культурные традиции – а также «совершенно потрясающие женщины» – и потому «калифорнизация» это последнее, что им нужно. В данном случае речь шла к тому же о вопросе, в котором Даян и сам имел некоторый опыт. В свою бытность министром сельского хозяйства (1959–1963 годы), он, при финансовой помощи американцев, отправлял израильских специалистов в различные страны Азии и Африки – проводить сельскохозяйственные реформы. Некоторые из этих стран он посетил лично, что помогло ему лишний раз убедиться в том, как тяжело изменить давние традиции. А делать это в разгар войны, когда над каждым начинанием постоянно висит угроза вьетконговских террористов, было, несомненно, еще труднее.

Исключительно интересным оказалось посещение Первой воздушно-десантной моторизованной дивизии. Созданная всего за несколько лет до того, она была самым современным боевым подразделением в мире, способным действовать за тысячи миль от дома. В тот период в небе Южного Вьетнама, как и сейчас в Ираке, не было ни одного вражеского самолета – так что дивизия чувствовала себя вольготно. Получив информацию о дислокации противника, она уже через четыре часа была способна доставить целый батальон десантников в любое место, достижимое для вертолетов. Оказалось, однако, что получить информацию за четыре часа до вылета означает получить ее на четыре часа позже, чем нужно. Прибыв в указанное место, батальон обнаруживал, что противник давно исчез.

По-видимому, как раз во время посещения Даяном десантной дивизии произошел следующий инцидент. Как обычно, Даян хотел побывать на передовой, что в данном случае означало участвовать в какой-нибудь операции в составе того или другого патрульного подразделения. Командир дивизии уступил его просьбе крайне неохотно, но, опасаясь, не случилось бы чего с именитым гостем, за которого он отвечал, выбрал для патрулирования участок, исключающий вероятность встречи с вьетконговцами. Однако, как водится, разведанные оказались не на высоте – подразделение попало под обстрел и было, как говорится, «прижато к земле». В какой-то момент командовавший подразделением капитан обнаружил, что Даян исчез. В конце концов, они его нашли – этот немолодой гость из Израиля мирно устроился на вершине травянистой горки. Капитан с чрезвычайными предосторожностями подполз к нему и спросил, что он тут делает. «А вы что здесь делаете? – спросил тот в ответ. – Оторвите свою жопу от земли и посмотрите хотя бы, как идет бой!»

По мнению Даяна, все упиралось в разведку. «Если верить информации Нортон (командира Первой дивизии), на этой возвышенности действует целая дивизия Вьетконга. Она не сконцентрирована в одном месте, а разделена на несколько батальонов, примерно по 350 человек в каждом. План

Нортон состоял в том, чтобы высадить свой батальон... в районе расположения вьетконговской дивизии, а затем, исходя из развития событий, бросить на подкрепление дополнительные "силы реагирования", окружить противника и провести фланговую атаку. Задумано было великолепно, недоставало только одной маленькой детали – точных сведений о расположении вьетконговских батальонов. Аэрофотосъемка и воздушная разведка не сумели обнаружить их лагеря, траншеи и бункеры, закамуфлированные растительностью. Все свои разведывательные сведения американцы получали с помощью технических методов – фотографирования с воздуха и перехвата радиосообщений, потому что подразделения Вьетконга от батальона и выше использовали радиопередатчики. Пленные почти не давали сведений, они только плевали американцам в лицо и клялись, что лучше умрут, чем выдадут своих».

В полную противоположность тому, что писалось о гигантских тратах на обеспечение американских войск – от ледяного пива до стриптизерш, – их готовность к боевым действиям поразила Даяна поистине спартанским характером. Американцы готовы были импровизировать, когда нужно: зашвырнуть свой бронезилет в брюхо вертолета, запрыгнуть самому и броситься на поиск вьетконговцев. Вся дивизия «была одним огромным, быстрым и действенным механизмом. Свое оружие – включая артиллерию, а также тактическую и стратегическую поддержку авиации, – она использовала весьма эффективно». По мнению Даяна, она настолько же превосходила другие части, насколько немецкие танки превосходили танки противника в начале Второй мировой войны. «Ее боевые операции напоминали работу конвейера. Сначала – обстрел посадочных площадок наземной артиллерией. Потом бомбежка с воздуха. А сама высадка прикрывалась огнем "летающих пушек" – сопровождающих частей близкой поддержки, сыпавших с воздуха свои ракеты и пулеметные очереди, прошивавшие землю буквально у наших ног». Это была поразительная операция, «но где же была война? Казалось, что наблюдаешь военные маневры, в которых участвует только одна сторона». «Где был Вьетконг? И где происходило сражение? Вьетконг был тут же, в нескольких сотнях метров. А сражение произошло полчаса спустя, когда подразделение, высадившееся в 300 ярдах к югу от нас, попало в засаду, как только попыталось продвинуться в нужном направлении». В считанные минуты десантников расстреляли в упор. Потеряв 25 человек убитыми и около 50 ранеными, включая командира, подразделение, вызвав артиллерийскую поддержку, стало преследовать противника. Вновь наткнувшись на сопротивление, оно тут же вызывало на помощь тяжелые бомбардировщики B-52, но с каким результатом – неизвестно.

Пересказывать все детали пребывания Даяна во Вьетнаме было бы слишком утомительно. Его везде встречали с величайшей любезностью и предоставляли довольно большую свободу – он все мог осмотреть, пощупать, задавать любые вопросы. Как он отметил, американские офицеры отличались самоотверженностью, трудолюбием и были настолько откровен-

ны, насколько это позволяли обстоятельства. Многие из них радовались участью в войне, которая тогда была еще в ее «наступательной» фазе. Генерал Уэстморленд показался ему открытым и приятным человеком. Верно, у него не было того «проницательного выражения», которое Даян различил на лицах некоторых других старших офицеров. Но все равно его нельзя было заподозрить в некомпетентности, и он ничем не напоминал человека, которому доставляет наслаждение поджигать вьетнамские хижины, равно как и садиста, которого собственные солдаты убивают осколочной гранатой.

Одна из проблем этих американцев состояла в их жгучем желании быть упомянутыми в печати, чтобы продвинуться по службе. По мнению Даяна, это не делало их лучше как людей, а главное – как командиров. Он восхищался рядовыми солдатами, в особенности морскими пехотинцами и «зелеными беретами». Они были выносливыми, отлично тренированными и, поскольку это был только 1966 год, выполняли свою работу с охотой. Короче, это были «золотые ребята», если пользоваться его собственным ивритским выражением, и не их вина, что их слишком часто сменяли, не давая им освоиться в обстановке и стать по-настоящему эффективными в деле. Еще более восхищала его колоссальная военно-промышленная мощь, которая давала возможность сосредоточить на одном театре военных действий до 1700 боевых вертолетов. Она же позволила американцам поддержать одну из операций, в которой участвовала одна-единственная южнокорейская дивизия, чудовищной силой 21 тысячи артиллерийских залпов; как он не преминул отметить, это было больше, чем все количество снарядов, выпущенных всеми израильскими войсками в войнах 1948 и 1956 годов вместе взятых.

И все же ничто не могло компенсировать отсутствие оперативности и точности в работе тактической разведки. Частично это было обусловлено катастрофической нехваткой переводчиков, а те, что были, говорили, разумеется, то, что им нравилось. Отчасти – климатическими и прочими особенностями страны, а частично – самой природой этой войны. По словам Даяна, вся информация, которой располагали американцы, сводилась «к тому, что они могли сфотографировать, добыть посредством радиоперехватов или извлечь из взятых в плен рядовых северовьетнамцев». В результате, они не могли наносить противнику достаточно ощутимые удары. Но даже если бы они добились перелома в войне, непонятно было, как южновьетнамцы смогли бы создать жизнеспособное правительство в тени той гигантской военной машины, которая их «защищала». А будет ли эта машина когда-либо выведена из страны, оставалось только гадать.

Официальное определение целей войны – защита демократии и помощь народу Южного Вьетнама – представлялось Даяну примитивной пропагандой. Хотя многие американцы верили ей, никто другой явно не ставил ее ни в грош. Более чем за год до того, как Операция Тет показала, что дела американцев во Вьетнаме отнюдь не блестящи, он покинул эту страну с яс-

ным ощущением, что все идет совсем не так уж хорошо. По его словам, «американцы побеждают во всем – кроме войны». Возможно, это было одной из причин его решения на обратном пути миновать Соединенные Штаты (хотя там встречи с ним ждали Тэйлор и Макнамара). Даян умел быть очень тактичным, а сыпать соль на американские раны ему вовсе не хотелось. Но, так или иначе, поездка во Вьетнам предоставила ему желанную возможность пополнить свои знания методов ведения современной войны.

Кое-кто до сих пор утверждает, что Соединенные Штаты выиграли войну во Вьетнаме, с чем я категорически не согласен. Другие говорят, что Вьетнам нельзя сравнивать с Ираком, потому что вьетнамская война была, по сути, конвенциональной, и американцы ее проиграли лишь потому, что их гражданская администрация не сумела дать своим вооруженным силам правильные стратегические директивы. Разумеется, нельзя отрицать, что между этими двумя войнами имеются серьезные различия. И, тем не менее, вспоминая наблюдения Даяна, можно назвать целых три причины, по которым сходство между этими войнами представляется более важным, чем их различия.

Во-первых, согласно Даяну, главным оперативным недостатком американских войск была плохая разведка, иными словами – неспособность отыскать врага в джунглях или выявить его в толпе крестьян. Будь у них точные разведанные, они, с их огромным превосходством во всех видах оружия, могли бы легко выиграть войну. При отсутствии же таких данных большинство их ударов – включая, по меньшей мере, шесть миллионов сброшенных ими бомб, – было всего лишь сотрясанием воздушной массы вьетконговцы рассредоточивались, рассеивались и смешивались с гражданским населением. Но хуже всего было то, что из-за отсутствия точных разведывательных данных американцы то и дело по ошибке наносили удары по гражданскому населению. Тем самым они толкали огромные массы людей прямо в объятия Вьетконга. Ничто так не способствует взлету ненависти, как вид убитых родных и близких.

Во-вторых, как заметил Даян, борьба за души и умы местного населения была безуспешной. Многие из опубликованных по этому поводу данных оказались, в конечном счете, ложными, предназначенными для успокоения американской общественности. В других случаях прогресс, достигнутый в результате многомесячных усилий, мгновенно испарялся, стоило Вьетконгу перейти в наступление, уничтожая по пути имущество так называемых «коллаборантов», а заодно и их самих. Огромное большинство южновьетнамцев хотели только одного – чтобы их оставили в покое.

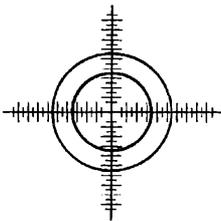
Третья и самая важная из причин, по которым я думаю, что вьетнамская война имеет прямое отношение к ситуации в Ираке, состоит в том, что американцам пришлось сражаться со слабыми. Говоря словами Даяна, «всякое сравнение этих двух армий... просто поражало. С одной стороны, американская армия, с ее вертолетами, авиацией, электронными средствами связи и артиллерией, не говоря уже о транспортных средствах, амуниции, топ-

ливе, запасных частях и оборудовании всяческого вида. С другой стороны – вьетнамцы, которые порой шли пешком четыре месяца кряду, таща на спине несколько артиллерийских снарядов и пользуясь деревянной ложкой, чтобы поесть немного риса из жестяной миски».

И это, конечно, главное. Взрослый, избивший пятилетнего ребенка – даже если тот напал на него с ножом, – утратит симпатии очевидцев и кончит тем, что будет арестован и осужден как преступник. На войне командование, которое в течение длительного времени наносит удары по слабому противнику, точно так же утратит поддержку своих союзников, своего народа и своих собственных солдат. В зависимости от ряда факторов (морального уровня вооруженных сил, эффективности пропагандистского обеспечения работы военной машины, характера политического процесса и т. д.) такой финал может наступить быстро или не очень, но он неизбежно наступит. Тот, кто этого не понимает, ничего не понимает в современной войне. Или, что то же самое, – в человеческой натуре.

Иными словами, тот, кто сражается против слабого противника – а иракские террористы, в действительности, более слабая сторона – и проигрывает ей, тот проигрывает войну. Тот, кто сражается против слабого и побеждает его, тоже проигрывает войну. Убивать более слабого – это не абсолютно необходимо и потому жестоко; но и позволить противнику убить себя тоже не абсолютно необходимо и потому глупо. Как показали Вьетнам и многочисленные подобные войны, никакая армия, как бы богата, сильна, технически оснащена и высокомотивирована она ни была, не может избежать этой альтернативы. Конечным результатом всегда оказывается дезинтеграция, деморализация и поражение; и если американские солдаты в Ираке еще не начали убивать своих офицеров, то уровень самоубийств среди них уже чрезвычайно высок. Вот почему нынешняя американская авантюра, несомненно, кончится точно так же, как предыдущая, а именно – бегством из Ирака. И мы увидим по телевизору, как последние американские солдаты цепляются за шасси вертолета.





(литературный псевдоним Владимира Резуна) в 70-е годы минувшего века работал в резидентуре ГРУ в Женеве и стал невозвращенцем. Автор 14 книг. Живет в Англии.

БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО*

Глава 16. КТО И КАК ГОТОВИЛ ОБОРОНУ БРЕСТА?

Основным недостатком окружного и армейского планов являлась их нереальность.

Генерал-полковник Л. М. Сандалов. Первые дни войны (М., 1989. С. 31)

1

Ведут туристов по Брестской крепости: посмотрите направо, посмотрите налево, это – цитадель, это – остров Пограничный, а это – Госпитальный...

Все ясно, все понятно. Только вот...

На острове Пограничном в Тереспольском укреплении Брестской крепости на *западном* берегу Западного Буга находился 132-й отдельный батальон войск НКВД. В музее обороны крепости вам расскажут о специфике этого батальона. Он был конвойным. Любой справочник (например, *Великая Отечественная война: Энциклопедия*. М., 1985. С. 110) эти сведения подтверждает. Расстояние от казарм 132-го отдельного

* Вторая часть трилогии «Тень победы», которая готовится к публикации в России. Журнальный вариант.

конвойного батальона НКВД до государственной границы измерялось десятком шагов.

Я ничего не понимаю. Пусть хоть кто-нибудь мне объяснит, зачем тюремных вертухаев посадили к границе ближе, чем пограничников? Если готовились к внезапному сокрушительному удару по Германии, тогда все ясно. В случае нападения Красной армии на Германию тут был бы развернут приемный и пересыльный пункт для военнопленных и классово чуждого элемента. Крепостные рвы, казематы и бастионы – это сооружения, по конструкции и по духу родственные тюремным и каторжным централам. Издревле крепости служили тюрьмами. Брестская крепость в качестве пересыльного лагеря вполне сгодилась бы. И транспортировка пленных из Бреста проблемы не представляла. Брест – ворота Советского Союза. Отсюда могучая магистраль ведет прямо в Москву, а это самый крупный железнодорожный транспортный перекресток мира. Другого столь мощного железнодорожного узла на этой планете не сыскать. Из Бреста – на Москву, а дальше – куда угодно, гони скотскими эшелонами хоть сто тысяч врагов, хоть миллион. Рядом с пересыльным лагерем Брест можно было бы устроить фильтрационные лагпункты. Два кольца фортов вокруг крепости вполне для этого сгодились бы. Стены там глухие, непробиваемые. Пусть орут в пыточных камерах, никто не услышит. Тут и расстрельные пункты можно было бы организовать. Урочище Борки или Ведьмы Лисьи на юг от Бреста просто природой созданы для такого дела.

Но если нападение на Германию не готовилось, тогда назначение 132-го отдельного конвойного батальона НКВД, а главное, его расположение – чистый идиотизм, если не вредительство.

2

Рядом с островом Пограничным – остров Госпитальный. На этом острове находился центральный госпиталь Западного особого военного округа. Как прикажете это понимать? Страна знала: граница на замке. Каждый помнил: лучше от границы подальше держаться – сталинские погранцы, как вертухаи в лагере, стреляют без предупреждения. Но на Госпитальном острове Брестской крепости накануне войны логике и духу социализма вопреки происходило нечто невероятное. Прикинем: прямо в приграничной полосе, вдоль берега пограничной реки гуляют молодые мужики в госпитальных халатах, в белых тапочках. А если какой нырнет и уплывет прямо к врагам классовым? Кто же такое позволил? Кто допустил? И куда, простите, недремлющие органы смотрели?

Нам говорят, что нападение Германии было внезапным, т. е. войны в обозримом будущем советские вожди не ждали и уж сами, ясное дело, нападения не планировали и не замыслили. Просто жили мирной жизнью. Поверим. В мирное время лечение личного состава организовано по про-

стой двухступенчатой схеме: санитарная часть полка (иногда дивизии) – окружной военный госпиталь. Солдат – молодой здоровый парень, никаких серьезных болезней у него быть не может. Потому солдата, как правило, лечат на месте. И только если требуется сложное лечение, например хирургическое вмешательство, тогда его отправляют в окружной военный госпиталь.

В мирное время в составе Западного особого военного округа были четыре армии: 3-я, 4-я, 10-я и 13-я. Помимо этого, четыре стрелковые дивизии, один воздушно-десантный, два механизированных корпуса, шесть укрепленных районов и несколько отдельных дивизий, бригад, полков и батальонов, которые в состав армий не входили, а напрямую подчинялись командующему округом. И вот представим ситуацию. В 100-й стрелковой дивизии, которая находилась в районе Минска, у рядового Иванова воспалился аппендикс. Местный эскулап пишет направление: Иванова доставить в приграничную полосу для срочной операции...

До германского вторжения в окружной военный госпиталь на Госпитальный остров Брестской крепости возили бойцов и командиров из Витебска, Могилева, Смоленска за 400, 500, 600 километров, из глубокого тыла прямо к пограничным столбам.

Такое расположение центрального госпиталя Западного особого военного округа нам объясняют просто: так сложилось исторически... Да ничего подобного! До сентября 1939 года окружной военный госпиталь находился в Минске. А еще раньше – в Смоленске. После «освободительного похода» Брест стал советским, и сюда срочно перенесли окружной военный госпиталь. Зачем?

...Вы где-нибудь когда-нибудь такое встречали, чтобы государство развернуло крупнейший военный госпиталь прямо на границе с соседней страной? Да не просто на границе, а на центральной магистрали, которая связывает две столицы! Прямо рядом с пограничными постами. Мыслимое ли дело: в мирное время армия Пакистана поставила бы крупный стационарный военный госпиталь в сотне метров от границы с Индией? И именно там, где границу пересекает дорога между двумя столицами. Или, допустим, появился сирийский военный госпиталь на границе дружественного Израиля. Да зачем же? Неужто им в Сирии земли мало?

Вот я и думаю: неужто товарищу Сталину земли в России не хватало, чтобы военные госпитали к пограничным столбам выносить?

Теперь представим ту же ситуацию, но уменьшим масштаб. Вообразите себя начальником штаба корпуса или общевойсковой армии. Возможность войны не исключена. Ваши дивизии готовятся к обороне. Каждая дивизия занимает полосу в 30 километров по фронту и 20 километров в глубину. И вот командир одной из этих дивизий решил дивизионный госпиталь расположить прямо на переднем крае, да не по центру боевого порядка, а на левом фланге, на самом краю. Получается, что в оборонительном бою предстоит под огнем противника возить раненых вдоль фронта с правого флан-

га на левый. За 30 километров. Но если и доведем беднягу, то предстоит его лечить прямо на переднем крае. Опять же под огнем противника.

Вникните в ситуацию и, как начальник вышестоящего штаба, оцените действия ваших подчиненных...

Теперь вернемся к действительному масштабу.

Каждая дивизия имеет медико-санитарный батальон, каждая армия во время войны имеет госпитальную базу в составе нескольких эвакуационных и хирургических госпиталей. Кроме того, военный округ, который в случае войны превращается во фронт, имеет свою собственную госпитальную базу – до десятка и более госпиталей. Так вот: самый главный из всех этих госпиталей расположили в Брестской крепости, на самом левом фланге Западного фронта, в сотне метров от государственной границы. Западный фронт – это 470 километров с севера на юг, от границы Литвы до границы Украины. На самом левом фланге – центральный госпиталь Западного фронта. Если готовилась оборона, то выбор места для этого госпиталя – преступление. Как сюда возить раненых из соседних армий? За 200, 300, 400 километров вдоль фронта? Через разрывы снарядов? Под градом осколков? Но больные и раненые будут не только на переднем крае, но и в тылу. Например, пострадавшие от бомбежек. И что прикажете делать: возить раненых из глубокого тыла на передний край? Да и что толку людей с особо опасными ранениями везти в Брестскую крепость, если она с первых минут оборонительной войны в любом случае окажется под огнем противника?

3

Командующий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов, как нас учили, особыми умственными способностями не отличался. Не будем спорить. Но над Павловым была управа. Над ним – вышестоящий штаб. И это был не какой-нибудь, а Генеральный штаб Рабоче-крестьянской Красной армии. Во главе этого штаба – величайший полководец всех времен и народов генерал армии Жуков. Позвольте полюбопытствовать: куда смотрел Генштаб? О чем думал его гениальный начальник?

...Высказываю мнение, и можете не соглашаться. Можете опровергать. Сдается мне, что перед войной центральный госпиталь будущего Западного фронта на берегу пограничной реки развернули только потому, что было решено границу слегка отодвинуть. Причем в обозримом будущем. Если готовилось нападение на Германию, то лучшего места для главного госпиталя Западного фронта не найти. Москва–Смоленск–Минск–Барановичи–Брест–Варшава–Берлин – это главное стратегическое направление войны. Это центральная ось. Это главная магистраль. По ней будет идти основной поток грузов в действующую армию. По ней же в обратном направлении – поток пленных и раненых. Именно на этой магистрали, имен-

но в Бресте, на самой границе, на самом краешке советской земли и следовало ставить самый лучший госпиталь Западного фронта. За государственной границей вслед стремительно уходящим вперед войскам пойдут подвижные госпитали. А тут – стационарный. Развернутый уже в мирное время. Если нужна срочная и очень сложная операция, так чтоб не везти до Минска, Смоленска и Москвы...

4

Еще вопрос: как случилось, что огромную крепость с внешним периметром в 45 километров окружили за несколько часов?

Перед самым крушением Советского Союза ответ на этот вопрос дал заместитель начальника Генерального штаба генерал армии М. А. Гареев: «На участке протяженностью 80–100 километров севернее и южнее Бреста вообще не было войск» (Мужество. 1991. № 5. С. 256).

Вот причина окружения. С одной стороны, «в Бресте скопилось огромное количество войск» (Сандалов Л. М. На московском направлении. С. 58), с другой – правее и левее Бреста на десятки километров – никого. Дикое скопище в центре, а фланги открыты. При таком расположении советские войска в Бресте были просто подставлены под окружение и разгром.

Чем же эти войска занимались? Если справа и слева от города на сотню километров границу не защищал никто, то, может быть, войска в Бресте готовили оборону самого города и крепости?

Вовсе нет. «На оборону самой крепости по окружному плану предназначался лишь один стрелковый батальон с артдивизионом» (Там же. С. 52).

Стрелковый батальон 1941 года – 827 человек. Если, конечно, он полностью укомплектован. Советские же генералы и историки в погонах уверяли нас, что везде был ужасный некомплект.

Артиллерийский дивизион – 12 орудий и 220–296 человек в зависимости от типа орудий и тяги.

Если расставить один батальон и один артиллерийский дивизион по внешнему периметру Брестской крепости, то на каждом из 45 километров будет больше двадцати бойцов. Но это теоретически. На практике их будет меньше. Потому как не все в стрелковом батальоне – стрелки с винтовками. В стрелковом батальоне есть минометная рота и противотанковый взвод. Их надо держать ближе к командному пункту, чтобы в нужный момент развернуть в правильном направлении. И в артдивизионе не все солдаты при пушках. И в батальоне, и в артиллерийском дивизионе есть и медики, и повара, и связисты, и старшины в ротах и батареях, и писари в штабе, кто-то в каптерке сидеть должен, сапоги считать, а кто-то должен обеспечивать личный состав денежным и табачным довольствием, кто-то снабжать патронами и снарядами, подвозить хлеб и кашу, кто-то должен ухаживать за лошадьми или обслуживать машины. Кто-то должен командовать,

управлять огнем батарей, вести наблюдение, оценивать обстановку, принимать решения, отдавать приказы, следить за их неукоснительным выполнением. Разведка работать должна. И выходит, что в стрелковом батальоне чистой пехоты с винтовками и ручными пулеметами – 36 отделений по 12 человек в каждом. Если эти отделения полностью укомплектовать и если посадить их по внешнему периметру, то получается больше километра на отделение. Но тогда внутри крепости – в цитадели, в трех предмостных укреплениях, в бастионах и фортах – вообще не останется пехоты. И в резерве у командира батальона не останется ни взвода, ни отделения пехоты. Чем он дыры в обороне закрывать будет? И как бедному комбату всем этим воинством управлять, если жидкая цепочка сидит по периметру? Гонцов на велосипеде посылать? Так ведь крепость вся реками, каналами и рвами изрезана. Вроде Венеции.

И 12 орудий на всех. Если вспомнить противотанковый взвод батальона, тогда орудий будет 14. Тоже по периметру расставить? Не густо получится. Или в кулак собрать? Выходит жиденький кулачок. И как прикажете управлять огнем? На все направления артиллерийских наблюдателей выслать? Так нет их столько в дивизионе.

Итак, великое скопище войск в огромной крепости и рядом с ней, но для обороны крепости выделено столько войск, что едва хватит для несения караульной службы. А всех остальных зачем сюда пригнали? Ради чего, если не ради обороны?

Может быть, остальные батальоны, полки и дивизии оборону не в крепости, но вокруг крепости готовили?

Опять же нет. «Окопы строились преимущественно в виде отдельных прямоугольных ячеек на одного-двух человек без ходов сообщения, без маскировки; противотанковые заграждения создавались только на отдельных участках в виде противотанковых рвов и надолб. Противопехотные заграждения не минировались. Командных и наблюдательных пунктов и убежищ имелось незначительное количество» (Сандалов Л. М. Первые дни войны. С. 46).

Из этой цитаты мы узнаем две важные вещи.

Во-первых, минно-взрывные заграждения вообще не использовались. Ни противотанковые, ни противопехотные. Надолбы и рвы хороши против танков. Но только если позади них – окопы и траншеи. Да не пустые, а занятые войсками, которые своим огнем вражеских саперов к заграждениям не подпускают. Если же никто рвы и надолбы не охраняет и огнем не прикрывает, то нет от них прока. Подойдут вражеские саперы, не спеша установят заряды, взорвут надолбы или завалят стенки рва. Работы на десять минут. Или на пять. Еще проще: противник такие заграждения может обойти. Тем более что они не сплошные, а только на отдельных направлениях. Как уточняет генерал-полковник Сандалов, «количество заграждений было незначительным». Главное, такие заграждения видны противнику. И с земли, и с воздуха. Противник на них не полезет. А вот противотанковые ми-

ны не видны. Кроме того, они не только останавливают противника, но и убивают его и калечат. Вот картинка была бы: выползают танки Гудериана из реки и прямо на минное поле. Но не было противотанковых минных полей. Как и противопехотных. Можно было бы надолбы проволокой оплести и противопехотными минами начинить, чтоб вражеским саперам служба медом не казалась. Но этим тоже никто не занимался.

Во-вторых, в районе Бреста четыре советские стрелковые и одна танковая дивизии траншей не рыли. Стрелковые ячейки на одного-двух человек не были связаны между собой траншеями и ходами сообщения. А если так, то против сильного противника удержать такую «оборону» невозможно. Как снабжать стрелков патронами? Как их кормить? Как менять на время сна и отдыха? Как выносить раненых? Как перебросить резерв туда, где враг явно готовит прорыв? Как стрелками руководить? Как командиру отделения проверить, не спит ли боец в своем окопе? Ведет ли бой? А то ведь хитрый свернется клубочком на дне своей стрелковой ячейки, и, пока остальные супостата отбивают, он, прохвост, головы из-за бруствера не высунет. Если окопы соединены траншеей, то нет проблем. Командир отделения прошел по траншее, поговорил с каждым, каждому задачу поставил, каждого проверил, каждого матом покрыл. По траншее и лекарь прибежит, и боец ящик патронов поднесет или термос с кашей. А как без траншей? Если траншей нет, то командир отделения по полю вынужден бегать или ползать. Много не набегаешь. Убьют. И ползать долго не позволяют. А взводу как отделениями управлять? А ротному – взводами?

Но и солдату не мед одному в такой ячейке сидеть. Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в первые дни войны, когда был еще генерал-майором, поставил на себе эксперимент. Залез в одиночную стрелковую ячейку, которая не была связана траншеей с другими ячейками, и немного там посидел. Признается: жутко было. Сидишь и не знаешь, справа и слева от тебя есть кто-нибудь или уже нет никого. Может быть, соседи давно убиты. Или, не будь дураками, разбежались, а ты тут один фронт держишь...

О том, что такая «оборона» с одиночными и парными ячейками без траншей не могла продержаться несколько часов, да и не замышлялась на столь длительный период, можно судить по совсем простой детали...

Русская армия применяла траншеи со времен обороны Севастополя в 1854 году и во всех последующих войнах. Траншеи защищали солдата от пуль и осколков. В траншеях на позиции отделения и взвода создавалось все необходимое для жизни и работы людей: перекрытые щели, ниши для продовольствия и боеприпасов, укрытия, блиндажи, командно-наблюдательные пункты. Кроме всего прочего, полевая фортификация предписывает на позиции каждого отделения иметь тупиковое ответвление траншеи, которое официально называется «отхожий ровик». Теперь представим себе любую советскую дивизию на самой границе 22 июня 1941 года. Подавляющее число солдат принимают первый бой. При этом у людей возни-

кают самые естественные надобности. Они, кстати, иногда и без боя возникают. Как отцы-командиры мыслили первые сражения? Если от Балтийского до Черного моря не было нигде траншей, следовательно, не было и тупиковых ответвлений. Где прикажете отправлять естественные надобности в оборонительной войне? Выскакивать бойцу из одиночной или парной стрелковой ячейки с этой целью или не выскакивать? Как перед войной Генштаб замышлял решать эту проблему? И о чем, простите, думал его гениальный начальник?

Полбеда, если бы эти одиночные ячейки были заняты стрелками. Обошлись бы без отхожих ровиков. Так ведь нет же. Дивизии располагались в местах постоянной дислокации – в военных городках. И что прикажете делать, если завтра война? Поднять дивизии по тревоге и гнать их бегом на 20, 30, 50 километров к своим одиночным и парным стрелковым ячейкам? Под минометным обстрелом?

Если бы дивизии далеко от границы находились. Хотя бы в десяти километрах. Или в двадцати. Но они у самых границ. Они под огнем с первого момента войны. Возможности занять свои жалкие одиночные и парные ячейки у них не было никакой.

Наши гениальные стратеги явно рассчитывали не на огонь батарей, не на траншеи, не на ряды колючей проволоки и не на минные поля, а на массовый героизм.

После войны Жуков валил вину на нашего несгибаемого солдата: войска были неустойчивы! войска впадали в панику!

Защитникам жуковской мудрости на память: необстрелянные войска впадают в панику только в чистом поле под внезапным ударом. Если войска находятся в траншеях, то по чисто психологическим причинам они не бегут, а стойко обороняют свои позиции. Ибо в траншее человек чувствует себя в большей безопасности, чем на открытом пространстве. Ползущий на тебя танк с пушкой, наведенной прямо в душу, воспринимается из траншеи совсем не так, как в чистом поле. Даже грохот боя в траншее воспринимается иначе: и пули не так страшно свистят, и осколки визжат дружелюбнее. Если внезапный удар застал необстрелянного солдата в чистом поле, то для него спасение бегством – один из вариантов. Если же внезапный удар застал его в заблаговременно отрытых полевых укреплениях, то для того чтобы убежать, солдату надо из безопасной траншеи выскочить на открытое пространство под огонь, под снаряды, мины, бомбы, осколки и пули. Под танковые гусеницы. Бежать для него – худший вариант, чем сидеть в окопе. Если же основная масса не рванула с позиций, то скоро кто-то начнет стрелять по противнику. За ним – и остальные.

И когда Жуков уличал доблестные дивизии Красной армии и обвинял их в трусости и неустойчивости, надо было спросить, а что сделал начальник Генштаба для того, чтобы войска не впадали в панику? Что он предпринял для того, чтобы обеспечить устойчивость войск в первых оборонительных сражениях?

Был в районе Бреста еще и укрепленный район. В стадии строительства. Он имел первую позицию и вторую. «Первая позиция строилась по восточному берегу реки Западный Буг... В июне 1941 года велось строительство сооружений только на первой позиции укрепрайона... Полоса предполья... не создавалась» (*Сандалов Л. М. Первые дни войны. С. 45*). «Строительство долговременных сооружений... на многих участках проводилось непосредственно вдоль границ на виду у немецких пограничных застав. Бетонированные точки и дзоты первой позиции просматривались с немецких наблюдательных пунктов» (Там же. С. 12).

Дальше можно цитату не продолжать. И не надо буйного воображения, чтобы представить, что случилось ранним утром 22 июня 1941 года.

Противник знал, где именно строятся доты, знал точное расположение каждого из них, знал секторы обстрела каждой амбразуры. Перед дотами не было полосы предполья: ни колючей проволоки, ни минных полей. Доты вдобавок ко всему не были заняты войсками. Не надо быть гениальным стратегом, чтобы сообразить: в случае внезапного нападения противник на лодках переправится через реку и захватит доты до того, как советские солдаты проснутся по тревоге и успеют до них добежать. От казарм путь неблизкий. Иногда и до десятка километров.

Гудериан вспоминает: «Береговые укрепления вдоль реки Буг не были заняты русскими войсками».

На других направлениях — как под Брестом. «Доты перед Граево оказались без личного состава и были захвачены вражескими диверсантами» (*Иринархов Р. С. Западный особый. С. 183*).

Весьма важно, что в укрепленных районах не было полевого усиления, т. е. не было обыкновенной пехоты, которая сидит в окопах и траншеях между дотами, впереди и позади них. Дот — это страшный крокодил. Но если сесть крокодилу на спину, то он не укусит. Дот имеет мертвые пространства, которые не простреливаются из его амбразур. Потому доты строятся группой. Мертвые пространства одного перекрываются секторами обстрела другого и третьего. Если же один дот занят гарнизоном, а соседние пусты или вообще не готовы, то мы рискуем очутиться в ситуации крокодила, на спине которого сидит дядя с топором. Если дот один, то вражеские саперы могут подойти с непростреливаемого направления, установить на крыше обыкновенные или направленного действия заряды либо дымовыми шашками вентиляцию забить. Саперы вообще на выдумки горазды, на многие хитрости способны. Положение могут спасти бойцы из полевого усиления. Они отобьют вражеских саперов. Но если одиночный дот без кругового обстрела (а таких подавляющее большинство) не защищен огнем соседних дотов или не прикрыт действиями хотя бы одного отделения стрелков, которые действуют в окопах и траншеях вокруг него, тогда гарнизону дота лучше выйти наружу. По крайней мере, все вокруг видно,

во все стороны стрелять можно. Пример для наглядности: «К югу от крепости, у деревень Митьки и Бернады, оборонялась 2-я рота лейтенанта И. М. Борисова. Сплошной линии обороны здесь не было, доты стояли поодиночке и были недостроены. После нескольких часов боя они были блокированы гитлеровцами и подорваны вместе с гарнизонами» (Там же. С. 192).

6

«В полосе 4-й армии срок занятия Брестского укрепленного района был определен округом для одной стрелковой дивизии 30 часов, для другой – 9 часов» (*Сандалов Л. М. Первые дни войны. С. 12*). План простой и понятный: если немцы внезапно нападут в 4 часа утра, то одна советская дивизия займет оборону вокруг дотов, которые стоят прямо вдоль берега пограничной реки, к 13 часам, а другая дивизия – через сутки, к 10 утра следующего дня. К этому генерал-полковник Сандалов добавляет, что «на учебных тревогах выяснилось, что эти сроки являются заниженными». Иными словами, сроки нереальные. В такие фантастически короткие сроки дивизии просто не успевали занять оборону в укрепленном районе. Коль так, следовало гарнизоны дотов и полевые войска держать не в казармах, а в поле, там, где предстоит воевать.

Вот рассказ об одной только роте Брестского укрепленного района. «Почти весь апрель 1941 года личный состав находился неотлучно в дотах. Но в начале мая поступил приказ, и гарнизоны были выведены из дотов. Бойцов поселили в казармах, продовольствие, боеприпасы возвратили на ротный склад. Таким образом, к началу войны в огневых точках не было ни продовольствия, ни боеприпасов, кроме нескольких ящиков патронов в доте караульного взвода. С момента нападения гитлеровцев доты занимались под огнем. Из 18 бойцов Шанькова в дот пробралось только 5 человек. За снарядами и патронами приходилось пробираться на ротный склад, но вскоре он взлетел на воздух от попадания снаряда» (*Иринархов Р. С. Западный особый. С. 192*).

Коммунистические пропагандисты десятилетиями рассказывали истории о том, что советские фортификационные сооружения были слабыми, плохо вооружены, имели плохую оптику, в основном были пулеметными, а пушечных было мало. Это не так... «Многие доты имели по одному или несколько орудий, спаренных с пулеметами. Орудия действовали полуавтоматически. Боевые сооружения оснащались очень хорошей оптикой» (Там же. С. 231).

Не в том беда, что доты были непрочными или слабовооруженными, а в том, что гарнизоны не успели их занять. Вот пример из обороны УР № 6 (Рава-Русского) соседнего Юго-Западного фронта. Двухэтажный дот «Медведь». В двух орудийных амбразурах – 76-мм пушки со спаренными пулеметами, кроме того, две пулеметные амбразуры со станковыми пулеметами.

22 июня 1941 года в этом доте на два орудия и четыре пулемета было три человека. «Каждый дот... являлся неприступным бастионом на пути врага... В доте "Медведь", кроме него, Соловьева, было всего два бойца – Павлов и Карачинцев. Соловьев встал у одного орудия, Павлова он поставил к другому, находившемуся слева, Карачинцеву приказал в случае необходимости вести огонь поочередно из двух пулеметов» (Год 1941. Юго-Западный фронт. Львов, 1975. С. 67–69). Прикинем: один человек у орудия. Мастер на все руки: он же и командир, и наводчик, и заряжающий, и замковый, и подносчик боеприпасов. И у другого орудия – та же картина. А пулеметчик от одного пулемета к другому бегаёт. Круговое наблюдение не ведёт никто: в перископы («очень хорошая оптика») некому смотреть. Огонь орудий и пулеметов никто не координирует. И связь с соседними дотами никто не поддерживает. Опять же – некому. И стрелками из полевого усиления никто не командует. Впрочем, стрелков полевого усиления и в помине нет.

Представим, что в этом доте не два подземных этажа, а четыре, не два орудия, а пять, не четыре пулемета, а десять. От этого вам легче будет, если вместо положенных по штату десятков людей в доте три бойца? Если вместо взвода полевого усиления вокруг дота в траншеях ни души? Если и траншей рядом нет?

И по всей границе – то же самое. Рассказывает полковник Д. А. Морозов, который встретил войну совсем на другом направлении: «Мощные сооружения не были заняты своевременно советскими войсками и не оправдали тех надежд, которые возлагало на них командование. В первые часы войны укрепления очутились в тылу у противника» (О них не упоминалось в сводках. М., 1965. С. 9).

И вот красная пропаганда рассказывает душещипательные истории про одну винтовку на троих, а платные друзья за рубежами эти истории со смаком повторяют. Но если дело действительно так обстояло, то следовало тех, кто без винтовок, ставить пулеметчиками в доты, заряжающими и замковыми к орудиям, направить их к перископам и телефонам.

Не в нехватке оружия дело, а в гениальном планировании некоего почти святого начальника Генерального штаба, у которого на приграничных аэродромах на каждого летчика приходилось по два самолета, а во внутренних военных округах оказалось больше СТА ТЫСЯЧ безлошадных пилотов.

Приказ вывести гарнизоны из дотов и вернуть все запасы на склады был отдан Жуковым 2 мая 1941 года. Не в одной роте доты оказались без личного состава, без снарядов, патронов и продовольствия, а часто и без людей, но во всех. От Балтики до устья Дуная.

Одним словом, Брестский укрепленный район себя ничем не проявил, врага не остановил и не задержал, вреда ему не причинил. Средства, угробленные на его строительство, не просто зря пропали. Они пошли на пользу Гитлеру, во вред Красной армии и Советскому Союзу. Если бы укрепленный район у границы не строили, то хотя бы строители со всей техникой, а также сотни саперных батальонов в первый момент войны в плен не попали бы.

Брестский укрепленный район не один. По всей линии границы случилось то же самое. И попали в лапы германских передовых отрядов тысячи строителей высокой квалификации, строительная техника, сотни тысяч тонн строительных материалов, вооружение и оптика дотов, боеприпасы и все остальное, что было необходимо для обороны, но хранилось не в железобетонных дотах, а в деревянных складах или просто за колючей проволокой под открытым небом в стороне от узлов сопротивления укрепленных районов.

Главное в том, что в оборонительной войне Брестский и все другие укрепленные районы на западной границе Советского Союза были обречены именно на такую судьбу.

А позади Брестского и других укрепленных районов никаких подготовленных оборонительных рубежей не имели ни 4-я армия и никакая другая. Во всех остальных армиях Первого стратегического эшелона все обстояло точно так же.

7

«К вечеру 22 июня немецкие танковые соединения, продвинувшись от границы на 50–60 километров, захватили Кобрин. Здесь, как и на правом фланге фронта, в связи с отсутствием на тыловых оборонительных рубежах заблаговременно развернутых резервов создалась реальная угроза глубокого прорыва неприятельских войск и охвата ими левого фланга главных сил Западного фронта» (*История Великой Отечественной войны Советского Союза*. М., 1961. Т. 2. С. 20).

Так писали официальную историю для толпы. В те же годы наши маршалы и многозвездные генералы писали другую, секретную историю для ограниченного круга. Генералы и маршалы в секретных книгах тоже экономили на правде, но деталей сообщали больше. Некоторые из генеральских книг были рассекречены через полвека после начала войны. Итак, официально, для народа: «в связи с отсутствием на тыловых оборонительных рубежах заблаговременно развернутых резервов». А для ограниченного круга сообщалось, что не только резервов не было на тыловых оборонительных рубежах, но не было и тыловых оборонительных рубежей (*Сандалов Л. М. Боевые действия войск 4-й армии Западного фронта в начальный период Великой Отечественной войны*. М., 1961. С. 106). Генерал-лейтенант В. Ф. Зотов воевал на соседнем фронте: «Минно-взрывных заграждений не было. Противопехотные проволочные заграждения были построены, но их тоже явно не хватало. Строительство тыловых рубежей по плану, к сожалению, не намечалось» (*На Северо-Западном фронте (1941–1943)*. М., 1969. С. 175).

Официальная история войны подробностей не сообщала. Нам скороговоркой сказали, что к вечеру 22 июня был захвачен Кобрин, и галопом по-неслись дальше. Подумаешь, Кобрин.

А мы задержимся.

В Кобрине находился штаб 4-й армии. Этой армией, как и всеми остальными армиями Первого стратегического эшелона, никто не управлял с самого первого момента войны просто потому, что оборонительная война не замышлялась, не планировалась, не предусматривалась. Падение Кобрина означало захват противником штаба, командного пункта и узла связи 4-й армии. А это, в свою очередь, значило, что вечером 22 июня управление 4-й армией было потеряно полностью и окончательно.

Ранним утром германская авиация накрыла все аэродромы 10-й смешанной авиационной дивизии. В первые часы войны был захвачен аэродром Высокое со всеми запасами. К концу дня разгромлен штаб авиационной дивизии и захвачен аэродром Кобрин. С этого момента никто авиацией 4-й армии не руководил, никто ею не управлял.

...Там же, в Кобрине, были огромные запасы боеприпасов, горючего, продовольствия, инженерного имущества и пр. Проще говоря, к вечеру 22 июня 4-я армия была разбита и Брестское направление полностью оголено. Часть войск 4-й армии была блокирована в Брестской крепости.

8

Вот еще загадка. Через 30 лет после войны в Брестской крепости открыли мемориальный комплекс. Многие восхищались. А я ничего не понимал. Самый для меня необъяснимый монумент – «Жажда». Циклопических размеров железобетонный солдат тянется к речной воде... Да почему же жажда? Кругом вода. Крепость на островах. Крепость построена в месте, где река Мухавец впадает в Западный Буг. Протоки, каналы, заполненные водой рвы и канавы – это один из основных элементов обороны крепости. Крепость тут была и раньше. Старую снесли, новую построили. За тысячу лет до германского вторжения это место выбрано для крепости именно потому, что оно труднодоступно, ибо окружено водой. И вся прилегающая местность низменная, местами болотистая. Грунтовые воды близко. Кто же и как готовил Брестскую крепость к обороне? В каждом полку – саперная рота. А полков в Бресте, как мы видели, в избытке. В каждой дивизии, помимо этого, саперный батальон. И у командира корпуса – еще один саперный батальон. Кроме того, в самой крепости 33-й инженерный полк.

Неужели перед войной никто не удосужился всей этой массе саперов поставить задачу отрыть колодцы в крепости? Вода-то рядом. Чай, не в пустыне.

У этой загадки тоже есть разгадка. Причем предельно простая. Как мы уже знаем, 24-го июня был создан штаб обороны крепости и состоялось первое совещание: капитан Зубачев, полковой комиссар Фомин и старший лейтенант Семенков. «Было принято решение – прорываться из крепости с боем» (*Иринархов Р. С. Западный особый. С. 231*). Зачем же прорываться? У вас же крепость! Неужто в чистом поле лучше, чем в крепости?

Когда-то очень давно, когда мне было десять лет, осенью 1957 года, по вечерам я слушал радиопередачу «Рассказы о героизме». Ее вел писатель Сергей Смирнов. Он рассказывал о Брестской крепости. Передачу вел мастерски, дух захватывало. Не я один слушал. Вся страна со мной. Телевидения тогда у широких народных масс не было, а выступления Смирнова были действительно интересными. Но одна фраза меня поразила. Именно эта: *24 июня был создан штаб обороны крепости, было принято решение на прорыв...* Как же так? Если создан штаб обороны, то он должен принимать решение на оборону. Если же штаб на своем самом первом совещании принимает решение бросить крепость, то это не штаб обороны. Этот штаб надо называть как-то иначе.

Между тем и в музее обороны Брестской крепости, во множестве статей и книг повторено тысячекратно: так называемый штаб обороны крепости первым делом принял решение вырваться из нее. Проще говоря, *штаб обороны создавался не для обороны и о ней не думал*.

Возможно, был создан какой-то штаб. Но в ранг штаба обороны его задним числом возвел писатель Сергей Смирнов.

Можно смеяться, можно плакать, но факт остается: решение об обороне крепости никто не принимал ни до войны, ни после того как война началась.

Было только решение на прорыв, но из крепости не вырвешься. Крепко ее устроили военные инженеры Николая Первого.

Германская 45-я пехотная дивизия окружила Брестскую крепость, поставила заслоны на выходах и долбила по отдельным казематам цитадели из мортира. А Брестская крепость молчала. Несмотря на огромное качественное и количественное превосходство советской артиллерии, она так и не подала голоса.

«Героическая оборона» Брестской крепости – это не следствие выдающегося планирования или целенаправленной подготовки. Вовсе нет. «Большое количество личного состава частей 6-й и 42-й стрелковых дивизий осталось в крепости не потому, что они имели задачу оборонять крепость, а потому, что не могли из нее выйти» (ВИЖ. 1988. № 12. С. 21). «Основные силы этих дивизий, запертые шквальным огнем противника в крепости, не смогли выйти из нее, они оказались в огненном мешке» (*Иринархов Р. С. Западный особый*. С. 219).

Непробиваемые бастионы и форты Брестской крепости возводили для того, чтобы сдержать напор противника. И вот эти стены, валы и рвы стали для советских дивизий мышеловкой.

Выдающиеся русские инженеры, которые строили крепость, конечно же, предусмотрели достаточное количество колодцев. Колодцы были, и они там есть до сих пор. Каждый в этом может сам убедиться, побывав в цитадели. Дело в том, что крепость была рассчитана на централизованное сопротивление. Вот тогда воды всем бы хватило. Но германская пехота уже 22 июня господствовала не только на фортах и всех трех предместных

укреплениях – она прорвалась и в цитадель. Большие и малые группы советских бойцов и командиров были изолированы в разных частях крепости. Единой централизованной обороны не было. Были отдельные очаги сопротивления. Там, где была вода и патроны, люди держались долго. Но не всем повезло. Какая-то группа оказалась запертой в подвалах со снарядами. Но зачем они нужны, если пушки уничтожены на открытых площадках? Другая группа отбивалась в казематах, превращенных в вещевой склад. Тысячи пар сапог и шинелей, только патронов нет. Кому-то повезло попасть в продовольственный склад. Ешь, сколько хочешь. Только воды нет. Воду на складе не хранили. Колодец мог быть в соседнем каземате. За стеной. Но стены-то непробиваемые. Вот отсюда и жажда.

И не могли великие инженеры, которые возводили жемчужину фортификационного искусства, предположить, что оборона первоклассной крепости с первых минут войны рассыплется на отдельные очаги. Не могли царские инженеры предвидеть, что враг способен прорваться в цитадель в самый первый день. Такого позора никто из них не мог даже вообразить.

9

Вопрос остается: если полки, дивизии и корпуса 4-й армии (как и всех остальных советских армий) подготовкой к отражению агрессии не занимались, то что же они тогда делали?

Ответ не надо долго искать.

«Осенью 1940 года... в округе началась полоса полевых командирских и штабных занятий и войсковых учений... У нас в 4-й армии такое занятие по теме "Наступление стрелкового полка" состоялось на артиллерийском полигоне под Брестом... Все предвоенные учения по своим замыслам и выполнению ориентировали войска главным образом на осуществление прорыва укрепленных позиций» (*Сандалов Л. М.* Первые дни войны. С. 39). «Командно-штабные учения и выходы в поле в течение всего зимнего периода и весны 1941 года проводились исключительно на наступательные темы...» (Там же).

Иногда разнообразия ради темой учений и военных игр было не наступление, а контрнаступление. Враг, мол, напал, а мы наносим ответный удар. Если так, то прежде чем наносить ответный удар, следует отразить удар противника. Но именно это всегда и оставалось за кадром: «Осенью 1940 года по разработке и под руководством Генерального штаба в Белоруссии проводилась большая штабная военная игра на местности со средствами связи... Эта военная игра имела крупный недостаток. Основное внимание на ней обращалось не на организацию отражения наступления противника, а на проведение контрнаступления...» (Там же. С. 41).

И тут тоже все понятно и объяснимо. Войска учили ведению «контрнаступления» на опыте зимней войны в Финляндии: подлые финны напали,

а мы отразили их вторжение, после этого нанесли ответный удар... Советские маршалы и генералы планировали точно такую же «оборонительную» войну и против Германии. «Отражение нападения» – это листочек между мраморных ног. Древние греки думали, что если приладить листочек, то никто и не догадается, что там под ним спрятано. Так и советские стратеги иногда листочком прикрывали цель своих учений. Однако быстро возвращались к отработке чисто наступательных тем. «В марте–апреле 1941 года штаб 4-й армии участвовал в окружной оперативной игре на картах в Минске. Прорабатывалась фронтовая наступательная операция с территории Западной Белоруссии в направлении Белосток–Варшава» (Там же).

«21 июня 1941 года закончилось проводимое штабом армии двустороннее командно-штабное учение на тему "Наступление стрелкового корпуса с преодолением речной преграды"» (Там же). Штаб 28-го стрелкового корпуса, как мы помним, находился в Бресте на самом берегу Западного Буга. Тут же – обе его дивизии и оба корпусных артиллерийских полка. Попробуем догадаться, с какой целью отрабатывалась такая тема.

После смерти Сталина советским генералам средней руки (до генерал-полковника включительно, но не выше) приказали писать объяснения своих действий летом 1941 года. Генерал-полковник В. С. Попов, бывший командир 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, в своем объяснении от 10 марта 1953 года написал: «План обороны государственной границы до меня, как командира 28-го стрелкового корпуса, доведен не был» (ВИЖ. 1989. № 3. С. 65). Итак, 28-й стрелковый корпус, который находился прямо на берегу пограничной реки, отрабатывает тему «Наступление стрелкового корпуса с преодолением речной преграды», но никто в этом корпусе, начиная с командира, с планами обороны государственной границы не был знаком, в глаза таких планов не видел.

«На последнюю неделю июня штаб округа подготовил игру со штабом 4-й армии тоже на наступательную тему» (*Сандалов Л. М.* Первые дни войны. С. 40–41). «На артиллерийском полигоне армии, расположенном южнее Бреста, штаб армии наметил провести утром 22 июня в присутствии представителей округа запланированные округом опытно-показательные учения на тему "Преодоление второй полосы укрепленного района"» (Там же. С. 57).

Не надо пояснять, что на нашей территории нет и быть не может укрепленных районов противника. Они только по ту сторону реки.

Как видим, учения в 4-й армии шли непрерывной чередой, наполняя друг на друга. Они шли днями и ночами. Осенью, зимой, весной, летом. В будни и праздники. Это были учения полкового, дивизионного, корпусного, армейского, фронтового уровней. В Генштабе Красной армии готовились тоже только к прорыву обороны, форсированию водных преград, штурму укрепленных районов, выброске воздушных десантов, стремительному продвижению в глубокий тыл противника. И к этому Красная армия была вполне подготовлена.

А оборону не отрабатывали ни на каких уровнях.

Жуков предлагал сдать Москву, так оно и было бы, если бы не Сталин.

Главный маршал авиации А. Е. Голованов // Чуев Ф. Солдаты империи. С. 311

1

Интересно послушать, что Жуков о себе рассказывает. А еще интереснее – что о нем говорят. Сразу должен сказать: многие из тех, кто его хорошо и близко знал, вообще отказывались о нем говорить. Пример: «Дважды Герой Советского Союза маршал бронетанковых войск М. Е. Катюков, Герой Советского Союза адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, признавая талант и весомый вклад Жукова в Победу, наотрез отказались написать о Георгии Константиновиче» (Красная звезда. 1999. 16 апр.). И не они одни. А это о чем-то тоже говорит.

Но начнем по порядку.

Вот Жуков в 1939 году воюет на Халхин-Голе. Туда был послан генеральный секретарь Союза писателей СССР В. П. Ставский. Он сообщил Сталину: «За несколько месяцев расстреляно 600 человек, а к награде представлено 83» (Вести. 2003. 10 июля. С. 39).

Жуков прибыл в Монголию 5 июня 1939 года. 16 сентября боевые действия были прекращены, расстрельные полномочия Жукова кончились. 600 расстрелов за 104 дня. О, душа его христианская! Прощайте и прощены будете! По шесть смертных приговоров сей христианин выносил каждый день. Без выходных и праздников. Если прикинуть, что спал он по шесть часов в сутки, то за 18 часов бодрствования смертный приговор он выносил через каждые три часа. Вот кого у нас в святые определить решили.

Его бы на иконах с топором живописать.

И честнейшая дочь величайшего стратега желает знать суровую правду. «А ты имел какое-нибудь отношение к репрессиям?» – вопрошает она своего великого родителя.

– Нет. Никогда, – твердо, глядя в ей глаза, отвечал правдивый отец.

600 расстрелов – не в счет. Мелочь. Да и стрелял мелюзгу – командиров полков да батальонов. Разве это репрессии? Да ведь и не знаем мы, подвел Ставский окончательный результат или написал письмо Сталину в разгар чудотворной деятельности почти святого Георгия.

Возразят: так это не он смертные приговоры выносил. Это дело трибунала и прокурора. А вот и нет. Свою кровавую эпопею на Халхин-Голе Жуков начал с того, что не только разогнал командование и штаб советских войск в Монголии, но и снял с должности военного прокурора 1-й армейской группы Хуторяна. И следы прокурора теряются во мраке. О нем

никакие справочники и энциклопедии больше не упоминают. И даже его инициалы неизвестны. Вместо неугодного Жукову прокурора прислали нового. «Военный прокурор группы настаивал на соблюдении закона. Тогда командующий 1-й армейской группой войск комкор Жуков заявил ему: "Вы слушайте, что вам скажут, и не рассуждайте. Учтите, что Хуторяна за это сняли"» (Сувениров О. Ф. Трагедия РККА 1937–1938. М., 1998. С. 288). Прокурор, по логике Жукова, – это тот, кто выполняет приказы не рассуждая.

1-я армейская группа, которой командовал Жуков, это 57 тысяч бойцов и командиров. А теперь прикинем, что было бы, если бы проводить чистку армии товарищ Сталин поручил не Ежову Николаю Ивановичу, а Жукову Георгию Константиновичу. Каждый желающий сумеет сам вычислить возможные результаты правления Жукова, если бы под его властью оказались не 57 тысяч, а вся Красная армия численностью в полтора миллиона. Если бы расстрельные полномочия были не на три месяца, а на два года.

Жуков слезно сокрушался о том, что бедную Красную армию в 1937–1938 годах якобы обезглавили. Однако на столь коротком промежутке времени такой интенсивности расстрелов военнослужащих, какой Жуков достиг в Монголии летом 1939 года, не было нигде в Красной армии ни в 1937, ни в 1938 году. Такое зверство не снилось ни Ежову, ни Фриновскому, ни Заковскому, ни Ульриху.

А скольких в тюрьму загнал! В книге «Тень победы» я рассказал о приезде Жукова в Монголию. Начал он со смещения командиров. Вот снял начальника штаба комбрига Кушева Александра Михайловича. У комдива Жукова не было полномочий расстрелять комбрига. Потому его просто выгнали. Но что же с ним стало? Куда его, снятого, определили? Тогда я этого не знал. Теперь выяснил. Отправили комбрига Кушева туда, где лес валят. И черную фуфаечку не пожалели. Отписали ему 20 лет. Потом еще пять добавили (Красная звезда. 2002. 2 апр.). А неплохой был командир. Вспомнили о нем в декабре 1943 года. Как-никак две академии за плечами, одна из которых Академия Генштаба. Дали ему звание полковника. В сентябре 1944 года – генерал-майора. Был начальником штаба 5-й ударной армии. Воевал храбро. Получил Героя Советского Союза. Имел 11 пулевых и осколочных ранений. Работал блестяще. Это вынужден был признать и сам Жуков. Завершил службу в звании генерал-полковника.

А в 1939 году прибыл Жуков в Монголию и первым делом комбрига Кушева в тюрьму засадил, коль не было возможности расстрелять.

2

В 1940 году Жуков назначен командовать Киевским особым военным округом. Войны пока нет, потому не мог Жуков расстреливать кого ни попадя. Это состояние он переносил с трудом.

«Коренастый генерал стоял в окружении командиров у входа в могилев-

подольский Дом Красной армии. А на тротуаре напротив, на расстоянии примерно десяти метров, – мы, стайка четырнадцатилетних мальчиков, пожиривших генерала глазами.

Через пустырь на месте снесенного костела неторопливо приближался капитан-пограничник. Он шел из бани со свертком грязного белья, завернутого в газету. Ни сном ни духом не ведал капитан, что ждет его за углом. От угла Дома Красной армии до генерала было не более пяти метров. Со свертком под мышкой капитан растерянно приложил руку к козырьку, перейдя на строевой шаг. Лицо генерала Жукова исказила брезгливо-презрительная гримаса:

– Вас что, капитан, не учили, как приветствуют старших по званию? Повторить!

Капитан, багровый от стыда, зашел за угол, положил сверток на тротуар, вышел на мостовую, чтобы появилось расстояние, необходимое для семи строевых шагов, и прошел перед генералом так красиво, что даже у нас, привыкшим к парадам, дух перехватило. У пограничников была отличная строевая выправка и вольтижировка. Кто-то из мальчишек метнулся к свертку и принес его, чтобы капитану не пришлось возвращаться.

– Повторить! – сквозь сжатые зубы процедил Жуков.

На противоположном тротуаре, кроме нас, уже собралась изрядная толпа зевак. Семь раз капитан печатал строевой шаг перед генералом. Не знаю, как чувствовала себя свита Жукова. Нам было стыдно.

В течение двух дней пребывания генерала армии Жукова в Могилеве-Подольском, вероятно, не менее сотни мальчишек установили за ним наблюдение. На значительном расстоянии мы предупреждали командиров и красноармейцев о присутствии самодура. После инцидента с капитаном генерала Жукова на улице не поприветствовал ни один военнослужащий. Они исчезали своевременно» (*Дегин И. Л. Четыре года. Холон: Рама-Пресс, 2001. С. 276–277*).

А ведь это не первое свидетельство того, что люди военные при приближении Жукова разбежались. Где, когда, в каких армиях, в каких исторических эпохах вы найдете полководцев, от которых бегут и солдаты, и офицеры, и генералы?

3

Потом – война.

«Основным занятием Жукова во время войны было упоение своей бесконтрольной властью» (*Независимая газета. 1994. 5 марта*).

Рассказывает рядовой связист Николай Лазаренко: «Парадный портрет полководца далеко не всегда соответствовал реалиям военной действительности. Больше всего наши радисты, которые работали на самом "верху", боялись не немецко-фашистских пуль и осколков, а собственного коман-

дующего. Дело в том, что Жуков был человеком настроения и потому очень крут на расправу... За время войны легендарный полководец около 40% своих радистов отдал под трибунал. А это равносильно тому, что он расстрелял бы их собственноручно. "Вина" этих рядовых радистов, как правило, заключалась в том, что они не смогли сиюминутно установить связь. А ведь связь могла отсутствовать не только по техническим причинам. Человек с другой стороны провода мог быть просто убитым. Однако Жукова такие "мелочи" вообще не интересовали. Он требовал немедленной связи, а ее отсутствие воспринимал только как невыполнение приказа – и не иначе. Отсюда и псевдоправовая сторона его жестокости – трибунал за невыполнение приказа в военное время. Впрочем, до военно-полевого суда дело часто не доходило. Взбешенный отсутствием связи герой войны мог и собственноручно пристрелить ни в чем не повинного солдата» (Лазаренко Н. Тот самый Жуков // Европа-Экспресс. 2002. 24 февр.).

4

Свидетельствует генерал-лейтенант инженерных войск Б. В. Бычевский. В сентябре 1941 года он был подполковником, но занимал исключительно высокую и важную должность начальника инженерных войск Ленинградского фронта: «Первое мое знакомство с новым командующим носило несколько странный характер. Выслушав мое обычное в таких случаях представление, он несколько секунд рассматривал меня недоверчивыми, холодными глазами. Потом вдруг резко спросил:

– Ты кто такой?

Вопроса я не понял и еще раз доложил:

– Начальник Инженерного управления фронта подполковник Бычевский.

– Я спрашиваю, ты кто такой? Откуда взялся?

В голосе его чувствовалось раздражение. Тяжеловесный подбородок Жукова выдвинулся вперед. Невысокая, но плотная, кряжистая фигура поднялась над столом.

"Биографию, что ли, спрашивает? Кому это нужно сейчас?" – подумал я, не сообразив, что командующий ожидал увидеть в этой должности кого-то другого. Неуверенно стал докладывать, что начальником Инженерного управления округа, а затем фронта работаю почти полтора года, во время советско-финляндской войны был начинжем 13-й армии на Карельском перешейке.

– Хренова, что ли, сменил здесь? Так бы и говорил! А где генерал Назаров? Я его вызывал.

– Генерал Назаров работал в штабе главкома Северо-Западного направления и координировал инженерные мероприятия двух фронтов, – уточнил я. – Он улетел сегодня ночью вместе с маршалом.

– Координировал... улетел... – пробурчал Жуков. – Ну и черт с ним! Что там у тебя, докладывай.

Я положил карты и показал, что было сделано до начала прорыва под Красным Селом, Красногвардейском и Колпино, что имеется сейчас на пулковской позиции, что делается в городе, на Неве, на Карельском перешейке, где работают минеры и понтонеры.

Жуков слушал, не задавая вопросов... Потом – случайно или намеренно – его рука резко двинула карты, так, что листы упали со стола и разлетелись по полу, и, ни слова не говоря, стал рассматривать большую схему обороны города, прикрепленную к стене.

– Что за танки оказались в районе Петрославянки? – неожиданно спросил он, опять обернувшись ко мне и глядя, как я складываю в папку сброшенные на пол карты. – Чего прячешь, дай-ка сюда! Чушь там какая-то...

– Это макеты танков, товарищ командующий, – показал я на карте условный знак ложной танковой группировки, которая бросилась ему в глаза. – Пятьдесят штук сделано в мастерской Мариинского театра. Немцы дважды их бомбили...

– Дважды! – насмешливо перебил Жуков. – И долго там держишь эти игрушки?

– Два дня.

– Дураков ищешь? Ждешь, когда немцы сбросят тоже деревяшку? Сегодня же ночью убрать оттуда! Сделать еще сто штук и завтра с утра поставить в двух местах за Средней Рогаткой. Здесь и здесь, – показал он карандашом.

– Мастерские театра не успеют за ночь сделать сто макетов, – неосторожно сказал я.

Жуков поднял голову и осмотрел меня сверху вниз и обратно.

– Не успеют – под суд пойдешь. Завтра сам проверю.

Отрывистые угрожающие фразы Жукова походили на удары хлыстом. Казалось, он нарочно испытывает мое терпение.

– Завтра на Пулковскую высоту поеду, посмотрю, что вы там наковыряли... Почему так поздно ее начали укреплять? – И тут же, не ожидая ответа, отрезал: – Можешь идти!..» (*Бычевский Б. В. Город-фронт. Л., 1967. С. 121*).

Вот оно, пролетарское хамство. Во всей красе. Нижестоящим стратег тыкал. Всем. В тот момент Бычевский был подполковником. Но у нас старшинство определяется не воинским званием, а занимаемой должностью. А должность у него – начинж Ленинградского фронта. В каждом полку – саперная рота. И в каждой бригаде. В сентябре 1941 года в составе Ленинградского фронта таких рот было больше ста. В каждой дивизии – собственный саперный батальон. Таких батальонов было 24. В каждой армии – комплект инженерных частей: саперных, понтонно-мостовых, переправочных, маскировочных и прочих. В составе четырех армий было еще 10 саперных батальонов, не считая отдельных рот армейского подчинения. Кроме того, инженерно-саперные части фронта. В тот момент в прямом подчинении фронта были Управление военно-полевого строительства (а это инженерно-саперная армия), 14 отдельных саперных батальонов и 6 отдель-

ных рот, не считая отрядов заграждения, взводов спецтехники, переправочных парков и прочего и прочего (См.: *Инженерные войска в боях за Советскую Родину*. С. 106).

И все десятки тысяч людей, от которых зависит оборона Ленинграда, подчинены подполковнику Бычевскому. Он пока подполковник, но скоро станет полковником, генерал-майором, затем генерал-лейтенантом инженерных войск. Но, будучи в звании всего лишь подполковника, он имел над своими подчиненными ту же самую власть, которую имел потом, став генералом. В руководстве Ленинградским фронтом подполковник Бычевский занимал место в десятке самых приближенных к Жукову людей.

И вот великий стратег с первой встречи хамит и угрожает своему помощнику. Между тем мастерская Мариинского театра начальнику инженерных войск Ленинградского фронта не подчинена никак. Люди по собственной инициативе сделали макеты танков. Подполковник Бычевский при всем своем могуществе не мог приказать гражданским мастерам изготовить за ночь еще сто макетов. Нет у него над ними власти. Но Жукова это не интересует: не сделаешь – под суд пойдешь...

Своими действиями Жуков показывает подчиненным, что инициатива наказуема. Не сделали бы мастера Мариинского театра первые пятьдесят макетов, все было бы прекрасно. А раз сделали, значит, им ставят непосильную задачу и устанавливают фантастический срок. А начинжу грозят трибуналом.

5

Генерал армии Н. Г. Ляшенко вспоминает день 18 января 1943 года. Он тогда был полковником, командиром 90-й Краснознаменной стрелковой дивизии. «Вскоре позвонил Георгий Константинович Жуков. Узнав, что мы ночью собираемся захватить Синявино, сильно возмутился... "Это не оправдание! – жестко сказал Жуков. И, чуть помедлив, продолжил: – Уточните. Сидите там. Вы даже званий начальников не знаете..." Потом я стал анализировать сказанное Георгием Константиновичем. Оказывается, Жукову в этот день было присвоено звание Маршала Советского Союза – и я этого действительно не знал» (Красная звезда. 2000. 16 мая).

И откуда было знать? Фронт. Война. Газеты доходят через неделю, если не через две. И то не все. И не всегда. Слушать передачи Москвы не получается. Бой идет. Да и сообщений о присвоении воинских званий во время войны по радио не передавали. Был только один источник, из которого можно было узнать о величайшей радости, о присвоении выдающемуся геню стратегии маршальского звания. В тот день, 18 января 1943 года, московское радио передало сообщение Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. В длинном сообщении рассказано о действиях советских войск, об обороне противника и о том, как ее прорывали, названы имена

отличившихся командиров, перечислены трофеи и освобожденные населенные пункты. Среди прочего было сказано: «Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза тов. Жуков Г. К. и тов. Ворошилов К. Е.» (*Сообщения Советского Информбюро*. М., 1944. Т. 4. С. 48).

Надо было обладать обостренным вниманием, чтобы в грохоте боя выслушать множество цифр, имен, названий и уловить нюанс: Жуков назван не генералом, а маршалом. Полковнику Лященко в тот момент было не до нюансов и не до победных сообщений. Дело в том, что для прорыва обороны Ленинграда надо было захватить Сиявино. Это проклятое Сиявино советские войска штурмовали с сентября 1941-го до января 1943 года. Кости советских солдат там лежали пирамидами. Это я не для красного словца. Слова «Сиявинские высоты» во время войны приобрели новый смысл. Раньше под этим понимали возвышенную местность, а во время войны – груды тел советских солдат. После войны некоторых похоронили. Но не всех. У нас все просто – потери считать по числу похороненных. А те, которых не похоронили? Те не считаются. Те из статистики выпали. Так мы военную историю и изучали. Мне в Военно-дипломатической академии Советской армии объясняли: в районе Сиявино обошлись почти без потерь. Там положили тысяч сто, не больше. Пропорционально числу убитых там должно было быть тысяч триста–четыреста раненых и искалеченных. Сам же Георгий Константинович вопрос потерь под Сиявино обошел стороной.

Но правда не тонет. Даже «Красная звезда» (2001. 11 дек.) вынуждена признать: небольшое количество похороненных солдат – это одно, а если вспомнить тех, кого не похоронили, то получится нечто другое: «Сиявинские высоты наши войска штурмовали и в 1941-м, и в 42-м, и в 43-м. Здесь была прорвана блокада Ленинграда. Поэтому погибших немерено – хотя официально захоронены 128 390 бойцов и командиров». Нужно помнить, что хоронили тех, кто поперек дороги лежал. А до тех, кто в кустах да канавках, руки не доходили. Их не хоронили, а потому в статистике и не учитывали. Вот потому и выходит, что потерь там почти не было. Всего только 128 тысяч убитых.

И вот 18 января 1943 года Жуков отрапортовал, что Сиявино наконец взято и блокада Ленинграда прорвана. И тут же прозвучало длинное сообщение Советского Информбюро, в котором сказано о взятии Сиявино, а Жуков назван маршалом.

Оставалось совсем немного: это самое Сиявино взять. Совершить это маленькое чудо, сделать то, что уже множество раз оборачивалось кровавым провалом, предстояло 90-й стрелковой дивизии полковника Лященко. Следовало действительные события подогнать под победные сообщения. Ясно, что полковнику Лященко, которому выпало делать дело, не доставляло особой радости вслушиваться в сообщения о том, что дело уже сделано, что величайший стратег за взятие Сиявино (которое не взято) уже произведен в маршалы.

А тут и сам он на проводе: как?! Вы еще не знаете, что мне маршала присвоили за выдающуюся победу на Синявинских высотах? Сидите там!

В карьере Жукова это отнюдь не единственный случай, когда он сначала рапортовал, а потом любой ценой подгонял действительное под желаемое.

В Берлине великий стратег издал победный приказ о взятии Рейхстага. Об этом немедленно на весь мир сообщило московское радио. В приказе Жуков расписал детали боя в коридорах и залах. Приказ был подписан в момент, когда прижатая огнем советская пехота лежала на подступах к Рейхстагу. Приказ был подписан до того, как первый советский солдат сумел переступить порог на входе.

Главный маршал авиации А. Е. Голованов: «Если б он матом крыл, – это ладно, это обычным было на войне, а он старался унижить, раздавить человека. Помню, встретил он одного генерала: "Ты кто такой?" – Тот доложил. А он ему: "Ты мешок с дерьмом, а не генерал!" ...Жукову ничего не стоило после разговора с генерал-лейтенантом сказать: до свидания, полковник!» (Чуев Ф. Солдаты империи. С. 316).

У Жукова так: кого может, расстреляет. Кого не может расстрелять, над тем издевается. Не надо думать, что вот он только над капитанами измывался или сбрасывал на пол карты, заставляя начальника инженерных войск фронта ползать перед ним на карачках. Не надо думать, что он генералами ограничивался. Над Маршалами Советского Союза он тоже измывался. Первым к Берлину вышел Маршал Советского Союза Рокоссовский, который командовал 1-м Белорусским фронтом. Рокоссовский был образцом полководца. Он вышел ростом и лицом. И доблестью воинской. И личной храбростью. И талантом. А фамилией не вышел. Потому на самом финише войны ему – понижение. Не мог человек с польской фамилией брать Берлин. На место Рокоссовского товарищ Сталин поставил Жукова...

Рокоссовский спросил Сталина: за что такая немилость? Сталин: тут политика. Мол, не обижайся.

Жуков, принимая 1-й Белорусский фронт у Рокоссовского, устроил банкет. Совершенно ясно, что организатором был не Рокоссовский, ему нечего было праздновать.

Рассказывает артист Борис Сичкин: «Я прекрасно помню банкет по поводу передачи командования нашим фронтом из рук Рокоссовского Жукову. Наш ансамбль выступал на этом вечере. На возвышении стояли два мощных кресла, на которых восседали оба маршала... В ансамбле работал солистом хора Яша Мучник... После его выступления Жуков подозвал его к себе и, усадив рядом, на место маршала Рокоссовского, весь вечер не отпускал. Яша робко пытался что-то сказать маршалу, но Жуков успокаивал Яшу:

– Не волнуйся, сиди спокойно, пусть он погуляет.

Солдат-еврей Яша Мучник весь вечер просидел на троне вместо Рокоссовского с прославленным маршалом Георгием Константиновичем Жуковым» (Сичкин Б. Я из Одессы, здравствуйте... С. 75–76).

Борис Сичкин в восторге: вот как Жуков любил и уважал еврейский народ!

А на мой взгляд, любовь и уважение к еврейскому народу можно было выразить по другому поводу и в другой обстановке. Тут не о любви и уважении речь. Тут речь о сознательном и публичном унижении маршала Рокоссовского. Он прорвался к Берлину первым, а Жуков пришел на все готовенькое, на завершающий этап, чтобы сорвать лавры. И Жукову в этой обстановке посочувствовать бы Рокоссовскому: не моя, мол, Костя, вина, не я на твое место победителя напросился, так Хозяин решил. Ты вывел фронт к Берлину, история этого не забудет, а мне выпадает флаги развешивать, писать победные репортажи, принимать капитуляцию и сверлить дырки для орденов.

Но не так ведет себя Жуков. Ему надо втоптать Рокоссовского в грязь. При всем честном народе.

Со времен древнейших цивилизаций у всех племен на званом пиру исключительное внимание уделялось рассаживанию гостей. И у нас на Руси, будь то свадьба деревенская, будь то царские палаты или тюремная камера – внимание месту: ты – на троне, ты – по правую руку, ты – по левую, ты – в избе в красном углу, ты – на нарах у окошка, ты – у параши, а ты, сука, под нары лезь. И вот Жуков на маршальское место сажает шута. Не в национальности тут дело. Плясали бы на той пьянке цыгане или чукчи, Жуков им бы свою любовь и уважение демонстрировал. Потому как место выдающегося полководца Маршала Советского Союза Рокоссовского Константина Константиновича надо было кем-то занять. Чтобы ему сесть некуда было. Чтобы доблестный маршал «погулял» без места.

6

Жертвами звериной жестокости и легендарного хамства Жукова были не только солдаты, офицеры, генералы и маршалы. Доставалось и иностранцам.

Борис Сичкин продолжает рассказ: «После окончания войны в честь Победы был устроен банкет для иностранных делегаций. Выступал французский министр, который долго хвалил Советскую армию и потом много лестных слов говорил в адрес Жукова. Жуков взял слово и начал говорить. Переводчик переводил речь Жукова на французский язык. И вдруг Жуков остановил переводчика и сказал, что не надо переводить его. Они, мол, и так поймут, без переводчика, так как рано или поздно французы будут плясать под нашу дудочку. Многие опешили. Маршал вообще не отличался дипломатичностью. А тут, вероятно, сказалось количество выпитого.

В этот же вечер Георгий Константинович допустил еще одну бестактность по отношению к французам. Французский министр подошел к Жукову и предложил тост. Жуков отказался пить и, передав генералу Чуйкову свой бокал вина, поручил ему выпить с французом» (Сичкин Б. Я из Одессы, здравствуйте... С. 83).

Война Советского Союза за мировое господство была проиграна. В том

числе и по вине Жукова. Но амбиции остались. Наверное, только у Жукова: скоро я Францией править буду!

Коммунисты говорят: вот какие мы миролюбивые. Могли бы в 1945 году вышвырнуть американцев с континента, но не стали этого делать. Могли бы Францию с Италией в коммунизм обратить, да не захотели...

В 1945 году Советский Союз был разорен войной. Несколько поколений молодых мужчин были истреблены практически полностью. В армию некого было призывать. Последний военный призыв служил в армии с 1945 по 1953 год «без срока давности». Никто не знал, когда отпустят. Если бы не умер Сталин, то ребята служили бы и дальше. В 1947 году в стране разразился голод. Промышленность и транспорт были разрушены, деревня разорена и обескровлена. У американцев была атомная бомба. У нас ее не было. Говорят, мало у них было бомб. Правильно. А много вам надо? И если мало, то они бы через год-другой добавили бы. А у нас все равно пока еще ничего не было. Но когда бомба и появилась, не было для нее носителя.

У американцев был океанский флот. У нас его не было. У американцев была стратегическая авиация. У нас ее не было. Даже без атомной бомбы она могла причинить неисчислимые беды. У американцев была огромная сытая армия. У нас – бесчисленные армии калек и инвалидов, которых было нечем кормить.

Американцы могли нас достать с любого направления, а нам до Америки как дотянуться?

И вот Жуков мечтает о Франции. Мечтать можно, только болтать надо меньше.

За такие выходки в отношении официальных представителей чужой страны Сталин должен был немедленно гнать Жукова со всех постов.

Не дай Бог свинье рогов, а холопу барства.

7

А вот великий стратег после войны. Борис Сичкин в него бесконечно влюблен. Но то, что он рассказывает о Жукове, стратега никак не украшает и славы ему не прибавляет. «Через несколько минут прибежал наш майор. Жуков на него посмотрел, как на крысу. Начальник пытался доложить, кто он и что он явился по распоряжению, но язык его присох, челюсть дрожала, глаза ничего не выражали. Корнеев был в коме. Жуков сказал, что если он еще раз увидит его близ своего особняка, то он его потом больше никогда не увидит, и послал его вон. Майор Корнеев продолжал стоять, не шелохнувшись. Потом неожиданно для всех он отошел и бросился бежать из резиденции. Жуков не выдержал и засмеялся вместе с нами. И тут на радостях я затянул вместе с маршалом "Не за пьянство..."» (Сичкин Б. Я из Одессы, здрасьте... С. 82).

В чем же провинился руководитель ансамбля майор Корнеев?

Борис Сичкин разъясняет: «Жуков любил петь кабацкие русские песни.

Самая любимая его песня была "Не за пьянство, не за буянство и не за ночной разбой..." Обычно Корнеев нас отвозил к маршалу Жукову и ждал у входа в дежурной. Как-то я на радостях сильно выпил и от всей души вместе с Жуковым начал петь дуэтом "Не за пьянство, не за буянство..." Голос звучал отлично. У моего голоса не было совершенно бархата, но было много металла. Этого металла могло хватить минимум на два металлических завода. Мой голос был услышан начальником далеко в дежурке. Он не знал, что Жукову нравится мой голос. Ему стало страшно, что я отвратительным горлопанским звуком балуюсь в таком ответственном месте. Начальник вызвал меня. Я вышел и обнаружил майора в дрожащем состоянии.

– Борис, – умоляюще сказал он, – пожалуйста, больше не пей. Ты меня подведешь под монастырь.

– Это приказ? – спросил я.

– Да, – ответил начальник.

– Все в порядке, больше я петь не буду, – ответил я ему.

Я вернулся, сел за стол, где меня поджидал Георгий Константинович. Мы выпили еще, пошутили. Жуков был в этот день в очень хорошем настроении, обнял меня и сказал:

– Давай, Борис, затанем нашу любимую.

Я с нетерпением этого ждал.

– Простите, товарищ маршал, но мне запретили петь!

Жуков лишился дара речи, у него затряслись губы, глаза налились кровью, и через длинную паузу он не проговорил, а прошипел:

– Кто это тебе запретил петь?

Я отсутствующим голосом назвал нашего начальника ансамбля.

– Позовите ее (вернее всего, маршал имел в виду эту блядь), – сказал Жуков».

Далее последовало то, что описано выше.

Но я обращаю внимание на другую деталь. Артист Борис Сичкин и маршал Жуков – собутыльники. Они обнимаются и вместе занимаются «отвратительным горлопанством». Но артист к маршалу на «вы», а маршал артисту тычет. Да почему же? Давай уж или на брудершафт с артистом выпей, или прояви к нему такое же уважение, которое он к тебе проявляет. Но дорвавшийся до барства вчерашний холоп Жуков обращается с людьми так, как обращались с крепостными лицедеями. Только ансамбли крепостных при Екатеринах и Александрях никогда майоры не возглавляли. Это только у нас в стране победившего социализма привозил майор труппу певчих и плясунов к барину, а сам со швейцарами под лестницей дожидался.

И если уж сравнивать коммунистическое братство людей с проклятым омерзительным рабством прошлого, то сравнение никак не вырисовывается в пользу свободы, равенства и братства. Не могу представить генерал-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова Михаила Илларионовича, который, нажравшись водяры, веселил бы свой штаб «отвратительным горлопанством». И не получается вообразить, чтобы великий полководец Кутузов, отдавая

приказы, не говорил, а шипел, чтобы смотрел на майора, как на крысу, чтобы называл его в женском роде, подразумевая при этом, что имеет дело не со старшим офицером победоносной армии, а с грязной продажной шлюхой.

Жукову в этой ситуации сказать бы: майор, все в порядке, не волнуйся, это я благой репертуар Сичкину заказал. Но нет! У Жукова глаза кровью налиты. У Жукова губы трясутся. Жуков шипит. Жукову надо, чтобы все дрожали и трепетали.

Так в чем же провинился руководитель ансамбля майор Корнеев? А в том, что не изучил жиганских вкусов полководца-босяка. Майор хотел как лучше. Майор считал, что в таком обществе, на таких высотах должны звучать пристойные песни. И ошибся. В компании Жукова пели и плясали, как на воровской малине. В стране голод, а тут ломаются столы. Борис Сичкин описывает невероятное изобилие: тут вам и икра, и семга, и балычок, и все, что хотите. Пир горой! В пору орать: «Шимпанскава и мамзелей!»

Тут присутствуют союзники, которым пьяный Жуков демонстративно и нарочито хамит. Сичкин продолжает: «Начались танцы. Член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин танцевал русский танец с платочком в руке и напоминал колхозного гомосексуалиста... Герой Сталинграда генерал Чуйков был легендарной и незаурядной личностью. Несмотря на свою славу, в жизни это был простой, жизнерадостный человек. Он не призывал условностей. Помню, на том банкете он расстегнул китель, из-под которого показалась тельняшка... Жуков пригласил на танец генерала Чуйкова. Чуйков в матросской майке, огромный, с железными зубами...» Ну и т. д.

Почему главнокомандующий Группой советских оккупационных войск в Германии Маршал Советского Союза Г. К. Жуков приглашает на танец командующего 8-й гвардейской армией генерал-полковника В. И. Чуйкова? Что об этих танцах думают союзники? Баб Жукову мало? Нет, баб хватает. Приказ генерал-полковнику Серову: обеспечить для иностранцев! «Серов понимал толк в проститутках: у него в Москве был целый штат и на разные вкусы...» А тут не Москва, тут Берлин. Война только завершилась. Но генерал-полковник действует...

«Серов, не обращая на меня никакого внимания, набрал номер и жлобским голосом приказал:

– Нужны бляди. Штук восемь. Французы остаются и пара англичан. Ничего не знаю. Достань блядей, где хочешь. Пойми, что важно. Четырех мало, их должно быть не меньше восьми. У тебя есть примерно два-три часа. Слушай меня, они должны быть прилично одеты, в вечерних платьях. Что значит – нет платьев? Достань! Зайди к немцам и возьми. Заодно захвати у немцев краски, чтобы их подкрасить, и духи – надушить. Надень им на платья ордена, медали и гвардейские значки. Одну сделай Героем Советского Союза. Давай действуй!» (Там же. С. 85).

Дальше все, как по расписанию: в срок достали гвардейско-героических блядей, союзников уважили...

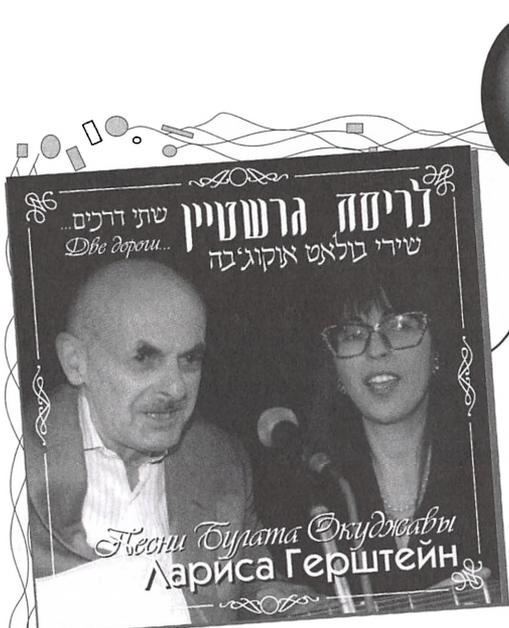
А Чуйков через голову кувыркается.

А Жуков пляшет и поет. И на гармошке наяривает. И ничего ему не стоит повесить на блядские сиськи Золотую Звезду. «Жуков смеялся до слез. У нашей Клавы – Героя Советского Союза – была огромная грудь, ее короткие руки не доставали до сосков, а на самом конце груди висели Золотая Звезда и орден Ленина. Француз был в восторге от Клавиной груди и нежно ее целовал, как все пьяные люди не сомневаясь, что этого никто не видит. Со стороны же было полное впечатление, что он целует Ленина на ордене».

Чуть раньше, во время войны, генерал де Голль побывал в Советском Союзе и описал банкеты, «которые отличались невероятным изобилием и чрезмерной до неприличия роскошью».

Вожди и стратеги умели гужеваться.

Владимир Бешанов высказал интересную мысль: принц Конде считал, что, прежде чем стать хорошим генералом, надо выучиться хорошо играть в шахматы. Интересно, Жуков в шахматы умел играть? Или токмо на гармошке?



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$28
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) **02-5325931**
или по электронной почте: **omegag@bezeqint.net**



кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

МЫ РОЖДЕНЫ ДОПОЛНЯТЬ, УКРАШАТЬ И УСИЛИВАТЬ ДРУГ ДРУГА

Надеюсь, читатель, которому мои взгляды на национальные проблемы уже известны, снизойдет к тому, что мне придется снова сформулировать их для читателя, почему-либо обойденного этим знанием.

Я считаю, что национальное единство создается главным образом системой каких-то коллективных фантомов, иллюзий, грез и что основная причина, по которой один народ начинает ненавидеть другой, это страх за целостность – нет, не территорий, а иллюзий: страх народа утратить воображаемую картину мира, в которой он представляется себе красивым и значительным. Этот страх и есть главная причина национальной вражды.

Антисемитизм не исключение. Никакие особенности внешности, никакие черты характера, даже раздражающие успехи евреев на всевозможных материальных поприщах никогда бы не породили к ним такой испепеляющей ненависти (от своих глотают и не такое!), если бы этим успехам не сопутствовало обновление картины мира, угрожающее национальному самоуважению значительной части населения.

В состязании народов торжествуют те, кому удается навязать другим свои фантомы. Поэтому все подсчеты – сколько евреев возглавляет банки, холдинги и концерны, сколько среди них владельцев заводов, газет, пароходов – годятся разве что для подзуживания, но сути проблемы – что такое национальный успех? – практически не затрагивают: национальный подъем народа или его упадок почти не связаны с успехами или неудачами составляющих народ индивидов. *Если индивиды в массовом порядке добиваются всевозможных социальных успехов, но при этом отпадают от национальной грезы – для народа это не подъем, а упадок.*

Добросовестно подсчитывая действительно впечатляющее количество ев-

реев, совершивших социальный рывок в первое десятилетие советской власти, Солженицын тоже осеняет своим авторитетом то расхожее представление, что двадцатые годы были годами еврейского национального торжества. При этом, однако, упускается из виду, что это были годы массового отпадения от еврейской грезы в пользу грезы интернациональной – или даже чистого прагматизма (впрочем, в возможности быть чистым прагматиком человеку отказано самой природой), а потому двадцатые годы для русского еврейства были годами национального упадка. И если бы возмущенное народное чувство не склонило советскую власть к вытеснению евреев из государственной и прочих элит, к сегодняшнему дню евреев в России почти не осталось бы.

Да, на первых порах в верхние слои общества евреев набилось бы еще гуще, зато они через поколение-другое перестали бы быть евреями.

Сегодняшние наследники Сталина и Пуришкевича снова совершают ту же ошибку: подсчитывая, да еще и фальсифицируя проценты преуспевших евреев, сочиняя лживые цитаты из священных еврейских книг, они стимулируют оборонительную мобилизацию еврейских грез и тем самым продлевают жизнь самому ненавистному своему врагу. Они совершенно забыли о ленинских нормах – самый человечный человек прекрасно понимал: чтобы победить врага, надо прежде всего разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, надо прежде всего убедить его, что ей ничего не угрожает. Ленин учил: любое оскорбление национальных чувств меньшинства заставляет его сплотиться вокруг своей «буржуазии», то есть элиты. Поэтому нужно постоянно убаюкивать национальные чувства меньшинств сладкими сказками о праве всякой нации на самообытность и даже на самоопределение, сказками о единстве и дружбе народов – чтобы тем временем потихоньку-полегоньку растворить их в однородной массе.

Истерические русские националисты и за страх, и за совесть уже много десятилетий служат лучшими помощниками националистов еврейских, тщетно старающихся повернуть вспять еврейскую ассимиляцию. И все-таки, несмотря на интернациональную помощь, остается более чем туманным будущее остатков российского еврейства, насчитывающего даже неизвестно сколько тысяч душ, ибо границы этого множества до крайности размыты; едва ли не большая его часть по внешним, сталинским признакам (язык, территория, общая экономическая система) относится к русскому народу, а по внутренним, главным (преданность грезам) образует какую-то новую смесь, смесь не генотипов (это дело десятое), но – фантомов.

Так ведь сближение наций и происходит только через слияние грез, через возникновение общей грезы, способной чаровать и тех, и других. Так вот, русские и еврейские грезы – сливаются ли они во что-нибудь гармоничное или продолжают вести в наших душах войну на взаимное уничтожение? Мне представляется очень интересной и, возможно, даже открывающей путь к слиянию фантомов идея известного петербургского этнолога Натальи Васильевны Юхневой: российское еврейство сложилось в новую историческую общность, новый субэтнос русского народа, именуемый «русские евреи».

И чтобы осознать себя таковым, русским евреям не хватает только специального самоназвания. Если же на вопрос о национальном самоощущении допустить не два ответа – «русский» и «еврей», как это обычно делается, – а добавить промежуточную рубрику «русский еврей», то количество тех, кому именно этот ответ приходится по душе, оказывается весьма значительным.

Я, правда, возражал Наталье Васильевне, что для сохранения субэтнуса недостаточно одного лишь названия, необходима еще и какая-то «субгреза» грезы общенациональной, вера в какую-то свою особую миссию в рядах «большого народа». Нации, культурно доминирующие в собственном государстве, обладают таким количеством социальных институтов, почти автоматически внушающих индивиду стандартную национальную идентичность, что – в нормальных условиях, в отсутствии сильных конкурирующих фантомов – они могут специально об этом не заботиться (до поры до времени). Но субэтнос от растворения может уберечь лишь какая-то система изолирующих, обособляющих иллюзий. Не настолько сильных, чтобы вовсе оторвать субэтнос от «большого народа», но и не настолько слабых, чтобы позволить ему раствориться.

Чтобы не раствориться в окружающей среде, необходимо ощущать себя в чем-то выше ее; чтобы подчинить ее грезе свою, нужно ощущать внешнюю супергрезу в чем-то более высокой. Эти требования на первый взгляд кажутся просто несовместимыми. И, тем не менее, скажем, российскому казачеству это прекрасно удавалось. По отношению к рядовой массе – превосходство, по отношению к престолу и отечеству – преданность. С поправкой на большую демократичность, сходную миссию можно предложить и русскому еврейству – сделаться духовным казачеством: хранить русскую культуру с такой же верностью, с какой казачество охраняло российскую территорию. В этом случае и пресловутое еврейское высокомерие могло бы послужить общему делу. Именно общему – у русского еврейства оказался бы тот же, что и у казачества, объект попечения. И русский народ давно предчувствовал некую общность их миссии, окрестив евреев бердичевскими казаками. (Надеюсь, понятно, что преданность какой-то культуре не есть претензия на монопольное обладание.)

Если вдуматься, у донского, кубанского, терского, забайкальского, с одной стороны, и бердичевского казачества, с другой, окажутся весьма близкие стратегические цели, стратегические грезы: и те, и другие охраняют наследственное национальное достояние, и те, и другие стремятся максимально продлить жизнь (в грезе – обеспечить бессмертие) каждый своей мечте. Которая – и у тех, и у других – не может выжить без общей инфраструктуры.

Возьмем два полярных типа – чистопородного патриота русской культуры, слабо озабоченного обширностью российской территории, и такого же чистопородного патриота русской земли, мало помышляющего о культуре. Для первого священна система грез, именуемая русской классической литературой (Пушкин, Лермонтов, Толстой и т. д.), для другого священна система грез, сакрализирующая святую русскую землю (политую кровью, потом и т. д.). Так вот, пускай сеятель и хранитель чистого духа, чистой

поэзии и прозы, которая тоже невозможна без поэзии, вдувается, какая минимальная инфраструктура реальной России необходима для того, чтобы обеспечить полноценное существование боготворимой им литературы?

Ясно, что должны быть школы, где «проходили» бы Пушкина, Лермонтова и Толстого. Следовательно, должна быть налоговая система, обеспечивающая работу этих школ; должна быть защищенная территория, где располагалось бы население, почитающее Пушкина, Лермонтова и Толстого своим национальным достоянием, для чего необходима вовлеченность населения в систему иллюзий, порождающую эмоциональное единство с той Россией, о которой писали Пушкин, Лермонтов и Толстой, – иначе пришлось бы усекать их в вполне большевистском духе, только теперь уже с точки зрения общечеловеческих ценностей (не позволяющих ответить на вопрос, почему мы должны хранить именно Пушкина, а не Гомера или Гете). «От потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая», «люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром» – имперские пережитки; «Валерик» – недостаточное раскаяние (не переходящее в протест) за участие в позорной колониальной войне; «Война и мир» – воспевание так называемого «народного подвига», ставшего на пути европейской модернизации... Знаменитый большевистский историк Покровский и писал о грозе двенадцатого года не иначе как в кавычках: «отечественная» война.

Но если даже не впадать в карикатурность, все равно останется серьезное подозрение, что избавиться от национальных предрассудков означало бы избавиться и от национальной поэзии. Подозрение, что для полноценного ее существования требуется поэтическое отношение и ко всей русской истории. Не обязательно восторженное, тотально одобрительное – пускай сколь угодно скорбное, но – возвышенное, а не пренебрежительное.

Из этого, разумеется, не следует, что в минимальную инфраструктуру должна непременно входить вся сегодняшняя российская территория. Базис всякой нации – не кровь и не почва, а система коллективных фантомов, и любое изменение национальной территории всегда дается так мучительно прежде всего потому, что она непременно включена в базисную систему грез, почти беззащитную перед рационалистическим скепсисом: тронь одну иллюзию – посыплются все (хотя надо отметить, что иллюзии весьма различаются по своей ценности).

Но если даже смотреть на проблему чисто рационально – не все ли равно, пользуясь образом Щедрина, любить отечество с Нахичеванью или без Нахичевани, почему бы России, в ее же интересах, не потесниться до каких-то своих естественных исторических границ – все равно возникают новые неразрешимые вопросы. Что такое исторические границы? Если это границы Московского княжества, то с Тверью или без Твери? С Новгородом или без Новгорода? Вопросы эти с такой очевидностью не имеют ответа, что практические люди предпочитают ничего не колыхать, не будить лиха, пока оно тихо: провозгласить принцип нерушимости границ и отступить от него, только когда сделается уж совсем невтерпеж.

С «естественными» границами обстоит еще хуже, хотя, казалось бы, хуже и так уже некуда. Беда в том, что для всякого народа естественной является та территория, которая впечатана в его систему национальных грез, всякая же другая для него противоестественна: даже сами споры о новой естественности бывают смертельно опасными, из них не всегда выходят живыми. Народ, конечно, можно вынудить к каким-то территориальным уступкам, но смирится он с ними только тогда, когда перестанет ощущать их унижительными и даже обретет возможность ими гордиться – как актом мудрости, великодушия и т. п. Потребность чувствовать себя красивым и значительным – базовая потребность всякого народа, а потому склонить какой угодно народ отказаться от какой угодно части его национального достоинства совершенно невозможно без целых океанов лести. Обличать же и стыдить его – дело не только бесполезное, но и просто опасное, ничего, кроме озлобленности, оно не приносит. Либеральные обличители национализма тоже бывают сеятелями или, по крайней мере, катализаторами фашизма. Отнестись рационально к своим землям, к своим преданиям для народа означало бы рассыпаться при первом же испытании – ни один рациональный аргумент ничего не может сказать о том, почему одна территория предпочтительнее другой, один язык предпочтительнее другого, один эпос предпочтительнее десятка других. Народ может отказаться от привычной грезы только ради другой, одолевшей в состязании грез (вся человеческая история есть история зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов).

Субэтнос «русские евреи», если только он действительно субэтнос, тоже должен сопротивляться своему унижению, своему растворению (впрочем, второе есть следствие первого). А охотники растворить его подступают и изнутри, и снаружи. Русские патриоты-упростители, претендующие на роль некоего ядра русского народа и желающие видеть его полностью однородным, требуют: «Станьте такими, как мы, или катитесь в свой Израиль». (Причем очень многие из них не верят в первую возможность.) Израильские патриоты-упростители, претендующие на роль некоего ядра еврейского народа, требуют: «Катитесь в наш Израиль и станьте такими, как мы». (Причем вторую возможность они считают единственно правильной.) Но что это, простите, за ядро еврейского народа, которое и создано, и в значительной мере поныне выживает благодаря поддержке евреев диаспоры, «галута»? Ядро, которое при всех своих подвигах и свершениях, тем не менее, далеко не так авторитетно в мировой науке, культуре и даже политике, как «периферия»? Без поддержки которой, повторяю, оно, возможно, просто даже и не выстоит. Так дальновидно ли сосредоточивать все ресурсы в этом самом «ядре»? Тьфу-тьфу-тьфу, но даже ближайшие десятилетия, не про нас будь сказано, вполне могут показать, что это было роковой ошибкой – возрождать еврейское государство у самого кратера закипающей исламской грезы.

Упаси, конечно, бог, но в этом случае диаспора может снова сделаться «ядром», а нынешнему «ядру» понадобятся плацдармы в «гойском» мире для очередного бегства или, выражаясь деликатнее, эвакуации – о чем, как

ни хочется гнать от себя эту мысль, необходимо подумать заранее (ибо, если слишком долго гнать от себя дурные мысли, им на смену приходят дурные события: пессимисты, как известно, всего только портят людям настроение, в катастрофы же их ввергают оптимисты). Ужасно неприятно думать и о том, что гуманный Запад, как и при Гитлере, по разным причинам, возможно, снова окажется не готов принять разом такую еврейскую ораву, не исключено, что он снова введет умеренные и аккуратные квоты – в год по чайной ложке. Не хочется разжигать старые обиды, но все же по большим праздникам имеет смысл перечитывать выступление тогда еще будущего первого президента Израиля Хаима Вейцмана на нью-йоркском митинге в день солидарности всех трудящихся 1 Мая 1943 года: когда историк в будущем соберет мрачные хроники наших дней, то две вещи покажутся ему невероятными – во-первых, само преступление, а во-вторых, реакция мира на это преступление; его озадачит апатия всего цивилизованного мира перед лицом этого чудовищного, систематического истребления людей.

Удивляться тут нечему: апатия одних народов при истреблении других – не исключение, а норма. Ни один народ никогда не приносил и не будет приносить серьезных жертв другому народу, народы способны жертвовать только собственным фантомам, а чужим лишь в той степени, в какой чужие вписываются в собственные.

На фоне этих мрачных фантазий, надеюсь, уже не покажется смешным и предположение, что кто-то в минуту смертельной опасности на Ближнем Востоке может вспомнить и о таком декоративном и забавном образовании, как собственная Еврейская автономная область на Дальнем Востоке...

И в предвидении такой, слава те господи, маловероятной, но все же не исключенной возможности для израильских евреев было бы только разумно приберечь на черный день и российских симпатизантов – от которых будет мало проку, если они окажутся отторгаемыми «большим народом» желчными маргиналами.

Sapienti sat. Умные и так уже поняли, что чем более отчетливой и обособленной социальной группой становятся евреи, тем более удобную мишень они собой представляют. (Увы, это относится и к идее выделения русских евреев в собственный субэтнос...) И что никто ради них никогда не пойдет ни на какие серьезные жертвы. У евреев нет и не может быть надежных союзников, потому что их нет и не может быть ни у одного народа: все народы всегда будут руководствоваться собственными грезами.

Короче говоря, не в интересах Израиля вывозить и растворять в себе все российское еврейство. Но заинтересована ли в этом Россия – в «освобождении» от евреев путем их ассимиляции или вытеснения?

Конечно, без евреев будет спокойнее, хотя бы одним источником напряженности сделается меньше. Правда, сделается меньше и одним источником пассионарности... Будет спокойнее и – скучнее. И мне почему-то жаль прежде всего Россию, которая утратит еще одну краску из своей дивной многоцветности. Россия без евреев – как Америка без негров...

Наверно, это эстетский подход; рационально рассуждая, не является ли социальный мир высшей социальной ценностью? Допустимо ли покупать эстетические переживания ценой риска для многих человеческих жизней? Нет, отвечает физическое лицо автора этих строк, в качестве человека и гражданина, гуманиста, труса и слюнтяя: нельзя рисковать человеческим благополучием ради каких-то химер – хотя автору прекрасно известно, что лишь преданность химерам и делает человека человеком. Но, может быть, именно поэтому прячущемуся под маской физического лица художнику грежится некий романтический герой, для которого самое главное отнюдь не комфорт, не покой и даже не жизнь, а причастность к чему-то великому и бессмертному (то есть наследуемому). Счастливец он считает не того, кому удалось прожить долгую жизнь без страданий и потерь, а того, кому удалось оставить бессмертный след в истории. Для этого романтика судьба какого-нибудь Мандельштама как физического лица, разумеется, ужасающа, но его же судьба как поэта восхитительна и достойна всяческой зависти, ибо так и просится в легенду, без которой почти невозможно войти в бессмертие.

И вот, с позиции таких романтических критериев, удачей или неудачей для евреев оказалась их жизнь в России? Больше или меньше в сравнении с евреями других стран русским евреям удалось оставить отпечатков в культуре, в науке, в технике, в политике – отпечатков, которые еще очень долго не канут в вечность? Похоже, никак не меньше. А потому, с точки зрения вечности, русские евреи заинтересованы и в сохранении России как среды, которая открывает им возможность реализовывать свои дарования, служить своему бессмертию.

Какой ценой? Но для романтика ответ возможен только один: мы за ценой не постоим.



Итак, если мыслить высокими категориями, в примирении русских и еврейских грез заинтересованы все, а более всех евреи-полукровки, которым, как мне слишком хорошо известно по собственному горькому опыту, постоянно приходится разрываться между обиженными друг на друга папой и мамой. Еврейский вопрос в сегодняшней России это вообще наполовину вопрос полукровок. Именно полукровки могли бы сыграть выдающуюся роль в создании и распространении примиряющей русско-еврейской грезы «Мы рождены дополнять, украшать и усиливать друг друга» – и в этом, если смотреть с высоты наших бессмертных целей, гораздо больше правды, чем в грезах, рожденных обидой и озлобленностью.

Может быть, все это звучит и чересчур романтично, но неромантических народов просто не бывает: утрачивая способность жить коллективными грезами, они перестают быть народами, рассыпаясь грудой разрозненных прагматиков. Которые без воодушевляющих грез тоже нежизнеспособны.

Правда, многие умные люди, видя, сколько бедствий несут с собой всевоз-

возможные идеологические войны – битвы фантомов, – считают, что примирение наций и классов должно происходить не через слияние коллективных грез, а через их уничтожение: пускай люди живут исключительно индивидуальными иллюзиями. Есть, однако, опасение, что все индивидуальные иллюзии могут существовать лишь в качестве неких филиалчиков коллективных...

Но это отдельная новая тема. А что до темы старой (уж такой старой...) – все фантазирование насчет какого-то особого пути русского еврейства, скорее всего, столь же утопичны, как и все наши прочие надежды оказаться исключением в глазах провидения. Скорее всего, еще через одно-два поколения подавляющее большинство русских евреев либо действительно эмигрирует, либо полностью ассимилируется, то есть утратит всякую эмоциональную связь, всякое чувство личной причастности к преданиям еврейской истории – как это уже случилось, например, с моим собственным внуком. А ведь национальная идентификация осуществляется в гораздо большей степени через поэтическое отношение к истории народа, чем через личные отношения с составляющими его в данный момент индивидами. В принципе может оказаться даже так, что все лично известные тебе индивиды глубоко противны, но образ народа как наследуемого целого, невзирая на мерзкие лица, глубоко тебя трогает: приверженность народу есть приверженность грезе, а не лицам*. И греза некоего русско-еврейского содружества, неслиянного и нераздельного, в принципе может быть не менее трогательной, чем всякая другая.

Однако должен честно признать: пока что мне мало кого удалось растрогать. Некоторые мои друзья и коллеги самого что ни на есть безупречного русско-еврейского происхождения (яркие имена в современной словесности) наотрез отказались причислять себя к новому субэтносу, настаивая на том, что еврей – всего лишь социальная роль, навязываемая антисемитски настроенными социальными институтами или индивидами, тогда как сами мои друзья не делят людей на русских и евреев, а звание еврея принимают только из чувства собственного достоинства. Я не всегда удерживался от того, чтобы не пуститься в рассуждения, что «еврейство» определяется не отношениями с индивидами, а отношениями с некоторыми коллективными мнимостями, абстракциями (символами), что евреи уже грезили о какой-то своей особой миссии за много веков до возникновения всех нынешних государств и конфессий, а потому последние навязывают миру известные коллективные фантомы только из-за того, что сами пребывают под их властью либо угождают пребывающим под их властью массам: ни советской пропаганде, подкрепленной комитетом государственной безопасности, ни какому-либо иному социальному

* Но я, кажется, так никому и не сумел объяснить, что национальные различия между людьми пролегают не в сфере их реальных поступков и даже чувств, а в сфере их фантазий. Идеалов, если угодно, хотя, на мой взгляд, идеалов своих люди до конца не сознают и лишь болезненно реагируют на отклонения от них. Угадать то, о чем ты тайно мечтаешь, часто удается только по тому, что тебя ранит – так боль от столкновений с внешними предметами наиболее убедительно указывает нам на границы нашего тела.

институту еще, по-моему, ни разу не удалось создать новую национальную идентичность, они всегда вырастали откуда-то «снизу»...

Тут-то я и спохватывался, что это справедливо и по отношению к обсуждаемому субэтносу: если те, кого я хотел бы видеть ядром нового субэтноса, не ощущают или не сознают своей принадлежности к нему, значит, он дышит на ладан еще, так сказать, в материнской утробе. Остается надеяться, что антисемиты все же не позволят ему окончательно раствориться в окружающей среде, а будут по-прежнему порождать усложненные нестандартные личности. Антисемиты ребята упорные, они не подведут...

Хоть на кого-то в сегодняшнем шатком мире можно положиться! А то ведь даже и те вроде бы многочисленные русские евреи, которые в анкетах относят себя к промежуточной рубрике, – насколько они отдают себе отчет в своем выборе? Ведь для того, чтобы говорить о субэтноте, желательно и менее гибридизированное самоназвание, и личное отношение к более или менее общепринятым историческим преданиям, и более или менее унифицированные критерии разделения на своих и чужих...

Грезы штука такая: чем внимательнее в них вглядываешься, тем меньше от них остается. И все же – почему бы не пометать? Без примеси утопии невозможна никакая длительная совместная работа на будущее. О человеческой страсти творить утопии можно сказать ровно то же, что и обо всех иных человеческих страстях: с ними опасно, без них невозможно. А потому: утопия умерла – да здравствует утопия!

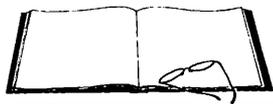


Опасная? Как и все прочие. Люди, предпочитающие единению ненависть, не преминут возразиться: ага, евреи сами признают, что они особый субэтнос, значит, мы были правы! И они действительно правы в том, что – в огромной степени благодаря их усилиям, но не только – мы действительно несколько другие. Они не правы лишь в том, что нетождественность принимают за враждебность. Тогда как разнообразие обогащает, оно открывает возможность дополнять друг друга и гордиться друг другом.

Разумеется, мне прекрасно известно, что утопии вражды усваиваются неизмеримо более охотно, чем утопии согласия: люди, исповедующие учения о всеобщей любви, и здесь ухитряются убивать друг друга за преимущественное право истолковывать, какая любовь самая правильная. И все-таки... Все-таки есть на свете простачки, которые верят красивым сказкам и начинают им следовать. На русских и еврейских простачков вся моя надежда: ведь именно они составляют душу всякого народа. Им я и предлагаю уверовать: мы разные, и это хорошо.

МЫ РОЖДЕНЫ ДОПОЛНЯТЬ, УКРАШАТЬ И УСИЛИВАТЬ ДРУГ ДРУГА.





бывший политзаключенный, историк, публицист, автор более десятка книг и множества статей, опубликованных в Израиле и России. Живет в Израиле.

О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ, РУССКИХ, РУССКОМ ЕВРЕЙСТВЕ – ВСЕ ВМЕСТЕ!

В России постмодернизм как явление возник примерно в ту же эпоху, что и на Западе, и развивался по тем же правилам. Самый пространственный признак – любующаяся сама собой литературная игра, щедрость цитатами, самоирония, обнажение приема... Этакая стихия иронии, усмешки, карнавальность сюжетов и издевка над устоявшимися мифами – вот аура постмодернизма!

Столкновение постмодернистских мнений с традиционными ведет, как положено, к рождению новых истин. Сталкиваются классические и игровые, серьезные и иронические, фактологические и лирические взгляды на жизнь, на искусство, на историю – и все это оказывается очень полезным. Для науки, в частности.

В чем основная разница между традиционалистами (к которым отношусь я сам) и «новаторами»? Для первых характерны вера в Великую цель, в миф Великой и Всеобщей истории, в иерархичность общественных ценностей, в централизацию мирового процесса. Постмодернистам присуща Игра вместо Цели, анархия взамен иерархии, увлечение горизонтальными структурами вместо вертикальных, ну и все такое прочее...

Постмодернистский подход к истории смотрится провокацией. Сочинения этого сорта хорошо продаются с базарных лотков, но провоцируют зубодробительные опровержения специалистов... Каков привычный результат дискуссий? Вроде бы «установленные», «вековые истины» куда-то испаряются (у нас в умах испаряются, у традиционалистов!), мы привыкаем к почти шутовским провокациям оппонентов, мы скатываемся (постепенно – о, конечно, постепенно!) к обоснованию новых и вроде бы легкомысленных версий, и в итоге, мы и обосновываем – мы, а не они – всей мощью

фактов, собранных традиционными методами, их парадоксальные теории – хотя всегда с поправками, конечно.

В Союзе первым модернистом в сфере истории видится, пожалуй, Лев Николаевич Гумилев. Разумеется, по сути, он не был историком, но – замечательным писателем. Его исторические конструкции, по-моему, можно воспринимать исключительно как интригу художественного произведения. Но Гумилев совершил подлинную революцию в методике советской исторической науки: первым публично сломал пружинисто-логичную модель марксистской философии истории, заменив «частным сыском». Все, кто с Гумилевым были не согласны, получили в наследство от него великолепный полемический заряд для собственного видения истории – и всемирной, и российской.

(Кстати, Гумилев – в чем вижу его огромное достоинство – никогда не скрывал, что историю он... сочиняет. Даже объявлял: историки сочиняют сюжеты, делая вид, что якобы опираются на факты, а про себя точно зная, насколько обрывочен и малодостоверен доступный им документальный материал и насколько плоть, мякоть классических исследований заполняется личным воображением авторов... Так вот, говорил он, я отличаюсь от остальных тем, что позволяю себе роскошь не лицемерить, а силой творческого воображения воссоздавать историю, какой она мне видится... Дома видится. За письменным столом.)

Замечательным писателем-провокатором является и Виктор Суворов. Его непросто опровергать кучке оппонентов-«псевдонимцев» (работающих, по-видимому, на Генштаб или на внешнюю разведку). Конечно, он тоже писатель, а не историк. Но... Но ведь только после его книг выплыл, например, из недр Генштаба документ – план наступательной войны, писанный в 1940 году рукой генерала Василевского с правкой, сделанной генералом Ватутиным. А теперь приоткрылось, что в архиве Генштаба хранятся еще *шесть* секретных вариантов наступательной войны против Германии... Так что начатая суворовским скандалом, в сущности, домыслом, эта гипотеза обрастает плотью документов и превращается в господствующую концепцию науки, меняя традиционную версию довоенной истории СССР...

Похожими провокаторами-постмодернистами являются Радзинский, Фоменко, Носовский, Бушков... Кого забыл?



В последние годы одним из «полей сражения» между российскими традиционалистами и постмодернистами стал солженицынский двухтомник «Двести лет вместе». Четыре года вокруг этой работы бушуют дискуссии в русских и зарубежных СМИ. Найдите другое творение в сегодняшнем суетном мире, которое будут обсуждать четыре года! (Я спрошу оппонентов: сколько дней вы, лично вы, обсуждали «Россию в обвале»? Или – как долго спорили с друзьями по поводу статьи «Как нам обустроить Россию»?)

Недавно на книжных прилавках появились два тома примерно того же объема и содержания – «Евреи, которых не было» (А. Буровский. М.: АСТ, 2004).

Книга написана талантливо. Автор не фуфлы-мурлы какое-то, а доктор философских наук, профессор Красноярского университета Андрей Буровский (вот фрагмент из издательской аннотации: «Создал теорию антропогеосферы и концепцию ноосферного образования... автор 134 работ, в том числе четырех монографий»).

Автор симпатизирует самым обидным для еврейства предубеждениям и выдумкам. Ну, скажем, полагает, что число жертв Холокоста во много раз преувеличено евреями! Или – что именно евреи заправляли зверствами в СССР в самое кровавое двадцатилетие российской истории. Или – что евреи всячески восхваляют достижения своих соплеменников, замалчивая заслуги «гоев». Причем самые знаменитые из еврейских претендентов на мировые роли, оказывается, недостойны высокой чести – вроде шарлатана Фрейда, лжеученого Эйнштейна, лжехудожников Кандинского, Малевича, лжекомпозитора Шёнберга, ну и тэ дэ, имена их один Буровский веси.

«Очень многие русские евреи любят Россию ничуть не меньше русских, – пишет Буровский, – но любят другой любовью, за другое, и считают большим благом России совсем не то, что большинство русских» (2, стр. 150).

Чувствуете авторскую интонацию?

С другой стороны... Попробуйте-ка с привычным еврейским вкусом обличить «антисемита» за *выводы*:

«Исходя из вышеизложенного... я берусь дать отличный совет всем врагам гонимого племени: если вы действительно хотите искоренить евреев, прекратите их преследовать. Лучше всего, будьте подчеркнута безразличны к национальности людей в вашей стране, а к религии и обычаям евреев сохраняйте интерес и уважение» (1, стр. 164).

Ну, как?

Или другой *вывод*: «Я искренно считаю, что евреи действительно умнее нас. Нас – это в смысле любых гоев. Именно поэтому они и составляют заметную часть элиты в любой стране, где евреи есть, а преследование евреев не очень сильное. Поэтому – а не в силу деятельности масонских лож или тайного мирового правительства.

Ну вот – написал, и сам же написанного испугался, – добавляет тут же. – Мало того, что за эту книгу меня обязательно зашибут евреи, теперь мне уже и от гоев нет спасения» (1, стр. 204).

Еще замечание автора: «Почему, собственно, всегда ставится знак равенства между всем "русским" и "крестьянским"? Почему русское – это посконные рубахи и лапти? А любой образованный человек становится как бы немножко евреем» (1, стр. 206). «Говоря попросту – евреи оказываются неизмеримо динамичнее, они меньше связаны традициями, условностями, предрассудками. Кроме того, они попросту двигаются быстрее» (1, стр. 210).

Наконец, не российский, а общемировой вывод Буровского: «Европейс-

кие народы оказываются не в состоянии увидеть – они столкнулись с народом передовым. С народом, по сравнению с которым сами они – многочисленное и сильное, но вместе с тем жалкое туземное племя» (1, стр. 229).

Возражать на подобный текст, если кому-то хочется, придется, используя более сложные приемы, чем заушательские обвинения автора в «антисемитизме». Для возражений Буровскому не годятся методы, принятые у привычных «исследователей» русско-еврейского вопроса – с обеих сторон, что с русской, что с еврейской, – созревших в знаменитой школе «борьбы–борьбою–о борьбе».



Любопытная особенность полемического стиля автора: он начинает спор с оппонентом, предлагая читателю две равно возможные его оценки:

- а) оппонент недостаточно владеет материалом;
- б) он сознательно искажает и фальсифицирует историческую информацию.

Когда я размышляю над текстами самого Буровского, у меня *однозначно*, как выражается классик словесных боев В. В. Жириновский, возникает только первый вариант: *он недостаточно владеет материалом*.

Вот пример. Буровский декларирует провоцирующий тезис: евреи не есть «самый древний народ в ойкумене», их библейское прошлое, вся история до и после возвращения из вавилонского плена, весь талмудический период – все представляет собой... *историю разных этносов!* Историю «старобиблейского народа», по определению Буровского, а позже другого народа – «новоиудейского»... Историю же тех, кого мы с вами именуем евреями, автор трактует как историю сравнительно молодого этноса, названного *ашкеназим*, возникшего, по его мнению, не раньше XV века – т. е. всего-то 500 лет назад – и существовавшего до первых десятилетий советского периода (когда российскую часть «ашкеназим» перекроили в иную историческую общность, в так называемое «советское еврейство»)...

Отсюда и провокативное заглавие произведения: «Евреи, которых не было».

Казалось бы – фальсификатор!..

Но... Поразившее меня некогда наблюдение: впервые увидев в Израиле *еврейскую массу*, я удивился, насколько израильтяне выглядят молодыми, по-юношески наивными, по-юношески энергичными, по-юношески наслаждающимися жизнью. Они были так непохожи на умудренный тысячами народ, каким ему полагалось выглядеть, согласно читанным мною книжкам. Мои собственные впечатления подсказали мне: что-то в рассуждениях Буровского верно. Вглядитесь-ка в себя и соплеменников непредубежденно, а не через стекла прочитанных в юности ученых сочинений...

Кстати: к своему народу, к русским, Буровский прилагает тот же принцип исследования. В его книгах происхождение великороссов от славян

ставится под большой вопрос. Более того, Буровский полагает, что современные русские существенно отличаются даже от тех русских, что жили в империи до 1917 года. «Советские русские», по Буровскому, тоже являются «новым историческим этносом» – как и советские евреи.

Вообще говоря, обозначить контрпозицию профессору несложно. Любой народ в наше время определяют так: «Общность людей, объединенная самоидентификацией», т. е. коллектив, спаянный уникальным набором духовно-исторических ценностей, отделяющих его от других подобных коллективов. В систему ценностей евреев, например, входит представление о происхождении их от библейского народа, об избранности еврейства – сколько бы ни иронизировали над мифологией историки и археологи! Самоидентификации народа бессмысленно возражать с позиций науки... Нравится не нравится, но еврейская масса именно так себя ощущает, и всякий, кто эту массу исследует и оценивает, должен принять во внимание сей очевидный факт! Как писал нелюбимый Буровским писатель А. Мелихов, «любой народ... создается не общей кровью или почвой... а общим запасом воодушевляющего вранья». С этим ни историки, ни политологи ничего не поделают! Мир так устроен, устроен не вами, ученые господа...

У нас, евреев, «воодушевляющее вранье» содержит, например, набор сказаний об исходе из Месопотамии и потом из Египта, о даровании Торы на горе Синай. Русские люди соединялись в народ набором своего варианта «воодушевляющего вранья». А что там было в истинной истории, нашей или их? Да кто это может знать – хотя бы примерно?! Народ существует, пока он в свое мифическое «я» верит!

(В скобках отмечу типичное для Буровского и чрезвычайно плодотворное для его текста противоречие: знание, извлеченное автором из книг, часто опровергается рассказами из личного опыта автора. Он, например, описал молодых людей, которые на шестидесятом году советской власти запели у походного костра "Боже, царя храни". Сначала дурачились, смеялись, как положено молодежи в эпоху постмодернизма, потом голоса зазвучали серьезнее, торжественнее... Они ощущали себя русскими людьми, независимо от того, происходили они генетически от полян или вовсе даже от угро-финнов или тюрков...)

Мы, израильтяне, к слову, смирились с существованием «палестинцев», хотя этому народу от силы три десятилетия... Если группа людей начала ощущать себя не обычными арабами, а некими «палестинцами», раз объединила их эта странная легенда, современный продукт «воодушевляющего вранья», то ничего не поделаешь, сколько бы евреи – «от ума» или «от науки» – ни подбирали контраргументов...



Что толкнуло популярного литератора, модного историка, известного археолога Андрея Буровского на создание огромного «еврейского двухтомника»?

Писателю показалась интересной такая задача: обрисовать взаимное видение двух народов – русских и евреев. «Я узнал вполне доподлинно: евреи, и правда, немного иначе относятся к жизни, чем русские. Касалось это, в основном, мелочей, но возник и укреплялся интерес к людям, которые родились и выросли в России, говорят по-русски точно так же, как мы, но сплошь и рядом ведут себя, как иностранцы. А порой и как инопланетные существа. Разве не интересно?» (2, стр. 4). «Просто поразительно, как много сделали и евреи, и русские, чтоб не понимать друг друга... Во всем происходящем красной нитью проходит удивительное неумение не только слушать, но и слышать другого... Огромное большинство евреев даже не задумывается, что другие люди вовсе не обязаны разделять их племенные представления. Они живут, словно их культура обязательна для всех... Но можно подумать, что русские слышат евреев! Иногда кажется, что русские вообще не очень понимают: евреи это совсем особый народ... Русские так и не поняли, что рядом с ними в составе Российской империи, живут... люди ДРУГОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ... Русские не поняли, что эта цивилизация имеет множество преимуществ по сравнению с их собственной... похоже, всякое преимущество евреев они считают личным оскорблением» (2, стр. 215).

И профессору возмечталось «разомкнуть веки» Виям, показать, как общие проблемы по-разному видятся соседями.

Солженицын, конечно, опередил Буровского, но при всем уважении к труду классика, он замыслил сбалансировать скроенную этим писателем интригу, переписав историю двух народов более, как ему виделось, объективно и взвешенно.

Поэтому начинает Буровский с глав, лихо и остроумно разоблачающих мифы, что окутали историю и облик обоих народов (в частности, объектом особо смачных издевок послужила фантастическая «Библиотека русского патриота» – ее Буровский иронически обозвал «Библиотекой русского антисемита»). Увы, тут его и подстерегала коварная ловушка...

В школе постмодернистов версии составляются по принципу ученого консультанта мессира Воланда: «Сегодня ночью на Патриарших случится интересная история». «Истории» эти бывают остроумными, провоцируют слом устоявшихся понятий... В моем представлении сей процесс напоминает метод, присущий теоретической физике: после полученных в опытах результатов придумываются десятки дерзко правдоподобных гипотез в надежде, что какую-то из «придумок» удастся подтвердить в эксперименте. Она останется в науке (а прочие? Разделят грустную судьбу «флогистона», «эфира» или чего там еще?).

Буровский блистателен в полете оригинальной мысли и, увы, одновременно более чем поспешен в изложении бранных фактов и очень скоропателен в выводах!



Ну, ладно, «плывем... Куда ж нам плыть?»

Начнем, благословясь, с мелочей. С ошибок, количество которых непомерно велико.

Вот навскидку несколько штукечек-дрычек.

«Персидский царь Набонид... освободил евреев из вавилонского плена» (1, стр. 65 – напоминать ли, что персидского царя звали Киром? А Набонидом звался вавилонский царь, которого Кир низвергнул).

Автором изречения «Не делай другому то, чего не хочешь себе» назван не мудрец I века Гиллель, а философ XX века Мартин Бубер (1, стр. 95).

Ребенок, родившийся у еврейской девушки вне брака, назван «незаконнорожденным», коего «будут травить» (1, стр. 222. К сведению уважаемого профессора, у евреев незаконнорожденным называется ребенок *замужней* женщины, зачатый *не от мужа*. Ребенок же, рожденный девицей вне брака, считается законным и равным в правах с любым младенцем, появившимся на свет).

Революционерка Геся носила фамилию не Геман, а Гельфман (2, стр. 90), еврея, покушавшегося на издателя Крушевана, звали не Данишевский, а Дашевский (2, стр. 112), Клемансо был не президентом Франции, а премьер-министром (2, стр. 140), не говоря о том, что он никогда не числился в «друзьях советского народа», – чего не было, того не было! И сионист Менахем Бегин облыжно обвинен Буровским в том же нехорошем грехе, уж никак ему несвойственном...

Полуграмотный Лазарь Каганович назван... «теоретиком!» (2, стр. 240). Уважает Буровский нашего брата-еврея, уважает! Халу не называли «французской булкой» – напротив, французскую булку из-за «космополитского» названия переименовали в «городскую» (2, стр. 290), а халу, если память не изменяет, называли «плетенкой». Бялик не был русским писателем, как и Мойхер-Сфорим (Бялик писал на иврите, его коллега – на идише). Последний не носил фамилию Сфорим, как думает автор («Мойхер-Сфорим» – *псевдоним* Абрамовича, в переводе с идиша означающий буквально «продавец книг») (2, стр. 256). Столицей независимой Литвы Буровский называл... Шауляй (1, стр. 272)! Каунас это был, уважаемый профессор, Каунас! Тут же написано: «В 1945 году Сталин создал Литовскую Советскую Социалистическую республику». В августе 1940 года это случилось, Андрей Михайлович!



Андрей Буровский посвятил огромную, пожалуй, лучшую часть своего текста опровержению мифов – антиеврейских и еврейских: «Даже бредни Блаватской и Мулдашева бледнеют перед мифами о евреях. И перед мифами, которые сочинили сами же евреи... Не самая лучшая их часть». Почти все, что сочиняют о евреях «русские патриоты», вызывает у автора «брезгливую гримасу: за дураков краснеем...» (1, стр. 9), но и знаменитое сочи-

нение рава Даймонта и других еврейских авторов сопровождается презрительной ухмылкой: «Это – фольклористика»... «Литературы о евреях много, даже избыточно много, но вся она или недоступна, или непопулярна, а чаще всего – и непопулярная, и недоступная, – делает он вывод. – А та, что популярна и доступна – как раз вдохновенные, но плохо написанные книги про плохих и хороших евреев или же вопли из помойки» (1, стр. 15).

Готовясь к огромной работе, которая, по замыслу, должна была опровергнуть океан легенд и выдумок, автор прочитал четыре сотни монографий и книг! Оказалось, такого количества литературы – мало. Очень мало. Буровский не прочел многое из того, что совершенно необходимо для обережения себя от мифологии. В итоге попал в сети легенд, которыми четыре сотни прочитанных им томов так называемых «научной литературы» набиты до отказа.

Причина его профессионального провала вызвана, по-моему, исторически сложившимися особенностями советской психологии. Нам с детства методично «промывали мозги» вытекавшими друг из друга, логически последовательными идеями. Когда под напором жизни мы осознали, наконец, что эта система ложна, что, несмотря на неоспоримую логичность, она изначально опиралась на ошибочные аксиомы, мы автоматически все, сообщаемое в этих рамках, начали считать ложью – и тоже без проверки, как привыкли делать раньше. Мы исходим исключительно из презумпции симпатичности или несимпатичности источника информации (*известный пример: пожилые евреи отказывались в 1941 году бежать от нацистской армии, потому что – «все это враки, большевистская ложь, мы немцев помним по той войне, очень культурный народ»*).

Вот наткнулся Буровский на серию модных книг, на целое направление в западной исторической науке – на так называемых «ревизионистов». Они доказывают, что информация о гитлеровских зверствах построена на еврейских выдумках (чтобы денежки из немцев выкачивать, «компенсации»!). Откуда союзники взяли информацию о гитлеровских зверствах? Под пытками, вестимо, признались в небывшем-небывалом пленные эсэсовцы и гестаповцы! Буровский настолько увлекся открывшимися картинками фальсификации истории, что ему не пришло в голову (или в охотку?) почитать самые обыкновенные, самые «пошлые» сочинения о тех же событиях в каких-то других, не «ревизионистских» книжках.

Спросим для начала: а почему в СССР не заигрывали с «ревизионистской» школой, казалось бы, вполне востребованной в рамках агитпропа ЦК? Выпускник советского вуза Абу-Мазен (Махмуд Аббас) сию «ревизионистскую трактовку» даже защитил в «Лумумбе». Но не пошла гипотеза вширь по Союзу... Никак. Почему от советских людей утаивали «открытия» этой западной школы? Почему только сейчас «открылись глаза» у Андрея Буровского «на правду истории»?

Ответ таков: множество фальшивок о Катастрофе сочинены как раз советским начальством. Например, Буровский справедливо иронизирует:

мол, число жертв Освенцима сокращалось год от года и к сегодняшнему дню упало в три с половиной раза (с 4 миллионов до миллиона с гаком). Верно? Верно. Но ведь авторы первой, сфабрикованной цифры – «четыре миллиона погибших в Освенциме» – не евреи. Я сам видел ее в материалах Комиссии по расследованию гитлеровских преступлений (или как там она называлась?) – в газете «Правда» в 1945 году. Западные историки, конечно, виноваты в том, что поверили советским фальсификаторам (они это делали постоянно), но все-таки... И это советские суды приписывали преступления «черных СС» другим СС – Waffen...

Если бы автор, однако, почитал хоть немного больше, он убедился бы, к примеру, что членов Waffen-СС судили не за сфабрикованные деяния, о чем сообщили «ревизионисты», а за реальные преступления, которых у них хватало. Например, за расстрел 86 американских военнопленных в Мальмеди... За убийство без суда и следствия Рэма и его штурмовиков в 1934 году... И прочее.

Число «шесть миллионов погибших евреев» возникло не на пустом месте, хотя, конечно, оно приблизительно, и споры об этом не утихают – в еврейской среде, кстати, тоже! Примерно на такую цифру уменьшилось общее число евреев после войны – по сравнению с довоенными годами. Огромную убыль еврейства правдоискатели-«ревизионисты» объясняли вполне логично: множество евреев бежало от Гитлера в СССР, там их и убили. В ГУЛАГе убили! Попытка обелить «черные СС» за счет заслуг «голубых» коллег из НКВД, естественно, Кремлем не одобрялась – потому и «ревизионистские» сочинения не допускали до нас.

Буровский, этот нормальный советский ученый, увлекся открывшимся неожиданным поворотом старой темы, сей экстравагантной гипотезой, поверил ей на слово, без проверки – и не стал знакомиться с сочинениями противоположной направленности. То есть – мало читал! И изготовил, по сути, советский продукт, хотя с противоположным знаком. Я издавна определяю это явление так: «Советский антисоветский человек»...

Что, однако, выручает автора? Он – честный человек, он не лжет, а – заблуждается. Когда личный опыт вступает в противоречие с мифом, Буровский не замалчивает «конфликт интересов», а излагает как есть. И сим приемом он свой текст сам и выправляет!

Вот пример «конфликта интересов». В каком-то «ревизионистском» сочинении автор наткнулся на отрицание убийства евреев в Бабьем Яру. И тут... Извините, говорит, это вы, господа, загнули! У меня мама в Киеве жила. «В тот день за моей 17-летней мамой пытались ухаживать юные немецкие солдатики. Реакция понятная: ужас. Для русско-немецкой девочки эти солдаты были как бы залиты человеческой кровью.

– Там же были старики, женщины, дети! Как вы могли?!

Реакция немецких солдатиков: обида, возмущение...

– За кого вы нас принимаете, девушка?! Мы не палачи, мы – солдаты. В Бабьем Яру вовсе не было людей, там были одни только евреи!"

Общее число свидетелей одного только Бабьего Яра, – добавляет Буровский, – вряд ли меньше нескольких десятков тысяч» (1, стр. 263).

И все! Покончено с «ревизионистами»! Все цитаты, все многостраничные умозаключения перечеркнуты живым рассказом очевидицы-мамы и – фразой солдатиков вермахта. Рядовых германских граждан, а вовсе не жутких палачей...

Я, признаюсь, не читал сочинений «ревизионистов» и после краткого изложения их гипотез Буровским не собираюсь делать это в будущем. Как не собираюсь читать «Библиотеку русского патриота». В подаче Буровского эти два явления выглядят аналогами, только бездарность земляков ему ясна с первого взгляда, а «ревизионистам» он с присущим русскому человеку уважением к иностранным специалистам склонен доверять, хотя фактологическая достоверность их сочинений примерно того же сорта, что и у «русских патриотов».

Вот примеры из сочинений «ревизионистов», чтоб уж окончательно прояснить мою нигилистическую позицию.

«Турки (в 1915 г., во время геноцида армян. – М. Х.) были исполнителями воли верховной власти Турции, а эта власть была еврейской: пост президента, главы МВД и госбезопасности занимали лица еврейской национальности» (1, стр. 237). Какой мог быть «президент» в османской монархии, господин профессор? Министр внутренних дел – это, по-видимому, Джемааль-паша, палач сионистских поселений в Палестине. «Менахем Бегин вскрывал животы береметным женщинам и разбивал головы младенцев о заборы» (1, стр. 241. Господи Боже мой, сколько фантазии! Как в послевоенной «Правде!»). «После 1968 года Гомулка изгнал из Польши примерно 500 тысяч евреев» (1, стр. 246). В то время в Польше жило 30 тысяч евреев. Эмигрировало 25 тысяч. «Деятели еврейской полиции не только остались в живых, но и никем не преследовались после войны» (1, стр. 283). Подавляющее большинство полицаев из гетто были уничтожены в лагерях смерти после «использования по назначению». Те, кто остался в живых, представляли перед судом в Израиле и получали немалые сроки.

Гнусно звучат «ревизионистские гипотезы», сочиненные для рационального, логичного объяснения мотивов преступлений коллаборантов. Например, предположение: не потому ли, мол, была убита семья Ицхака Шамира, что отец экс-премьера Израиля сочувствовал коммунистам? Не по той же ли причине жители польского села Едвабне сожгли еврейских соседей? То, чем чреватые подобные гипотезы, распространяемые «ревизионистской» литературой и бытующие в мифологии многих стран и народов, где убивали евреев, я попытаюсь проанализировать на близком Буровском материале.

В сегодняшней Латвии живет много русскоязычных граждан, сочувствующих планам Кремля, на его средства и по его наущению выходящих на демонстрации против законного правительства республики. А если предположить (в конце концов, Буровский тоже ведь *предполагает* насчет Ша-

мира или Едвабны), что конфликт народов дозреет до военного столкновения? Будет ли считаться естественной реакцией латышей – тотальное истребление русских сограждан, включая сожжение заживо детей? Или как?

«Ревизионисты», видимо, показали историку психологически привлекательными: они – «юродивые», смеют говорить то, о чем другие молчат. И с помощью этих мифов легче опрокидывать «миф о немцах-преступниках», о «народах-преступниках». Для автора, у которого дед – немец, это важно: «Сегодня Германию захлестывает просто какой-то покаянный психоз. По стране катится вал разрывания на себе одежд, самооплевывания и самоотрицания. "Мы народ Отто Скорцени и Гитлера!!!" Это массовое поветрие не кажется мне ни разумным, ни даже по-человечески симпатичным» (1, стр. 270). Он перечисляет фальшивки в истории Катастрофы (фальшивок я не отрицаю, сочинителей «историй» хватает в любом обществе, и в еврейском, конечно, тоже! Евреи – такие же люди, как всякие другие). Вот, например, по «ревизионистской» версии, «вермахт в Третьем рейхе... жил, то лавируя, то откровенно посылая подальше, как их называли в войсках, "нациков"» (1, стр. 271). Так зачем же так осуждать германскую армию, воевавшую за свою страну и выполнявшую приказы политического руководства?

Буровский раскопал поразительно интересную байку о том, как германские офицеры спасли караимскую общину в Литве...

Было такое? Было. Но, увы, голос собственной мамы все же убедительнее описал кровавую суть той реальности, чем рассуждения ее сына-историка. Сегодняшние немцы не могут (многие – и не хотят!) забыть *для самих себя* тех мальчиков-солдатиков из обычного подразделения вермахта...

Айнзатцгруппы были частями вермахта, подчинялись армейскому командованию. Славяне в лагерях военнопленных, да и в трудовых лагерях, умерщвлялись нередко не эсэсовцами, а обычными тыловыми администраторами и караульными солдатиками. Waffen-СС, соглашусь, внешне выглядят «солдатами, как все», но только до тех пор, пока по каким-то причинам их не переводили в тыл (например, по ранению). И тогда «солдаты, как все» без натуги вписывались в «черные» палачи.

Но все это детали, по сути даже не очень важные.

Буровский благородно убежден, что пламя ненависти способно плодить лишь новую ненависть и надо бы положить ей сегодня предел. Хватит демагогии о народах-преступниках! В мире бывают преступные люди, но не преступные коллективы, тем паче – не преступные народы.

И он, несомненно, прав.

Однако... Зададим такой вопрос: а способен ли кто-нибудь со стороны вынудить современных немцев заняться «самооплевыванием и самоотрицанием»? Ни у кого нет для этого нужной мощи и авторитета... Так почему же?.. Потому, что у народа наличествует, по сути, грандиозный комплекс *национального самоуважения*. Потому он негодует на предательство вековых традиций своего народа, его духа, его разума, его благородных

потенций. Они *себе* простить предательства не хотят! Самый пронзительный, на мой взгляд, европейский специалист по истории России Алэн Безансон однажды так определил, почему немцы столь быстро преодолели разруху и гибель державы, и, напротив, россияне с такой болью, скрипом и мукой медленно-медленно проделывают схожий путь. Он считает, что причина – в духе нации. Немцы искренно раскаялись, искренно отрекаются от преступного прошлого. Можно отыскать массу объективных причин для оправдания предков... Омерзительный Версальский договор чего стоит, а трусливая и подлая французская политика 20-х гг., а экономический кризис 1929-33 гг., а угроза коммунистического переворота? Все можно припомнить, чтобы оправдать «себя и своих», как пытается сделать за них Буровский – даже много более того... Но для тех, кто осознает себя Великим народом (а немцы себя именно таким народом ощущают!), нет никаких оправданий поддержке именно ими – с их-то местом в цивилизованном мире! – революционно-нацистских заблуждений, революционно-нацистского террора!

Немцы не хотят простить, прежде всего, своих обывателей, тех обычных солдатиков, тех обычных чиновников, тех обычных инженеров и техников. Трагедия Буровского – что он не способен это их чувство понять. Его-то соплеменники, россияне, не хотят каяться в былых заблуждениях, постоянно ищут для себя объективных оправданий, и оправдания, несомненно, имеются (как и у немцев) или всегда найдутся: «Ищущий да обрящет!»

Вот странность: чисто духовный процесс раскаяния в грехах превращает Германию в богатейшую державу континента и в авторитетнейший центр мирового сообщества! «Кающиеся, самоплеывающиеся» немцы являются нынче самой авторитетной нацией в Европе, они парадоксальным образом воплощают в жизнь давнюю национальную грезу о Едином континенте, сплоченном вокруг Германии, на чем надорвался наглый наильник Гитлер!

Зато в России, по данным последнего опроса Центра Левады, лишь 31% опрошенных считает Сталина тираном, а 21% – «мудрым правителем», 32% полагают, что «без него нельзя было обойтись» и «только он мог спасти страну». В итоге Россия, долго-долго «догонявшая» Америку, догоняет нынче Португалию, а завтра, видимо, начнет догонять Украину...



Очень жаль, что журнальный объем не позволяет подробно изложить, чем *хороша* книга Буровского. Любопытны многие исторические и психологические пассажи. Например, сообщение о посольстве римлян в Китай, укомплектованном сирийскими евреями. Об этом посольстве, как и о самом Китае, римские сенаторы слыхом не слыхивали, но... правительство богдыхана пожаловало привилегии послам далекой Великой державы, и из

еврейской аферы возникла первая община наших соплеменников в Китае... Мне не хватает эрудиции, чтобы всерьез об этом (и многом другом) судить, но в любом случае многие гипотезы Буровского читать очень интересно.

Многое в книге первосортно написано, даже если выглядит не слишком убедительным... В конце концов, повторюсь, это «постмодернизм» – со всеми его недостатками, но ведь и достоинствами!

Выделю, однако, то, что меня привлекло более остального: мнения и чувства касательно еврейства, характерные (возможно, на подсознательном уровне) для многих русских.

Буровский, например, отрицает общеизвестный исторический факт – происхождение христианства из иудейской секты I века н. э. В нем, видимо, сработал какой-то инстинкт... Что-то наподобие рассказанного некогда Горьким. Знакомый священник говорил писателю: «Не могу поверить, что Иисус – еврей. Знаю, что он сын еврейского Бога, знаю, что мать у него еврейка, а поверить – не могу!». Чувство на уровне инстинкта – вопреки любой информацией? Но все же уровень знаний профессора в области не иудаизма даже, а православия поражает...

Вот образчики:

«Родилось христианство в Иудее, в Иерусалиме, слов нет». (Как нет? Христианство родилось не в Иудее и не в Иерусалиме, а в Галилее). В числе посещенных Иисусом Христом городов мелькает «почему-то» Капернаум. (На что намек? Капернаум, мол, слово греческое? Но город носит в сегодняшнем Израиле старинное название на иврите – Кфар-Нахум, т. е. «село Нахума», Наума. – *М. Х.*) «Мало того, не все апостолы были этническими евреями (Андрей и Лука – имена эллинские)». Господи! А «синагога» тоже не еврейское учреждение, ибо слово греческое?.. Лука, тот, действительно, не был евреем, но он не был и апостолом! Лука – евангелист... У Андрея имя, правда, нееврейское, но он был чистокровным иудеем, как и родной его брат Симон, «называемый Петром», т. е. неиудейским именем, как и Павел, который писал о себе: «Я – еврей из Тарса».

Сразу уточню: я не отрицаю справедливости тезиса Буровского, что христианство «возникло на стыке нескольких культур». Конечно, оно сформировалось на стыке иудаизма с античностью, но это случилось много позже, когда проповедники обратились к римлянам и эллинам! И все же изначально христианство появилось именно как иудейская секта, и почти 90 лет христиане молились вместе с евреями в синагогах (читайте хотя бы «Деяния апостолов»).

Различие между иудаизмом и христианством Буровский видит в том, что христианство предложило людям новую, великую ценность, почерпнутую, как ему видится, в античном наследии, – свободу воли. Иудаизм сковывает людей предопределенностью Божественных предписаний, и, чтобы сыграть поистине великую роль, он, по Буровскому, «должен признать свободу воли, право человека на выбор, индивидуальную ответственность за свою посмертную судьбу как фундаментальные ценности»

(1, стр. 162). Но ведь именно иудаизм дал миру принцип свободы воли, по сути, это и есть его центральный тезис. Сформулировано так: «Все предопределено, но свобода выбора дана». У иудаизма много цивилизационных различий с христианством, спору нет, но как раз в этом пункте христианство позаимствовало еврейское представление о свободе воли, определяющей весь жизненный путь человека. Если бы Буровский задумался, то сам бы сообразил: откуда же взялась еврейская динамичность, верткость, умение выживать, выбираться из новых и опасных ситуаций? Только благодаря готовности к постоянному выбору новых ценностей, даруемых свободой воли...

Возможно, историка ввела в заблуждение педантичность Талмуда, регламентирующего до мелочей все поведение евреев? Но таково свойство всех древних религий, пытавшихся обуздать буйно-животную натуру обращаемых в веру дикарей. Напомню православных людей, которые шли на костер и самосжигались ради двуперстия, ради написания «Иисуса» через два «и», Николая как «Николы» или «хождения посолонь»...

Другую распространенную русскую легенду Буровский назвал: «Отрывание русской головы» (2, стр. 188–284). Суть такова. До революции главные позиции в Российской империи принадлежали дворянству и духовенству. В революцию оторвали одну за другой обе русские головы. Но без головы тело существовать не может... И пустующее место заняла новая голова. Еврейская. Которая господствовала над Россией 20 лет, пока не подросло новое, образованное поколение русских людей. «Евреи воплощали в СССР свой племенной миф, реализовывали свой религиозно-племенной идеал (т. е. социализм. – М. Х.). Но ведь и западная интеллигенция самого разного происхождения из всех сил помогала этой на 90% еврейской коdle, что варила из русских костей свое ведьминское варево с 1922 по 1941 год, в это самое страшное двадцатилетие русской истории» (2, стр. 388–389).

Я когда-то сам рассуждал схожим образом – о вине поколения послереволюционных евреев перед русским народом. В ту пору интеллигенты в СССР воспринимали строительство социализма по Солженицыну, т. е. «как излом русского хребта». А ломать хребет народу – несомненно, преступное деяние, виновные в нем – несомненные злодеи. Тем более что ломку хребта народа вели, повинуюсь абстрактным идеологическим схемам, – что в Германии, что в России...

Но в последние годы я внимательнее всмотрелся в этот яркий солженицынский образ.

В России в 1990-х гг. вновь произошла революция. Социализм был проклят (как раньше – «проклятое царское прошлое»), капитализм реабилитирован под именем «рынка». Евреи в целом перебазировались на новую, «капиталистическую сторону».

А что же русские?

А русские довольно дружно голосуют за сторонников «ведьминского

варева». По меньшей мере, треть избирателей отдавала голоса компартии и аналогичным блокам, а русская доля их – и того больше. Чем дальше уходите в русскую глубинку, тем очевиднее преобладание симпатий к коммунистам и их союзникам. Более того, социалистические ценности, насаждаемые в «страшное двадцатилетие русской истории», преобладают в нынешней русской массе – вопреки, к слову сказать, истошным еврейским воплям и призывам «к рынку»!

Все за бесплатное образование! Все за бесплатную медицину! Вернуть промышленность народу! Отобрать у богачей несправедливо нажитое!

Это что, снова евреи внушили несчастному русскому народу?

Достаточно было мне раз задуматься и – «процесс пошел»... Вспомнились, например, наблюдения фабричного инспектора царских времен. Провинциальные рабочие на рубеже веков «думали, что владелец фабрики не имеет права закрыть ее, и, если он плохо справляется со своими обязанностями, государство реквизирует фабрику. Они также придерживались ошибочного мнения, что работодатель обязан обеспечить работой и жильем все местное население. Более того, они полагали, что власти могут заставить хозяина поднять им зарплату, а прибыль использовать для строительства новых фабрик и создания рабочих мест» (McDaniel, 1991, p. 126). Ведь это чистый социализм – тот самый, который якобы навязали евреям, исходя из «племенных представлений о жизни».

Далее. Примем за данность: они варили из русских костей «ведьминское варено»... Но, наконец, страшное двадцатилетие кончилось, евреев оттерли от управления, а уж от культурно-идеологического воспитания масс особенно. И что принципиально изменилось, когда русские люди вошли во власть, выгнав «безродных космополитов»?

Обрядившись в желанные русскому народу погоны и мундиры, наследники Суворова и Кутузова разве отменили раскрестьянивание? Нет, они ввели его повсюду, куда добрались. Спросите прибалтов, западных украинцев, румын, поляков, венгров – все «подпали под русских», как они говорили, вовсе не в «еврейское двадцатилетие». Отменили «отрывание национальных голов», уничтожение исторически сложившихся элит разных народов? Спросите в «странах народной демократии», у немцев, у венгров – все они в «русский период» советской истории, а вовсе не в «страшное двадцатилетие», не при Троцком или Зиновьеве, а при Жданове и Маленкове испытали пертурбации, образно названные Буровским «ведьминским вареном»!

Согласен ли Буровский занести все, что совершалось в завоеванных Красной армией краях и странах, на счет русского народа, на счет его «племенных черт»?

Мне хочется, к слову, обыграть образ, созданный гениальным Булгаковым и эффектно использованный у Буровского: «Ох, неслучайно у Булгакова провокатор, науськивавший Шарикова на Филипп Филипповича, носит еврейскую фамилию Швондер! Ох, далеко не случайно...» (2, стр. 170).

Конечно, неслучайно. Швондеры сыграли именно ту гнусную роль в русской революции, которую отвел им гениальный писатель. Но не уклоняйтесь и от естественного вопроса: разве Швондер создал Шарикова, а не Филипп Филиппович? Разве Швондер «изломал ему хребет»? Все поведение и манеры Шарикова шли из его нутра, а Швондер помогал облачать инстинктивные позывы в красивые формы, вел по жизни на первых порах, согласен, – но вовсе не он формировал суть жизни. Отнюдь! Булгаков как раз провидел, что Швондер станет следующей жертвой Шарикова, и это неизбежно – при шариковской-то психологии («А Швондер и есть первый дурак!»). Швондеры, повторяю, не насиловали Шариковых, ставших главной силой, главным двигателем революционного потока, – они обслуживали интересы босяков, их мечты, подспудные, хотя не спорю, часто неясные им самим желания.

Вариант национального социализма, который якобы мог победить в России, если бы ею управляли Шариковы без Швондеров, никак не проходит тоже! Ибо только Интернационал мог привести к воссозданию многонациональной империи, а на меньшее Шариковы никогда не соглашались – ни тогда, ни сейчас! Под каким предлогом Россия могла захватить Украину, Грузию, Армению, кроме как провозгласив власть «мирового пролетариата»? Прибалтику пытались захватить, Иран, Польшу – сил не хватило, не вышло, но пытались же... И жуткий террор коллективизации, хотя планировался в ЦК, но осуществлялся рабочими-двадцатипяти тысячниками. Вполне русскими людьми! И не сдвинули бы они эту машину, не смогли бы перевернуть стомиллионную крестьянскую Россию, если б не всеобщее убеждение, что «ведьминская кухня» необходима новой России. ...К слову, и организацию голодомора на Украине Сталин доверил не Кагановичу, отвечавшему в политбюро за эту республику (чтоб, упаси Бог, кто-то не вообразил, что сие еврейская задумка), но – Молотову, чтоб все в столице Украины поняли: это – воля вождя империи! Когда задуманное свершилось, Сталин вслух одобрил происшедшее, чего обычно избегал делать: «Теперь все знают – кто в доме хозяин!»

После чего и начал обдумывать удаление из аппарата евреев – уж они-то точно в состав «хозяев дома» не входили. Так, швондеры, обслуга, активисты из домкома...

Я упоминал, что удивительная сила книги Буровского, в частности, состоит в противоречии объявленных им тезисов, вычитанных из книг, так называемым «семейным историям». Смысл замечательных историй не всегда ясен автору, но мы попытаемся ему в этом помочь.

Друг его деда, «дядя Саша», рассказал, приняв коньячку, мальчику Андриюше о том, «как втроем, с такими же, как он, студентами, людьми булгаковского Киева, ушел в 1919 году навстречу Белой армии Деникина.

– К вечеру прихватили они нас... Степь еще мокрая, по бездорожью не уйдешь, а потом еще и в лошадь попали. Пришлось пристрелить – очень уж она кричала, мучилась. Закат уже... Телега перевернулась, мы за ней

встали, хорошо, что у всех карабины. Три раза они к нам подходили... Они накатятся – мы начнем стрелять, они назад.

– А они стреляли, дядя Саша?

– У них обрезы были, из них толком не прицелишься, да и пьяные они были... А жида – те из наганов сажали. Стреляли – воздух звенел... Жида мужиков натравливают – те вперед. Мы стреляем – они сразу откатываются.

– Так надо было... в жидов!

– Без тебя, Андрей, сообразили. Как зацепили одного – сразу все отступить. Темнеет уже, они уходят и своего утаскивают, нам издали наганом грозят. А мы подождали и ушли... Наутро вышли к нашим...» (2, стр. 215).

Может ли кто-то поверить, что украинские мужички, те, кого первое всего автор обвиняет в стихийной неприязни к евреям, пошли на ночь глядя убивать русских для угождения «жидам»? «Жида» могли командовать, это так и было, но убивать-то городских хотелось самим мужикам... Евреи их обслуживали – как специалисты. Эпизод, невольно для Буровского, разрушает его легенду об отрывании русской головы евреями. Свои ее отрывали, свои! Как на той дороге в Украине... И все, что происходило в страшное двадцатилетие, делалось по сути своими. Евреи радостно присудились, часто формулировали волю коренного населения... Как привыкли делать веками – во многих странах. Хотя, не спорю, в России они делали это с большей, чем всегда, искренностью, с большим энтузиазмом и с большей глупостью и самохвальством...



Буровский фиксирует некое странное свойство русского общества: дикое убеждение, что интересный, выдающийся человек в России – обязательно еврей.

«Есть стойкая народная традиция – считать евреев исключительными умниками. Может быть, еще и не сразу меня зашибут... Насколько сильна эта традиция, я убедился на собственном примере и при обстоятельствах совершенно фантастических.

Дело было в 1988 году, я ехал на работу в автобусе № 42. Автобус неспешно полз в гору, а я с интересом вслушивался в разговоры студентов... Слышу такой диалог:

– Буровский, он кто? Он русский?

– Какой русский? Он у нас в универе работает.

– А-а-а...

Вот тут я и почувствовал, как тесно увязаны в массовом сознании интеллект, вообще занятие любым умственным трудом, и еврейство. Эта связь в нынешней России так сильна, что вообще всякого умника, всякого интеллектуала начинают считать как бы евреем» (1, стр. 204–205).

Пусть не обманывает иронический тон профессора! Он сам пронизан

диким комплексом неполноценности огромного, талантливое, но жутко закомплексованного народа. Возможно, в какой-то степени этот комплекс возник у русских как порождение, как отклик на комплексы его источника – ассимилированного еврейства.

Унижаемые в Европе, евреи издавна выработали рефлексивную форму самозащиты – легенду о врожденном своем превосходстве над любыми угнетателями. Каждый зримый знак унижения преобразовывался в знак явного преимущества перед «гоями». После Французской революции, просачиваясь в культурную среду аборигенов, ассимилируясь в ней, евреи оказывались в удивительном, парадоксальном положении – становились этаками гаерами, шутами, принятыми в изысканное общество, но исключительно для развлечения, для избавления хозяев от скуки буржуазной пошлости. Ассимилированные, т. е. лишившиеся духовной опоры в традиционной «избранности», евреи компенсировали свое неестественное положение в чужой культурной традиции придуманным мифом – о своей особой природной талантливости, о «расе гениев» (самым блистательным расистом выглядел в этой компании премьер-министр Великобритании Б. Дизраэли). Евреи как бы породили светский вариант старинной «избранности», но намного худший, чем религиозная версия, намного более опасный для судеб их народа!

Буровский саркастически излагает уродливую мифологию евреев-ассимилянтов: «То, что должен чувствовать в себе и знать о себе каждый еврей, может быть передано, пожалуй, примерно таким набором тезисов: евреи – самый древний, самый гениальный, самый мудрый и самый замечательный народ мира; евреи генетически, если угодно – расово, превосходят все остальные народы. Они такие, потому что такими родились; евреи совершили практически все открытия, на основании которых строится современная цивилизация; евреи стоят за всеми поворотными эпохами: Возрождение, Реформация, капитализм – все их работа (любопытно, почему опущен социализм? Я обижен. – М. Х.).

В современном мире евреи – не только народ, но и социальное положение: без евреев не существует наука, искусство, культура всего человечества» (1, стр. 114–115).

«Для большей части евреев почти невозможно обсуждать их собственные проблемы на рациональном уровне. Они гениальны – и баста! Они лучше всех – и хоть тресни! А если вы в этом сомневаетесь – вы самый что ни на есть грязный антисемит» (1, стр. 116).

Я – не скрою! – с наслаждением все это читал: изничтожение ассимилянтских комплексов есть вековая и важнейшая задача моих соотечественников-израильтян, соумышленников-сионистов. «Мы должны стать народом, как всякий другой, со своими ворами и проститутками», – так ставил перед евреями национальную задачу Д. Бен-Гурион. Евреи, похожие на описанных Буровским, до сих пор являются к нам в Израиль, кривая губы при виде израильтян: никак не соответствуем стандартам «коро-

ны человечества)! Мелкая страна наша «Израиловка»! Где Нобелевские лауреаты, где великие шахматисты, где великие физики? «Россияне» (не все, конечно, но многие) в упор не различают поразительную красоту сделанного, уникальность развития! Зато гордо хвастаются былыми советскими успехами, премиями, званиями, начисто забывая, что они верно и самозабвенно служили врагам *нашей* страны, врагам *собственного* народа (и *того* народа – тоже). И потому кипение страстей Буровского я понимаю и разделяю.

Но интереснее показалось как раз другое соображение: «Поскольку безумие довольно легко индуцируется, часть гоев начинает относиться к евреям примерно так же, как они сами относятся к себе... Евреи, слушая их бред, кипят от возмущения. Но почему? Ведь антисемиты вовсе не отрицают их исключительности. Они только придают ей другое значение. Но исключительность-то признают?! Признают! Еще как признают! Кто еще, кроме евреев, способен тайком править миром? Кто способен за- таиться на полторы-две тысячи лет, потихоньку... набирая финансовые ресурсы для рывка к мировому господству? Кто еще мог захватить власть в России, погубить ее, осквернить, отпраздновать Хануку в Кремле, обречь русский народ на вымирание? Ну то-то: гои даже в маразме и то, случается, оказываются масштабнее избранного Богом, гениального от рождения народа» (1, стр. 117).

Главные слова в цитате – «безумие индуцируется», т. е. заражает окружающих. Как сей процесс происходил в России – тема отдельного исследования, но сам исторический факт для меня вне сомнения. Если в первой половине XIX века русские рассматривали евреев как двуногих зверей, как варваров, коих приобщают к цивилизации административным насилием, то к концу столетия идеолог империи Победоносцев объяснял мультимиллионеру барону де Гиршу: «Благодаря многотысячелетней культуре, евреи являются элементом более сильным умственно и духовно, чем все еще некультурный темный русский народ, – и потому нужны правовые меры, которые уравнивали бы слабую способность окружающего населения бороться с ними» (1, стр. 85). Победоносцев в такой оценке евреев не одинок – один из самых талантливых и благородных русских людей, публицист и политик В. Шульгин обосновал необходимость дискриминации еврейства в России тем же доводом – мол, мы, русские, просто не в состоянии конкурировать с евреями на равных, мы *вынуждены* «придерживать» их, в нас говорит инстинкт *самоспасания*... И вот в сознании современного историка и писателя, доктора философии Буровского я фиксирую тот же безумный, параноидальный комплекс русской неполноценности...

Почти любой яркий человек в России у него – еврей или полуеврей. Вот список. Полуеврей у Буровского – это Анна Ахматова (2, стр. 182. В каком томе «Библиотеки русского патриота» он сие вычитал?), Константин Симонов (2, стр. 272), Казимир Малевич (2, стр. 269), «некто Кандинский» (sic! т. 2, стр. 269–270). «Очень забавно, что под конец жизни, уже в Париже,

Кандинский прикладывал титанические усилия, чтобы не считаться "русским художником", а его все равно считали русским. Как ни орал устно и письменно: мол, еврей я! Еврей! – в глазах французов он оставался русским, и все тут». Ссылку на источник профессор, правда, не привел). Можно, конечно, предположить, что Малевича и Кандинского он зачислил в евреи по пресловутым окончаниям фамилий на *-ич* и *-ский*, но каким образом в евреи попали Виктор Некрасов и Лев Никулин? (2, стр. 401. Ну, Льва, правда, можно расшифровать как Лейбла... А что с Толстым?). Забавна ситуация с «евреем» Хармсом (Даниилом Ивановичем Ювачевым, т. 2, стр. 233) или академиком-физиком Капицей (2, стр. 266), впрочем, как и наоборот – с Корнеем Ивановичем Чуковским, в котором профессор не распознал «псевдонимца» (по отчеству, увы, «Иванович» оказался как раз Эммануиловичем)... Абу Али ибн Сина, великий врач Средневековья, и тот объявлен Бенционом (1, стр. 108)!

Я специально оговорил «постмодерность» Буровского, чтоб его не сильно упрекали за фактические ошибки: они как бы неотъемлемо присущий атрибут данного жанра! Но все-таки некоторые из ляпов необходимо упомянуть. Скажем, автор подарил Эренбургу «Я жгу Париж» (2, стр. 273. Роман писал Бруно Ясенский), назвал «Хулио Хуренито» «заказной литературой» (роман написан в *эмиграции*, за него автор обозван в МСЭ «главой новобуржуазного крыла в литературе»). «Фамилии евреев – писателей и поэтов, писавших на русском языке между 1917 и 1939 годами, – Вассерман, Перский, Свирский, Гольдшмидт, Ребельский, Маркиш, Нейман, Юшкевич, Айсман, Хайт, Инбер, Аш, Гиршбейн, Орланд, Фефер, Квитко... Многие имена вам знакомы, дорогой читатель?» (2, стр. 271). Ах, как ловко ущучил! Тех немногих, кто писал по-русски (Свирского, Марвич, Инбер), Буровский, оказывается, сам помнит – через 70 лет, не такими, видно, плохими литераторами в итоге оказались. А остальные – писатели и поэты, писавшие на идише. Квитко, Фефер, Маркиш...

Аналогичными промахами переполнен текст, посвященный советским ученым. Вот пример: «И даже у этих "великанов советского естествознания", что у русского Курчатова, что у евреев Капицы и Ландау, оказалась кишка тонка сделать Сталину атомное оружие. "Пришлось" украсть атомные секреты в США и, конечно же, с помощью евреев – супругов Розенберг» (2, стр. 266). Здесь, как положено в традициях постмодерна, перепутано все, что можно перепутать (скажем, Капица – не еврей и не участвовал в создании бомбы; вместо него можно, конечно, вставить в текст евреев, например, Харитона или Кикоина, но атомную бомбу по украденному рецепту они сделали, повинувшись приказу Берия. Лишь после первого удачного испытания им высочайше дозволили попробовать и собственный рецепт. В итоге их «изделие» оказалось в два раза мощнее и вдвое легче американских «толстяков», так что насчет «тонкой кишки» говорить... гм, сомнительно).

Забавны нападки Буровского на Эйнштейна: «Эйнштейн при ближайшем

рассмотрении вовсе не "открыл" законы относительности, а попросту повторил давно уже сделанное Пуанкаре... Диссертация его позднее была признана ложной... Всю оставшуюся жизнь после "создания" теории относительности Эйнштейн занимался теорией сионизма да какими-то сомнительными прожектами мирового государства» (2, стр. 259). Это он прочитал, господа, у какого-то Бояринцева, в книге «Еврейские и русские ученые: мифы и реальность», и ужасно обрадовался: как же, сенсация!! Но статья Эйнштейна по специальной теории относительности была признана современным ему ученым сообществом сомнительной, и физику присудили Нобелевскую премию за другую работу – их у него вышло в том году несколько штук, и *каждая* тянула на Нобелевку! А теория относительности ждала подтверждения примерно 15 лет – до опыта Эддингтона. Спор о приоритете между ним и Пуанкаре (можно еще добавить и Лоренца) давно решен повсюду, кроме несчастной России, где любители с энтузиазмом переоткрывают зады западного «ревизионизма». Что касаясь «теоретика сионизма», то в этой роли Эйнштейн напомнил буровского «теоретика коммунизма» Кагановича!

Ляпы можно перечислять бесконечно. Например, он упоминает «сионистскую голову», которая «существует вполне легально и открыто участвует в социалистическом строительстве» (2, стр. 253). Но она всегда существовала в *подполье*, а начиная с 1926 года весь актив сионистов находился в политизоляторах... Или Театр имени Революции Вс. Мейерхольда, где играли Орлов и Гарин, Бабанова и Ильинский, Охлопков и Царев, назван Еврейским театром... Он спутал его с театром Михоэлса? «Что тот еврей, что этот?» Или упомянул, что на стене Ипатьевского дома, где были убиты Романовы, найдена надпись на идише – «Мечь!» Однако в актах осмотра места преступления ничего подобного нет. Нельзя легковесно доверять пересказам из «Библиотеки русского патриота». *(Была обнаружена надпись на немецком языке – двустилишие еврея Генриха Гейне из стихотворения «Валтасар»:*

*В ту ночь,
еще не взошла заря,
рабы
зарезали царя.)*

Последний из сюжетов...

Оба народа – и евреи, и русские – сформировали свою социальную психологию в особой атмосфере. Они долго существовали в национальном *одиночестве*. В противопоставлении себя всем окружающим. В делении мира на «наших» и «чужих». У русских евреев это явление стало умирать в середине XIX века, после указа Николая I, запретившего еврейские общины-«кагалы» в 1846 году. *(После чего евреи и стали пугать своей интеллектуально-культурной силой имперскую верхушку.)* Русские же отказались от подобной замкнутости раньше, но не слишком задолго – в конце XVII века, в царствование Петра. Еще при его отце все неправославные

считались язычниками и еретиками, им запрещалось иметь православную прислугу, занимать какие-нибудь посты, кроме военных (иноземцев нанимали обучать новые полки). Впрочем, еще при Петре патриарх Иоаким высказывался, что, мол, «нельзя молиться за победу русского оружия, когда армией командует еретик Гордон»... Традиция делить окружающих на «своих» и «чужих», на «друзей», которые потому друзья, что единоверцы, и врагов, которые потому враги, что верят не так, как мы, она в остатках, в реликтах, но крепко продолжает сидеть в психологии обоих народов.

Буровский великолепно описал эти особенности у русских евреев, и мы в Израиле, как никто, это чувствуем. Но сам он – красноречивый образчик подобного же восприятия мира, только с русской стороны. Можно повосхищаться «комиссарами в пыльных шлемах», а потом переключиться на «поручиков Голицыных»... Главное – вовремя поделить на своих и чужих. «В действительности, как раз белые армии из всех участников Гражданской войны наиболее последовательно защищали законность, – утверждает автор. – Добровольцы – люди из числа русских европейцев – единственные, кто вообще ни разу не устроил погромов...» (2, стр. 198). Увы, Андрей Михайлович, я читал В. Шульгина – именно ему принадлежит самое яркое описание погромов, устроенных добровольцами в Киеве! Читал негодующие страницы о грабителях и мародерах в рядах Белой армии в мемуарах Деникина... Люди повсюду были одни и те же, из одного народа брались... Вот, скажем, приказ командарма Буденного «красным орлам» от 16.10.1920: «Мы должны во что бы то ни стало взять Крым, и мы возьмем его, чтобы потом начать мирную жизнь. Немецкий барон делает отчаянные усилия, чтобы удержаться в Крыму... Ему помогают изменники революции – евреи и буржуа». А вот составленный по приказу барона Врангеля секретный анализ причин поражения Добровольческой армии, сделанный для него, для главковерха, его штабом в Крыму:

«Первые наши успехи с середины 1919 года показали воочию, как ждал и ждет русский народ освобождения от насилия и произвола; как он хочет спокойной трудовой жизни, как жаждет порядка и права. Всем памятли встречи добровольцев в Харькове, Киеве, Курске и Воронеже, когда измученное население пело "Христос воскрес", стояло на коленях и целовало избавителей-добровольцев.

Но вместо порядка мы принесли те же насилия, грабежи и издевательства. Вместо чрезвычайек – порки шомполами, расстрелы и т. п.

Великое дело освобождения исстрадавшейся родины было осквернено. Нам не верили. Нас боялись...

Подл. Подписал Генерального штаба Генерал-Майор Махров» («Грани» / ФРГ/. 1982. № 124, стр. 219–220).

Стоит ли удивляться, что при таком положении вещей «жиды» могли вести отряды украинских мужиков стрелять в «белых» студентов?



Я неслучайно начал разговор с плодотворности постмодерна в литературе, в искусстве и в науке тоже. Ляпы, ошибки, предубеждения Буровского могут оттолкнуть читателя, не чувствующего плодотворности его поисков. С подачи Солженицына недавно началось изучение русско-еврейских отношений, включая всю мифологию, все предубеждения, все комплексы. Не похвальба, не публицистическое использование истории в политических или воспитательных целях, нет, прорвано, наконец, замалчивание важной темы, которое было вызвано советским лицемерием, интеллигентским чистоплюйством, еврейской обидчивостью и комплексами неполноценности обоих народов. Все боялись обнажиться, боялись подставить себя под встречный удар оппонента. Наконец, началось с подачи классика обсуждение одной из самых сложных и деликатных, одной из важнейших проблем в истории – России и еврейства.

Для нас, евреев, это значит, по-моему, то, что мы становимся «таким же народом, как все остальные»...

Начал эту тему Солженицын, но, как видите, он уже не в одиночестве. Рядом явилась миру «постмодернистская», лирическая, игровая и потому необычайно плодотворная версия для продолжения разговора, для вникания в самое сложное, что есть в истории, в социальную психологию народов. Версия того же исторического сюжета.

Что уже заслуга автора – перед историей и историографией.



**СТРАСТИ
ПО ИСТОРИИ**



философ, историк, главный редактор журнала еврейской истории, политики и философии «Азур». Живет в Израиле.

ПАМЯТЬ В РУИНАХ

На протяжении почти столетия библейская археология была одной из опор еврейского национального возрождения. Благодаря профессионализму в сочетании с зачастую волнующей способностью воссоздавать историю древнего Израиля, она сумела сделать многое, чтобы убедить мир, что Библия – не миф, а документ, отражающий истинный характер узловых периодов еврейской истории.

Сегодня, однако, библейская археология оказалась на распутье. Новая школа ученых-библейстов, историков и археологов, стремящаяся к полному пересмотру исторических данных, утверждает, что чуть ли не все важнейшие эпизоды еврейской истории, описанные в Библии, являются не более чем выдумкой. Особое внимание уделяется царству Давида и Соломона, существование которого до недавнего времени считалось несомненным фактом. Согласно новой теории, этого царства никогда не было.

Попытка поставить под сомнение существование объединенного израильского царства должна встревожить не одних только ученых. Эпоха Давида и Соломона – это классический формирующий период еврейской политической истории, аналогичный – по значимости для истории Запада – эпохе афинской демократии или ранней Римской республики. Разумеется, это символ, но, как всякий значимый символ, он заключает в себе также нашу надежду на будущее – надежду, что евреи смогут снова стать политически и религиозно единым народом, могучим и независимым и в то же время высоконравственным и культурным, живущим в согласии с миром и Всевышним. Поэтому ныне модное утверждение, будто это царство вообще никогда не существовало, а было выдумано более поздними авторами для неких политических целей, не может не вызвать глубочайшую озабо-

ченность не только у евреев, но и у всех, кто видит в Библии краеугольный камень своего духовного наследия.

Разумеется, научные результаты не следует искажать в угоду каким бы то ни было интересам. Если царства Давида и Соломона действительно не было, ученые обязаны об этом сказать. Однако качество исследований, на которых базируется это утверждение, оставляет желать лучшего, а если еще вспомнить, в какой момент эта теория появилась на свет – на подъеме волны исторического ревизионизма, который не пощадил практически ни одного еврейского символа, то трудно избавиться от подозрения, что в «новой археологии», как и в других областях науки, стремление сокрушать мифы взяло верх над здравым смыслом.

На протяжении почти двух тысяч лет – со времени окончательного формирования библейского канона – сквозная линия библейского повествования считалась более или менее точной. Хотя многие – включая верующих евреев и христиан – не соглашались с отдельными деталями библейского повествования (с особенным скептицизмом воспринимались обычно описания чудес), существовало широкое согласие относительно того, что некий особый народ – израильтяне – сформировался примерно 3500 лет назад; что этот народ находился в рабстве в Египте, вернулся в Ханаан и, в конце концов, создал объединенное царство под началом Давида и Соломона; что это государство распалось на Израильское и Иудейское царства; что падение последнего в 586 году до н. э. привело к разрушению Храма и Вавилонскому пленению; и что спустя полвека это изгнание завершилось возвращением евреев в свою землю во времена Эзры и Нехемии.

В XIX веке эта точка зрения была оспорена учеными, которые на основании текстологического анализа заявили, что Библия – не более чем «величественный мираж», как выразился Юлиус Вельхаузен (1844–1918), глашатай этой «документальной гипотезы» и школы так называемой «высокой критики». Однако в то время никаких серьезных археологических работ еще не велось. Радикализм позиции этой школы побудил группу исследователей отправиться в начале XX века в Палестину, чтобы воссоздать истинную картину библейского прошлого посредством археологического поиска его материальных следов.

Самый известный из них, Уильям Фоксвелл Олбрайт, знаток как библейской истории, так и языков и культуры древнего Ближнего Востока, основал школу, позиции которой доминировали в сфере библейской археологии на протяжении большей части того века. Среди учеников Олбрайта были такие прославленные израильские археологи, как Игаль Ядин, Биньямин Мазар и Иоханан Аарони, а также американские ученые Нельсон Глюк и Джон Брайт, автор книги «История Израиля» (1960), ставшей классикой в англоязычном мире. Хотя некоторые их заключения относительно тех или иных библейских событий не выдержали испытания временем, эти ученые, тем не менее, отличались глубоким пониманием той роли, которую археология может сыграть в воссоздании истории, – пониманием, неодоли-

мо привлекательным в свое время и, возможно, способным серьезно помочь в нынешних дискуссиях.

Олбрайт не был ни религиозным фундаменталистом, ни библейским буквалистом. Его метод, как он сам объяснял, состоял в том, чтобы «как можно более осторожно» пройти «между Сциллой чрезмерного доверия традиции и Харибдой гиперкритицизма». Он подходил к делу как ученый-гуманист, стремящийся выявить истоки западной цивилизации. «Наша цель, – писал он в 1942 году, – не что иное, как по возможности более полная реконструкция путей, по которым наши культурные предки поднялись к иудео-христианским вершинам духовного прозрения и этического монотеизма». Для Олбрайта цель археологии состояла не просто в изучении и классификации артефактов или в выборочном использовании их для доказательства правдивости Библии, а в том, чтобы свить их с древними текстами и традициями в общую ткань правдоподобного исторического повествования, которое могло бы показать западному человеку историю его становления, начиная с далекого прошлого.

Начиная с олбрайтских раскопок конца 1920-х годов и вплоть до раскопок его учеников в середине 1980-х годов, было сделано поразительное множество открытий, подтвердивших и обогативших библейскую историю. В сотнях нагорных мест, от Галилеи до Негева, были найдены явные свидетельства существования особого народа, обладавшего оригинальной материальной культурой и появившегося, в точном соответствии с библейским повествованием, на заре Железного века. Были найдены десятки древних еврейских, ханаанских и филистимлянских поселений, а в них – огромное количество материала, подтверждающего основную канву библейского повествования. В Шило – религиозном и политическом центре израильских племен периода Судей – были найдены остатки большого израильского поселения XII века до н. э. В Мегидо, Хацоре и Гезере были найдены большие города, а в них множество строений, сооружение которых Книга Царств приписывает Соломону. Даже в Иерусалиме, где сопротивление арабского мира фактически блокирует возможность масштабных раскопок в районе Храмовой горы, были обнаружены монументальные сооружения библейского периода – постройки и крепостные укрепления в Еврейском квартале Старого города, под Южной стеной и в Граде Давидовом.

В те же годы библейская история получила подтверждение в серии древних письменных памятников, обнаруженных в различных районах Ближнего Востока – от Египта до Ассирии. Согласно надписи, сделанной египетским фараоном Мернептахом (около 1200 года до н. э.), в Ханаане жил народ «Израиль»; библейское описание нападения на Израиль (вскоре после смерти Соломона) фараона Шишака нашло подтверждение в египетских письменных памятниках, обнаруженных в Карнаке; о войне между моавитским царем Меша и объединенными армиями Израиля и Иудеи сообщает сам Меша на стеле в Дивоне. В Иерусалиме был найден глина-

ный слепок с печати Гемарьягу бен Шафана, который упоминается в Книге Иеремии как главный писец при дворе царя Йеоакима.

Как признавался сам Олбрайт, его «изначально скептическое мнение о точности израильской исторической традиции практически претерпело ряд основательных ударов по мере того, как одно открытие за другим подтверждало полную историческую достоверность даже таких деталей, которые можно было бы с вполне достаточным основанием считать легендарными».

Казалось бы, столь красноречивое признание, а равно тезисы, подкрепленные находками самого Олбрайта и теми сенсационными открытиями, которые были сделаны уже после его смерти в 1971 году, должно быть по душе современной науке. Но вместо этого два последних десятилетия стали свидетелями возрождения того скепсиса, который преобладал столетие назад. Все большее число ученых заявляет, что библейский нарратив о протцах, об исходе из Египта, о завоевании Ханаана недостоверен, а некоторые из этих ученых, стоящие на вполне определенных политических позициях, заявляют, что библейская история была взята на вооружение сионистами для того, чтобы оправдать изгнание палестинских арабов с их земли. Наиболее отчетливо эту позицию выразил Кейс Уайтлэм, автор сенсационной книги «Изобретение древнего Израиля: замалчивание палестинской истории» (1996).

По мнению Уайтлэма, «западная наука изобрела древний Израиль за счет замалчивания палестинской истории... Давнее прошлое присвоено Израилем, поскольку с таких позиций оно изображается в западной библистике. Современная израильская наука занимается историей древнего Израиля, в ее западной и ориенталистской трактовке, как проекцией современного еврейского государства и его еврейского населения». Обильно заимствуя идеи политически ангажированного арабского мыслителя Эдварда Саида, Уайтлэм видит своей главной задачей создание альтернативной, «палестинской» версии древней истории. «Трудность здесь в том, – пишет он, – что термин "палестинская история" применяется лишь к нынешнему времени, в силу понятного стремления выпятить национальную идентичность обездоленных и рассеянных в изгнании палестинских масс. В результате давнее прошлое отдано на потребу Израиллю и Западу».

Переоценка библейской истории достигла новых вершин в конце 90-х годов, когда ряд ученых из Тель-Авивского университета, во главе с руководителем Департамента археологии Израилем Финкельштейном, начали отстаивать теорию, согласно которой объединенное израильское царство, о котором много говорится в книгах Самуила, Царств и Хроник, на самом деле никогда не существовало. Теория Финкельштейна опирается на то, что археологи называют «низкой хронологией» этого периода, т. е. на изменение способа определения возраста археологических находок. Эта хронология отвергает прежнюю классификацию археологических находок, издавна приписываемых временам строительной активности Соломона, то есть X веку до н. э., и датирует их следующим столетием, тем самым перемещая

их в период после объединенного царства. Иными словами, стоит принять, что массивные сооружения, найденные в разных частях Израиля, были построены не Соломоном, а его преемниками столетием позже, и тогда не окажется археологических свидетельств царства Давида и Соломона.

Эта теория обрела сенсационную известность после опубликованной в октябре 1999 года в газете «Гаарец» статьи под названием «Правда о Святой земле: после 70 лет раскопок оказалось, что библейской эпохи попросту не было». Автор статьи Зеэв Герцог, коллега Финкельштейна по Тель-Авивскому университету, заявлял, что «великое объединенное царство – историческая выдумка, созданная в конце существования Иудеи как самостоятельного государства». Затем последовали статьи в журнале «Science» и в газете «Нью-Йорк таймс», подчеркивавшие сказанные в интервью газете слова Финкельштейна: «Нет никаких доказательств существования великого объединенного царства, управлявшего из Иерусалима большими территориями Ближнего Востока». Иерусалим царя Давида, добавлял он, был «всего лишь жалкой деревушкой».

В 2001 году теория фиктивности объединенного царства обрела законченную форму в книге Финкельштейна (в соавторстве с Нейлом Ашером Зильберманом) «Библия, извлеченная из земли. Новый взгляд археологии на древний Израиль и происхождение священных текстов». Книга стала бестселлером в США. Ее ивритское издание, появившееся весной 2003 года, тоже стало бестселлером. Казалось, теории Финкельштейна, подхваченной волной сочувственных откликов средств массовой информации, суждено вот-вот превратиться в расхожую истину.

Учитывая общественно-политическое значение тезисов этой теории, можно было бы ожидать энергичной реакции со стороны многих ученых, которые скептически относились к утверждениям «новой археологии». Таковая была, но энергичной ее назвать трудно. Были доказательно опровергающие теорию Финкельштейна публикации в различных научных журналах и выступления ведущих израильских археологов на разного рода конференциях. В частности, Барух Хальперн из Пенсильванского университета, работавший вместе с Финкельштейном на раскопках в Мегидо, результаты которых легли в основу новой теории, тотчас выступил против нее. «В исторической науке, – сказал он в недавнем интервью одному из американских журналов, – решающую роль играет не абсолютная, а вероятная достоверность той или иной гипотезы, и в данном случае вероятность того, что традиционная датировка верна, намного больше таковой теории Финкельштейна».

Но до широкой аудитории такого рода опровержения не доходят – научные журналы она не читает, а в средствах массовой информации – как в Израиле, так и на Западе – «новая археология» доминирует безоговорочно. И не столько потому, что она получила признание в ученых кругах, сколько по той причине, что несогласные с ней археологи не хотят или не могут принудить своих оппонентов к открытой дискуссии. В то время как

Финкельштейн и Герцог пропагандируют свои взгляды в популярно написанных книгах, статьях и многочисленных интервью, их научные оппоненты демонстрируют поразительную беззаботность или брезгливое нежелание обсуждать те вопросы, которые широкая публика полагает важнейшими для себя: отражает ли библейский нарратив реальную историю прошлого и в какой мере тезисы «новых археологов» меняют наше понимание древней истории?

Более того – большая часть израильских археологов вообще отказалась от попыток представить широкому читателю доступно написанные труды по истории этого периода и вместо этого сконцентрировалась на создании многотомных детальных каталогов своих бывших археологических находок. И в самом деле, достаточно одного взгляда на самую, быть может, важную в израильской археологии книгу последних двух десятилетий – «Археология библейской страны» Амихая Мазара (1990), – как становится ясно, что эта область знаний стала слишком специализированной, чтобы претендовать на какой-либо вклад в создание живого исторического повествования.

Гуманистический подход Олбрайта к давнему прошлому Мазар отвергает как «упрощенный и фундаменталистский», тогда как свою методологию он превозносит как «высокопрофессиональный, секулярный и свободный от теологических предрассудков».

Несколько лучше выглядит в этом плане «Археология древнего Израиля» Амнона Бен-Тора (1992), но и она представляет собой не столько исторический труд, сколько каталог найденных продуктов жизнедеятельности древних евреев, ханаанейцев, филистимлян и египтян. Хотя Бен-Тор и является непреклонным сторонником достоверности библейского описания объединенной монархии, его, тем не менее, смущает мысль, что археология может оказывать воздействие на общественное мнение. По его мнению, попытки углубить наше понимание библейской истории, используя археологические открытия, бессмысленны. «Такие выражения, как "защита" или "подтверждение" Библии... совершенно неуместны. Разве религия нуждается в защите? Разве можно доказать библейские истины? Какое отношение это имеет к вере?.. Воистину невозможно оценить количество средств и сил, вложенных в бесконечные поиски Ноева ковчега на горе Арарат, могилы Моисея на горе Нево, колесниц фараона на дне Красного моря или остатков Содома и Гоморры на Мертвом море, затеянных под влиянием иррациональной потребности доказать историческую достоверность библейского повествования».

Для ученых типа Бен-Тора вопрос о том, что означает археология для широкой публики, не только не существен, но вообще представляется неким «нарушением археологической самости», которое угрожает научному статусу этой дисциплины. Желание определить степень правдоподобия библейской истории представляет собой, по словам Бен-Тора, «корень всех зол библейской археологии».

Коль скоро в научном мире преобладают такие настроения, не удиви-

тельно, что археологи классического толка склонны скорее преуменьшать значение тех открытий, которые, по их мнению, слишком радикально меняют устоявшиеся теории. Пожалуй, самым выразительным в этом отношении является пример Адама Зертала, раскопки которого в Самарии признаны в своем роде образцовыми. В 1983 году Зертал обнаружил на горе Эйваль возле Шхема остатки квадратного сооружения площадью в 2,5 кв. метра, фланкированного каменными наклонными пандусами; сама платформа была заполнена пеплом и костями животных. Эта уникальная находка – отлично сохранившийся жертвенник всеожжения – обнаружена на той самой горе, где, согласно Библии, Иошуа бин-Нун воздвиг жертвенник после переправы израильтян через Иордан. Обнаруженные там же орудия труда позволили определить дату находки – XII век до н. э., то есть тот отрезок времени, когда евреи пришли в Ханаан. Более того, среди останков жертвенных животных на алтаре не оказалось свиных костей, а это считается первейшим признаком еврейской принадлежности культового сооружения.

И, тем не менее, реакция ведущих археологов и в этом случае варьировала от вялого недоверия до полного отрицания возможности рассматривать эти находки как свидетельство завоевания евреями Ханаана, сопровождаемого недостойными предположениями, будто Зертал руководствовался политическими соображениями – сочувствием к деятельности поселенцев на Западном берегу. Зертал, человек секулярный, член кибуца левого толка, был потрясен не столько даже этими обвинениями, сколько тем непробиваемым молчанием, которое воцарилось после первых сообщений о его находке.

Аналогичный прием был оказан и другим археологам, чьи открытия были связаны с библейским периодом. С конца 80-х годов археологи стали избегать всего, что могло бы привести к лучшему пониманию библейской истории. Вместо этого они сосредоточились на раскопках, имеющих отношение к добиблейскому или постбиблейскому периоду, а в Иерусалиме серьезные археологические изыскания библейской направленности полностью прекратились. И это вопреки тому, что есть серьезные основания надеяться обнаружить там крайне интересные сооружения библейской эпохи, вроде остатков построенной Соломоном стены и дворца Давида.

Так что не приходится удивляться тому, что заявления ученых вроде Финкельштейна или Герцога о том, что Иерусалим времен Давида и Соломона был «жалкой деревушкой», не встречают должного отпора. А между тем доказательства, необходимые для опровержения таких утверждений, находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Некоторые из тех мест, которые можно было бы исследовать в надежде положить конец этим высказываниям, очень хорошо известны. И, тем не менее, ничего в этом направлении не делается. Зато щедро финансируются проекты, не представляющие интереса для широкой общественности.

Каким должен быть адекватный ответ на теории «новой археологии»?

Прежде всего, необходимо аргументированно продемонстрировать всю шаткость доказательств, которыми оперируют Финкельштейн и его школа. Традиционная библейская археология, хоть она и далека от идеала, тем не менее, имеет огромное доказательное преимущество в виде самого библейского текста. В случае двух интерпретаций археологического открытия – одного, соответствующего библейскому повествованию, и другого, не совпадающего с ним, – всегда разумнее выбрать библейское прочтение. И не потому, что библейский текст вне критики. А потому, что в этом случае два факта – открытие и текст – обнаруживают тенденцию подкреплять друг друга.

Доказательная же база «новой археологии», напротив, крайне слаба, поскольку она принципиально отказывается рассматривать библейский текст как легитимный исторический источник. Поэтому каменная стена, найденная в ходе раскопок, может быть опознана именно как каменная стена, но почти никаких других осмысленных выводов относительно нее сделать нельзя. Была ли она частью дворца или крепости? Была она построена в IX веке до н. э. или в VII? Была она разрушена в результате такого-то вторжения или другого? И даже была она построена тем царем или этим? Все это – вопрос интерпретации. В результате выводы «новых археологов» порой базируются лишь на смелой экстраполяции истолкований предшествующих находок или же на умозаключениях, выведенных из в высшей степени спекулятивных гипотез относительно политических или культурных условий того времени. В отличие от естественных наук, опирающихся на экспериментальную базу, «чисто археологическое» воссоздание исторической реальности всегда основано на гаданиях и бездоказательном заполнении зияющих лакун. Для того чтобы вообще делать мало-мальски надежные выводы, археология нуждается в опоре на исторические документы. И если, изучая библейский период, археолог изначально отвергает базисный корпус связанных с этой эпохой документов, он обрекает себя на блуждание в сфере спекулятивных гаданий.

Это особенно очевидно, когда речь идет о новых теориях, относящихся к царству Давида и Соломона. Суть дела в том, что не было ни одного нового археологического открытия, которое бросило бы тень сомнения на достоверность давно признанной датировки тех монументальных сооружений, которые принято относить к эпохе объединенного царства. Более того, открытия последних лет лишь подтверждают достоверность библейского повествования. Возможно, самым поразительным из открытий последнего десятилетия было обнаружение первого внебиблейского упоминания о Давиде – в надписи, найденной в 1993 году на раскопках в Тель-Дане, сообщающей о битве против царя «из дома Давидова». Записные скептики, пребывая в плену собственных парадигм, отвергали простое и естественное прочтение этой надписи, конструируя всевозможные альтернативные толкования, лишь бы избавиться от необходимости признать, что «дом Давидов» когда-либо существовал. Однако огром-

ное большинство ученых (включая Финкельштейна) восприняли это открытие как убедительное подтверждение того, что некий царь по имени Давид, как минимум, жил, правил и основал династию где-то на Ближнем Востоке. И хотя Финкельштейн продолжает упрямо отстаивать минималистское прочтение этого факта, настаивая, что Давид и Соломон были «не более чем вождями племен», большинство его коллег уверены, что надпись из Тель-Дана – весомое свидетельство достоверности библейского описания объединенного царства.

Но самый важный урок, следующий из находки в Тель-Дане, состоит в том, что значительная часть библейского прошлого все еще скрыта в земле и ждет своего обнаружения. И если темп открытий, связанных с библейским периодом, и впрямь драматически снизился в последние годы, то не потому, что археологи ничего не находят, а потому, что они перестали искать. В этом плане апатия археологов-традиционалистов играет на руку ревизионистам: первые прекращают поиски материальных свидетельств библейского периода, а вторые утверждают, что таковых попросту не существует, поскольку «за семьдесят лет раскопок ничего не найдено». На самом деле в сотнях мест под поверхностью земли по всему Ближнему Востоку таятся подлинные сокровища еврейской истории, и семьдесят лет библейской археологии обнаружили лишь мизерную часть их.

Утверждения новой археологии сенсационны, но шатки, тогда как вероятность обнаружения решающих доказательств ошибочности этих утверждений, напротив, достаточно высока. Чтобы реализовать эту вероятность, необходим простой, но весьма дерзкий в нынешней интеллектуальной атмосфере шаг: ведущие библейские археологи в Израиле и за границей должны возродить принципы и нормы деятельности отцов-основателей этой научной дисциплины. Следует инициировать масштабные раскопки в Израиле и прочих местах для поиска материалов о библейской эпохе, которая, будучи все еще малоисследованной, оказывает глубокое воздействие на умы и души людей.

Помимо того, ученым надлежит взять на себя трудную, но крайне важную задачу соотнесения своих исследований со всей совокупностью открытий в сфере библейской археологии. Классическим примером такого рода работ можно считать книгу Олбрайта «От палеолита до христианства». Изданная в 1940 году, она и поныне является источником важнейших исторических сведений. Написанная живо, она интересна и широкой аудитории. Разумеется, нельзя ожидать, что любой специалист-археолог сумеет столь живо и масштабно изобразить библейскую эпоху, но ориентироваться на работу Олбрайта как на некий образец было бы весьма полезно. Только книги такого рода, адресованные широкому кругу интеллигентных читателей, а не одним лишь специалистам, могут стать надежной преградой на пути превращения ревизионизма «новой археологии» в неоспоримую догму.

Но не только у специалистов – у широкой общественности тоже есть

своя роль в этом деле. В течение многих лет после создания государства Израиль археология была чем-то вроде общенационального хобби, превратив всю страну в подобие лаборатории по изучению древней еврейской истории и дав людям возможность прикоснуться к тем камням, на которых зиждется их прошлое. Частные благотворительные фонды, университеты и правительственные учреждения объединились в этих усилиях, и тысячи добровольцев и ученых принимали участие в раскопках. Тогдашнее увлечение археологией отвечало глубинной потребности израильской, а также широкой еврейской и христианской общественности во всем мире открыть для себя древний Израиль. Сегодня возобновление проекта такого же рода стало бы подтверждением того, что и поныне эта потребность по-прежнему актуальна.

Нападки на традиционный библейский нарратив не блещут приметами подлинной науки, и теории ревизионистов вовсе не обязательно должны восторжествовать в битве идей. Но если они смогут расшевелить археологический истеблишмент, ныне чурающийся как масштабных полевых работ, так и опирающейся на собранные материалы научной интерпретации древней истории евреев, это вполне может привести к лучшему пониманию процесса становления нашего народа и цивилизации в целом.

«Азур». 2004. № 16.

Перевел с английского Рафаил Нудельман



математик, экономист, аналитик, писатель (автор нескольких повестей, романов и книги стихов, а также множества культурологических статей). Живет в Израиле.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Вместо введения

Меня с детских лет занимало, отчего в знаменитой череде глагольных противопоставлений, венце книги «Экклезиаст», сказано одновременно: *«Время рождаться и время умирать»* – и *«Время убивать и время исцелять»*; *«Время насаждать и время вырывать насаженное»* – и *«Время взламывать и время строить»*; *«Время хранить и время бросать»* – и *«Время разрывать и время шивать»*; *«Время любить и время ненавидеть»* – *«Время войне и время миру»*.

Другими словами, отчего в одних оппозициях позитив предшествует негативу, а в других, наоборот, следует за ним, иногда вопреки естественному хронологическому порядку вещей. То есть – отчего эти оппозиции являются, как бы это сказать, двойными. Время позитиву и время негативу? Нет, скорее уж дележу подлежит пространство, а не время. Время уже организовано и поделено – недаром еврейская книга, а за ней и еврейский закон предваряют темпоральный позитив негативом: «И был вечер, и было утро – день такой-то». Агония в наших источниках предшествует рождению, это общеизвестно. Но по какому принципу осуществляется дележ пространства?

На этот вопрос мне до сих пор удавалось найти лишь неудовлетворительные, хотя и впечатляющие ответы. Любая конкретная двойная оппозиция поддается интерпретации. Куда труднее добиться того, чтобы найденная интерпретация не рассыпалась при попытке применить ее к другим оппозициям. Тем не менее некое объяснение подходит ко всем оппозициям – кроме двух. Незадача. Другое привносит в историю нежелательный контекст. Словом, проблема остается, на мой вкус, неразрешенной.

В ходе работы над этой статьей мне впервые удалось объяснить, по крайней мере самому себе, почему оппозиция «Время разбрасывать камни и время собирать камни» построена в негативном порядке. Отчего разбрасывание камней, занятие, смысл которого: создание беспорядка, повышение энтропии – словом, бессмыслица, предшествует их собиранию? Только ли оттого, что собирать можно лишь уже разбросанное? Тут я и подумал об археологии. Полагаю, эта наука, символически – тяжелая работа с некогда разбросанными камнями, порождает недурную парадигму негативного порядка. А может быть, и более того.

1

Израильская археология переживает сейчас самый настоящий Ренессанс. Не то чтобы на наших глазах совершались сногсшибательные открытия*, кружащие восторженные головы, вдруг разглядевшие новые горизонты. Скорее уж наоборот: нынешние энтузиасты увлечены не горизонтами, а изгородями и пытаются закрыть показавшуюся на горизонте подозрительную Америку, пока чего не вышло. На заново выстроенную арену – одновременно политическую и идеологическую, к сожалению, совсем не интеллектуальную – вышла натуральная, чистой воды инквизиция, нечто вроде Департамента исследования чистоты веры**, первой, но далеко не единственной задачей которой стала археологическая цензура. Оттого-то новый Ренессанс стал не драмой, а фарсом, варварской комедией положений, герои которой подставляют друг другу ножки и дерутся подушками. Нынешний археологический бум – бабье лето зациклившихся на собственной персоне синих чулков, впервые испытавших настоящую ревность, плоский, выродившийся Ренессанс интерпретаций, многие из которых подозрительно созвучны шумным идеологиям. Не Ренессанс, а Резонанс, не струнный квартет, а перезвон камертонов, бой тамтамов, свист стрел. Тем не менее факт налицо: полное равнодушие к археологии сменилось требовательной общественной заинтересованностью – как некогда, на заре государственной эры. Только если 50 лет назад от ученых ожидали открытий, сегодня от них ждут политкорректных объяснений в любви противоречащим друг

* На самом деле, открытий вполне хватает. Стоит отметить, однако, что большинство важнейших находок последних лет относятся к доисторической эпохе, и оттого ни Ренессанса, ни резонанса не устаиваются. Крупнейшее библейское открытие последних лет имело несколько необычный характер: было доказано, что не только шумные исторические «находки» эпохи нынешнего Ренессанса являются подделками, но заодно с ними – и самые знаменитые, самые бесспорные артефакты, якобы относившиеся к временам Первого Храма. Что еще хуже – автором всех этих подделок оказался один и тот же не слишком квалифицированный, хотя постепенно совершенствовавшийся в своем деле коллектив. Немудрено – он трудился несколько десятилетий.

** Под примерно таким названием инквизиция фигурирует в нынешнем Ватикане.

другу идеологическим конструкциям, соответствия требованиям политического момента и, разумеется, идейной перестройки. Современная археология была объявлена неполиткорректной и антинациональной, орудием в руках врага, дьявольским замыслом и крамоллой. На повестке дня возврат к старой доброй консервативной археологии (как будто вообще возможна консервативная наука), или, еще лучше, открытие охоты на непокорных археологических ведьм. Словом, если это Ренессанс, стоит посожалеть о средневековье.

2

Раньше это именовалось «расхождением между археологией и Писанием». Именно в таком порядке, поскольку еще до того, как в Израиле начались систематические археологические раскопки, ортодоксальная интерпретация Писания активно критиковалась «изнутри» – библеистами, принадлежавшими к так называемой «критической школе». Поэтому поначалу археология рассматривалась как дисциплина, защищающая Библию от библеистов, а не как ныне – ровно наоборот. Разумеется, чисто текстологическая библейская критика имела немалые изъяны. Но никто не оспаривает ее заслуг. И, тем не менее, исторические рассуждения ее доархеологических классиков наводят ныне на грустные размышления. Археология должна была вернуть все на свои места. Ну, и вернула. Только не сразу.

Еще одно предварительное соображение. Прежде чем приступить к разговору о «расхождении», необходимо выяснить, что с чем расходится. С одной стороны речь идет об археологическом материале. С другой стороны стоит вроде бы Писание. Однако и археологический материал, и Писание могут быть различным образом интерпретированы. С археологическими интерпретациями, какими бы они ни были, дело обстоит относительно просто: они являются авторскими и поддаются классификации, наконец, их можно сравнивать с Писанием поштучно. Со стороны Писания дело обстоит куда хуже – никто не знает, о какой его интерпретации идет речь. Стандартных, обязывающих интерпретаций Писания множество – либо вообще ни одной. От какой из них следует отталкиваться? От буквально прочитанного библейского текста, от его раввинистической интерпретации, от так называемой «светской фундаменталистской версии», отмежевывающейся от чудес, но целиком принимающей библейскую историческую канву, или от популярной эклектической схемы, придерживающейся этой канвы лишь «по возможности», но зато не упускающей ни одного такого шанса?

Сегодня пресловутый вопрос о «расхождении» встал в несколько новой форме. В последние десятилетия взгляд археологии на самое себя заметным образом изменился. Вместо того чтобы скромно ограничиться анализом своих находок, предоставив их контекстуальную интерпретацию историкам и идеологам, археологи разработали собственную методику иссле-

дования общества, которое эти находки породило. Эта методика, разумеется, междисциплинарна. Соединенные усилия археологов, филологов, зоологов, ботаников, геологов, физиков, химиков и ученых иных специальностей увенчались недурными достижениями и, естественно, породили новые интерпретационные амбиции. Следует подчеркнуть, что речь идет не только об израильской археологии – это всемирное явление. Повсюду археологи и их союзники создали собственные методы и концепции. С небольшим опозданием эта модернизированная археология пришла и к нам. Порожденные ею толкования израильской истории с неизбежностью должны были столкнуться со всеми возможными интерпретациями Писания. Однако совершенно безотносительно к тому, кто тут прав и кто ошибается, нынешнее столкновение заметно отличается от прежнего. Если несколько десятилетий назад можно было, максимум, рассуждать о том, что такие-то находки трудно вписать в принятую или желательную историческую схему, сегодня о таких пустяках нет и речи. Археологи создали цельную картину израильского прошлого, то есть всего того, что происходило, по их мнению, на соответствующей территории в определенные эпохи, и вписали ее в более широкое региональное полотно. Эта картина просто обязана была столкнуться с конкурирующими картинками, построенными на иных материалах, прежде всего на тексте Писания и его традиционных интерпретациях. Если бы не идеологическая острота противостояния, в таком столкновении не было бы ничего страшного. Наоборот, его следовало бы приветствовать. Однако поди поприветствуй святотатство!

3

Меня уже давно одолевает соблазн наняться в дворники и навести порядок в нынешних *взгляде и нечто* на древнюю еврейскую историю: аккуратно поставить вопросы, причесать ответы, вымести из углов паутину, отделить бесспорное от спорного, словом, облегчить жизнь грядущим поколениям исследователей, которые, несомненно, будут лучше нас. Быть может, эта уборка когда-нибудь состоится – но не на сей раз.

Мишенью данной статьи является не история и археология как таковые, не их взаимоотношения с Писанием, даже не методологическая революция, перевернувшая эти науки в последние десятилетия, а всего лишь единственный пример фундаменталистского наскока на современные исследования еврейской истории. Речь идет о погромном эссе Давида Хазони «Память в руинах», направленном против «новой археологии», а также о комментарии к нему, написанном Д. К. – переводчиком и интерпретатором Хазони («Хуже, чем заговор» // «Окна», 18.3.2004). Эти произведения были выбраны не из-за особой глубины или оригинальности, а, наоборот, – ввиду их типичности и обыкновенности. Они – адекватные представители нынешней идеологической публицистики. Ну, а адекватность – это уже находка.

Адресуясь к Хазони (далее – Х) и Д. К. (далее – К), я, прежде всего, экономлю время и боеприпасы. Благодаря им, я знаю, на какие вопросы должен ответить в первую очередь, и, стало быть, могу избежать многомерной презентации проблемы. Я исхожу из того, что читателю безразлична эта проблема.

4

Впрочем, о безразличии тут не может быть и речи. Мне очень хотелось начать статью с того, что еврейский коллектив тем и характеризуется, что ему самым активным образом безразличны события, происшедшие 3000 лет назад, что в этом и состоит, видимо, его уникальность. Ну, кому еще приходится реально, нешуточно выводить собственную актуальную легитимность из столь отдаленного, вдобавок, даже по Хазони, отчасти мифологического прошлого? Но, увы, мне пришлось немедленно себя осадить: я быстро сообразил, что мы и в этом отношении вовсе не одиноки. Так, корейцы по сей день ведут жесточайший спор со своими соседями, китайцами и японцами, о национальном характере государства Когурё, возникшего в Северной Корее и Восточной Маньчжурии более двух тысяч лет назад. Если это государство не было китайским, оно, видимо, было самобытно корейским. В таком случае можно считать доказанными как глубокую древность корейского этноса, так и кое-какие территориальные права корейского народа. Более того, тогда корейцы смогут утверждать, что они не только древнее японцев, но, вероятно, были их предками. Если же Когурё было китайским государством, как утверждает официальная китайская пропаганда, корейцы, а то и японцы вполне могут оказаться всего лишь поздно обособившимися китайскими племенами. Словом, актуальный восточно-азиатский спор о туманных событиях глубокой древности сейчас в самом разгаре. Точь-в-точь, как у нас – и во многих других местах. Повсюду, где существуют этносы, этосы которых, не сумев обновиться, по сей день восходят к соответствующей древности и находят в ней свое самооправдание.

С другой стороны, западно-европейские коллективы, сложившиеся этнически и культурно в более или менее недавнем прошлом и отказавшиеся от своих древних этосов, почти равнодушны к собственным древностям. Ни Троянская, ни даже Пелопоннесская война не определяют политические, территориальные и культурные пристрастия нынешних греков. Ни Перикл, ни Александр Македонский не воспринимаются ими как отцы нации. Ровно то же можно сказать об итальянцах, никоим образом не связывающих свое земное существование с римскими доблестями, не говоря уже о доблестях этрусских, об англичанах, которым нет дела до короля Артура, о французах, давно забывших о славных галлах. В то же время русские по сей день не могут решить, действительно ли они обязаны своей государст-

венностью скандинавам, и если да – оскорбительно ли это, страдают из-за не до конца выясненных отношений с татарами и болезненно мечтают о Константинополе. Вдвойне любопытной была коммунистическая историческая цензура, из любви к партийному этосу беспрерывно редактировавшая собственные древности – историю рабочего движения и революции. Нечто сходное можно сказать и о немцах. Именно поэтому попытки Муссолини возродить Римскую империю были убогими и смешными, а гитлеровские заигрывания с древнегерманскими духами – страшными, но, увы, вовсе не неуместными.

Итак, мы находимся в теплой компании народов, оставшихся верными своим изначальным этосам. Поэтому вопрос о том, до какой степени соответствуют действительности наши национальные предания, чем именно занимались наши предки и что на самом деле происходило на священной для нас земле в древние формативные (быть может, мифологизированные) времена, является для нас одновременно острым и политическим. Тем более что у некоторых из нас хватает ума ставить наше политическое существование в зависимость от некоего исторического права. Безотносительно к тому, насколько владение землей две, две с половиной или три тысячи лет назад, действительно, оправдывает владение ею сегодня, фанатики исторического права оказываются данниками лингвистов, историков и археологов. Тем, кому недостаточно резолюции ООН, станет не по себе, если историческая наука поставит их исторические права под вопрос.

Для упомянутой науки это и хорошо, и плохо. Хорошо – ибо политическая ангажированность подстегивает интерес к исследованиям и облегчает поиск необходимых средств. Плохо – ибо весьма заметным образом вредит объективности научных изысканий. Трудно рассчитывать не только на сколько-то объективное изучение Когурё в нынешних Кореи и Китае, но даже и на то, что чужие, объективные, но неоднозначно патриотические, с корейской или китайской точки зрения, данные будут восприняты в этих странах благоприятно.

5

Немного истории. Появление статьи X меня не слишком заинтересовало – чего еще ждать от публикации религиозного консерватора в консервативном журнале? Ощущение, что на нее следует ответить, возникло у меня лишь после публикации К. Я понимал, что более чем желательно с самого начала вывести дискуссию из политической плоскости. Иначе потом греха не оберешься: К и X – правые религиозные фундаменталисты, я – ровно наоборот, вот и доказывай потом, что налицо научная дискуссия, а не политическая конфронтация. Я связался с К и предложил ему выяснить научные отношения. «Оставим, – сказал я, – тексты в стороне, давай разберемся в фактах. Увидишь, наши реальные научные разногласия не так уж

велики. Я готов даже написать совместную работу, в которой выяснится, на чем стоит нынешняя наука, а на чем она еще не стоит. Мне наша история настолько дорога, что я не хочу впутывать ее в наши политические войны без крайней надобности». К моему изумлению, К отказался от всего сразу – и от выяснения отношений, и от совместного творчества. «На войне – как на войне, – ответил он. – Не случайно ты, либерал, оказался по другую сторону научного барьера, нежели мы, консерваторы. Нам с тобой выяснять нечего».

Я довольно быстро понял, что он прав. Что мы на войне. Что политика превыше всего. Что наука тут ни при чем. Бедная наука.

6

Х и К отнюдь не ограничились научной или даже наукообразной стороной проблемы. Значительную часть своего текста они посвятили чистой идеологии. Они, в лучшем стиле своих идеологических предшественников, попытались доказать своим еврейским и христианским читателям, что научные оппоненты являются отчасти прямыми врагами. Иными словами, что «новые историки» и «новые археологи» подрывают основы израильского государства и западного общества.

Х и К, вслед за более известными коллегами, посеяли идеологический ветер. Ничего доброго он принести не может. Легче легкого превратить его в бурю. Можно даже заставить их ее, бурю, пожать. Только зачем?

7

Об идеологии

Вот примерный перечень идеологических обвинений, выдвинутых Х и К против «новых археологов». Привожу их цитатно или с минимальными синтаксическими преобразованиями – исключительно для краткости.

1. Усвоение лозунгов арабской пропаганды, изображающих Государство Израиль искусственным образованием, лишенным живых корней в «Палестине»... Израиль... утвердился... через «первородный грех», т. е. через «изгнание палестинских арабов» – истинных хозяев похищенной сионистами земли.

2. Ясер Арафат использовал теории «новых археологов». В Кемп-Дэвиде он подсовывал американцам статьи из «Гаарец»: дескать, не было на горе никакого Храма, не о чем спорить, пусть отдадут евреи Иерусалим.

3. Ключевые фигуры «новой археологии», израильские ученые Исраэль Финкельштейн и Зеэв Герцог воспроизводят в смягченном и отчасти идеологизированном виде основные тезисы шеффилдской школы, связанной с именем политизированного и пропалестински настроенного К. Уайтлэма.

4. Принципиальный отказ от национальной ответственности в пользу «честного научного поиска», сулящего «принципиальному интеллектуалу» ощутимые личные выгоды.

5. «Новые археологи» подрывают символическую основу западной цивилизации, а заодно и уничтожают ткань исторического повествования, демонстрирующую западному человеку историю его становления, путь к достижению иудео-христианских вершин духовного прозрения и этического монотеизма.

Итак, идеологический фундаментализм, как всегда, выпекает только два орвелловских обвинения, которые, в сущности, одно – в предательстве и в государственной измене.

Легко видеть, что идеологические атаки Х и К основываются на фальсификациях, несколько не уступающих орвелловским парадигмам. Как и следовало ожидать, Х и К отстаивают не интересы обширного коллектива (еврейского, христианского или просто читательского), за который они вроде бы вступаются, а всего лишь интересы собственной политической группы, причем явным образом противоречащие первым. Любопытно – их самих это несколько не смущает.

Начну с первого, центрального обвинения. Х и К обвиняют «новую археологию» в том, что она отрицает историческую связь евреев с Ханааном, Эрец-Исраэль, Палестиной, Левантом, При- и Заиорданьем – словом, с территорией, на которой находится нынешнее государство Израиль, и тем самым подрывает концепцию исторического права еврейского народа на эту территорию. Напротив, классическая библейская концепция, по их мнению, – суть олицетворение этого права.

В действительности – причем абсолютно безотносительно к моему персональному взгляду на природу и осмысленность исторического права, достоверность библейского рассказа или характер связи нынешних евреев с древними израильтянами – дело обстоит прямо противоположным образом.

Классическая библейская концепция определяет евреев как коллектив, органически чуждый Ханаану. Евреи – пришельцы. Если верить Библии, прародители евреев пришли в эту страну извне, видимо, из северной Месопотамии. Они ощущали себя чуждыми этой стране и ее коренному населению и полагали смешение с ним кощунством. Мало того, они вскоре покинули ее и на много столетий осели в Египте. Именно там, а не в Ханаане, они стали значительным народом. Ханаан был захвачен ими в ходе кровопролитной войны и после почти тотального истребления автохтонов. Ничего себе, историческое право! Такой рассказ не согласуется ни с какой рациональной, светской идеей, в том числе и с вышеупомянутой. Авторство библейского исторического нарратива естественно было бы приписать антисемиту, пытающемуся доказать чуждость евреев этой земле, а не связь с ней. Более того, если бы сегодня появилась группа, могущая с какой-то здравостью претендовать на связь с древними ханаанейцами (что, кстати, куда менее бессмысленно, чем это может показаться), ее исторические пра-

ва на Ханаан в контексте библейского рассказа выглядели бы куда более впечатляющими, нежели еврейские.

С другой стороны, «новая археология» утверждает, что древние израильтяне – в основном, автохтонные жители Ханаана, взявшие контроль над страной относительно мирным путем после многовекового экономического, экологического и политического кризиса богатой ханаанской культуры Среднего Бронзового века. Если эти утверждения справедливы, они являются идеальным обоснованием теории еврейского исторического права. Отдельный вопрос, достаточно ли нам сегодня такого обоснования, оправдывает ли оно упомянутое Х и К изгнание арабов, помогает ли наладить отношения с соседями – однако лучшей исторической базы для еврейских исторических претензий просто не может быть. «Новая археология», самое меньшее, констатирует органический еврейско-израильский приоритет на этой земле. Оперировать этим приоритетом должны не историки, а политики.

Х, К и другие пытаются замаскировать свою приверженность к давно рассыпавшейся фундаменталистской модели еврейской истории черносотенным патриотизмом. Однако даже в нем нам приходится им отказать. Их истинные намерения и интересы куда секторальнее и до патриотизма не дотягивают. Х и К всеми средствами отстаивают религиозный, изоляционистский взгляд на вещи, прежде всего – на природу еврейского коллектива, по существу – интересы ортодоксальных религиозных общин и их консервативной периферии. Светская история евреев для них смерти подобна. В самом деле, обратим внимание – им куда веселее полагать евреев оккупантами, истребившими коренное ханаанское население, нежели коренными ханаанцами, поскольку только в первом случае становится осмысленной идея еврейской богоизбранности, особенности, племенной несхожести с другими народами. Вот в чем суть проблемы! Выбор Х и К является, с одной (теоретической) стороны, теологическим, а с другой (социологической) – племенным. Они ни в коем случае не готовы рассматривать евреев как естественную социальную эволюционирующую общность. Наоборот, евреи для них – порождение сверхъестественных обстоятельств, законы истории на них не распространяются, свои права они обретают не как все прочие народы, а по небесному указу. Но в таком случае не следует называть эти права историческими. Наоборот, они внеисторичны и потому не имеют рационального, земного характера. По существу, для Х и К даже существование современного Израиля бессмысленно, если оно оторвано от теологической основы. Но в таком случае чего они хотят от ученых, пытающихся найти еврейские корни на земле, а не на небесах? Сколько-то объективные результаты такого поиска Х и К не устроят.

Еще интереснее другое выдвинутое ими обвинение – в отказе «новой археологии» от связи евреев с Иерусалимом вообще, с Храмовой горой в частности и, разумеется, с Иерусалимским Храмом. Х и К притягивают к этому бредовому обвинению покойного Ясера Арафата и газету «Гаарец».

Оно настолько смехотворно, что непросто отнестись к нему всерьез. Однако я попробую.

В том, что касается последних восьми или девяти веков вплоть до разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году н. э., между «новой» и «старой» археологиями не существует существенных расхождений. Представители всех археологических и исторических школ хором утверждают, что (без всякого сомнения!) на Храмовой горе в течение веков стоял и неоднократно перестраивался Храм – главная святыня Иудеи. Значительная часть самого позднего храмового комплекса уцелела и является сегодня археологической аттракцией Иерусалима. Храмовая гора и Храм на ней были величайшими еврейскими религиозными святынями. Ни один археолог, ни «новый», ни «старый», никогда не оспаривал это утверждение. Газета «Гаарец» никогда не публиковала статей, выдвигавших какие-либо альтернативные теории. Зачем? На эту тему никогда не велась научная дискуссия. Словом, Х и К породили скучный вымысел, рассчитанный на полных невежд.

Палестинцы и, в частности, Арафат – это совсем другая, тоже анекдотическая и небезынтересная история с археологией. Многие (хотя и далеко не все) мусульманские лидеры, в том числе и покойный раис, систематически занимались фальсификацией истории Ханаана и Иерусалима. Их выдумки были настолько грубы и ненаучны, что если бы не неприятный политический привкус, их следовало бы назвать комическими. Так, они утверждали, что еврейские пророки и цари жили после Мухаммеда и оттого в принципе не могли построить что-либо на Храмовой горе. Мечеть Омара в рамках этой смехотворной теории – самое древнее здешнее сооружение. Еврейскую, эллинистическую и римскую эпоху эта мусульманская апологетика вообще не замечает. Разумеется, ни один вменяемый ученый никогда не только не поддерживал эту теорию, но и не принимал ее всерьез.

Следует отметить, что «новая археология» – и как термин и как направление – зародилась вовсе не в Израиле и уж точно не ради развенчивания библейских истин. Это просто несколько неудачное прозвание современной археологии, научившейся за последние десятилетия ставить и решать проблемы, относящиеся к экономике и социологии древних обществ. В наши палестины она попала с некоторым опозданием, что, видимо, и вызвало недоумение Х, К и др.

8

О методах и задачах

Одним из перечисленных выше обвинений в адрес «новых археологов» является, цитирую, их «принципиальный отказ от национальной ответственности в пользу "честного научного поиска"». Такая постановка вопроса просто обязывает выяснить отношения. В частности, неплохо бы установить, что именно является предметом научного исследования.

Вообще говоря, единодушие в этом вопросе нам вовсе не гарантировано. Х и К имеют полное право создать для своих надобностей науку любого толка – хоть метафизику. Ничего особенного тут нет. Другое дело, они не имеют права подпихивать нам изыски такого рода в качестве научного консенсуса. К сожалению, именно так все нередко и происходит. Многие из нас выросли в стране, где научные результаты на полном серьезе полагались зависящими от идеологического контекста. Там можно было, с одной стороны, закрыть генетику как научное направление, а с другой – объявить априори, что эксперименты Лысенко обречены на успех. Что еще интереснее, там можно было запретить кибернетику и одновременно успешно разрабатывать теорию управления и компьютеры. Я уж не говорю о воистину иезуитских комбинациях, имевших место в социальных и гуманитарных областях.

Тем не менее следует отдавать себе отчет в том, что волонтаристские околonaучные забавы недолговечны. После относительно недолгих протуберанцев генетика была восстановлена в правах, книги Винера вышли в свет, а Россия перестала быть родиной слонов. Немудрено: правильность расчета мостов измеряется, в средне- и долгосрочной перспективе, их надежностью и устойчивостью. Абсолютная неспособность Лысенко выдать на-гора высокоурожайную ветвистую пшеницу повредила ему куда больше, нежели опрометчивое алхимическое обещание превратить один вид растений в другой при помощи экологических манипуляций. Научное исследование, путаясь с неизвестным, порождает неожиданности, а не формирует свои результаты по заранее предписанной схеме. Бессмертная мысль Тюрго о необходимости научиться правильно предсказывать настоящее, по существу, лишь узаконивает интеллектуальную коррупцию а-ля Лысенко – увязывание научных результатов с прозрачными пожеланиями сильных мира сего. Консервативная наука хороша, но бесплодна. Тот, кто с вольтеровской наивностью рассчитывает пожать реальные, а не метафизические плоды, довольно быстро понимает, что предсказывать следует нечто вроде будущего или, по крайней мере, вещи заранее неизвестные.

Начиная историческое исследование, мы полагаем, что прошлое, даже самое древнее, было во всех смыслах полноценной однозначной реальностью, которая, следовательно, может быть в определенной степени восстановлена. Релятивистские рассуждения о заложенных в любой реальности множественности и неоднозначности, равно как и тезисы о произвольности всякого консистентного нарратива, умирают как бабочки-однодневки при соприкосновении с исследовательской действительностью, например, в ходе уголовного расследования. Ни один суд не согласится с тем, что обвиняемый-релятивист находился одновременно в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, в определенный час спал и бодрствовал, был холост и женат. Ровно так же в некий исторический период в Ханаане имела место определенная политическая, экономическая и социальная реальность. Она не зависит от вкусов, пола, национальной принадлежности и политических взглядов

исследователя. Ее невозможно выбрать. Ее можно и нужно восстановить. Другое дело – наши предвзятости могут тому воспрепятствовать.

Именно поэтому не может не умилять концептуальная рокировка, неуклюже произведенная Х, К и другими приверженцами исторического фундаментализма. С одной стороны, они обвиняют своих противников, прежде всего «минималистов», в том, что они, злостные постмодернисты разных толков, политизируют науку, провозглашая равноценность противоречащих друг другу исторических нарративов. С другой стороны, они, игнорируя элементарные методологические соображения, сами декларируют, в сущности, то же самое – немоту эмпирических данных и их полную зависимость от мировоззрения интерпретатора.

Поразительное рассуждение Х о каменной стене заслуживает не только разбора, но и цитирования:

...каменная стена, найденная в ходе раскопок, может быть опознана именно как каменная стена, но почти никаких других осмысленных выводов относительно нее сделать нельзя... Все это – вопрос интерпретации.

Политизированное мышление – вещь поразительная. Еще недавно кое-кто всерьез утверждал, что без помощи парторга ученые ни за что не справятся со своими атомами. Теперь Х доводит классическое двумыслие до абсурда – и логического конца. Анализ археологических данных, с его точки зрения, – дело свободное, волюнтаристское, идеологическое. Объективной информации эти данные практически не содержат. Поэтому резоннее всего обратить их интерпретацию на благо народа. И еще: научные выводы настолько произвольны, что подлежат цензуре. Иными словами, Х прозрачно намекает на то, что археология является лженаукой, которую, однако, можно употребить на пользу дела.

Все это ужасно глупо и обидно. Но отнюдь не ново. Если бы археологи не могли в подавляющем большинстве случаев отличить стену IX века от стены VII века так же ясно, как химики отличают золото от платины, археологию следовало бы закрыть или передать в Институт марксизма-ленинизма. При этом Х, в точности как его религиозные фундаменталистские коллеги, провозглашает радикальное отличие между «экспериментальными науками» и всеми прочими.

Х хочет сказать, в сущности, следующее. Отрытая археологами стена – это набор камней. Набор камней, разумеется, равен исключительно сам себе, и не более того. Другое дело, если в правильной книге сказано, что где-то неподалеку царь Соломон построил дворец. Исследователю следует ухватиться за это утверждение и сочленить стену с упомянутым дворцом. Все равно лучшего способа использовать стену не существует. Кстати, удобно – правильная книга автоматически, в силу своего существования, становится географическим и историческим путеводителем.

Остается только развести руками – и применить то же рассуждение, скажем, к физике. Помнится, много лет назад я ставил в школьной лаборатории нехитрый эксперимент, подтверждающий существование туннельного

эффекта. Все подтверждение сводилось, как водится, к положению стрелки амперметра в определенный момент. Но чем стрелка лучше стены? Повторю рассуждение X: стрелка может быть недвусмысленно названа только стрелкой, число (сила тока) – только числом. Другой информации из них самих по себе не выжать. Мало ли кто или что эту стрелку сдвинуло? Что еще важнее: мало ли теорий можно сочинить об этой стрелке? Другое дело, если неподалеку лежит учебник физики. Тогда мы сопоставим результат эксперимента с написанным на нужной странице и придем к правильному заключению. Единственная проблема – как выбрать страницу.

Смешно, не правда ли? Между тем именно так рассуждают о науке ультрарелигиозные союзники X и К. Естественные науки не в состоянии прийти к окончательным выводам ни по одному вопросу, следовательно, они не могут опровергнуть даже самые странные библейские утверждения. X проводит в точности ту же линию, только то, что священнослужители не понимают в физике и биологии, X не понимает в истории, археологии и лингвистике. Речь, разумеется, о природе научной методологии.

Стены и амперметры – вещи на свой лад красноречивые. Однако содержательную информацию мы извлекаем не из них, а из их множественного контекста. Красноречивыми являются не единичные явления, а конфигурации этих явлений. Только их и имеет смысл подвергать содержательному анализу. В этом плане между большинством разделов физики, прежде всего самыми современными, и археологией нет никакой разницы. В обоих случаях речь идет о множественности и повторяемости (хотя и не всегда о полной тождественности) экспериментов, о предсказательной способности выдвигаемых гипотез, самое главное – о возможности последовательно улучшать качество выстраиваемых теорий. Мы знаем сегодня о Солнечной системе, живой клетке, атомном ядре существенно больше, чем сто или пятьдесят лет назад; аналогично, мы знаем гораздо больше о Рамсесе II или даже об Ироде Великом. Что еще важнее, мы понимаем их эпоху и мир, в котором они жили, несравненно глубже. Наши научные ошибки идут нам на пользу. Собственно, их обнаружение есть научное достижение, так сказать, факт прогресса.

И еще кое-что по существу.

Любая наша перцепция по определению суть построение модели наблюдаемого явления. Следовательно, она лишь приближение к реальности, несколько не утрачивающая из-за этого своего объективного характера. Сущностная неточность любой перцепции ни в коем случае не лишает нас возможности формулировать точные утверждения. Надо только аккуратно выбирать выражения. Мы никогда не сумеем точно измерить высоту моста, но вполне способны констатировать, цел он или разрушен. Мы лишь отчасти знакомы с физиологией слона, но обычно хорошо отличаем мертвого слона от живого. А заодно и победу от поражения, республику от монархии, вспаханную землю от целины. Стало быть, не стоит, потупив глаза, утверждать, как делают это многие религиозные теоретики, что раз мы не

знаем всего сразу, мы не знаем ничего. Наши наивысшие достижения чаще всего имеют прямое отношение к нашим ошибкам. Наша бесспорная способность их исправлять указывает, что мы идем в верном направлении. Нередко выясняется, что поиск ответа на важнейшие вопросы является хотя и продолжительным, но конечным. Не следует абсолютизировать этот принцип, однако стоит иметь в виду, что исторические исследования чаще всего принципиально неразрешимых вопросов не ставят.

9

Об извращениях

Я хочу воспользоваться тем обстоятельством, что Х и К оказались в самом центре нынешнего фундаменталистского мейнстрима. Это дает мне возможность составить на базе их статей нечто вроде компендиума логических, фактологических и иных выкрутас, кочующих из статьи в статью. Этот компендиум довольно поучителен и может оказаться полезным не только тем, кого занимает характер реакции, возникшей на плодотворной почве древнееврейской истории.

1. Х пишет: *Эпоха Давида и Соломона – это классический, формирующий период еврейской политической истории, аналогичный – по значимости для истории Запада – эпохе афинской демократии или ранней Римской республики.*

Трудно представить себе большую нелепость. Афинская демократия и ранняя Римская республика были яркими примерами *реалполитик*, поучительными экспериментами, поставленными греческим и римским обществами. Как всякий наглядный эксперимент, эти политические образования выявили достоинства и недостатки испытываемого общества, в данном случае – прямого народовластия в определенных социальных, классовых и экономических условиях. Как всякое значительное историческое явление, они породили интересные политические и культурные традиции, равно как и подстегнули отрицание оных. Ранние республиканские эксперименты, реальные до ломоты костей, еще вернее – связанные с ними успехи и неудачи стали частью политического опыта человечества.

Библейские рассказы о царстве Давида и Соломона абсолютно безотносительно к тому, до какой степени они коррелированы с действительностью, являются недурным примером утопической литературы. Являясь интересными и поучительными, они заведомо не могут рассматриваться как источник политического опыта, как исторический полигон. Разумеется, в этом отношении они не уникальны. Другие национальные традиции имеют своих идеальных правителей, свои идеальные эпохи. Римский мир дает прекрасные тому примеры. Давида естественно сравнить с Ромулом, а Соломона – с Нумой Помпилием. У греков тоже был свой золотой век, причем не один. Аккад породил эпос о Саргоне Великом, Британия – рассказы

о короле Артуре. Все эти герои – реальные исторические персонажи. Память о них сохранялась веками и отчасти дожила до наших дней. Тем не менее мы едва ли можем сделать из этой традиции политические выводы. Утопия – совсем иная составляющая нашего общественного сознания. Тем более в еврейском случае, когда о первых царях не сохранилось ни одного современного им упоминания – не говоря уже о чем-то большем. Впрочем, в фундаменталистском мире действительно лелеют надежду на приход мессии и восстановление царства Давида. Едва ли можно ожидать от носителей подобной традиции чего-либо кроме прямого вреда. Но для нас куда важнее другое – мессианисты не слишком интересуются реальной историей.

2. X пишет: *На протяжении почти двух тысяч лет... сквозная линия библейского повествования считалась более или менее точной.*

Судя по всему, X считает живучесть традиционных представлений о еврейской истории аргументом в их пользу. Странное рассуждение. На протяжении 2000 лет в мире единовластно господствовали ошибочные аристотелевские представления о механике. Кому от этого легче? Новое время породило новую технику познания, позволившую решить массу проблем, к которым до того человечество не знало, как подступиться. Новое время систематически пересматривает старые парадигмы. Чему тут удивляться?

3. X пишет: *...существовало широкое согласие относительно того, что некий особый народ – израильтяне – сформировался примерно 3500 лет назад; что этот народ находился в рабстве в Египте, вернулся в Ханаан и, в конце концов, создал объединенное царство под началом Давида и Соломона; что это государство распалось на Израильское и Иудейское царства; что падение последнего в 586 году до н. э. привело к разрушению Храма и Вавилонскому изгнанию; и что спустя полвека это изгнание завершилось возвращением евреев в свою землю во времена Эзры и Нехемии.*

Я не знаю, чего тут больше – невежества, злого умысла или нахальства. Поскольку из этого рассуждения лезут ультрарелигиозные уши, оно заслуживает подробного рассмотрения.

Прежде всего, одно простое замечание. Если верить библейскому историческому рассказу, как настоятельно рекомендует нам X, не примешивая к нему нездоровую мистику, следует признать, что еврейский народ образовался в Египте. Согласно Библии, к моменту прихода в Египет семейство Якова насчитывало всего около 70 человек (оставим в стороне минорные разночтения между масоретным текстом и Септуагинтой), причем Ханаан оно своей родиной не считало. Каким образом в таком случае новообразованный еврейский народ мог *вернуться* в Ханаан? Разумеется, он мог его завоевать, как и любую другую территорию, но вернуться? Разве что в рамках еврейского религиозного, преисполненного чудесами, заведомо внеисторического сюжета. Словом, эта оговорка ясно указывает на религиозные идеологические корни текста X. Осторожно: фундаментализм.

Далее. Утверждение X о том, что Иудейское царство пало в 586 году до н. э. – самая настоящая ересь. Талмудическая хронология утверждает, что это

событие произошло примерно в 420 году до н. э. X, не решающийся отстаивать явно хромающую еврейскую традиционную хронологию, проделывает то, что пытается запретить историкам и археологам, – он исправляет еврейские источники по западным научным образцам, в надежде получить жизнеспособное описание прошлого. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Далее. В утверждении «спустя полвека это изгнание завершилось возвращением евреев в свою землю во времена Эзры и Нехемии» нет ни единого живого места. Согласно еврейским источникам, изгнание продолжалось целых 70 лет, хотя, впрочем, существует немало способов манипулировать этим числом. Однако, впутав в историю возвращения (реального или мнимого) Эзру и Нехемию, X создал настоящий оксюморон. Сами еврейские источники, считая Эзру и Нехемию современниками, полагают, что они жили спустя немало времени после возвращения изгнанников под руководством Зерубавеля. Никакие внешние источники не подтверждают существование этих персонажей. Тем не менее, когда ученые, играя в условные игры, попытались разместить их во времени, они столкнулись с немалыми трудностями, ибо еврейская история этого периода представляет собой один большой (длиной в сотни лет) анахронизм. Самое меньшее, что утверждает научный консенсус, – это что если Эзра и Нехемия существовали, их разделяют, как минимум, лет сто, причем даже более ранний персонаж, Нехемия, жил отнюдь не во времена возвращения евреев из Вавилонии. Вот и «широкое согласие».

Быть может, не следует придирааться к X по подобным пустякам. Я бы и не придирался, если бы он не претендовал на участие в серьезной научной дискуссии. Боюсь, что человеку столь невежественному или неаккуратному (пусть он сам выбирает) просто не стоит в нее ввязываться.

4. Излагая основы ханаанской археологии и, соответственно, научного консенсуса в том, что касается здешней истории, X отчаянно (хотя на сей раз не столь прямолинейно – вернее, сочленив правду и вымысел) блефует:

В сотнях нагорных мест, от Галилеи до Негева, были найдены явные свидетельства существования особого народа, обладавшего оригинальной материальной культурой и появившегося, в точном соответствии с библейским взглядом, на заре Железного века...

Действительно, в сотнях мест были найдены крошечные поселения, возникшие в XIII–XI веках до н. э. X утверждает, что их жители обладали уникальной материальной культурой и являлись особым народом. Однако ни того, ни другого сказать о них нельзя. Материальная культура жителей этих поселений, действительно, считающихся большинством ученых протоизраильянами, была, очевидно, ханаанской, только очень бедной и примитивной. Судя по всему, они, и правда, представляли собой новое политическое или социальное явление в Ханаане. Однако не существует данных, указывающих на то, что они были особым, тем более, пришедшим извне народом. Создано несколько теорий, объясняющих природу образования

протоизраильских поселений, однако ни одна из них не увязывается с библейскими рассказами. Скорее всего, речь идет о сложном социальном внутривосточном процессе, подтолкнувшем израильский этногенез, а не о появлении в стране чужеземных захватчиков.

Перечисление X археологических свидетельств, якобы подтверждающих библейские описания, весьма прихотливо.

Поселение, открытое в южной Самарии, которое предположительно могло быть древним Шило, трудно назвать большим. Наоборот, как раз интересующий нас период, то есть XII–XI века до н. э., был периодом упадка этого поселения. Однако куда существеннее другое: его материальная культура в принципе не позволяет идентифицировать этническую принадлежность его жителей. Они могли быть как ханаанитами, так и протоизраильцами – если вообще можно говорить о них как о разных этносах. Поскольку значительных письменных памятников они не оставили, все, что можно о них сказать, это что их материальная культура была местной и небогатой. Ни подтверждением, ни опровержением библейского рассказа раскопки в Шило не стали и стать не могли. Собственно, они никак с ним не увязаны.

Говоря о Мегидо, Хацоре и Гезере X века до н. э., то есть эпохи предполагаемого объединенного царства, X явно блефует. Прежде всего, назвать их «большими городами» может только тот, кто никогда их не видел. Хацор, бывший лет на 500 раньше действительно большим городом, усох раз в десять. Нечто подобное можно сказать и о Гезере и Мегидо, которые и в лучшие времена не были слишком велики. В любом случае, эти города никак не соответствовали масштабу великой империи Соломона, обнаруженные там сооружения – тем более. В том, что касается «многих из тех построек, которые Книга Царств приписывает Соломону», передергивание становится нестерпимым. Дело в том, что Библия не приписывает Соломону никаких конкретных построек! Другое дело, в ней сказано, что Соломон отстроил эти города в числе многих других. Эта история интересна сама по себе. Обнаружение значительных единообразных сооружений в одном и том же историческом слое во всех этих городах было бы важным свидетельством в пользу существования государственности в Ханаане, быть может – уже в Израиле X века. Вопрос о том, были ли они обнаружены, является одновременно увлекательным и открытым. Однако в любом случае не может идти речь об обнаружении «упомянутых в Библии построек» – ибо такого упоминания не существует.

В Иерусалиме действительно были обнаружены и монументальные сооружения, и постройки, и крепостные укрепления. Однако X предостерегает и манипулятивно умалчивает о следующих обстоятельствах.

Иерусалим был довольно большим городом еще в XVIII веке до н. э. Затем он пережил длительный период упадка. К X веку от него почти ничего не осталось. Вопреки утверждениям X, имплицитно подразумевающим, что обнаруженные в Иерусалиме сооружения относятся к периоду объеди-

ненного царства, они либо существенно древнее, либо существенно моложе. Наряду с великолепными ханаанскими сооружениями, в частности, фортификациями и водосборочными системами, здесь обнаружены и внушительные сооружения времен расцвета Иудейского царства, в основном, VII века до н. э., в частности, знаменитый водоотводный туннель царя Хизкии. Единственное, чего в Иерусалиме не нашли, – это построек X века. Со всеми вытекающими отсюда опасениями.

С другой стороны, следует иметь в виду, что факт существования израильского этноса и израильских государств превосходно документирован и не оспаривается ни одним серьезным историком, при этом чем более поздние времена мы рассматриваем, тем более подробной и надежной становится эта документация. Начиная с середины IX века до н. э. и вплоть до гибели Иудейского царства библейская историко-политическая схема является довольно аккуратной. Однако отсюда довольно далеко до признания библейского повествования правдивым описанием еврейской и региональной истории. Дело не только в бесспорных исторических погрешностях Библии, но, прежде всего, в том, что культурные и религиозные особенности древних израильтян, судя по всему, были далеко не библейскими. Поэтому перед исторической наукой нового времени стоит совсем иная задача, нежели подтверждение или опровержение библейского рассказа. Она и интересна, и трудна. Она заключается в восстановлении подлинного прошлого еврейского народа и страны, которую он на некотором этапе покорил и заселил. Иными словами, в установлении того, что тут было на самом деле.

5. Теперь – несколько слов об атаке X на двух выдающихся израильских археологов – Исраэля Финкельштейна и Зеэва Герцога.

Финкельштейн действительно полагает, что объединенного царства не существовало и что так называемое Северное царство, Израиль, было первым значительным государством израильтян. Он даже не без грусти замечает, что создатели легенды об объединенном царстве, к сожалению, забыли дать ему название!

Другое дело, ни Финкельштейн, ни Герцог вовсе не утверждают, что в X веке не существовало государства с центром в Иерусалиме или в Хевроне или что Давид и Соломон – вымышленные фигуры. С их точки зрения, в это время не существовало крупной державы с центром в Иерусалиме. Вопрос о том, существовало ли небольшое государство на территории Иудеи, заслуживает более пристального рассмотрения.

Дальше – больше. Как известно, Финкельштейн создал гипотезу о так называемой «низкой хронологии», омолаживающей на несколько десятилетий определенные виды ханаанской керамики и их создателей. Ни в коем случае не следует усматривать прямую связь между гипотезой о «низкой хронологии» и проблемой существования объединенного царства. Один из виднейших оппонентов Финкельштейна по обоим вопросам, знаменитый американский археолог Вильям Г. Девер писал не так давно, что дискуссия

о «низкой хронологии» является сугубо профессиональной археологической дискуссией и не следует приписывать к ней ни идеологические, ни исторические споры. Разумеется, принятие «низкой хронологии» усиливает позиции тех, кто сомневается в существовании объединенного царства. На мой взгляд, однако, это «усиление» сугубо второстепенно. Основные аргументы против объединенного царства нисколько не нуждаются в хронологической реформе. Самое главное, следует иметь в виду обратную сторону медали: отказ от «низкой хронологии» ни в коем случае не является доказательством того, что объединенное царство существовало! X в данном случае то ли путает необходимое с достаточным, то ли пытается навязать эту ошибку читателю.

В последние годы были выдвинуты серьезные аргументы как за, так и против «низкой хронологии». Несомненно, спор о ней будет в ближайшие годы разрешен – если не археологическими, то физико-химическими и радиологическими методами. Но даже если удастся доказать, что «новая хронология» ошибочна, гипотеза о ней не была бесплодной. Напротив, она дала интересные плоды. Так, по ходу дела возникло весьма аргументированное мнение, что постройки в Мегидо, традиционно сопоставляемые со сходными постройками в Гезере и Хацоре, в любом случае, независимо от хронологической системы, возведены несколько позже их. Это мнение разделяют и многие оппоненты Финкельштейна, последовательно отстаивающие гипотезу о существовании объединенного царства, в частности, Вильям Девер и, видимо, даже Амнон Бен-Тор. Что еще интереснее, практически все видные современные археологи, как и Герцог с Финкельштейном, полагают, что библейское описание этого царства сильно преувеличено и что оно в любом случае не было сверхдержавой, контролировавшей территорию от Газы до Евфрата. Стало быть, разногласия между Финкельштейном и его учеными оппонентами, которых не следует путать с религиозными фундаменталистами, не столь уж велики и с годами, пожалуй, сокращаются.

б. Центральное профессиональное обвинение, выдвинутое X и К против оппонентов, – нежелание, а то и просто отказ считать Библию серьезным историческим источником. X идет далее и выдвигает могучий методологический принцип, вполне консистентный его орвелловской философии:

В случае двух интерпретаций археологического открытия – одного, соответствующего библейскому повествованию, и другого, не совпадающего с ним, всегда разумнее выбрать библейское прочтение. И не потому, что библейский текст вне критики. А потому, что в этом случае два факта – открытие и текст – обнаруживают тенденцию подкреплять друг друга.

Современная наука, в том числе «новые» история и археология ни в коем случае не отказывают библейскому тексту в праве служить историческим источником. Наоборот, они используют Библию именно как источник куда интенсивнее, чем их предшественники. Другое дело – они не счи-

тают ее более надежным или более авторитетным, нежели иные сходные источники. Попросту они относятся к Библии точно так же, как к любому другому письменному источнику сходного происхождения и сходной структуры. Именно поэтому вопрос о том, кем и когда были написаны различные ее книги, приобрел такое большое значение. Текст, современный описываемому событию, может быть использован совсем иначе, чем текст, написанный через сотни лет.

Письменный документ может быть полезен далеко не только в том случае, если содержащаяся в нем информация фактически верна. Самый факт, что кто-то в определенных исторических условиях создал то или иное описание, является бесценной информацией. Иногда весьма поучительным является именно искажение действительности. Это касается любого текста, в том числе и Библии.

Библия совершенно точно рассказала нам о том, что цари Израиля построили города Шомрон и Изреель. Именно аккуратность этого описания и позволила Финкельштейну, забавно обвиненному Х в игнорировании библейских текстов, сформулировать свою гипотезу о «низкой хронологии». Собственно, это чисто библейская гипотеза, практически полностью зависящая от свидетельства Книги Царств. С другой стороны, библейский рассказ об объединенном царстве, явно противоречащий археологическим и иным данным, стал материалом, на базе которого ученые пытаются восстановить историческую и идеологическую питательную среду, породившую библейскую дейторономическую историю. Словом, Библия, в точном соответствии с талмудическим афоризмом, исправно помогает исследователям и точными, и мифологическими, и вымышленными рассказами. Мало того – в ход идет и библейская филология, также выдающая помыслы и замыслы авторов и редакторов библейских текстов.

Современная наука уже не поработана Библией – напротив, она научилась рассматривать ее как техническое подспорье, то есть поработила. Именно поэтому ученые столь активно и многогранно используют библейские материалы. Разумеется, это положение дел никак не устраивает Х, для которого Библия, прежде всего, священный текст.

Теперь становится понятной природа искусственной дилеммы, содержащейся в приведенной выше цитате. С точки зрения Х, любой археологический материал может быть интерпретирован двояко – про- и антибиблейски. Третье истолкование представляется ему излишним. Если бы все было так просто! В тех случаях, когда библейское свидетельство конструктивно, как в случае с Шомроном и Изреелем, с израильско-моавскими войнами, с ассирийскими нашествиями и т. д., археологи активно его требуют, не дожидаясь советов Х. В тех случаях, когда библейское свидетельство явно неверно археологически, оно становится объектом рассмотрения историков и филологов – следует понять природу библейского вымысла. Но во всех без исключения случаях нынешняя научная методология рассматривает его не как политический императив, а как подлежащую

изучению и проверке деталь сложного многомерного пасьянса. Повторю – в точности как любой древний текст, написанный через сотни лет после событий, о которых он рассказывает. Впрочем, в точности и как все прочие тексты.

10 «Новая археология»

В своей статье К счел нужным процитировать следующие слова Шломо Бунимовича:

Археологические исследования, как и исследования, производимые в смежных научных дисциплинах, антропологии и истории, зависят от времени и места, и потому субъективны... Если бы современные исследователи обнажили основы собственного воспитания, свои идеологические и политические пристрастия, свое отношение к веяниям сегодняшнего Израиля, академическую подоплеку и т. п., мы получили бы верную перспективу интерпретации ими археологических данных.

Они взяты из статьи д-ра Бунимовича, видного представителя консервативного археологического мейнстрима, сотрудника Археологической школы Тель-Авивского университета. Эта статья – «Интерпретация культуры и библейский текст: библейская археология в эпоху постмодернизма» – была опубликована в сотом номере журнала «Катедра». Что ж, если К может цитировать эту статью, то и я могу. В отличие от К, я не стану вырывать слова Бунимовича из контекста, хотя, к сожалению, вынужден буду ограничиться переводом небольшого фрагмента его статьи.

Эта статья – одна из лучших известных мне теоретических работ по истории и методологии археологии, причем не только местной. Автор, убежденный сторонник гипотезы о существовании объединенного царства и одновременно – один из тех, кто убедительно доказал относительную минорность израильского присутствия в центральном нагорье в ранние библейские времена, аккуратно, один к одному развенчивает персональные и идеологические мифы, сочиненные Х и К.

Итак: «Новая археология»... это интеллектуальная школа, возникшая в США и в Англии* на базе глубокого неудовлетворения состоянием и содержанием археологии в той форме, какую она приняла в период между двумя мировыми войнами и после них...

В основе «новой археологии» лежало оптимистическое мнение, что единственным препятствием, мешающим археологии овладеть всеобъемлющим знанием о прошлом, являются ее методологические взгляды... Поскольку человеческая культура суть система, соединяющая элементы

* В 60-х годах XX века.

окружающей среды, социум и материальную культуру, немая археологическая находка, бывшая некогда частью этой динамической системы, связана с каждой из этих составляющих культуры; стало быть, она несет знание о них всех, которое может быть добыто, если заставит эту находку заговорить. Так, например, несмотря на то, что мы не можем «откопать» социальную структуру погибшего общества, правильная методология и точная интерпретация ее кладбищ могут раскрыть статусное положение членов этого общества, лежащих в своих могилах.

Многие из «отцов-основателей» «новой археологии» утверждали, что дабы преуспеть в расшифровке обычаев древних обществ, необходимо превратить археологию в антропологию прошлого и в науку, обладающую четкими алгоритмами вывода надежных заключений.

Эти фундаментальные концепции имели большое влияние на формирование тенденций археологии в шестидесятые и семидесятые годы... В чем состояло воздействие этих драматических перемен на теорию и практику библейской археологии в Эрец-Исраэль?

Из множества новых идей, потрясших мировую археологию, до нас дошли лишь два нововведения... Это были: междисциплинарный подход, направленный на сбор максимального количества информации обо всех видах деятельности древнего человека и о его приспособляемости к окружающему миру, и экологическая ориентация. Джордж Эрнест Райт* определил методiku нового направления, и она стала применяться во всех американских экспедициях его школы, работавших в 60-е и 70-е годы в Шхеме, в Гезере и в Тель-Хаси. Во всех них участвовали, помимо специалистов по керамике, исследователей Библии, историков и филологов, геологи, антропологи, палеоботаники, зоологи и т. д... Оглядываясь назад, Вильям Г. Девер, один из учеников Райта и сам незаурядный библейский археолог, отметил, что эти нововведения, хотя и не сопровождались соответствующим теоретическим прорывом, могут считаться «новой» археологией. Тем не менее, как отметил он сам, ввиду весьма малого интереса к вопросам теории и методологии эта археология коренным образом отличалась от «новой археологии» или, как ее следует называть ввиду ее интереса к процессам культурных изменений, «процессуальной археологии»... Несмотря на все это, в израильских раскопках 60-х и 70-х годов не было и намека, указывавшего на осознание теоретических достижений, происшедших в мировой археологии. Широкий набор возможностей, которые предоставляла израильская система раскопок, использовался лишь частично... В середине 70-х годов библейская археология топталась на месте. Невзирая на всемирные изменения в археологическом мышлении, методы и характер анализа остатков материальной культуры прошлого, их интерпретация, вообще, повестка дня библейской археологии и характер ее связи с биб-

* Один из крупнейших археологов Ханаана, профессор Гарвардского университета, виднейший из учеников Вильяма Ф. Олбрайта.

лейским текстом остались неизменными – в точности такими, какими определил их за 50 лет до этого В. Ф. Олбрайт... Два фундаментальных параметра – содержание библейской археологии и ее отношения с Библией – были, по существу, функцией от интеллектуального и идеологического багажа, определившего характер работы Олбрайта в Израиле. Он и его ученики, самым ярким из которых был Райт, были протестантскими священниками, чьи духовные взгляды выросли из религиозной жизни конца XIX – начала XX столетия в США. Их целью было обоснование исторической достоверности библейского повествования и – опровержение критики школы Веллсгаузена. Таким образом, археология была для них вспомогательной дисциплиной в исследовании Библии, инструментом, поставляющим внешние объективные свидетельства, способные опровергнуть теоретические гипотезы «высокой» критики. На нее была возложена задача доказать обоснованность древних традиций, относящихся к патриархам, показать, каким образом израильтяне колонизовали Ханаан, и разместить израильский монотеизм на достойном месте в идеологической истории Древнего Востока. Улучшение стратиграфической диагностики, разработка тонкой типологии керамики, упрочение ближневосточной хронологии, распознавание параметров культурной эволюции региона – все эти замечательные достижения Олбрайта и его учеников не были для них самоцелью...

Как это ни парадоксально, область интересов израильской библейской археологии пересеклась с областью интересов школы Олбрайта – несмотря на то, что задачи израильской археологии были сугубо секулярными, а задачи Олбрайта – религиозными. С точки зрения израильских археологов, представителей поколения основателей государства, Библия являлась основополагающим документом национальной истории еврейского народа и одновременно **фирманом** на его пребывание в своей стране. Археологии, таким образом, была уготована важная задача – укрепить связь новообразующейся нации с ее прошлым и ее древним отечеством. Неудивительно поэтому, что интерпретация археологических находок целиком и полностью основывалась на Библии, в результате чего появился «светский фундаментализм». Хотя эта интерпретация отражала скорее потребности этнического и национального сознания, нежели связь с религией, израильская библейская археология сконцентрировалась в точности на тех же аспектах истории, которые интересовали и исследователей школы Олбрайта: колонизации израильтянами Ханаана, монументальном строительстве царей Израиля и Иудеи, военных походах, величественных катастрофах и т. д. Обе ветви библейской археологии – американская и израильская – занимались, таким образом, поисками свидетельств о масштабных исторических событиях и деятельности царей и рассматривали Библию как исторический источник, утверждения которого следует, с одной стороны, подтвердить, а с другой стороны, принять за основу исследования. В этой монументальной археологии, остававшейся с

20-х годов консервативной, прагматической, опирающейся на традиционные интерпретационные рамки, не нашлось места для исследования культурных и социальных процессов или для изучения «молчаливого большинства» и его повседневной жизни, которая протекала отдельно от исторических событий и между катастрофами.

Существенные изменения произошли после проведения масштабных археологических исследований в Иудее и Самарии после Шестидневной войны. Вскоре эти исследования охватили и другие части страны. Возрождение поселенческой археологии... привело к концептуальным инновациям, освежившим библейскую археологию, но в то же время подорвавшим ее связь с Библией.

Прежде всего, эти обследования приблизили исследователей к «людям без истории» – сельским жителям, составлявшим подавляющее большинство и основу древнего общества в стране, однако не ставшим до сих пор объектом археологического исследования, сосредоточенного, в основном, вокруг городов, скрытых под большими **телим** (рукотворными холмами), и вращавшегося вокруг политической истории правящей элиты. Затем, реконструкция сельской и демографической истории Эрец-Исраэль создала долгосрочную археологическую перспективу, «подчинившую» древний Израиль законам и правилам обычной «светской» культурной эволюции, ставшей альтернативой его уникальному, «внеисторическому» статусу в глазах библейских археологов предыдущего поколения. В-третьих, экологические и иные соображения, связанные с окружающей средой, которые до сих пор полностью игнорировались, стали теперь базой для понимания не только характера повседневной жизни и социополитической организации Ханаана и Израиля, но и для выяснения характера их культурных эволюций.

Далее Бунимович переходит к волнующей теме развития постпроцессуальной археологии. Именно отсюда К выдрал цитату, приведенную мною выше. Выдрал напрасно – но на сей раз этот проступок останется безнаказанным. Контекст, на мой взгляд, говорит сам за себя.

11

Что мы знаем и чего не знаем о древнейшей еврейской истории

Выбор вопроса – знак зрелости.

Когда исследователи – далеко не только археологи – начинали изучать пока неведомый древний мир в Египте, Месопотамии, Малой Азии, островах Эгейского моря, не говоря уже о более экзотических местах, они задавали себе единственно возможный вопрос: что тут происходило?

Когда исследователи приступили к реальному, не книжному, эмпирическому изучению Палестины–Эрец-Исраэль, им такой вопрос и в голову

не приходил. Эта страна вовсе не была загадочной. Напротив, они все о ней знали. Ее история была подробно описана и изучалась не только в университетах, но и в школах. Другое дело – она была написана вовсе не учеными, собственно, то ли Богом, то ли неведомо кем, причем давным-давно. Это была страна Библии. Все остальные названия не имели для них значения. Здешняя археология была сразу названа библейской. Что означало: раскапывать предполагается не страну, а книгу. Следовательно, и вопросы следовало обращать к книге.

Поэтому исследователи задали совсем другой вопрос: где тут, на местности, слова книги? Где тут ее города? Где тут ее храмы?

История была известна заранее. Ее оставалось только найти на местности. Искать ее пришли не кладоискатели, не филологи, даже не настоящие археологи. Как и следовало ожидать, на поиски истории пришли священники.

Впрочем, где священники – там и дьявол. Хотя бы для равновесия. Дьяволу тоже разрешается задавать вопросы. Что он отважился спросить? Всего лишь: «А все ли, что сказано в Библии, подтверждается на местности?»

В самом деле – все или не все?

На протяжении десятилетий этот вопрос был пределом допустимого скептицизма. Священники и те, кого они воспитали, копали землю, отыскивая книжные сокровища. Во всем мире археологическое кладоискательство давно уже было осуждено, но здесь, в Ханаане–Палестине–Эрец-Израэль, археологи по-прежнему искали клады, только особенные, полиграфические и священные. Собственные теории вовсе не были нужны. Максимум, можно было обсудить вопрос о том, под каким холмом скрывается тот или иной библейский топоним. Даже враг рода человеческого адресовался здесь не к человеческой природе, а к книжной букве, к букве закона. Примерно таким образом: «А что, если Библия не непогрешима? А что, если в главе такой-то – преувеличение? Или преуменьшение?»

По существу, еще до того, как первый археолог приступил к изучению Святой земли, уже существовала строгая гипотеза о том, что он тут найдет. Да что гипотеза – настоящая теория. Но мы все-таки будем называть ее гипотезой – исключительно ради смирения духа. Речь, разумеется, о библейской гипотезе, способной рассказать об этой стране все.

Эту гипотезу очень легко изложить – собственно, это проделывали сотни лет подряд тысячи взрослых людей на кафедрах теологии всевозможных университетов и сотни тысяч детей на уроках закона Божьего. Библейская гипотеза. Ничего подобного не знала ни одна другая страна древнего мира. Повсюду приходилось начинать если не с нуля, то с изрядного теоретического запустения. Как мы вскоре увидим, науке это шло на пользу. По крайней мере, ученые могли строить собственные гипотезы и менять их по мере продвижения собственных исследований.

Ну, а тут гипотеза была налицо. Вдобавок, весьма священная. По крайней мере, для тех, кто, изучив ее сначала на уроках закона Божьего, а затем на теофаке, приехал ее разрабатывать. Или, скорее, воплощать.

Ученые делились на две части. Одни, беленькие, предполагали гипотезу подтвердить. Другие, черненькие, намеревались ее проверить. Далее простых сомнений дело не заходило. Так или иначе, в качестве теоретических обсуждались исключительно библейские тексты. Кое-кто из знаменитых исследователей не только объявлял во всеуслышание, что в одной руке он держит лопату, а в другой катехизис, но и на самом деле так и ходил. Поскольку письменных памятников обнаруживалось очень мало, в дело шли псалмы.

В течение десятилетий все было великолепно. Собственно, ровно столько, на сколько у священников, их учеников и идеологически подкованных коллег хватило здоровья. А потом все рухнуло, и даже осрамившийся дьявол убежал, поджав хвост. Ибо можно какое-то время отставать от мировой археологической науки лет на 20–30 – но все же не на столетие!

С практической точки зрения «библейская гипотеза» неплохо просуществовала добрых полстолетия в параллель с библейской археологией, а затем еще лет тридцать в тяжком соревновании с ней. А вот с теоретической она – в своей полной и неделимой версии – умерла примерно тогда же, когда и классическая нерелятивистская физика – в середине второй половины XIX века.

Классическая физика была обречена в момент, когда Максвелл вывел свои дивные уравнения электромагнитного поля. Его теория, с одной стороны, безупречно описывала электромагнитные явления, а с другой – держала неустранимые противоречия. Потребовалось несколько десятилетий для того, чтобы они были осознаны, и вскоре после этого целый ряд ученых – от Планка до Эйнштейна и далее – взорвали ослепительно красивый мир Ньютона и Максвелла изнутри.

Нечто подобное произошло и с «библейской гипотезой». Она была хороша для классических средних веков, кое-как дотянула до XIX века. Ну и, собственно, все. Ибо в XIX веке историческая наука, включая, естественно, археологию и языковедение, построила очень неплохую модель истории и культуры Древнего Востока. Прежде всего, Египта и Месопотамии. Разумеется, в XX веке наука тоже без дела не осталась. Но бедной «библейской гипотезе» вполне хватило открытий XIX века. Ибо Святая земля, как выяснилось, уже не *Ultima Tule* и *Terra Incognita*. Напротив, она находится в центре высокоцивилизованного региона, древние языки которого вполне читаются, история и хронология которых известны. Самое главное, стало ясно, что в Святой земле не могло происходить нечто, совсем уж не увязанное с историей региона.

Всякий получивший классическое образование человек, усевшись за письменный стол и обложившись книгами, допустим, в 1900 году, мог без особого труда разобраться с «библейской гипотезой». К сожалению, этого никто не сделал. Впрочем, у меня есть серьезное опасение, что этого человека, буде он существовал, никто бы не послушал.

По всему этому «библейская гипотеза» благополучно дожила едва ли не до наших дней. Во всяком случае, примерно до 1970 года.

Я не хочу ступать на минное поле и выяснять, кто первым задал настоящий вопрос: «А как, черт побери, все было на самом деле?» Сегодня на это первенство претендуют многие. В любом случае, эти многие попросту облагодетельствовали не только науку, но и еврейское национальное сознание.

Итак, что же произошло тут на самом деле? И если уж «библейская гипотеза» неверна – то в чем именно?

Начну с того, что было ясно уже в XIX веке. Все цифры, все демографические утверждения Библии, относящиеся к периоду до захвата Иудеи Навухадонсором, не просто неверны, но завышены на несколько порядков. Следовательно, все эпизоды ранней еврейской истории, которые являются хотя бы в принципе проверяемыми, либо выдуманы, либо в той или иной степени неверны.

Начнем, как и X, с пребывания евреев в Египте и исхода оттуда.

Население Египта составляло тогда – в период Нового царства – максимум 2–3 миллиона человек. Поэтому в этой стране просто не могли проживать миллионы евреев. Да и уйти оттуда они не могли – страна бы полностью опустела.

Но даже если мы предположим, что Библия завысила цифры в десять раз, и превратим миллионы в сотни тысяч, тоже не получится ничего хорошего. Как раз тот период, в который нас обязали поместить еврейско-египетскую эпопею, то есть в XIII веке до н. э., Египет не претерпевал никаких страшных бедствий. Мало того, в это время он владел Ханааном (!) и убежать туда от египтян было чрезвычайно нерациональным поступком. Как назло, это прозрачный и хорошо понятный период египетской истории, на который страшная история исхода просто не ложится.

Но и это не все. Население Ханаана в это время было весьма малым. Кроме того, по чисто экологическим причинам он мог прокормить лишь относительно малое число людей. Если же сосредоточиться исключительно на бедных, почти безводных, исключаяющих саму идею искусственного орошения горных районах Самарии и Иудеи, куда, согласно Библии, пришли евреи, то там могли прокормиться лишь несколько десятков тысяч человек. Включая, разумеется, и местное население.

До сих пор мы не подключали к делу местную археологию. Как только мы это сделаем, картина прояснится еще более. Никаких миллионов, никаких сотен тысяч. Долгий кризис некогда высокоразвитого Ханаана фактически погубил его старую цивилизацию. Во всяком случае, он сильно ее ослабил. Города опустели. Немалая часть жителей – поначалу несколько тысяч, потом их стало больше – отселилась на пустынные взгорья, надеясь там прокормиться. К ним, разумеется, могли присоединиться и пришельцы, но в очень малом числе. Постепенно, очень постепенно они образовали новый этнос, который сегодня принято называть протоизраильским. Через пару столетий они станут израильтянами. Но пока что (допустим, в XII веке до н. э.) они – бедные крестьяне, живущие в небольших хуторах. Их материальная культура чрезвычайно примитивна, письменности они не

знают. Ничего похожего на израильтян, пришедших из пустыни с Торой в руках, Талмудом в голове и монотеизмом в сердце.

Итак, вся эпопея с Египтом – вымысел, правда, интересный и плодотворный. То же самое можно сказать и о завоевании Ханаана. Никакого завоевания. Напротив, медленный этногенез и вторичное вращение в собственную древнюю родину. С другой стороны, вполне можно утверждать, что библейский рассказ о периоде судей, то есть догосударственном периоде в жизни израильтян, до какой-то степени близок к реальности. Разумеется, если выбросить из него некоторое количество нереальных военных историй с их фантастической демографией. Напомню: численность израильтян была все еще невелика, едва ли 150 тысяч человек. Мы говорим сейчас более или менее о XI веке до н. э.

Затем наступает X век – период бурного роста. Израильтяне осознают себя как народ, строят города, создают, наконец, собственную материальную культуру. С этого периода археологи, наконец, начинают узнавать их по керамике. Запахло государством. Или двумя государствами. Тут мы сталкиваемся с первой настоящей загадкой – вопросом о существовании объединенного царства Давида и Соломона.

Разумеется, речь вообще не идет об описанной в Библии империи, простиравшейся от границ Египта до Евфрата и дальше. Можно не сомневаться – государство такого масштаба вызвало бы интерес у своих соседей, прежде всего, у Ассирии, и мы имели бы немало внешних напоминаний о его существовании. Ассирийцы проводили активную внешнюю политику, и мы неплохо знаем, с кем они граничили на западе. Появление незадолго до этого как раз в будущих сирийских «владениях» Давида арамейских племен удостоилось ассирийского внимания. Давид и Соломон – нет. Но дело не только во внешней политике. На подобное имперское предприятие – собственно, даже на малую его долю – у израильтян просто не хватило бы сил. А тут еще и археология.

Словом, речь идет вовсе не об империи. Вопрос стоит иначе: существовало ли хотя бы относительно небольшое, но все же общеханаанское государство израильтян с центром в бедной южной и малонаселенной Иудее, желательно – в Иерусалиме, а не в богатом и густонаселенном Израиле? Давид и Соломон вполне могли быть его царями, персональных проблем тут не возникает. А вот реальных – сколько угодно. Ответа на этот вопрос у нас пока нет. Следует отметить, что для непредубежденного глаза такое образование выглядит довольно искусственно, но история знает много гитик. У объединенного царства есть паллиатив: сосуществование двух отдельных царств, Северного и Южного, Израиля и Иудеи, уже в X веке. Эти царства, если они уже существовали в этот период, вполне могли быть союзниками или даже осуществлять совместные предприятия. Опять же – есть немало аргументов против этой гипотезы, но опровергнуть ее трудно.

В любом случае, даже если объединенное царство и существовало, оно не было пиком израильской государственности. Этой вершиной стало Се-

верное царство, достигшее немалого могущества в IX веке до н. э. Разумеется, даже ему было далеко до мифической империи Давида, но все же оно был почти что региональной сверхдержавой и в союзе с арамейскими сирийскими царствами в течение какого-то времени смиряло воинственных ассирийцев.

Тут самое время вернуться к Библии. Начиная с событий IX века она становится вполне здравым справочником по израильской политической истории. Отныне никаких крупных мифов, чудеса происходят, в основном, второстепенные, появляются довольно аккуратные царские списки. Словом, начиная с IX века, то есть с момента образования развитой израильской монархии и до ее печального конца под вавилонским сапогом в 586 году до н. э., Библия – весьма ценный источник исторической информации. Если бы «библейская гипотеза» относилась лишь к этому, примерно трехсотлетнему периоду, ее судьба была бы совершенно иной.

Однако этот период порождает совсем другие загадки, многие из которых еще не разрешены. Речь идет о бесконечно интересной культурной и религиозной истории Израиля, которую мы понимаем гораздо хуже, нежели политическую.

Я не задумывал серьезного обсуждения этой проблематики, но, поскольку совсем обойти ее вниманием невозможно, кратко коснусь некоторых ее аспектов. В принципе, мое краткое отступление можно назвать выборочной постановкой вопросов. Ответам на них или хотя бы их разбору необходимо посвятить отдельную статью.

Итак, мы до сих пор не можем внятно ответить на следующие вопросы:

1. Каково происхождение библейских текстов? Когда они были написаны? Какими древними источниками пользовались их авторы? Каково происхождение библейского литературного языка?

2. Какой была эволюция израильской религии? Мы прекрасно знаем, что еще в VIII веке до н. э. израильтяне не писали значительных книг и не были монотеистами. Что произошло далее?

3. Каким был институт пророчества – если он вообще существовал? Речь не идет, разумеется, о магических качествах, иногда приписываемых пророкам, – едва ли они существовали, и уж точно не о них думают ученые. Пророки были, тем не менее, важным культурным и социальным явлением, конечно, не только в Израиле, и все, что с ними связано, чрезвычайно интересно. Кроме того, судя по всему, они породили особый род литературы – пророческую литературу. К сожалению, мы знаем о ней слишком мало, тем более что дошедшие до нас пророческие книги претерпели глубокую редакцию во времена Второго Храма.

4. Каково происхождение дейторономической историографии? Это волнующая загадка давно ждет своего решения. Неужели древние израильтяне писали исторические сочинения, едва овладев грамотой? Маловероятно. Но как в таком случае все было на самом деле?

5. И теперь самый невероятный вопрос: что произошло с израильской

культурой после гибели монархической Иудеи? Куда исчезла дейторономическая школа? Почему евреи перестали интересоваться историей и писать ее? Почему и каким образом возникла «черная дыра» – фактически не заполненная политической информацией временная каверна длиной почти в 400 лет – между гибелью монархии и Хасмонейми? Каким образом евреи утратили историческую память до такой степени, что оказалась сильно деформированной даже еврейская хронология Персидского периода? Каким образом в еврейское самосознание попали расовые элементы? Словом, какие они, евреи дохасмонейского периода Второго Храма?

На сей раз достаточно.

Я начал эту главку с того, что мы уже неплохо знаем, то есть с краткого обзора ранней израильской истории, а завершил ее тем, чего мы еще не знаем, – выпадом в сторону истории израильской культуры, плавно перетекающей в еврейскую. На этом я хочу попрощаться – не столько с читателем, сколько с «библейской гипотезой», все еще находящей себе защитников. Мир праху ее – и, ради Бога, господа Х и К, не тревожьте покойников.

Небольшое приложение

Я просто обязан подчеркнуть, что Х и К дезинформируют читателя: современная историческая наука единодушно отвергла «библейскую гипотезу» в ее фундаменталистской форме, отстаиваемой этими господами. Это не значит, что ученые отвергли Библию – совсем наоборот, они только-только научились с ней работать.

Ниже представлен набор цитат, взятых из свежих статей виднейших ученых, историков и археологов, принадлежащих исключительно к консервативному направлению. Самое меньшее, все они без исключения стоят «правее» Финкельштейна и Герцога. О том, как они смотрят на «библейскую гипотезу», пусть читатель судит сам. Пусть он при этом имеет в виду, что из Эвереста совершенно однозначных и вполне представительных текстов я выбрал горчичное зернышко.

Амихай Мазар:

Невзирая на огромное количество древневосточных документов, собранных в XX веке, равно как и впечатляющие археологические находки... все большее число исследователей подвергают сомнению самую возможность написать историю народа Израиля, относящуюся ко времени, предшествующему периоду разделенных царств. Похоже, что круг, у начала которого стояли Велльгаузен и его ученики, сомкнулся. Однако в то время, как они полагались исключительно на критический анализ текста, в распо-

ряжении нынешних исследователей находится масса данных, начиная с древневосточных документов и кончая археологическими материалами. Невзирая на наличие этих материалов или даже основываясь на них, многие из современных исследователей приходят к выводам, отрицающим историческую достоверность библейских источников в том, что касается протистории Израила.

Большинство исследователей Библии, принадлежащих к центральному научному направлению, согласны между собой в том, что как дейтерономистская история (последовательность книг от «Второзакония» до II Книги Царств), так и книги Торы были записаны в VII веке до н. э., скорее всего, в ходе царствования Йошиагу, и прошли дополнительную редакцию после возвращения из Вавилонского изгнания.

Не исключено, что некоторые элементы рассказов о праотцах и пребывании в Египте имеют своим источником реалии II тысячелетия до н. э., и через поколения они присоединились к рассказам, мотивам и элементам, соответствующим тем различным эпохам, в которые они пересказывались устно и были записаны. Резонно предположить, что многие из этих рассказов распространялись как традиции Эрец-Исраэль среди местного населения и вовсе не были созданы израильскими племенами, а израильтяне адаптировали их по прошествии поколений и придали им форму, в которой они дошли до нас, видимо, в конце эпохи существования Иудейского царства.

Я не утверждаю, что следует принимать как исторические рассказы о периоде рабства в Египте и исходе израильтян из Египта как сформировавшегося народа, состоящего из двенадцати колен. Однако резонно предположить, что небольшая компактная группа, имевшая значительное влияние на процесс образования израильского народа в более поздние исторические времена, действительно, была в Египте в эту эпоху и затем покинула его.

Нет сомнения в том, что библейский рассказ о завоевании страны под руководством Йегошуа и другие рассказы о завоеваниях, содержащиеся в Книгах Чисел и Судей, являются поздними историографическими произведениями, имеющими идеологический характер. Тем не менее, представляется, что они содержат элементы древней традиции.

Один из наиболее спорных вопросов, относящихся к дискуссии о периоде колонизации Ханаана израильтянами, – это интерпретация находок на горе Эйваль. Зерталь утверждает, что обнаружил жертвенник, построенный Йегошуа в соответствии с библейским рассказом. Идентификация этого строения как жертвенника представляется мне весьма проблематичной. Вместе с тем в ходе раскопок были найдены свидетельства того, что в период, предшествующий возведению строения, на этом месте происходила культовая деятельность. Это имело место в конце XIII – начале XII века до н. э. Если это так, не исключено, что библейские рассказы о горе Эйваль имеют своим источником древние рассказы об этом месте.

По моему мнению, объединенное царство существовало, хотя, вне всякого сомнения, не в масштабах, описанных в Библии. Библейские описания

окутаны слоями литературных, теологических и идеологических приукрашиваний, возникших в момент их записи, однако, устранив эти слои и воспользовавшись внешними свидетельствами и археологическими материалами, мы можем нарисовать реальный портрет этого царства.

Археологические данные никоим образом не указывают на существование большого и развитого [объединенного] государства, и представляется, что его территориальное описание, приведенное в Библии, преувеличено.

В том, что касается Израильского царства, трудно согласиться с точкой зрения Финкельштейна, утверждающего, что его невероятная мощь... появилась во времена Ахава из ничего, без длительной подготовки. Сложная стратиграфическая картина таких объектов, как Хацор, Йокнеам, Тель-Рехов и Тель-Альфара, указывает, на мой взгляд, на медленное и постепенное развитие израильской материальной культуры, развитие, которое берет начало во времена объединенного царства и достигает своего апогея во времена династии Омри в IX веке до н. э.

Надав Неэман:

Некоторые из исследователей, и я в том числе, не отрицают самый факт существования объединенного царства... однако видят в нем нечто вроде переходного периода от местного племенного управления патриархальным племенным обществом к монархии, контролирующей значительную, четко определенную территорию и создающую на ней постоянные и устойчивые органы управления. Представляется, что монархические институции начали развиваться и организовываться в горной области приблизительно в X веке до н. э. и сумели создать зрелое Израильское царство в начале IX века до н. э. и Иудейское царство во второй половине этого же века.

Археологические исследования показали, что в X веке урбанизация в Иудейских горах и в приморской низменности еще только начиналась и что Иерусалим был в это время лишь маленьким и бедным горным селением, практически не оставившим после себя материальных следов, которые можно было бы изучить. Нет ничего общего между библейским описанием Иерусалима времен Соломона и результатами раскопок в «граде Давидовом».

Лишь в VIII веке началось бурное развитие поселений в Иудее, в ходе которого образовались городские центры, окруженные плотной сетью деревень. В этот период сильно разросся Иерусалим, ставший важнейшим городским центром в государстве.

В горных районах по обе стороны Иордана не найдены письменные памятники, относящиеся к X и IX векам до н. э. Только в начале VIII века письменность начала распространяться в Израильском царстве, и несколько позже – в Иудее... В VII веке письменность стала употребляться существенно шире, что нашло четкое выражение в археологических находках.

Чрезвычайно сходным образом распространялась письменность и в соседних государствах... Создание крупных и высококачественных историографических сочинений указывает, прежде всего, на наличие гильдии писцов и социальной элиты, способной их оценить. Невозможно представить их существование в Иерусалиме или в провинциальных иудейских городах до конца VIII века до н. э. Следует отметить, что во всех восточных странах и в Греции прошло много времени между адаптацией письменности и созданием продвинутых историографических произведений. Все эти данные подкрепляют предположение, что первые крупные израильские сочинения были созданы весьма поздно.

Библейский рассказ, согласно которому страну заселил сплоченный народ, обладающий собственным этническим, религиозным и культурным лицом, отличающийся всеми элементами своей идентичности от местных жителей, вдобавок продолжавший в значительной мере сохранять эту сплоченность и в период, последовавший за колонизацией страны, не соответствует результатам археологических, антропологических и этнографических исследований.

Аммон Бен-Тор:

Чрезвычайно трудно опознать материальную культуру, присущую «израильтянам», ибо часть колонизаторов были кочевниками, не обладавшими керамической культурой, а другая часть была выходцами из коренного населения Ханаана и продолжала традицию производства керамики, усвоенную ими давным-давно. Поэтому в принципе невозможно, в отличие от состояния дел на западе Малой Азии*, выделить керамику, свойственную периоду процесса колонизации.

Все мы согласны в том, что власть Давида не распространялась на столь большую территорию, как указано в Библии, рассказ которой имеет ясную тенденцию прославлять и возвеличивать этого царя. Однако... разве только размеры [подвластной ему] территории определяют значение властителя?

подавляющее большинство исследователей согласны с тем, что редакция [исторических библейских текстов] была произведена приблизительно в конце VII и в начале VI века до н. э., то есть через много столетий после колонизации Ханаана и [времени существования] объединенного царства.

* Где примерно в это же время, предположительно в XII веке до н. э., начался процесс греческой колонизации. Бен-Тор подчеркивает, что, в отличие от протоизраильской колонизации горных частей Ханаана, греческая колонизация оставила яркие археологические следы, позволившие установить ее историчность.

Яир Гофман:

Рассказы о праотцах следует воспринимать как вымысел не потому, что не найдены подтверждающие их археологические данные, а ввиду их характера: ибо невозможно принять такую форму народного творчества как историческую и социальную истину (три праотца, 12 колен и т. д.); ибо невозможно принять как историческое свидетельство (в отличие от религиозной истины) рассказы о том, что будто бы произошло в XVII веке до н. э., но было записано лишь в X.

Исход из Египта – это миф (и великолепный!)... не только потому, что не существует археологических или эпиграфических подтверждений этого события, но и потому, что в исторических рамках невозможно допустить, что 600 тысяч мужчин, годных к воинской службе – то есть всего примерно 2,5 миллиона человек, – скитались 40 лет по пустыне и каждый вечер собирались вокруг Скинии Завета в строгом и заранее определенном порядке! А также и потому, что в самой Библии содержатся противоречия, касающиеся маршрута их странствий по пустыне и войн, которые они вели с врагами Израиля до начала колонизации.

Завоевание Ханаана под руководством Йегошуа не является историческим фактом не только потому, что археологические данные из Йерихона и Ая противоречат этой гипотезе, а данные из Хацора являются спорными, а потому, что Книга Йегошуа является чрезвычайно поздней и сами библейские свидетельства ее опровергают...

Адам Зерталь:

Олбрайт повлиял на библейскую археологию при посредстве нескольких идей, связавших археологию и Библию воедино. Во многих случаях он изначально рассматривал библейский рассказ как историю и датировал находки или результаты раскопок в соответствии с ним... Олбрайт и ученые его поколения не интересовались соображениями, связанными с экологией и элементами окружающей среды... Поэтому исследования Олбрайта и его учеников и стали легкой мишенью для «нигилистов».

Сара Яфет:

Горький плач [археологов] вызван тем обстоятельством, что израильская, а может быть, и вся восточная археология с самого начала взяла на себя функцию, которую не могла и не должна была брать: «доказать» историческую версию или «опровергнуть» ее.

Центральный вопрос – что должен сделать современный историк... когда он пытается построить описание истории библейского периода?.. Воз-

можно ли и должно ли базировать это описание на готовом библейском рассказе? Иными словами: можем ли мы видеть в Библии исключительный или хотя бы центральный источник, в любом случае – обязывающий источник для описания библейской эпохи? Есть люди, которые ответят на этот вопрос положительно... Они отмахнутся от любых данных... эпиграфических, археологических и исторических, которые противоречат библейскому рассказу...

Тем не менее... нет никакого сомнения в том, что библейский исторический рассказ движим идеологическими мотивами своего времени и не может быть понят без учета этих мотивов... Сегодня совершенно ясно, что невозможно принять библейский рассказ как он есть... по двум причинам. Во-первых, из-за литературного характера материала – часть библейских рассказов изначально являются «не-историческими», и самое восприятие их как исторических извращает их смысл. Во-вторых, из-за идеологического характера материала...

Я хочу... проиллюстрировать это одним примером... Книга Судей... описывает историю Израиля в период после завоевания страны. Большой народ, состоящий из 12 колен, управляемый харизматичными судьями, обосновался в стране и борется за свое существование с врагами, более сильными, чем он сам. Однако детальный анализ этих рассказов и, прежде всего, выделение их из редактурных рамок, в которые они заключены, вскрывает иную картину. Здесь нет «народа», есть только племена-колена, иногда отдельные племена, в других случаях самое большее – группы племен... То есть: различия между прямым свидетельством материала и редактурными рамками, в которые он оправлен, поддаются анализу. Фактически невозможно говорить о большом, объединенном «народе Израиля» в эпоху судей, а лишь о существовании независимых колен, которые лишь на более позднем этапе объединились в политические структуры более широкого характера.

**ВРЕМЯ,
СУДЬБЫ...**



журналист, публицист, редактор, теле-продюсер, участник Ливанской кампании. Автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

БАШЕВИС-ЗИНГЕР: ПОРТРЕТ, КОТОРЫЙ НИ В КАКИЕ РАМКИ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ

Дурачок Гимпл из Фрамполя – герой одноименной повести Башевиса-Зингера, – выходя в широкий новый мир, становится рассказчиком. В конце рассказа уже ясно, что он больше мошенник, чем протак. Гимпл сам понимает, что его ложь должна обрести метафизическую достоверность: «Несомненно, что наш мир – полностью воображаемый мир. Но зато он двоюродный племянник истинного мира».

Давайте поговорим о Башевисе-Зингере, пока его портрет еще не добавили к иконостасу или, как по Талмуду, не построили вокруг него ограды, а его книги еще не покрылись пылью. Все в его образе и творчестве вызывает вопросы. Даже его личное имя. Как звали писателя? Ицхак, как настаивает современное израильское произношение, переиначивающее на свой лад еврейские имена; Исаак, как по-русски пишут в энциклопедиях; Айзик, как указано в некоторых изданиях в переводе с «американского»; Ицик, как на его родном идише; или же Иче, как произносили это имя в его молодости где-нибудь в еврейских Налевках в Варшаве? На каком языке он писал? На идише? Или же идиш был языком его черновиков, как утверждают некоторые критики? К какой литературе его отнести: еврейской, польской или американской? Заслуженно досталась ему Нобелевка или же были более достойные, чем он? Споры не утихают и по сей день, а значит, писатель Башевис-Зингер остается современным и актуальным и для нас.

Идиш сегодня – вовсе не мертвый язык, как принято думать. По разным подсчетам, на нем говорят до полумиллиона человек, хотя родным и разговорным он остается лишь в ультрарелигиозных еврейских кварталах Аме-

рики и Израиля. Однако в некоторых кругах еврейской интеллигенции, как некогда в определенных русских кругах, все еще сохранилась вера, что за словом надо ходить и учиться «в народ». Вот мы и направились в поисках читателей Башевиса-Зингера в наш «народ» – в торгующий книгами на идише магазин в одном из наиболее религиозных еврейских кварталов Большого Нью-Йорка.

На вопрос, есть ли у него что-нибудь из книг Башевиса-Зингера, хозяин лавки, добрейший рэб Мойшеле (имя изменено по его просьбе), замкнул пальцем уста и скороговоркой пробормотал что-то вроде: «Не приведи Господь». Выяснилось, что не только все произведения Башевиса-Зингера, включая его замечательные детские книжки 60-х годов, но даже творчество таких классиков еврейской литературы, как Шолом Аш и Шолом-Алейхем, подвергаются анафеме различными раввинами.

– За распространение «такого» тут могут стекла побить, – трагическим шепотом сказал книготорговец. – А то и поджечь.

Улицы религиозных еврейских кварталов, действительно, пестрят так называемыми «пашквилями» (идишистское от «пасквиль»), где подвергаются анафеме и проклинаются разные раввины, канторы и простые евреи. А также, разумеется, книги. Некоторые духовные лидеры нашего «народа Книги» не стесняются публично жечь неудобную литературу. Не так давно в Нью-Йорке во дворе известнейшей и крупнейшей йешивы «Мир» раввины сожгли весь тираж книги раввина Натана Каменецкого «Творившие великое». На полутора тысячах страниц сын рабби Якова Каменецкого, одного из видных духовных вождей религиозного американского еврейства, запечатлел истории жизни великих раввинов конца XIX – начала XX столетия. И что же? Труд всей жизни Натана Каменецкого горел в костре из-за каких-то мелких обид и теологических разногласий с нынешним руководством его общины. А двадцать лет назад раввины любавичского движения ХАБАД предали анафеме даже всемирно известного раввина Адина Штейнзальца за «слишком живые» подробности его книг о библейских героях. Им не понравилось, что – в полном соответствии с Библией! – пророк Елисей у него лысый, а царь Давид – рыжий. В свое время хасиды проклинали великого философа Мартина Бубера, который страстно популяризировал хасидизм во всем мире. И некий раввин Либерман из того же ХАБАДа проклял крупнейшего исследователя хасидизма и еврейской мистики иерусалимского профессора Гершома Шолема. Стоит ли удивляться, что в этой среде под запретом вся великая еврейская светская литература?

Впрочем, в этом вопросе евреи отнюдь не составляют исключения. В прошлом году, во время православной литургии по случаю Великого поста, я с удивлением обнаружил, что имена Льва Толстого и множества других деятелей русской истории по-прежнему числятся в длинном списке тех, кого Русская православная церковь предает анафеме.



Ицик Зингер переехал из Варшавы в Нью-Йорк в 1935 году уже вполне сложившимся тридцатилетним писателем. По-английски, однако, он не знал ни слова. Старший брат Исроэль-Йегошуа Зингер, в ту пору уже известный писатель, устроил Ицика в еврейскую газету «Форвертс». В течение последующих 20 лет Ицик публиковал в этой газете свои фельетоны, которые подписывал псевдонимом Д. Сегал, и журналистские заметки – под псевдонимом И. Варшавский. Рассказы свои он стал подписывать Башевис – от Батшевы, как звали его мать (хотя здесь вполне мог быть и некий скрытый смысл, отсылавший к библейской Батшеве–Вирсавии: история о бесе, соблазнившем женщину, в свою очередь соблазнившую царя и подговорившую его отправить ее мужа на гибель, вполне в духе Башевиса).

Идишистская литература первой половины XX века по праву входила в круг крупнейших и развитых европейских литератур. Она включала в себя весь спектр направлений и течений и охотно усваивала новейшие модернистские и революционные художественные идеи. В США, Мексике и Аргентине на идише творили многочисленные писатели, драматурги и поэты, ставились спектакли, снимались фильмы. Еще и сегодня количество литературных произведений, изданных на идише, намного превышает число всех выпущенных на иврите. В Нью-Йорке творила плеяда замечательных литераторов: Мани Лейб, Целия Дропкин, Мойше-Лейб Хальперн, Х. Левик (Левик Хальперн), Анна Марголин, А. Лайэлс (Эрн Гланц-Лейэрс) и многие другие. В ту пору Нью-Йорк был городом с самым большим еврейским населением, и это способствовало необычайной интенсивности происходившего здесь культурного обмена.

В основе своей эта светская еврейская литература хранила верность нравственным идеалам Талмуда: общественному служению, деловой порядочности, семейной преданности, уважению себя и других. Однако, в отличие от религиозной еврейской традиции, где такие идеалы рассматривались как заветы Господа Бога, в светской еврейской культуре они обрели самостоятельную ценность. В то же время светская культура разделяла еврейский религиозный идеализм и мессианиззм, толкуя их как стремление к улучшению общественного порядка. Литература на идише опиралась на рационалистический морализм европейского и еврейского движения просвещения («Хаскалы») XVIII–XIX веков. В глазах читающей публики еврейская литература прежде всего выполняла просветительские задачи, а уж потом обеспечивала культурный народный досуг. Образцами для нее были произведения русского критического реализма, европейского натурализма и американского социального романа (Джек Лондон, Эптон Синклер, Теодор Драйзер). Живым классиком почитался Шолом Аш, замечательный еврейский писатель, автор большого числа романов. Мастерами-реалистами были и босс Башевиса-Зингера – издатель «Форвертса» Авраам Каган, и сотрудничавший там же поэт (и переводчик на идиш «Песни о Гайавате») Соломон Блаумгартен.

На этом фоне рассказы Башевиса-Зингера раздражали американских еврейских критиков и большую часть публики своей отчужденностью от об-

щественных проблем. Он же, со своей стороны, считал современную ему американскую идишистскую литературу зараженной мессианскими социалистическими идеями, гуманизмом и сентиментализмом. В своих рассказах он, словно намеренно, задевал самые чувствительные для евреев темы, издевался над традиционным еврейским рационализмом. Вкус критиков оскорблял и подчеркнуто потусторонний смысл произведений писателя, его суеверные местечковые герои, их неистовые любовные страсти. Его «магический реализм» резко отличался от идеализма тогдашней еврейской литературы. В некоторых еврейских литературных кругах Башевиса-Зингера именовали даже «изменником», по названию одного из его рассказов, хотя изменял он лишь привычным шаблонам идишистской литературы. Создавая свой мир, Башевис-Зингер пренебрегал устоявшимися искусственными границами между ученым и простонародным, между законом и преданием, между кодексом—*галахой* и мифом—сказкой—*агадой*. Светские идишисты-рационалисты уличали писателя в вере в духов и бесов, хуже того – в обращении к мрачной языческой мистике, оплодотворявшей в первой половине XX века тоталитарные националистические движения во всем мире.



Много лет спустя в благодарственной телеграмме Стокгольмскому комитету по случаю получения Нобелевской премии Башевис-Зингер писал: «[Нобелевская премия] – чудесный сюрприз не только мне, но и всем читателям на идише». Однако, в действительности, с читателями у него тоже все складывалось непросто. Он очень скоро обнаружил, что в Америке нет той широкой читательской аудитории, к которой он привык в Польше. К тому же он считал ниже своего достоинства писать на «птичьем» языке евреев нью-йоркских, чикагских или бостонских улиц. «Он был в ужасе от состояния языка идиш в Америке», – пишет Илан Ставанс, редактор его собрания сочинений. Первые годы в Америке прошли для Башевиса под знаком тяжелой внутренней борьбы между стремлением остаться верным самому себе и желанием завоевать американского еврейского читателя.

Как ни странно, своеобразным катарсисом для него стала внезапная смерть старшего брата, умершего от сердечного приступа. Освободившись от опеки, от страха, внушаемого необходимостью «писать как надо», он вдруг окончательно понял, что можно писать, как считаешь нужным, и о том, во что веришь. Но было и еще одно обстоятельство. К 1943 году Башевис-Зингер отчетливо осознал, что его былого читателя в Европе уже нет. Одним из первых он постиг чудовищные масштабы Катастрофы европейского еврейства. В августе того года он опубликовал в журнале «Ди цукунфт» («Будущее») эссе «О еврейской литературе в Польше», которое заключалось словами о гибели евреев Польши. И не случайно, что именно в это время, словно осознав, что в Америке он прежнего еврейского читателя не найдет, а в Европе его уже не будет, Башевис-Зингер впервые перехо-

дит на английский язык. И, появившись по-английски, его рассказы сразу же завоевали такую обширную аудиторию, о которой он не смел бы даже мечтать в среде читателей на идише. Из писателя «сомнительного» в собственной среде, осуждаемого чуть не всеми американскими еврейскими критиками и многими читателями, он с годами превращается в символ, с которым мир стал ассоциировать идишистскую литературу XX века.



В начале 50-х годов XX века вокруг нью-йоркского журнала «Партизан ревью» образовалась группа молодых американских евреев-литераторов, получившая позже название «нью-йоркских интеллектуалов». В группу входили такие публицисты, как Натан Глэзер, Даниэль Белл, Ирвинг Кристолл, писатели Сол Беллоу и Филипп Рот. Их занимал поиск самоидентификации и самоопределения в рамках тогдашней американской художественной жизни. Лидером кружка стал Ирвинг Хоу, тогда еще не помышлявший написать «Мир наших отцов» – эту панорамную летопись американского еврейства, книгу в Америке хрестоматийную. Среди прочих своих начинаний Хоу, совместно с еврейским литератором Элиезером Гринбергом, составил и выпустил сборник «Сокровищница идишистских рассказов». В него вошли не только произведения признанных классиков – Шолом-Алейхема, Ицхок-Лейбуш Переца и Менделе Мойхер-Сфорима, – но и авторов, неизвестных за пределами круга читателей на идише. Среди них был и Башевис-Зингер. Несколько позже Хоу опубликовал в «Партизан ревью» повесть Башевиса-Зингера «Гимпл-глупец». Открыв для себя Башевиса-Зингера, «нью-йоркские интеллектуалы» с восторгом восприняли его творчество. Они провозгласили его своим предшественником, предтечей. В то же время, однако, они весьма отличали себя от него. Ведь все они, блистательные представители первого поколения евреев, родившихся в Америке, выпускники самых престижных университетов Новой Англии, выражали чаяния и надежды американского еврейского среднего класса. А главным устремлением среднего американского еврея было стать настоящим американцем. Собственно, он уже таким себя и ощущал. Вероятно, не будь Холокоста, этих американских еврейских интеллектуалов вряд ли занимали бы их еврейские корни, и они едва ли обратили внимание на творчество Башевиса-Зингера.

Людам, вроде Хоу, Беллоу или Рота, и даже таким вдумчивым и мудрым литературоведам и исследователям культуры, как Гарольд Блум или Альфред Казин, казалось, что, осуществляя мечту родителей, они, первые в своем роду *амэриканэр геборэн* («рожденные в Америке» – *идиш*), становятся «как все», стопроцентными американцами. Лишь позже многие из них с удивлением обнаружили, что их локальный еврейский опыт выходцев из еврейских кварталов Бруклина, Бронкса, Бостона или Чикаго отражает весь конфликт великого перелома, становления послевоенного американского общества, управлявшегося от последствий «великой депрессии» и перехо-

дившего в неожиданную реальность «нового блистательного мира» постиндустриального потребительского общества. Подобное уже было за полстолетия до того. Тогда открытые Фрейдом закономерности стали достоянием мировой науки потому, что психологическая дилемма венских евреев оказалась универсальным симптомом перехода к индустриальному обществу, показала, какую цену необходимо платить за буржуазную «современность». От Фрейда до Рота еврейский модернизм соединял в себе безмерную отчужденность и скрупулезный критический интеллект, что и позволило ему определить генеральную линию развития американской литературы.

Поэтому для очень разных американских писателей-евреев, вошедших в литературу в 50-е годы – Сола Беллоу, Филиппа Рота, Бернарда Маламуда и многих других, – Башевис-Зингер стал «литературным предком», своего рода «трогательным дядюшкой из провинции». Но ирония ситуации состояла в том, что Башевис-Зингер продолжал жить и творить рядом с ними, он был их старшим современником и коллегой. И он вовсе не желал быть их «прадедушкой».

Обоюдное творческое влияние, разумеется, происходило. Несомненно, например, что после знакомства с творчеством Филиппа Рота Башевис-Зингер стал более раскрепощенным в своих сексуальных образах, свободней использовал психоаналитические элементы в творчестве. В свою очередь, Филипп Рот ввел Башевиса-Зингера в круг авторов, рецензируемых в «Нью-Йорк таймс Бук Ревью», по сути, определявшего своими оценками рейтинг американских авторов на книжном рынке. Башевиса-Зингера и Рота критиковали, в сущности, за одно и то же: за эгоцентризм, чрезмерную сексуальность, «бесстыдство».

А вот с Солом Беллоу (получившим Нобелевскую премию по литературе за три года до Башевиса-Зингера) писатель, напротив, порвал со скандалом – из-за перевода «Гимпла». Ирвинг Хоу пишет в своих мемуарах, что «нью-йоркские интеллектуалы» хорошо знали идиш, потому что были выпускниками светских еврейских школ и получили образование еще в дореформенную пору, то есть до того, как под давлением сионистских функционеров еврейское образование в Америке отбросило идиш в пользу иврита. Хоу вспоминает, что Сол Беллоу был очень занят и неохотно откликнулся на предложение перевести «Гимпл», однако, в конце концов, пришел, сел за пишущую машинку и заявил, что у него есть время лишь для того, чтобы переводить прямо сейчас, не сходя с места. Перевод был сделан экспромтом, со слуха. Повесть читали по кускам, обсуждали, а Беллоу переводил и печатал.

Перевод с идиша – дело непростое. Сам Башевис-Зингер не раз говорил о том, что идиш – живой, экспрессивный язык, в то время как английский он считал языком скрытным, полным подтекстов и умолчаний. Не случайно те, для кого идиш – родной язык, часто приговаривают: «По-английски (по-русски, на иврите) говорят, на идиш – говорится (*редстэх*)».

Герой повести «Гимпл-глупец» (по-русски его именуют еще Гимпл-дурень) начинает свой рассказ: «*Их бин Гимпл там. Их халт мих нист фар кейн мар*» («Я Гимпл-глупец. Я же не думаю, что я глуп»). Сол Беллоу перевел оба слова одинаково – fool. Но в еврейском тексте герой назван Гимпл-

там – арамейским словом, значащим не только «простак», но и «наивный», а еще «невинный» (в смысле – «невинное дитя»). Слово это ассоциируется с одной из самых популярных еврейских притч из пасхальной «Агады» о человеке, имевшем четырех сыновей – хорошего, злого, простого (*там*) и такого, что не умел спросить. Это же слово связано со знаменитым рассказом замечательного хасидского учителя начала XIX века рабби Нахмана из Браслава о мудреце и простаке. Во втором предложении используется еврейское слово германского корня *нар* – «дурак, фигляр, клоун», точно соответствующее английскому *fool*. При переводе Беллоу упустил различия между *там* и *нар*, пренебрег хорошо знакомыми грамотному еврейскому читателю религиозными и фольклорными нюансами и оттенками всех смыслов слова *нар*.

Однако эта неудачная работа с Беллоу сослужила Башевису-Зингеру добрую службу – она натолкнула его на идею совместного переводческого труда. Писатель читал переводчикам вслух свой текст, небольшими кусками, обсуждал каждое выражение, искал аналоги, тщательно полировал, часто перedelывал характеры и сюжет, приспособливал еврейские рассказы к американскому читателю. Эта работа с переводчиками была подлинным творческим актом. Литературный Нью-Йорк полнился слухами о несносном характере Башевиса-Зингера и о том, как он оскорбляет своих переводчиков. Скандалов не избежали ни известные и самостоятельные – Сол Беллоу, Айзик Розенфелд, Доротеа Страус или Майра Гинзбург, ни покорные и зависимые: Рут Шахнер-Финкель, Эвелин Торнтон, Герберт Лотман, Элизабет Шуб или Розанна Гербер. Из-за этих бесконечных конфликтов Башевис-Зингер так и не нашел «своего» переводчика. И его отношения с редакторами и издателями, его постоянные тязбы и ссоры с ними тоже вызывали вечные толки. Увы, как известно, талант далеко не всегда сопровождается корректностью. А Башевис-Зингер был совершенно «неподконтролен». Он отказывал в пресловутом «эксклюзиве» на свое творчество кому бы то ни было, он всеми правдами и неправдами сопротивлялся любому диктату и закабалению, с удивительным постоянством пренебрегал так называемыми кодами «интеллектуальной собственности». И, тем не менее, его всемирная слава, в конечном счете, засвидетельствовала, что он выбрал правильную стратегию.

В современной книжной индустрии, где так велика роль редакторов, внутренних рецензентов и литобработчиков, Башевис-Зингер сумел найти свой путь. «Авторизованные переводы» писателя стали, по сути, вторыми оригиналами его произведений. Только с английских «авторизованных переводов» писатель позволял делать переводы на другие языки. (Именно поэтому некоторые сделанные в последнее время в России – якобы с идиша и явно вопреки воле писателя – переводы имеют жалкий, топорный вид и даже отдаленно не напоминают подлинные тексты Башевиса-Зингера.)

Исключением стали переводы на иврит, сделанные с идиша сыном писателя Исраэлем Замиром.

Уезжая из Польши, Башевис-Зингер бросил там молодую жену Рахиль с новорожденным сыном на руках. Позже они уехали в Израиль. Сын пи-

сателя вырос в кибуце Бейт-Альфа, перевел свою фамилию на иврит (Зингер на идиш означает «певец», как и Замир на иврите).

В интервью израильской газете «Едиот ахронот» Израэль Замир так рассказывал о своих встречах с отцом в Нью-Йорке:

– Я часто бывал у него дома в районе Централ-парка. Каждый раз он давал мне доллар. Этого, по его мнению, должно было хватить на проезд и еду. Я удивлялся его скупости, но ничего не говорил. Мне было стыдно сказать, что я голоден.

Но, в конце концов, известный скупостью Башевис-Зингер проявил по отношению к сыну поистине королевскую щедрость:

– Понадобилось время, чтобы преодолеть отчуждение, понять, что мир вовсе не черно-белый... Я потихоньку стал читать его книги... Однажды он спросил меня: «Почему бы тебе не перевести что-нибудь мое?»... Мы подолгу сидели вместе... Он читал свои вещи, и мы тщательно, порой часами полировали их, искали нужное слово... пока он не оставался удовлетворенным.



Влияние Башевиса-Зингера на американских еврейских писателей младшего поколения сказалось куда ярче. Некоторые из них – Синтия Озик и Джонатан Сэфран-Фозр – и вовсе сделали его прототипом своих героев. Синтия Озик даже озаглавила свое эссе о творчестве Башевиса-Зингера «Книга Творения» – так называется библейская «Книга Бытия» по-английски, а самого писателя назвала «American Master», по существу, сравнив его с Творцом. Озик, если и известна русскому читателю, то в основном по ее резким произраильским заявлениям. Между тем в начале 60-х она считалась «надеждой американской еврейской литературы», и ее творчество и художественные идеи во многом определили пути в творчестве целого направления еврейских авторов, предвосхитив основные векторы общественной жизни американского еврейства. «Если мы будем дуть в шофар (ритуальный рог, применяемый для богослужений. – М. Д.) по-еврейски, в устье, то наш голос прозвучит громко, – писала Синтия Озик в 1970 году в эссе «К новому языку идиш». – Если же мы будем искать общечеловеческие смыслы, то это будет подобно попытке дуть в широкую часть шофара: нас не услышат вовсе».

Озик призывала к созданию «нового языка идиш» на основе английского, к переосмыслению еврейской литературы как постоянного тела диаспоры, по аналогии с тем, как талмудическая литература стала телом и смыслом иудейской религии за 2000 лет до того.

На тривиальный вопрос: а к какой литературе отнести Башевиса-Зингера – к еврейской, американской или польской? – можно было бы не отвечать, поскольку его книги давно вошли в сокровищницу литературы мировой. Но вместе с тем он, несомненно, еврейский писатель, его произведения несут в себе особый парадоксальный еврейский юмор и то поразительное мировосприятие, которое наш народ пронес через столетия, языки и стра-

ны. Источники его творчества – в мире хасидских легенд, фольклора учеников йешив, народных суеверий. Несомненно также, что «горячими» темами его молодости были Шопенгауэр, Фрейд, Ницше, Кафка, введенные в оборот бессознательное и иррациональное. Иногда говорят еще о влиянии отца – полубезумного еврейского начетчика, вычислявшего точную дату прихода мессии. Башевис-Зингер был современником Гершома Шолема, открывшего миру огромную роль мистических учений в еврейском сознании. Творчество Башевиса-Зингера сравнивали и со сложным символизмом израильского лауреата Нобелевской премии Ш.-Й. Агнона, и с неоязычеством Йоната-на Ратоша и Бердичевского, и с местечковой фантастикой Шагала.

Что касается последнего, рассказывают, что как-то Башевиса-Зингера пригласили выступить в одном из университетов Техаса. Сотрудник университета, приставленный опекать писателя, спросил:

– Мистер Зингер, после чтения вам будут задавать вопросы. На какой вопрос вы любите отвечать? Я бы мог его задать из зала.

– Вы знаете, – ответил писатель, – многие сравнивают мои произведения с творчеством Марка Шагала. Спросите, что я об этом думаю.

Когда пришло время, молодой человек спросил:

– Мистер Зингер, как вы относитесь к сравнению вашего творчества с Марком Шагалом?

– Самый глупый вопрос, который мне когда-либо задавали, – ответил писатель.



И все-таки – был ли он американским писателем?

«Совершенно очевидно, что поначалу Башевис-Зингер не был американским писателем, – пишет Илан Ставанс. – Но он им стал».

Добавим: Башевис-Зингер стал не просто американским автором – он стал, по сути, создателем нового направления в американской литературе. Его можно по праву назвать зачинателем эмигрантской, или, как ее называют в американском литературоведении, «этнической» литературы. Он первым в американской литературе использовал свой родной язык, происхождение, наследие предков, уникальный опыт своего народа для того, чтобы переосмыслить и заново определить магистральное направление американской литературы.

Ошеломляющий успех Башевиса-Зингера на крупнейшем в мире американском книжном рынке открыл дорогу множеству писателей-эмигрантов европейского, азиатского и латиноамериканского происхождения. Они учились у Башевиса-Зингера древнему, идущему еще от Библии и Талмуда еврейскому искусству рассказывать свои истории так, чтобы они приобретали универсальный смысл.

Путь этого писателя, который приехал в Америку, не зная ни единого слова по-английски, а свою Нобелевскую речь, в 1978 году, произнес на

этом языке (хоть и начал ее на идише), воодушевил многих и многих эмигрантских авторов во всем мире. Ведь эмиграция была не только личной судьбой Башевиса-Зингера, далеко не только участью евреев Европы. Сотни миллионов человек во всем мире испытали тяготы эмиграции. И здесь еврейский опыт писателя опять оказался универсальным. Башевис-Зингер раскрыл технологию творчества, указал путь, по которому эмигрантский писатель приходит к иноязычной читательской аудитории. Не случайно, когда дети нашей эмиграции – Алона Кимхи в Израиле, Лара Вапняр, Борис Фишман, Гарри Штейниц в Америке или Дэйвид Безмозгис в Канаде – стали писать, то и они, по сути, вошли в дверь, открытую Башевис-Зингером.



Исраэль Замир, похоже, так и не понял, какой царский подарок получил от судьбы. Он до сих пор тщательно избегает слова «отец» и всячески подчеркивает, что никогда не называл Башевиса-Зингера «папой»:

– По телефону я говорил ему: «Слушай»... Лишь в детстве я начинал свои письма к нему: «Дорогой папа». Он был для нас человеком, живущим в Америке и раза два в год присылавшим в письме два-три доллара.

Отношения писателя с сыном всегда отличали отчужденность и холодность. Как отец, так и сын написали о своей первой встрече – после Второй мировой войны. У Башевиса-Зингера – лукавый, умудренный опытом и не сильно обремененный принципами человек созерцает наивного и самонадеянного, полагающегося на силу прищельца, которому многое предстоит узнать в этом мире. У Замира это встреча 25-летнего «нового израильянина», с высоты своего исторического оптимизма взирающего на смешного, немного жалкого своего отца, олицетворяющего все то, что сионизм призван отменить.

Сегодня Исраэлю Замиру 74 года. И он с горечью замечает:

– Отец был богаче меня... Он продал права на свои произведения, включая экранизацию и театральные постановки, американскому издательству за очень большие деньги... Когда я хотел написать пьесу «Влюбленные и приятные» по его новелле «Двое», то вынужден был обратиться к его американскому издателю. Только потому, что я сын писателя, они согласились оплатить перевод. Иначе театру «Габима» пришлось бы заплатить большие деньги.

Израильский национальный театр «Габима», действительно, не способен был заплатить за постановку Башевиса-Зингера. Этот театр, один из ранних символов сионизма, начинал когда-то в Москве с благословения Вахтангова. Увы, в течение последних пятнадцати лет театр находится в состоянии перманентного банкротства. Зато созданный труппой из Москвы под руководством Евгения Арье театр «Гешер» («мост» – *иврит*), по мнению одних, «самый профессиональный израильский театр», по мнению других – «единственный не местечковый», с успехом ставит пьесы по мотивам Башевиса-Зингера. Постановки «Гешера» с аншлагом прошли в

конце июля 2004 года в престижном нью-йоркском «Линкольн-Сентер» в рамках празднования 100-летней годовщины со дня рождения писателя. Влиятельный критик Лоренс Лопейт в своем ток-шоу на нью-йоркском радио WNYC назвал «Гешер» самым еврейским театром в мире еще и за то, что там не ограничивают себя выдуманными идеологическими и языковыми рамками, а играют на всех наиболее распространенных сегодня языках еврейского народа – английском, иврите и русском.

Символично, что современный стопроцентный израильтянин, профессиональный литератор Исраэль Замир не может согласиться с тем, что он мог что-то унаследовать от идишиста Башевиса-Зингера. Современный Израиль тоже до сих пор не готов к культурному синтезу, не готов признать творчество Башевиса-Зингера, как и всю культуру восточно-европейских евреев, интегральной частью своей культуры. Лишь после получения писателем Нобелевской премии одно его произведение, историческая повесть «Раб», вошло, наконец, в израильскую школьную программу, но и то – лишь в раздел «иностранный литература». Нетрудно понять, почему выбрали именно эту повесть – в ней есть мотив «возвращения в Сион». Но тот скучный «разбор», которому она подвергается в школе, отбивает у израильской молодежи всякое желание читать книги Башевиса-Зингера. Кстати, полные восточно-европейской мифологической и религиозной еврейской символики романы единственного израильского лауреата Нобелевской премии Шмуэля-Йосефа Агнона, писавшего на иврите, израильские школьники тоже читают с трудом.

Это не удивительно. Сионизм создавался на отрицании *галута* («изгнание» – *иврит*), прежде всего идиша, еврейского быта в диаспоре. Всякое еврейское преуспевание в диаспоре рассматривается сионистской идеологией как ненужное, а то и вредное. Тем более когда речь идет о культуре, которую сионизм взялся заменить на израильскую. Еще сегодня фраза на идише в говорящей на иврите израильской компании вызывает приступ какого-то нездорового смеха. Впрочем, Замир, сам писатель, переводчик, бывший заместитель главного редактора органа кибуцного движения «Ал ха-Мишмар» («На посту» – *иврит*), с горечью говорит об отношении к творчеству и личности Башевиса-Зингера в Израиле: «В Нью-Йорке есть улица его имени, в районе, где он жил. У меня же нет достаточного количества денег, чтобы в Израиле назвали улицу его именем».

Особый накал страстей полемика вокруг творчества и личности писателя приобрела после присуждения ему Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе, по уставу присуждаемая лично, на самом деле не раз символизировала всемирное признание не писателя, а литературного яв-

ния, направления, а то и целой национальной литературы. Так было с Пабло Нерудой, и с Александром Солженицыным, и с Иваном Буниным. И поэтому в случае с Башевисом-Зингером многие тоже считали, что премия присуждена не ему, а всей еврейской литературе.

Газеты писали, что в идишистской литературе были и куда более достойные авторы – например, талантливейший прозаик, старший брат писателя Исроэль-Йегошуа Зингер или поэт Яков Глатштейн, проникновенный лирик, мастер и новатор еврейской поэзии. Еврейские критики находили в богатом талантами, зато бедном средствами еврейском литературном мире Америки много других кандидатов на Нобелевскую премию. Некоторые и вовсе писали, что идиш для Башевиса-Зингера не более чем прикрытия, рекламный трюк конъюнктурщика, проходной билет, позволяющий проталкивать порнографические рассказы, эксплуатируя ностальгию американских евреев – заправил литературного мира.

Эта кампания продолжается до сих пор.

«Я глубоко презираю его, – заявила в июне 2004 года 75-летняя Инна Градэ, вдова еврейского писателя Хаима Градэ. – И очень сожалею, что Америка отмечает юбилей этого богохульного клоуна... Я презираю его именно за то, что он попытался затащить еврейскую литературу и иудаизм, американскую культуру и литературу обратно в Моав».

Инна Градэ имеет в виду библейскую страну, где дочери соблазнили патриарха Лота совершить инцест. Хаим Градэ – великолепный писатель, лауреат Пулитцеровской премии 1983 года за состоящий из трех романов сборник «Раввины и женщины», безвременно скончавшись через год после ее получения. В новом издании сборник называется «Святой и простак», что подчеркивает лейтмотив творчества Градэ – конфликт между верой и традицией, критическое исследование базисных конфликтов религиозной жизни.

Выпады Инны Градэ против Башевиса-Зингера, прозвучавшие на церемонии получения ею почетной докторской степени в престижном еврейском религиозном Йешива-юниверсити, аудитория встретила аплодисментами, и в своей ответной речи президент университета, известный исследователь талмудического права профессор Норман Ламм с пониманием заявил: «Были времена, когда литература, даже наша великая еврейская литература захлебывалась в грязи греха, цинизма и легкомыслия, была затоплена зловонными потоками дерьма и воспевала очарование демонического начала и сексуальной распущенности».

В академических и религиозных еврейских кругах до сих пор продолжают считать, что Нобелевская премия по праву должна была достаться Хаиму Градэ. В 2001 году ректор религиозного израильского университета Бар-Илан раввин Эммануэль Рекман и известный манхэттенский адвокат Стивен Вагнер опубликовали эссе, где говорилось: «Увы, Нобелевскую премию получил не Хаим Градэ, а... наихудший из возможных, наименее приемлемый с еврейской точки зрения автор».



Инна Градэ далеко не одинока. Противники творчества почившего тринадцатилет назад нобелевского лауреата и сегодня не оставляют своей критики. «Каждую строчку в поэзии Хаима Градэ, каждый отрывок его прозы одушевляет ответственность за евреев, их историю, культуру, – пишет в "Нью-Йорк таймс" раввин и профессор Аллен Нейдлер. – Ничего подобного я не нахожу, читая Зингера». Рабби Нейдлер, к слову сказать, профессор, руководитель отделения еврейских исследований Университета Дрю, бывший директор исследовательского отдела нью-йоркского еврейского института YIVO и декан Еврейского академического центра им. Макса Вейнреха. Как в старой поговорке: «Два еврея – три мнения», причем каждый претендует на обладание некоей универсальной и единственной «еврейской правдой».

Многие до сих пор не могут простить Башевису-Зингеру, что он никак не укладывается в рамки мифов: не пострадал в Катастрофе, не участвовал в героическом Сопрогивлении, не был филантропом, презирал всякую общественную деятельность, не являл собой образец нравственности или религиозного усердия. У Нейдлера есть свой кандидат на Нобелевскую премию, тоже замечательный поэт: «В то время как Абрам Суцкевер голодал и воевал с нацистами в литовских лесах, под пулями создавая великую поэзию на идише, воспевшую трагическую судьбу евреев, – писал Нейдлер около года назад в "Нью-Йорк таймс", – Зингер баловался сырными блинчиками в знаменитом молочном кафетерии на 72-й улице и размышлял о полях шлюхах и еврейских бесах».

Апелляции к памяти Холокоста вызывают до боли обидные воспоминания. Тем более несправедливы они по отношению к автору наиболее, возможно, пронзительного в современной литературе реквиема по погибшим.

«Я – черт, рожденный засвидетельствовать, что не осталось больше бесов на свете. Зачем бесы, если люди стали бесами? Я... видел... разрушение Польши. Там больше нет евреев, больше нет чертей. Женщины не выплеснут воды на двор в разгар зимы. Никто больше не побойтса набрать четное число предметов. Никто не постучит на рассвете в передней синагоги. Рабби замучили в пятницу, в месяце нисан. Общину вырезали, святые книги сожгли, кладбище осквернили. "Книга творения" вернулась к Творцу... нет больше грехов, нет больше соблазнов!.. Мессия не приходил к евреям, а значит, евреи ушли к мессии. Бесы здесь больше не нужны».

Рассказ этот по-русски назвали «Последний демон», хотя речь идет не о романтическом лермонтовском Демоне или символистском Пане, а о народных бесах и чертях, вроде пушкинских из «Сказки о попе».

Отношение Башевиса-Зингера к теме Холокоста вызывающе отличалось от принятого в американских еврейских кругах. Он не раз касался этой темы, особенно в поздних романах «Враг» и «Тени над Гудзоном». В этих книгах он сравнивает гитлеровские концлагеря со сталинским ГУЛАГом, а коммунизм у него такое же зло, как нацизм. Отношение писателя к Холокосту отличает также особое чувство вины. Писатель винит в

гибели евреев себя, Америку, весь мир. Всеобщая вина, по его мнению, состояла в том, что каждый мог бы помочь, не промолчав. Еще более редкой для еврейского сознания является другая его мысль, выраженная в романе «Тени над Гудзоном»: его герои винят себя в том, что они уцелели.

Даже после смерти Башевис-Зингер не перестает раздражать адептов культа Холокоста. Знарок еврейской литературы раввин Марк Левин из Лондона заметил недавно: «Ожесточенным критикам творчества, а особенно личности почившего... Башевиса-Зингера стоило бы помнить, что еврейская религиозная традиция предполагает волю Господа во всем, что творится в мире. Если Господь допустил всемирную известность этого грешника и сластолюбца, то еще вопрос: кого мы критикуем?»

Как часто бывает, художественная литература предсказывает явления задолго до их возникновения. Еще в 1968 году в повести «Зависть, или Идиш в Америке» Синтия Озик вывела талантливого поэта Эдельштейна (прототипом которого, очевидно, был поэт Глатштейн) и его антагониста, писателя Островера (автор не скрывала, что это слепок с Башевиса-Зингера). Эдельштейн отчаянно жаждет перевода своих стихов на английский язык, чтоб «унести их прочь из гетто!!! Ведь груз молитв, вырывающихся из массовых захоронений, должен как-нибудь уцелеть». Напротив, Островера широко переводят и публикуют. Эдельштейн заявляет в повести: «Это Островер – весь мир, да? Этот пантеист, язычник, *гой!* – восклицает Эдельштейн. – Это он призывает к человечеству, да? А тот, кто призывает к евреям, он что, не призывает к человечеству?»



«Еврейской улице», верней, некоторым ее переулком, как-то не по себе, что Нобелевский комитет, а за ним и мировая культура приняли творчество Зингера и отметили его как представителя еврейской литературы. Евреи далеко не одиноки. Памятна свистопляска вокруг присуждения Нобелевской премии Ивану Бунину. Вокруг него, как и вокруг Зингера, разразилась дискуссия, почти не имевшая отношения к творчеству писателя. Русская эмигрантская пресса утверждала, что премия дана всей ушедшей в изгнание русской литературе. И тогда тоже называли целый список «более достойных кандидатов». И так же издевались над «старческим любованием пороком» в «Темных аллеях», так же по косточкам разбирали непростую личную жизнь великого русского писателя, жившего с женой и любовницей, которые к тому же, поселившись вместе, состояли в лесбийской связи.

Личная жизнь Башевиса-Зингера тоже подтверждает известное правило, что таланту не всегда по пути с нравственностью. Накануне отъезда в Америку он, по сути, и вовсе был, как сегодня бы сказали, жиголо. Да и американский период жизни писателя можно определить емким русским словечком «ходок». Американцы наверно назвали бы писателя каким-нибудь политкорректным словом – например, «сексуально озабоченный». Пи-

сатель постоянно пускался в любовные аферы, был плохим отцом, неверным мужем, ненадежным партнером и скверным работодателем.

Израэль Замир однажды с горечью заметил, что лишь работа над переводом произведений Башевиса-Зингера примирила его с творчеством отца. Но даже она не примирила его с отцом как человеком. Замир отрицает, будто что-то унаследовал от отца:

– Если во мне есть что-то (от отца. – *М. Д.*), – говорит сын писателя, – то только из его книг. Я дважды был в США как посланник Сохнута. Мы встречались с отцом раз в неделю, много времени проводили вместе. У нас создавалась своеобразная близость. Он был большим бабником, и мне часто приходилось его прикрывать, врать, будто бы он находится у меня. Да, между нами была близость, но чисто приятельская, а вовсе не как у сына с отцом.



Светская культура на идише сделала возможной интеграцию еврейской культуры в мировую. Известная лингвистическая теория Сэпира–Уорфа гласит, что каждый язык особенным образом структурирует мир для людей, говорящих на нем. Другими словами, люди видят мир не таким, какой он есть, а через некие ментальные структуры, которые и являются основой мировоззрения и, можно сказать, национальной души. Вопреки расхожим расистским и фашистским идеям, национальная душа передается не через кровь, гены или «коллективное подсознание», а через язык. При этом один из основных принципов современной лингвистики гласит, что словарный запас (глоссарий) и грамматика являются наиболее подвижными и поверхностными слоями языка. Фонетика – более глубинный компонент. Но во французском языке вдруг всплывает древняя галльская фонетика, а фонетика идиша проявляется в речи московского или нью-йоркского жителя. Речь вовсе не идет об акценте. Ментальные структуры, отражающие наиболее глубинные архетипы еврейского национального характера, продолжают жить в тех языках, на которых говорят евреи.

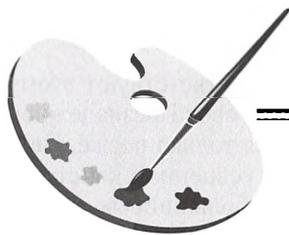
Вот почему так трудно согласиться с иными статьями в современной русскоязычной прессе, утверждающими, будто Башевис-Зингер был певцом еврейского местечка, одним из классиков традиционной идишитской литературы. Это не так. Напротив, его творчество было новаторским, оно соединяло старое, говорившее на идише еврейство с новой реальностью, с новой жизнью, с переходом на новый язык, в совершенно иной мир. Писатель много думал и говорил о проблеме так называемой «смерти языка идиш»:

– Наш язык умирает едва ли не все последние 200 лет. Но правда о нашем языке – это, как правда о еврейском народе: умирая, мы возрождаемся снова и снова.

Умирая в своих носителях, влача жалкое существование в резервациях религиозных гетто, сохраняясь в тиши университетских кафедр, идиш, подобно латыни, сумел возродиться и стать важнейшей частью мировой ци-

визации. Культура идиша стала неотъемлемой частью национальных культур Америки, Канады, Мексики, Аргентины, Польши, Чехии, Словакии, Германии. В Беларусь и Украину, как когда-то в Испанию, приходит понимание того, что иудаика и еврейская культура являются важным формирующим фактором их современной национальной культуры. Идиш живет в городской европейской культуре, в фольклоре и литературе Нью-Йорка, в кинематографии Голливуда. «Смех сквозь слезы», отмечавшийся Горьким как характерный еврейский признак, через сто лет стал нормативом русской культуры – и в этом тоже проявляется возрождение моделей и менталитета людей, мысливших на идише. Этот язык, о котором Башевис-Зингер говорил, что это «язык гордый и не знающий слов войны», стал, несмотря ни на что, важной частью коллективного сознания израильтян. И можно лишь надеяться, что именно идишистская составляющая израильского менталитета не допустит озлобления и скатывания еврейского государства до образа и подobia своих многочисленных врагов.

Для решения спорных вопросов хорошо бы определить то, с чем все или хотя бы большинство спорщиков согласны. Большинство же согласно с тем, что Башевис-Зингер был писателем, привнесшим потусторонний мир еврейских преданий в мировую литературу. Он был писателем школы «магического реализма», подарившим еврейской литературе критического реализма фантастику и сюрреализм. Благодаря творчеству Башевиса-Зингера еврейская назидательная и развлекательная народная литература, гневно отрицаемая ассимиляторскими и сионистскими идеологами, стала достоянием миллионов читателей во всем мире. В общем, Башевис-Зингер, несомненно, по справедливости получил свою Нобелевскую премию. Но его всемирное признание и живой неослабевающий интерес к его творчеству – не только дань уважения к вкладу идишистской культуры в мировую. В самой личности Башевиса-Зингера наглядно воплотился универсальный процесс перехода с одного языка на другой, постоянно происходящий в еврейском народе в течение всей его многотысячелетней истории. И этот уникальный еврейский опыт сегодня стал особенно важен в стремительно меняющемся современном мире, где похожий процесс переживают сотни миллионов. Творчество писателя отразило, а во многом предвосхитило и сформировало новые тенденции этого многокультурного мира, отрицающего иерархию культур, признающего равноправное сосуществование самобытных этнических и культурных единиц. Творчество Башевиса-Зингера продолжает золотую цепь еврейской традиции, предостерегая ее сынов от опасности впасть в фундаментализм, а учителей и поводырей – об угрозе окостенения и догматизма.



Вадим Ротенберг

психиатр, доктор мед. наук, старший лектор Тель-Авивского университета. Автор более 150 научных публикаций и 5 книг (последние – «Сновидения, гипноз и деятельность мозга», «Образ Я и поведение»). Живет в Израиле.

ФЕЛИКС НУССБАУМ КАК ЯВЛЕНИЕ И СИМВОЛ*

Здание музея Феликса Нуссбаума, в соответствии с замыслами архитектора, совершенно выпадает из архитектурного ансамбля маленького университетского городка Оснабрюк. Старый его центр, рядом с которым находится музей, чем-то напоминает городок в табакерке: на его причудливо пересекающихся, но отнюдь не тесных улочках, сплошь уставленных двух-трехэтажными изящными старинными постройками с веселой игрушечной лепкой, царит праздничное спокойствие ленивой умиротворенности, лишь по выходным сменяющееся не суетным, но праздничным оживлением. Утки медленно и торжественно плывут по почти неподвижной реке, вдоль которой тянутся тихие тенистые аллеи, очень узкие, но благодаря густоте нависающих деревьев производящие впечатление широких. Еще более усиливает впечатление игрушечности почти непрерывный звон колоколов многочисленных старинных церквей и сохранившаяся местами городская стена, увитая плющом. Расположенный сразу за стеной, музей Феликса Нуссбаума резко контрастен этой атмосфере. Это гигантский бетонный безглазый ящер, чьи внутренности состоят из непропорционально высоких полостей (их трудно назвать музейными залами), стиснутых чуть ли не обрушивающимися на зрителя стенами тускло-металлического цвета. Они кажутся голыми, несмотря на развешенные картины. Массивные двери из одной сдавленной полости в другую с таким трудом поддаются усилию, что каждый раз закрадывается страх быть замурованным. Больше всего эти

* Репродукции картин Ф. Нуссбаума см. на обложке в конце журнала.

пространства похожи на тюремные камеры или коридоры, ведущие в расстрельные подвалы.

А между тем картины в первых залах совсем не соответствуют этому ощущению предсмертной напряженности – разве что своей безнадежной холодной отчужденностью, но об этом догадываешься только позже. Пейзажи и жанровые сценки написаны в добросовестно усвоенной конструктивистской манере и оставляют равнодушным. Как и большинство произведений, созданных в этом жанре, от ранних картин Нуссбаума остается впечатление отстраненности художника от модели и игры в мертвые слепки реальности, чем-то похожей на игру Кая ледышками в андерсеновской сказке о Снежной королеве.

Аннотация на стене рассказывает, что молодой человек, выросший в благополучной буржуазной семье ассимилированных немецких евреев, рано увлекся живописью, с полного одобрения отца, который и сам писал любительские картины, отдыхая от коммерческой деятельности. Тут же – портрет отца, элегантного щеголя с тонким, слегка надменным и ироничным лицом, в котором неочевидно еврейство, но очень подчеркнута европейская холодноватая светскость.

Молодой художник на автопортретах того времени выглядит твердым и уверенным в себе – или играющим в твердость и уверенность... Есть как бы готовность к примериванию различных масок, заменяющих внутреннюю жизнь внешней. (Чуть позже и впрямь появляется несколько автопортретов – клоунских масок.) Впечатление, что художник и сам к себе относится, как к модели – несколько отстраненно. Есть несколько картин с сюжетами еврейской жизни, но без отождествления с ней. На одной из картин видно, что молодой еврей (прообраз автора) чувствует себя в синагоге отделенным от всего, что определяет еврейство, и держится напряженно, как если бы его пребывание там в традиционном облачении было навязанным и противоестественным, а старый еврей выглядит по контрасту с ним в том же облачении естественным и расслабленным в своей задумчивой ироничности. И обряд еврейских похорон на картине Нуссбаума изображен с той же отстраненностью, с тем же подчеркиванием экзотичности и даже некоторой карикатурности происходящего, чему вполне способствует разъединяющий все предметы и явления и умерщвляющий их стиль конструктивизма.

Эта тенденция отделиться от принадлежности к еврейству характеризовала тогда в Германии целое поколение. Известно, с каким ощущением неловкости и досады смотрели немецкие ассимилированные евреи на внезапно появившихся на улицах городов польских евреев, сохранивших «запах» местечек – эти восточные соплеменники их компрометировали. Еврейская самоидентификация воспринималась как атавизм. Молодежь, обладающая духовным потенциалом, воспитывалась с этим предубеждением и, естественным образом, не искала ответов в еврейском наследии.

Пока я ходил по музею, я почему-то все время думал о том, что, пожалуй, то поколение освободило себя от выхода из рабства, совершаемого евреями каждый Песах.

Биографы художника пишут, что он с ранней юности мучился страхом смерти. Но я позволю себе предположить, что это было что-то вроде страха «не быть» (столь свойственного молодым людям с предпосылками к богатой духовной жизни, но не нашедшим себя). Это страх никогда не найти себя, не испытать той эмоциональной причастности, которая делает жизнь осмысленной и насыщенной; это не боязнь потери, а боязнь не-приобретения смысла, страх уйти прежде, чем будет преодолена пустота в мире и в себе.

Отсюда такая отчужденность от изображаемого на картинах. Словом, если бы музей ограничивался первыми двумя залами, его не стоило бы создавать.

Феликс Нуссбаум уехал из Германии в творческую поездку по Италии как раз накануне прихода к власти Гитлера и на родину уже больше не возвращался. После короткого путешествия по Европе он остановился в Бельгии. Крушение мира уже началось, но оно еще не было связано с непосредственной угрозой жизни и, кажется, не вполне осознавалось. Во всяком случае, картины этого периода написаны в прежнем стиле холодновато-отстраненной метафоричности и отражают не столько непосредственные переживания, сколько стремление их красиво и впечатляюще преподнести. Когда манекен всадника убегает от манекена неправдоподобно розовой лошади, как бы в панике на нее оглядываясь и не замечая впереди манекена смерти, ожидающего его у черного туннеля, символизирующего провал в небытие, – зритель так же бесстрастно, как и художник, воспринимает все эти узнаваемые метафоры. Две уносимые пронзительным ветром фигуры на со всех сторон продуваемом причале впечатляют, но не вызывают подлинной эмпатии – у зрителя, а может быть, и у автора – слишком уж подчеркнута их метафоричность. На картине, посвященной гражданской войне в Испании, «Жемчуга (Печалющиеся)», лицо юноши и впрямь выражает мертвенно-трагическую безысходность – но впечатление это тут же смывается слезами женщины, к которой он беззащитно прижимается, ибо эти красивые слезы, скатываясь со щек, превращаются в крупные жемчужины ее ожерелья, и все опять оказывается игрой в символы. А рядом спокойные жанровые сценки – торговки рыбой, художник с натурщицей, и сценки эти имеют преимущество достоверности, а уже начавшееся крушение мира остается пока абстракцией и метафорой. Да, вероятно, так они тогда и жили и так себя чувствовали, эти обреченные, но все еще благополучные европейские евреи...

Но Катастрофа свершилась – немцы ворвались в Бельгию, и бежать больше было некуда. На Нуссбаума была объявлена охота.

И тут появляются другие картины. Художник больше не думает о про-

изведенном впечатлении, не рядится в маски. Он живет и чувствует – за себя и за всех, таких же, как он.

...В совершенно пустой комнате на стуле, спиной к зрителю, сидит человек, в отчаянии охвативший голову руками. Рядом со стулом стоит портфель. Человек готов к уходу. Очевидно, что в этой комнате со стенами, пустыми, как слепые глазницы, оставаться нельзя. На столе, тоже пустом, стоит старый глобус – и видно, что он уже хорошо изучен, осмотрен со всех сторон. Бежать некуда. И стоишь перед картиной с ощущением, что это тебе уже некуда бежать. Я не припомню картины, которая с такой силой передавала бы чувство безнадежности.

...Высокий и худой почти до прозрачности, бедно одетый еврейский юноша стоит на углу пустой улицы, озаренной странным тревожным светом, падающим сзади и сверху. Это не закат – это отсвет гигантских печей крематория. Скорбь, обреченность и отрешенность в этой позе, в этом выражении лица и в этом взгляде не дают зрителю взглянуть на юношу со стороны – ощущение, что стоишь рядом с ним или что ты сам – этот юноша. И никакой символики.

После оккупации немцами Бельгии и Франции Феликс Нуссбаум оказался в лагере для перемещенных лиц, из которого ему вскоре удалось бежать. Впечатления от лагеря нашли отражение в нескольких картинах. Все оттенки отвращения, горя, отчаяния и апатии представлены в выражении лиц и в позах узников лагеря на картине 1942 г. Поражает также полная взаимная отчужденность узников при очевидной общности судьбы. Каждый застыл в своей муке безнадежности, и впечатление, что никто никого не видит. Ощущение распада и краха подчеркнуто смятым и оббитым колючей проволокой глобусом без материков, одиноко торчащим на пустом столе.

Место пребывания узников совершенно безжизненно. Оно, как пустыня. Не по такой ли пустыне Моше вел народ свой, тех, кто так боялся уйти из Египта, тех, кто чуть было не предпочел живому Б-гу золотого тельца?.. И, может быть, в первом, исчезнувшем поколении многие, следовавшие за ним, испытывали чувства, сходные с теми, что испытывают персонажи картины. Но у тех была впереди Земля обетованная, а этот клочок пустыни обнесен колючей проволокой, и нет Моше, и некуда идти. И не будет других поколений.

Тема распада и смерти постоянно врывается в последние картины Нуссбаума, но, в отличие от его ранних работ, эти насыщены переживаниями, передающимися зрителю. Там, в ранних картинах, был холодный, липкий и не вызывающий сочувствия страх «не быть», обозначенный условными символами, здесь же – настоящий страх утраты внезапно обретенной жизни со всей ее трагичностью.

Вот «Еврей у окна», в позе его и выражении лица та безнадежность, которая не оставляет места даже отчаянию. Это предсмертная безнадежность человека, который знает, что он теряет, с полной погруженностью в себя и

без малейшей надежды на сочувствие и помощь. Автопортрет с Марианной абсолютно полярен упомянутой картине «Жемчуга (Опечаленные)». На «Жемчугах» печаль, выраженная в мимике, безжизненна, глаза женщины и мальчика пусты, а превращающиеся в жемчуга слезы неестественны. А на автопортрете с Марианной художник и девочка заброшены в пустом и темном мире, где нет ничего, кроме сломанного фонаря, освещающего обрывок газеты. Мужчина нежно и крепко прижимает к себе напуганную, потерянную девочку, и в глазах его мольба, отчаянье, готовность... и полная невозможность защитит. Картине веришь сразу и безоговорочно.

На автопортрете с еврейским паспортом глаза затравленного, обреченного человека, но – и это поразительно – нет ощущения сломленности и униженности. Художник сознает и принимает свою судьбу, но и во взгляде и в складке губ есть какое-то горькое достоинство, поднимающее загнанного и бесправного над его преследователями. То же на автопортрете у мольберта (1943) – поворот головы и напряженный взгляд передает ощущение силы и готовность к сопротивлению, обретенные за счет пронзительного видения беспощадной реальности.

Неужели нужно было подойти к последнему краю, чтобы появилась эта яростная сила, эта способность к сочувствию, это чувственное ощущение мира? Чтобы осознать себя, свою подлинную духовность и свою еврейскую принадлежность?.. Неужели этому прозрению перед гибелью так и суждено повторяться из поколения в поколение, никого ничему не научая?..

Музей Нуссбаума – это история пробуждения человека к жизни на грани гибели, это обретение личностной и национальной самоидентификации в тот самый момент, когда уже все потеряно...

Ты выходишь из музея и по спокойно-праздничному Оснабрюку идешь к синагоге. И попадаешь в ту же атмосферу холодной напыщенности, пустоты и безжизненности, из которой Нуссбаум вырвался, только соприкоснувшись с Катастрофой. Даже в праздник Рош ха-Шана благополучные деловые евреи собираются в этой синагоге всего лишь для исполнения ритуала, никого всерьез не затрагивающего, и поспешно расходятся по своим делам. Они отчуждены друг от друга и от синагоги, и от духовной жизни, и вообще от всего живого, как будто сошли с ранних картин Нуссбаума. Они еще свободны от выхода из рабства, требующего напряжения духовных сил. Все повторяется?..





доктор философии и политологии, китаевед, писатель, автор ряда статей по социологии и истории. Живет в США.

ТРИ КИТА АЛЕКСАНДРА КОЖЕВА: НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ И ПОДТЕКСТЫ

1. В тени великих книг

В истории философии бывают фигуры, значение которых становится понятным далеко не сразу и только задним числом. Русско-французский философ Александр Владимирович Кожевников (1902–1968), вошедший в интеллектуальную историю Франции под именем Александр Кожев, безусловно, принадлежит к их числу. Как один из фундаментальных философов XX века он стал привлекать к себе внимание только в конце 80-х и в 90-е годы, особенно в связи с публикацией статьи Френсиса Фукуямы о конце истории, которая в значительной степени была построена на экспликации его идей. В последние годы жизни Кожев служил чиновником в Министерстве экономики Франции, а в сфере философии был больше известен не как оригинальный мыслитель, а как автор интересных и неожиданных интерпретаций «Феноменологии духа» Гегеля. В жизни он оставался в тени – в тени великих книг и великих людей. Само его творчество сложилось как комментарий к чужой старой книге, да и тот он не собирался публиковать.

В сравнении с другими русскими философами Кожеву повезло значительно больше – не только в плане славы, но и во многих других аспектах его, в том числе и посмертной, судьбы. Россию он покидает в 1920 году почти добровольно. Как отпрыск «эксплуататорских классов» – Кожев происходил из потомственных московских купцов – он не мог продолжать обучение в России и вынужден был выехать за границу.

В 1925 году он защищает докторскую диссертацию по религиозной философии Владимира Соловьева в Гейдельберге под руководством Карла Ясперса¹. В 1926 переезжает в Париж, где сближается с левыми евразийцами, в особенности с Львом Карсавиным, религиозным философом и историком-медиевистом. В «Евразии», газете левых евразийских еретиков, которую подозревают в связях с ГПУ, появляются некоторые написанные им передовицы, не всегда, впрочем, подписанные.

В 30-е годы он собирает на свой знаменитый семинар всю литературно-философскую элиту Франции. Французская феноменология, сюрреализм, постмодернизм, феминизм² и, в значительной степени, французский психоанализ³ вышли из кожевниковских лекций по «Феноменологии», как русская литература из гоголевской «Шинели». Именно с этих кожевниковских лекций начинается роман французской мысли с немецкой философией, роман, который затянулся на несколько десятилетий и лёг в основу многих позднейших постмодернистских концепций. Идеи Мориса Бланшо о «последнем человеке», концепции «бессмысленной негативности» и «суверенности» Жоржа Батая, идея «смерти человека» Мишеля Фуко, рассуждения о столкновении и диалектике полов Симоны де Бовуар имеют своей точкой отсчёта лекции в Высшей школе практических исследований. Многие идеи Жана-Поля Сартра из «Бытия и ничто» – в частности, его интерпретация диалектики «в-себе» и «для-себя» – навеяны комментариями Александра Кожева, а его известное эссе о еврее и антисемите представляет собой интересную проекцию кожевниковской дискуссии о господине и рабе⁴. Жак Лакан считал Кожева своим единственным учителем, и многие его поправки к психоанализу – в частности, его интерпретация «желания желания» – инспирированы лекциями Кожева. Позднее многие идеи русско-французского мэтра начинают жить своей жизнью, часто выступая в совершенно некожевниковских или не совсем кожевниковских интерпретациях. Так, можно говорить в этом контексте о теориях «миметического желания» Рене Жерара, идеях о связи смерти и литературы сюрреалиста Мишеля Ляйриса, концепции власти и авторитета католического священника Гастона Фессара, идее «смерти автора» у Ролана Барта, если иметь в виду только менее очевидные и более спорные его французские влияния. Можно сказать, что французские интеллектуалы в буквальном смысле растащили «Введение в чтение Гегеля» на свои собственные теории и цитаты задолго до того, как сюрреалист Раймон Кено уговорил Кожева опубликовать лекции отдельной книгой.

Следующей важной вехой в биографии Кожева стала его работа в качестве чиновника в правительстве де Голля и в Министерстве экономики Франции. В то время к философии относились ещё на полном серьёзе и могли доверить философу чиновничий пост, что и было сделано по рекомендации одного из его учеников. Здесь его незначительная должность ознаменовалась участием в строительстве континентальной европейской империи и поддержкой ряда голлистских антиатлантических и антибри-

танских инициатив – отказ Великобритании в членстве в ЕЭС, сдерживание НАТО, флирт с правительством Хрущёва. К этому времени относится его развернутый меморандум по поводу принципов внешней политики и дипломатии Франции⁵. Позже Кожев станет одним из главных архитекторов новых политических и экономических институтов – Европейского союза и Всеобщего соглашения по тарифам и торговле. Многие наблюдатели и знатоки французских кабинетных интриг считали его «серым кардиналом» в правительстве Жискара д'Эстена, а во время одного из визитов в США вышестоящие коллеги по министерству представили его Генри Киссинджеру как Флобера, по отношению к которому они выступают только как литературные персонажи⁶.

Накануне Второй мировой войны Кожев напишет «вождю народов» Иосифу Сталину 200-страничное письмо, воображая себя Гегелем, предлагающим поддержку Наполеону. На него он так и не дожждётся ответа⁷. Письмо, вероятно, было сожжено прямо в посольстве или бесследно исчезло в бездонных архивах Лубянки. Скоро он будет оплакивать смерть Сталина.

В 60-е годы идеи Кожева оказывают заметное влияние на некоторых радикальных представителей франкфуртской школы (например, на идею «одномерного человека» у Герберта Маркузе) и через них – на левое молодежное движение. Заметим в скобках, что сам он отнёсся к событиям 1968 года вполне скептически, назвав студенческую революцию «пародией» и «жалкой клоунадой»⁸. Позже идеи Кожева обретут новую жизнь в идеологии американских неоконсерваторов, учеников и последователей Лео Штрауса, которые сегодня занимают ключевые позиции в администрации Джорджа Буша-младшего. С самим Лео Штраусом он подружился еще в Берлине в 20-е годы⁹. Ближайший ученик Штрауса, профессор Чикагского университета Аллан Блюм в течение многих лет ежегодно приезжает из Америки на консультации с парижским мэтром. Тот находит время поговорить с ним о судьбах мира и конце истории в перерывах между своими экономическими делами. Много позже Блюм напишет предисловие к американскому изданию кожевниковских лекций, где назовёт их «одной из немногих величайших философских книг XX века». Наконец, популяризованные идеи Кожева находят свою дорогу к массам через книгу Френсиса Фукуямы, ученика Блюма, которая теоретически подвела итоги холодной войны с точки зрения американских правых¹⁰.

Кожев умирает в июне 1968 года прямо во время своего выступления по вопросу о тарифах на одном из заседаний ЕЭС в Брюсселе.

Таковы внешние вехи биографии Кожева, но главным в его жизни, видимо, всегда оставался мир идей, к которым мы сейчас и перейдём.

В своей статье я попытаюсь ответить на два вопроса. Первый из них связан с аутентичностью фукуямовской популяризации идей Кожева о конце истории. Второй будет касаться идейных источников его концепции. В том числе мы рассмотрим вопрос о том, имеет ли смысл говорить о русском элементе в учении Кожева или русское происхождение пророка конца

истории представляет собой только случайность рождения. Вторая точка зрения явно предполагается во многих западных биографиях Кожева, где Россия обычно упоминается только на первой странице¹¹.

2. Желание, Фукуяма и коллапс СССР

У Фукуямы «конец истории» предстаёт как явление всецело положительное. Он не концентрируется на «темных» и двусмысленных сторонах этой темы. Этой безоблачности нет в лекциях самого французского мэтра. Подобно Максу Веберу, Кожев видел в либеральной современности не только пряник, но и «железную клетку». Фукуяма не вполне осознает, что ключ к пониманию идеи конца истории – это идея «смерти человека», а не наоборот. История кончилась не из-за коллапса Советского Союза, а из-за смерти человека. Не случайно в центре кожевниковской антропологической интерпретации гегелевской «Феноменологии» встаёт категория Желания. В метаболизме человеческого существования, замечает философ в начале своих лекций, Желание занимает то же место, что и пища в метаболизме животного.

Кожев пошел дальше Ницше. Умер не только Бог, но и сам человек. Человечность связывается у него с негативностью и неудовлетворенностью. При этом речь идёт как бы о двух типах негативности: негативности раба, который «отрицает» природу в процессе своей орудийной деятельности (человечность по Марксу), и негативность господина, который «отрицает» страх смерти в ходе противостояния врагу в военных действиях (человечность по Хайдеггеру). Раб противостоит внешней природе; господин противостоит инстинкту самосохранения, природе внутри самого себя. Труд и война – вот необходимые составляющие человеческого существования, согласно Кожеву. С их исчезновением история прекращается. В ходе человеческой истории раб добивается всеобщего признания, господину больше некому противостоять – у него не остается внешних врагов, – и он сходит с подмостков истории. Наступает эпоха скуки, всеобщей удовлетворенности, всеобщей сытости и всеобщего признания всех всеми. Умирает само Желание престижа, которое выходит за рамки всех мелких желаний и которое движет маховики истории. Со смертью Желания умирает и человек как нечто отличное от природы. Дуализм сменяется чистым натуралистическим монизмом. Отсутствие необходимости рисковать жизнью и трудиться в поте лица вгоняют человека в животное состояние. «Конец истории есть смерть Человека в собственном смысле слова. После этой смерти остаются: живые тела, имеющие человеческую форму, но лишенные духа, то есть Времени или творческой мощи; Дух существует эмпирически, но лишь в формах неорганической, неживой реальности – например, книг».

В противоположность Фукуяме, Кожев считает, что история кончилась задолго до падения Советского Союза. Она кончилась уже в Йене в 1806 го-

ду, куда триумфально входили войска Наполеона и где Гегель переживает более глубокий кризис, чем князь Болконский в Аустерлице. Подобно Хайдеггеру, Кожев считал СССР метафизическим близнецом Америки. Обе страны стремятся к одному и тому же идеалу – обществу всеобщего равенства и взаимного признания. Они расходятся только в выборе средств достижения цели. Но идеалы обеих стран одинаково анималистичны. Падение СССР не могло бы стать для Кожева всемирно-историческим событием. Ему также был бы чужд американский патриотизм Фукуямы. Он даже полагал, что Соединенные Штатами Америки воплощают анимализм современности в особенно ярком виде¹².

Французский философ гораздо более ностальгически, чем Фукуяма, смотрит на ценности «человеческой эпохи». Вместе с человеком умирают дифференцированное сословное государство, репрезентативное искусство, философия и рыцарские ценности. На смену дифференцированному государству господ и рабов приходит гомогенное государство равных. Фукуяма, конечно, тоже сожалеет о том, что в современном обществе мало места великим личностям. Но он не прочь предоставить «господам» экономическую нишу вместо военной или политической, чем он отчасти и импонирует неоконсерваторам. Американская политика не нуждается в Наполеонах, но они нужны американскому бизнесу. Кожеву вряд ли бы импонировал такой профанический образ господина. На смену национальному искусству, искусству представления и образа, приходит абстрактное искусство. Это космополитическое искусство, начатое акварелью Василия Кандинского, родного дяди Кожева (идея об искусстве Кандинского как искусстве «конца истории» проводится в его специальной статье и в его переписке с художником)¹³. На смену философии приходит эпоха Мудрости или абсолютного знания. Философия как квинтэссенция культуры – явление классовое, а именно – аристократическое. Как форма сознания она в равной степени враждебна и пролетариату, и буржуазии, «ведущим силам современности». Этот пессимистический взгляд на «диалектику Просвещения» оказался очень привлекательным для французских постмодернистов.

Таким образом, в противоположность нарочитому и несколько сомнительному либерализму Фукуямы кожевниковская позиция подчеркнута антилиберальна. В Кожеве, гегельянце и поборнике марксизма, остаётся очень много тоски по аристократическому началу и немало презрения ко всем проявлениям буржуазности. Сразу после войны французский философ приехал с лекциями в Германию. На вопрос о том, что бы он еще хотел успеть сделать перед отъездом домой, он без колебаний ответил, что хотел бы поехать в Плеттенберг, чтобы увидеться с опальным философом и юристом Карлом Шмиттом (1888–1985). В ответ на недоуменные взгляды пригласивших его профессоров – Шмитт был придворным юристом Третьего Рейха и даже предстал перед Нюрнбергским судом за сотрудничество с нацистами – Кожев отвечал, что Шмитт это единственный человек в Европе, с которым есть о чем поговорить¹⁴.

В связи с симпатиями к Шмитту, а также в связи со шпионским скандалом во Франции, интересно рассмотреть вопрос о квалификации политических взглядов Кожева, вопрос, который продолжает вызывать оживлённые споры среди специалистов по французской интеллектуальной истории. Эти споры приобрели особую остроту в связи с недавними заявлениями французских спецслужб о многолетнем сотрудничестве Кожева с советской разведкой. На страницы мировой печати эта новость впервые попадает в конце 1999 года¹⁵.

Шпионаж в пользу Советского Союза, «коллорационистская» статья 40-го года, написанная накануне фашистской оккупации Франции, а также поддержка политической тирании, особенно ярко запечатлённая в переписке со Штраусом¹⁶, заставили некоторых современных комментаторов говорить о политическом оппортунизме Кожева и его интеллектуальной безответственности. В общем хоре даже раздались кликушеские голоса о том, что с разоблачением Кожева марксистская парадигма в философии себя окончательно исчерпала и скомпрометировала. После разоблачения последнего незапятнанного «несоветского» марксиста, считают критики, честный человек больше не может мыслить марксистскими категориями. Буквально через несколько лет после шпионского скандала в США на полях политической жизни стали появляться идеи о «синархистском фашизме» Кожева. Так, Линдон Ларош (Lyndon LaRouche), видный американский политический деятель, впрочем, маргинального образца, и его последователи отводят Кожеву важнейшее место в родословной идеологии американской «фашистской империи». По мнению членов политической секты Лароша, именно Кожев и его «синархистский» проект лежат в основе идеологии «превентивной войны» американских «ястребов» и их идеи единой тиранической «фашистской диктатуры» и мирового правительства. Дик Чейни и клика «птенцов» Штрауса, согласно этой теории, как будто бы опирающиеся на данные американской разведки, пересадили «европейский империализм» и бонапартизм Кожева на американский континент¹⁷. Кое-где откровения Лароша опасно приближаются к теории еврейского заговора – многие птенцы гнезда Штраусова, как и он сам, – евреи.

Реальных оснований для обвинений Кожева, впрочем, в репортажах почти нет – в них очень мало конкретики. Характер его сотрудничества с советской разведкой остаётся совершенно непрояснённым. Известно, что в Москве все эти годы жила его мать, и на него вполне могли оказывать давление, пользуясь этим. Сама его философия истории также не даёт достаточных оснований для той идеологической тени, которую бросают на него последние разоблачения. Несмотря на те действительные изменения, которые претерпевали его политические позиции, они оставались во многом последовательными и развивались в рамках единой парадигмы. По характеру своего мировоззрения он был крайне далёк как от идеологического доктринёрства сталинского образца, так и от идей нацистского круга. Его восхищение Сталиным было историко-политическим, а не личным. Так, хорошо знавший Кожева французский социолог Раймон Арон считал, что

по своей психологии он был типичным «белоэмигрантом». Его симпатии и сотрудничество с движением Сопротивления были также мало совместимы с нацистскими идеями. Высказывания и статьи Кожева, которые могут интерпретироваться как сталинистские или «коллорационистские», вытекали не только из его любви к парадоксам, но и из некоторых его фундаментальных философских позиций.

Современное государство требует новой формы для своего воплощения: оно должно превратиться из национального государства в империю. Мировые многонациональные империи подготавливают переход к гомогенному однородному государству. В современном мире философ находил потенциал для трёх таких империй: Англо-Саксонской, «Славянско-Советской» и Латинской¹⁸. В нацистской Германии он видел, по-видимому, первый неудачный набросок всеевропейской империи, или Соединённых Штатов Европы, который постепенно должен переродиться и приобрести более сообразные и исторически оправданные очертания. Вспомним, что таким же образом левые евразийцы, с которыми когда-то сотрудничал Кожев, ожидали неизбежного перерождения Советского Союза из большевистского в евразийское государство.

Все эти «тёмные» идеи и парадоксы Кожева, по сути, вдохновлены гегелевскими идеями о хитрости мирового разума. Мировой дух действует и достигает своих целей через любые медиумы, даже через те, которые совершенно враждебны его замыслам и логике. Дух вовлекает в своё телеологическое движение и восхождение даже совершенно чуждые ему массы и социальные стихии. Поэтому, замечает он, Генри Форд является, по сути, «единственным подлинным марксистом». «Нет Бога, кроме Маркса, а Генри Форд – пророк его». Так, вопреки своим собственным стремлениям и амбициям, антикоммунист и отец суперкапиталистического предприятия, да к тому же ещё и антисемит, становится инструментом осуществления марксистской социальной утопии. Фордовские методы управления, с точки зрения Кожева, реально приближали коммунистическое гомогенное государство. У него вообще был вкус к сюрреалистическим соположениям контрастов в истории и политике. «Для меня символом будущего является Молотов в ковбойской шляпе», – пишет он в одном из своих писем Шмитту.

После 1948 года Кожеву становится окончательно понятно, что духом конца истории веет из Вашингтона, а не из Москвы. Англо-саксонские методы снятия государства в пользу гражданского общества оказываются наиболее успешными как по сравнению с наполеоновскими методами «тотальной победы в тотальной войне», так и по сравнению с марксистскими методами прорыва в «царство свободы». Коммунистическая Москва – это только смутное эхо, большевистская маска Наполеона. Наполеон был разгромлен в Бородино лишь для того, чтобы вернуться назад в Москву в красном сарафане русской революции. Сталин – это новая «красная» инкарнация Наполеона. Конец истории – всюду. Пламенем конца уже охвачен Китай, куда универсальная доктрина Наполеона сначала пришла в комму-

нистической шкуре ягнёнка. «Китайская революция – это не более чем введение наполеоновского кодекса в Китай», – скажет Кожев незадолго до своей смерти. Но не вся Азия так безнадежна и неоригинальна.

В 1958 году Кожев едет по дипломатическим делам в Японию и обнаруживает там в нетронутом виде альтернативу европейскому пути развития. Теперь единственным способом спасти человечность и господскую мораль он считает японизацию. Кожев полагал, что «снобизм», который чудом сохранился и выжил в самурайском кодексе чести, несмотря на отсутствие военных конфликтов, оказался спасительным для японцев. Готовность встретить смерть и презрение к жизни – вот отличительные черты самурайского этоса. «Каждый японец, – писал французский философ, – в принципе способен совершить абсолютно немотивированное самоубийство из чистого снобизма»¹⁹. Фукуяма был не единственным японским поклонником идей французского философа. В 1967 году в Токио известный писатель Юкио Мишима, почитатель Кожева, совершил своё знаменитое харакири в знак протеста против жизнепоклонства «новых японцев» и тенденций американизации, которые постепенно подтачивали традиционные японские рыцарские ценности, которыми так восторгался парижский «властитель мысли». Он подтвердил тем самым диагноз своего русского наставника²⁰.

3. Об интеллектуальных влияниях и пересечениях

Нет необходимости говорить, что спекуляции, которые Кожев с успехом выдавал за гегелевские, имели не так много общего с реальными идеями автора «Феноменологии». Хорошо известно и не подлежит сомнению значительное влияние Хайдеггера и Маркса на его виртуозные интерпретации Гегеля.

Некоторые исследователи также указывают на связь кожевниковской антропологии с метафизикой Канта²¹. Действительно, Кожев, как и Кант, подчёркивает дуализм природного и человеческого миров, мира необходимости и мира свободы. В этом пункте он определённо предаёт гегелевскую диалектику, которая не выносит дуализма. Подобно Канту, французский философ также указывал на неизбежность разрешения человеческой истории во «всеобщем мире». У Канта, кстати, можно даже найти некоторые высказывания гораздо более в духе кожевниковской и хайдеггеровской антропологии, чем то позволяет предположить хрестоматийный образ Канта – пацифиста и апологета «всеобщего мира». В «Критике способности суждения» Кант делает весьма любопытное наблюдение, касающееся противопоставления воина и торговца, которое имеет интересные импликации для концепции всемирной истории. «Даже в самом цивилизованном обществе, – замечает Кант, – остаётся это исключительное уважение к воину... Можно сколько угодно спорить о том, кто заслуживает больше уважения – политик или полководец, эстетическое суждение решает вопрос в пользу последне-

го. *Война*, если она ведётся правильно и со строгим соблюдением гражданских прав, содержит в себе нечто *возвышенное* и в то же время делает образ мыслей народа, который так ведёт войну, тем более возвышенным, чем *большим опасностям он подвергается*... Напротив, продолжительный мир обычно делает господствующим один лишь дух торговли, а вместе с ним низменное своекорыстие, трусость и изнеженность, а также снижает образ мыслей народа»²². В этом небольшом пассаже мы находим многие элементы кожевниковской антропологии – интерес к эстетическому изменению истории, вера в особую мистическую связь войны с проявленностью истинно человеческого начала, преклонение перед риском жизнью и презрительно-снисходительное отношение к экономической стороне существования, особое внимание к которой ассоциируется с разлагающим периодом мира, коммерцией и «концом истории». В нравственном развитии человека и целого народа финансовый риск – единственный допустимый тип риска в буржуазном обществе – никогда не сможет заменить аристократического и возвышенного риска жизнью, которому подвергает себя господин в ходе военных действий.

Жульен Фройнд, французский ученик Карла Шмитта, говорит о Кожеве как об одном из важнейших проводников влияния Шмитта во Франции²³. Эта параллель особенно важна в связи с ренессансом интереса в мире к почти забытой после войны личности и идеологии Шмитта. Особую актуальность его интеллектуальное наследие приобрело сегодня в идеологии антиглобалистов, противников гуманитарных интервенций и современных русских неоевразийцев. К его имени также часто вызывают критики новоамериканского империализма, утверждая, что последний опирается на шмиттовскую концепцию «чрезвычайного случая». Шмитт учил о закате государства в современном мире и с брезгливостью отзывался о новом экономическом порядке, который задушил политическое измерение мира и пространственную идентичность человека. Его идее «чрезвычайного случая» приписывают легитимизацию прихода Гитлера к власти²⁴. Многие идеи Шмитта действительно весьма созвучны философии истории Кожева не только в контексте его трактовки политического начала в перспективе «друг–враг», но и в связи с позднейшими идеологическими конструкциями последнего. Тезис о влиянии Шмитта, впрочем, кажется требующим важных оговорок и пояснений. Во-первых, Кожев знакомится и сближается со Шмиттом только в 50-е годы, когда все его основные работы уже написаны. Во-вторых, Шмитт сам исходит из антропологии Хайдеггера, как и Кожев. Наконец, в-третьих, идеи о пространственной идентичности и победе экономического начала над политическим явно проникли в кожевизм из совершенно других источников. По всем этим причинам стоит говорить не столько о влиянии, сколько о созвучиях и пересечениях Кожева с Карлом Шмиттом. Сам Шмитт считал личное знакомство с Кожевым «великим событием осени моей жизни».

Из сохранившейся переписки между ними, которая регулярно велась с 1955 по 1960 год, явствует, что Кожев с симпатией относился к геополити-

ческим прозрениям немецкого юриста, впервые сформулированных им в «Номосе Земли» и в «Земле и Море», и с восхищением отзывался о многих других его идейных построениях, хотя далеко не всегда их разделял²⁵. Так, в переписке он с восторгом отзывается о его категориях господствующих политических «стихий» современного мира, но считает, что все его политико-мифологические конструкции носят вполне исторический и описательный характер и неприменимы к анализу современности. В современном мире, пишет Кожев в своём ответе на письмо Шмитта, конфликт «земли» и «морья» снимается в «воздухе», который нейтрализует метафизический конфликт и никак не связан с военными столкновениями и воздушными бомбардировками. Он, впрочем, соглашается со Шмиттом в том, что государство выполняет сегодня чисто административные функции обмена и перераспределения, а политика больше не ставит проблем престижа и не выходит за рамки чисто полицейских функций. Политика же в собственном смысле слова, политика, предполагающая вражду людей, полностью «снимается» и поглощается гражданским обществом. Таким образом, Кожев и Шмитт соглашаются во многих пунктах. Они сходятся в своём скептицизме по поводу моралистической оценки истории и политики, в понимании экспансии экономики, роли современного государства и перспектив возникновения федераций и конгломератов государств, которые должны вытеснить анахронизм национального государства. Оба определяют политику не как сферу компромиссов и переговоров, а как сферу жизни и смерти, где идёт непримиримая борьба между суверенными государствами, жизненными мирами, между рабом и господином. Уже в 20-годы Кожев выражал сожаление в том, что «целые области утрачены автономной политикой и перешли в безраздельное ведение экономических сил и финансовых центров»²⁶. Они расходятся, однако, в оценке будущей исторической перспективы и в понимании природы конфликтов. В отличие от своего коллеги, Шмитт считал «умиротворение» мира совершенно невозможным.

Помимо и сверх всех этих очевидных и полуючевидных немецких влияний, можно говорить и о русской нити в мировоззрении Кожева. Русская идентичность Кожева, конечно, гораздо более проблематична, чем русскость многих других иммигрантских русских писателей. Александр уехал из России восемнадцатилетним юношей, и можно предположить, что интеллектуально он сформировался уже в Германии и во Франции, а не в России. Ко всему прочему, у него трудно найти какие-то специфически русские темы и проблематику. Нет у него и тяжеловесного риторического русского философского стиля. Не случайно, он не занял никакого места в процессе возрождения русской философии в посткоммунистической России. В собственно русскую философию он вмешался только один раз, благословив высылку большевиками корабля с русскими философами на борту. Сочувствуя пассажирам парохода, он, тем не менее, считал, что Советской России надо выработать новый «евразийский» философский язык, для создания которого старые профессора представляют только обузу²⁷.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, мне кажется, есть все основания говорить о русском шлейфе в его идеологии. В известном смысле своими размышлениями о конце истории он продолжает традиции русской историософии, в особенности апокалиптическое направление в русской литературе рубежа веков, к которому принадлежали, в частности, такие разнообразные писатели, как Мережковский, Нилус, Соловьев и Федоров. Его мысли весьма созвучны предчувствиям этих мыслителей о скором приходе нового типа человека – «грядущего хама». Несомненна связь его концепций с идеями Константина Леонтьева о «сытой мещанской Европе», потерявшей огонь византийской негативности, и с концепцией апокалипсиса в «Трех разговорах» Владимира Соловьева²⁸. Соловьев называет последний акт исторической трагедии эпохой религиозных обманщиков и изображает этот период в виде глобальной социальной организации во главе с Антихристом, эсхатологическим императором и гениальным мыслителем в одном лице. Этот император – аскет, филантроп и социальный реформатор – соблазняет человечество идеалом общественного строя, обеспечивающим мир народам («всеобщая лига мира сошлась в последний раз и закрыла себя за ненужностью») и хлеб, безопасность и всеобщее признание – индивидам. Соловьев называет такой строй «равенством всеобщей сытости»²⁹. Позже русский православный мистик и ксенофоб Сергей Нилус отождествит этого императора с сионскими мудрецами. Кожев увидит его в Иосифе Сталине. Известно, что многие годы Кожев связывал конец истории с деятельностью советского генералиссимуса. В своих лекциях он прямо называет Наполеона, двойника Сталина, Антихристом. Сталин Кожева только пытался довести до конца дело Бонапарта. Сам же он выступает, таким образом, мистическим двойником Гегеля. Подобного рода иронической мегаломании много и в курсе лекций по «Феноменологии».

Стоит также отметить, что в своих новых мифах конца истории Кожев фактически заимствует старообрядческую историософию, которая легла в основу соловьевского мифа об Антихристе, замещая эсхатологического императора Петра I Сталиным. Как и многим другим европейским интеллектуалам в 30-е годы, ему казалось, что СССР движется к идеалу сытости и всеобщего признания быстрее Америки. Примечательно, что эта замена приближает его к историософии старообрядцев еще и в другом смысле: обе утверждают, что конец истории будет связан с судьбами России. История кончается Третьим Римом. Четвертому не бывать, ибо дальше – сфера постисторического. Конец истории по Кожеву – тот же, что и у Соловьева, только за вычетом второго пришествия. Примечательно также, что соловьевская идея о том, что «дух Христов действует через неверующих в него», получила воплощение в тезисе Кожева о том, что секуляризованные христианские идеалы воплотились в идеалах Французской революции и вдохновили пролетариат в его битве за всеобщее признание. Возможно, интерес Кожева к Шмитту был связан, среди прочего, и с влиянием Соловьёва – подобно последнему, Шмитт пытался построить не философию, а именно

«теологию политики»), то есть такую теорию политики, которая исходит из религиозных – в его случае католических – оснований.

В самом кожевниковском обсуждении диалектики господина и раба также немало русского. Кожев родился в стране, названной поэтом «страной рабов, страной господ», где классовый и психологический конфликт господской и рабской морали был актуален более чем где бы то ни было. Концепция «праздной негативности» Кожева как самой сути специфически человеческого чрезвычайно близка пониманию свободы Достоевским. Именно о такой «негативности» писал русский писатель в «Записках из подполья»: при самой большой удовлетворённости в человеке всё равно всегда будет оставаться некий «пагубный фантастический элемент». Для господ русский писатель также предлагал сходный с кожевниковским экзистенциальный тест: «тварь я дрожащая» (раб) или «право имею». Идея «смерти человека» – точнее смерти человека Запада – также была чрезвычайно близка русским писателям и философам. Фёдор Достоевский писал о Европе как о кладбище. В том же ключе Николай Бердяев говорил о смерти удовлетворённого европейского человека, который потерял способность желать и страдать: «Существо вполне довольное и счастливое в этом мире, не чувствительное к злу и страданию и не испытывающее страдания, совершенно бесстрагичное, не было бы уже духовным существом и не было бы человеком»³⁰. Любопытно также отметить, что, согласно предположениям некоторых исследователей, гегельянство Кожева несет на себе некоторые очевидные следы интерпретации Гегеля русскими интуитивистами и Иваном Ильиным³¹.

Таким образом, кожевниковская похлебка для французских интеллектуалов, хотя и имела немецкое название, была русской закваски. Он контрабандой привносит на ниву французского картезианского дискурса разрушительные семена русского контрпросвещения. Вместо героев XIX века – молодых мечтательных провинциалов, приезжающих завоевывать Париж, – после лекций Кожева французская литература заселяется новыми героями – людьми ничто, лиминального опыта, немотивированной негативности. У всех у них в глазах мелькает озорной русский огонек.

Подводя итоги, можно сказать, что Кожев построил своё учение на трёх китах, как и Карл Маркс. Но если для Маркса этими китами были английская политэкономия, французский социализм и доморощенная немецкая диалектика, то «тремя источниками и тремя составными частями» для Кожева стали хайдеггеризм, марксизм, возвращённый в родное лоно гегельянства и кантианства, и русская апокалипсическая философия.

Кожев – это, пожалуй, единственный случай, когда русской философии удалось выйти из своих собственных берегов и прорубить окно в Европу. Если Петр I завоевал для России северные моря, то Кожев завоевал для русской идеи интеллектуальный Париж и империалистический Вашингтон. Если моя интерпретация верна, то Кожев открыл Европу и Америку для русского влияния так же, как Петр открыл Россию для влияния европейского.



Влияние кожевниковских идей на интеллектуальную историю XX века было исключительным как в количественном плане, так и в смысле разнообразия направлений этих влияний. Своими лекциями он создал совершенно новый интеллектуальный ландшафт во Франции. Из лоскутков и даже примечаний-отступлений к его лекциям возникли целые философские движения и направления. Сегодня Кожева часто цитируют как своего рода пророка современности. Замечания и даже примечания к его лекциям, согласно его интерпретаторам, предвосхитили «конец истории», американизацию Европы, теорию конвергенции, перестройку в Советском Союзе, постмодернизм, сегодняшние конституционные дебаты в европейском парламенте, американский империализм, видение новой постисторической и постполитической Европы Тони Блэром, биополитические дискуссии и даже японское экономическое чудо³². Между тем сам Кожев прекрасно отдавал себе отчёт в спекулятивном характере своих политических рецептов и пророчеств. Он говорил языком парадоксов и часто менял свои позиции. Его многолетний друг фотограф Евгений Рейс так описывает это его качество: «В своих предвидениях событий Александр часто ошибался. Он объяснял это ошибками самой истории. Сегодня война – это абсурд. Но так как она состоялась, ошибся не Кожев, а история или те, кто её делают. Именно таким образом Кожев, софист и диалектик, одарённый магнетической способностью убеждать, умел доказать и за и против всё что угодно...»³³. Кожев, вероятно, не был пророком. Тем не менее если литьё кожевниковских исторических формул и лишено пророческих качеств, то его искрящийся и играющий философский стиль, его попытки вывести философию из тупика чисто теоретической абстрактной работы и поставить гегелевскую диалектику на службу государственным и экономическим интересам Франции и Европы объективно выводили интеллектуальную работу на новые неожиданные рубежи. Его философский проект и сами перипетии его судьбы, с этим проектом тесно связанные, соединяют множество разнородных интеллектуальных, политических и художественных движений и помогают лучше понять в целостности ткань политической и интеллектуальной истории XX века, ибо нити от этой ткани распространяются во все стороны политического спектра и охватывают все географические пояса.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отрывки из диссертации были напечатаны по-французски. См.: *Kojevnikoff A. La Métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev // Revue d'histoire et de philosophie religieuses (1) & (II) 14. 1934. № 6; 1935. № 1–2.*

2. Концепция мужского начала, которую Симона де Бовуар использует в своём манифе-

сте феминизма «Второй пол», явно заимствована из лекций Кожева, вероятно, через посредничество Андре Бретона. По сути, вся диалектика отношений господина и раба проектируется на отношения «первого» и «второго» полов.

3. *Borch-Jacobsen M. Lacan. The Absolute*

Master. Stanford, 1991. P. 4. Всё предисловие к его книге посвящено влиянию концепций Кожева на Жака Лакана (см. p. 11–20). Любопытно, что Борх-Якобсен называет весь французский экзистенциализм «кожевизмом» (см. p. 14).

4. Как и «господин» Кожева, «антисемит» Сартра «находится в невыигрышной позиции человека, который должен быть жизненно заинтересован в самом враге, которого он хочет уничтожить». *Sartre J.-P. Anti-Semite and Jew*. NY, 1965. P. 28.

5. *Kojeve A. Outline of a Doctrine of French Policy*. August 27, 1945 // *Policy Review*. 2004. № 126.

6. Об этом более подробно можно узнать из книги Доминика Оффре. См.: *Auffre D. Alexandre Kojève: La Philosophie, l'état, la fin de l'histoire*. Paris, 1990.

7. *Peйc E. Кожевников – кто вы?* Париж, 2000. С.100.

8. *Jahanbegloo R. Conversations with Isaiah Berlin. Recollections of an Historian of Ideas*. London, 1993. P. 65.

9. В историю политической философии Лео Штраус вошёл как воинствующий антилиберал и сторонник «древних» в их споре с «новыми». Сегодня идеи Штрауса обрели особый статус в США в связи с тем, что многие прямые его ученики – в том числе Пол Вольфович, которого некоторые критики называют «американским Распутиным», – заняли ключевые позиции в политической администрации Джорджа Буша-младшего. В числе наиболее видных учеников Штрауса в американской администрации можно назвать Джона Эшкрофта, Кларенса Томаса, Уильяма Кристола, Абрама Шульского и Роберта Кагана. Интересный анализ взглядов Штрауса в контексте антилиберальной традиции даётся в книге Стивена Холмса (см.: *Holmes S. Anatomy of Antiliberalism*. Massachusetts, 1993).

10. *Fukuyama F. The End of History and the Last Man*. NY, 1992.

11. См., например, интереснейшую во всех

других отношениях интеллектуальную биографию Александра Кожева, написанную канадской исследовательницей Шаадьей Друри (*Drury S. Alexandre Kojève and the Roots of Post-modern Politics*. New Jersey, 1994).

12. Цитата ниже – из газетной статьи 1929 года. «В наше время культура перестала быть реальным фактом современности. Она целиком поглощена другими двумя первичными силами – Капитализмом и Революцией... – пишет Кожев. – До недавнего времени Европе принадлежала всемирная гегемония. Теперь эта гегемония утрачена – европейская культура перестала быть действительной реальностью; руководящим носителем и осуществителем мирового капиталистического объединения стали САСШ; руководство революцией перешло к Союзу ССР. Только полная победа передового капитализма Америки над раздробленной и провинциальной европейской буржуазией или победа пролетарской революции могут дать Европе те единство и устойчивость, в которых её национальная раздробленность ей отказывает. Победа первого обозначала бы уравнительное порабощение Европы и окончательное низведение её на положение культурной и хозяйственно подчинённой провинции. Победа второй дала бы возможность ей осуществить единство в приемлемых каждой её части федеральных формах и одна могла бы вернуть Европе достойное и передовое место в рядах человечества» (*Кожевников А. К оценке современности // Евразия*. 1929. № 35. В этом фрагменте стоит обратить внимание на два момента. Во-первых, Кожев говорит здесь, по сути, о двух типах варварства, советском и американском, противопоставляя их европейской культуре. Во-вторых, советскому варварству он отдаёт явное предпочтение.

13. *Kandinsky W. Correspondances avec Zervos et Kojève*. Paris, 1992; *Kojeve A. Pourquoi concret // Kandinsky W. Écrit complets: La Forme*. Paris, 1970. V. 2. P. 395–400.

14. *Taubes J. Carl Schmitt: Ein Apokaliptiker*

der Gegenrevolution // Taubes J. Ad Carl Schmitt: Gegenstebige Fuergung. Berlin, 1987. S. 24.

15. La DST avait identifie plusieurs agents du KGB parmi lesquels le philosophe Alexandre Kojeve // *Le monde*. 1999. 16 septembre.

16. В этой переписке Кожев отстаивал преимущества просвещённой тирании сталинского образца, когда граждане государства находятся в относительной безопасности и все их потребности удовлетворены. Штраус возражал с позиций «древних»: удовлетворённый раб хуже самого раба. При изощрённой тирании гомогенного государства общество становится тем менее человеческим, чем более оно становится разумным. См.: *Straus L., Kojeve A.* *Op Tyranny*. Chicago, 2000.

17. Кожев описывается конспирологами как ключевая фигура в международном заговоре синархистов – тайных сторонников панъевропейской империи, которые работали во многих партиях и в правительствах многих стран мира, в том числе и в нацистской Германии. В частности, Кожеву приписываются контакты с Яльмаром Шахтом, министром экономики Третьего Рейха и президентом Рейхсбанка, который был оправдан Нюрнбергским трибуналом. В видные деятели синархистского движения записывают также ученика Кожева министра экономики Франции Робера Маржорина. *Steinberg J., Papert T, Boyd B.* *Dick Cheney Has a French Connection to Fascism* // *Executive Intelligence Review*. 2003. 9 May. Интересно, что эта статья была перепечатана многими арабскими средствами массовой информации, в том числе и «Аль-Джезирой».

18. *Kojeve A.* *Esquisse d'une doctrine de la politique francaise (1945)* // *La Regle de jeu*. Paris, 1990. № 1.

19. *Kojeve A.* *Introduction to the Reading of Hegel*. NY, 1969. P. 162.

20. См. специальную главу, посвящённую Юкио Мишимуе, в книге Друри об Александре

Кожеве: *Drury S.* *Alexandre Kojeve and the Roots of Post-modern Politics*. New Jersey, 1994. P.50–56.

21. Кожев посвящает Канту небольшую книгу – см.: *Kojeve A.* *Kant*. Paris, 1973.

22. *Kant И.* Критика способности суждения // *Кант И.* *Соч. М.*, 1966. Т. 5. С. 271.

23. *Freund J.* *Schmitt's Political Thought* // *Telos*. 1955. № 102. P. 42.

24. Сам он, впрочем, говорил, что «пил бациллы нацизма, но никогда не инфицировался».

25. *Smittiana*. Bd.VI. Berlin, 1998.

26. *Кожевников А.* К оценке современности // *Евразия*. 1929. № 35.

27. *Кожевников А.* *Философия и ВКПБ* // *Евразия*. 1929. № 16.

28. Кожев посвящает соловьёвской философии истории специальную статью. См.: *Koschewnikoff A.* *Die Geschichts-philosophie Wladimir Solowjews* // *Der Russische Gedanke. Internationale Zeitschrift für russische Philosophie, Literaturwissenschaft und Kultur. Erster Jahrgang 1929–1930*.

29. *Соловьёв В.* Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // *Соловьёв В.* *Собр. соч.: В 2 т. М.*, 1988. С. 746–747.

30. *Бердяев Н.* *Дух и реальность*. М., 1994. С. 238.

31. См.: *Кузнецов В.* *Французское неогегельянство*. М., 1983.

32. В русле кожевниковских идей движется, например, современный итальянский философ Джорджо Агамбен в своих рассуждениях о биополитике и антропологии. В своих последних работах о «постчеловеческой биополитике» Френсис Фукуяма, советник американского правительства по проблемам биотехнологии и клонирования, также исходит из чисто кожевниковских посылок. См.: *Fukuyama F.* *Our Post-Human Future*. NY, 2002.

33. *Рейс Е.* *Кожевников – кто вы?* Париж, 2000. С. 104.

ДАЙДЖЕСТ

(литературный псевдоним Анатолия Кардаша) кандидат технических наук, автор пяти книг и ряда статей по истории Катастрофы и антисемитизму. Живет в Израиле.

В ТЫЛУ*

Шла великая война, Вторая мировая. Кровью заливало фронты, храбрецы бросались под танки, а евреи окопались в Ташкенте. Так считалось. Так подерживалось властями. Герой-лётчик Плоткин или герой-подводник Фисанович, если и достаивались промелька в пропаганде, то без упоминания их национальности. «Жид от пули бежит» – складно думалось в народе.

...Шимек стыдился, что отец не на фронте. Что дядя Хилель воевал, что двое двоюродных братьев были тяжело ранены, а дядя Йося сгинул в окопах – то почему-то не вспоминалось. Октябрёнок Шимек мыслил едино со страной.

Мальчики в эвакуации были – безотцовщина. Шимек – больше других. У всех отцы на фронте, у него – неизвестно где, пропал. Ни письма, ни звука – глухо. Мама Женя говорила: на трудовом фронте, в командировке; Шимек понимал: где-то трудится в тылу, но с особым заданием... Фото отца Абы с ромбами в петлице не уходило из памяти.

Тыловых мужчин все презирали, одним явным инвалидам, на костылях или безруким, было прощение. Шимек друзьям, Борьке с Юркой, внушал: мой батя на фронте, на трудовом, так надо, приказ у него, он же военный, два ромба,

* Из книги «У чёрного моря» (Иерусалим: Лира, 2004).

выходит, командир корпуса или дивизии, генерал, ну пускай не генерал – полковник. (Шимек не знал о хитром несоответствии чекистских и армейских званий; чекист Аба был всего лишь подполковник, а носил ромбы как армейский дивизионный командир, генерал, тем и определялось, кто на деле выше.)

Шимек жил в среднеазиатском посёлке с Женей и двоюродным братом Мишкой, чуть старше Шимека; его мама, жена воевавшего дяди Гилеля, умерла здесь вслед за бабушкой. В середине войны в посёлок вдруг из дальневосточной потусторонности выпорхнула открытка от Абы. Какими чудесами узнал Аба их адрес? Женя, ища его, отчаянными своими запросами в центр по розыску родственников в Бугуруслане ничего выяснить не смогла. А вот Аба выудил где-то адрес и, не веря в удачу, черкнул пару строк, и они – добрались.

В посёлке среди эвакуированных, утеснённых в барачное сожительство, ничто в секрете остаться не могло. Текст открытки и обратный адрес выявили пребывание Абы в заключении. И сперва Юрка, а после Борька сказали Шимеку: отец твой в тюрьме, вор. Мишка, с которым Шимек был всегда в ссоре, подхватил: в тюрьме. «Вор» Мишка не выговорил, мешали то ли благородство, то ли всё-таки братская солидарность, то ли опаска замараться позорящим родством.

Папа, с ромбами, с наградой на гимнастёрке, в шикарном открытом служебном автомобиле, помнившимся Шимеку с его двух лет (позднее он уже отца не видел), папа огромный, могучий (руки его подбрасывающие не забылись), и мама рассказывала: два метра роста, ботинки сорок восьмого размера жали), шумный, весёлый, обожаемый папа – вор!..

Мама с работы на шелкомотальном комбинате, с двенадцатичасовой смены приходила поздно. Дети ждали её страстно: только с её приходом варганился, наконец, ужин, и было чем забить голодный живот. И вот после ужина, дотерпев, пока Мишка заснёт, тонуший в позоре Шимек спросил у мамы: «Правда, что папа в тюрьме? Он вор?». Женя сказала: «Ну, что ж, тебе девять, взрослый, пора всё знать». И объяснила: «Да, в тюрьме. Вернее в лагере для заключённых. Но совсем не вор. Его посадили по ошибке. Знаешь, везде бывают ошибки. Он не виноват ни в чём. Сейчас война, не до него, вот кончим воевать – разберутся и выпустят».

На том, в общем, успокоились. Шимек стал ждать конца войны. Душу щемило больше прежнего: отец не на фронте, оказывается, даже не на трудовом; да, не дезертир, не прячется, но ведь и не боец никакой... Стыдно.

Они жили в почти пустой комнате длинного барака – Женя с Шимеком и Мишкой и приросшая почти по-родственному к их обрубленной войной семье молодая беженка из Риги. Ели вместе.

Хлеб получали по карточкам, отстояв иногда часами в очереди – собранные вместе пайки, рабочие и ученические, составляли полторы буханки чёрного, внутри тестообразно мокрого хлеба, остро пахнувшего кислотой и смазкой, которой в пекарне покрывали формы; она пятнами впечатывалась в хлебную

корку. Женя кропотливо кроила хлеб на равные четыре части, каждая из большого куска и долек поменьше. Весов не было, и Шимек с братом подглядывали, где больше. Прилаживались, хоть и знали, что зря: для справедливости Жена одного из них, каждого в свою очередь, отворачивала к стене и за его спиной, указывая на набор ломтей, вопрошала: «Кому?». Называлось имя, порция обретала владельца.

Есть хлеб для Шимека было – Ритуал. Сперва рассматривать: ломоть толстый, ломоть потоньше и маленький квадратик сверху; потом прикидывать, как съесть поподробнее; затем, не торопясь, обнюхать ломоть, потрогать губами, упиться шершавостью корки и нежностью сердцевины, и только после всего этого предвкушения приступать к сладострастному потреблению.

На корке толстого ломтя чёрные вкрапины угля. Их придётся выплюнуть. Но прежде облизать, покатавать во рту до потери даже запаха хлеба, а тогда уже, вынув и убедившись, что к ним ничего съедобного не пристало, – выкинуть. И приступить к мякоти, откусывать помалу, жевать без суеты, впитывая кислый дух. Затем – корка тонкого ломтя, чистая, коричневато-бурая. Сунуть её за щеку и сгибать зубами, пока не захрустит и не сложится вдвое. Но и тут не спешить, потихоньку сводить челюсти и слушать потрескивание корки. Вот когда верхние зубы коснутся нижних, прокусив корку насквозь, можно языком отваливать от неё кусочки и сосать их, мягко прижимая к нёбу. А там и снова мякучь, а потом ещё и довесок – с ними особо осторожно, не давая расползтись в слюне и скользнуть в горло.

Иногда, с получки или после премии, женщины устраивали праздник. Их на комбинате награждали деньгами или отрезом парашютного шёлка, который они выработывали. Денежной премии хватало на несколько буханок хлеба, шёлк продавали на толкучке – выручка позволяла улаживать себя кукурузной кашей с урюком или даже несытным, но утончённым ужином: дополнительной порцией хлеба и чаем с сахарином, который пили из мятых алюминиевых кружек. Шимек и здесь умел смаковать: раскалывал, ножом нажав, таблетку сахара, бросал в кипяток полтаблетки и все крошки и следил, как они светлеют на дне кружки, истаявая... Питьё получалось не очень сладким, потому что если прибавить сахара, то не хватит на повтор чаепития, да и горечь в жидкости проступит. А когда кладёшь сахара не много и не скупое, сладость чудесно сочетается с кислотой хлеба и забивает запах от смазки форм, так что вполне можно вообразить чай с довоенным пирожным – только нужно держать ломоть хлеба двумя пальцами по краям, не касаясь верха, как будто там крем и боишься выпачкаться. Или другой фокус: задерживать хлеб во рту маленькими кусочками, смачивая редкими глотками чая и подсасывая языком воздух – ну, точно: чай с конфетой.

Процесс поедания, усвоил Шимек, – высокое искусство, торжество воли и стратегии, это не прежний его жалкий опыт: тремя судорожными всхлипами втянуть в себя всю дневную норму хлеба, и ни тебе вкуса, ни запаха, ни даже мимолётного насыщения. А до следующей делёжки хлеба надеяться не на что.

И такая наступает маета! Ни книжка не отвлекает, ни уроки: Шимек писал буквы, считал, учил стихи – а в голове только еда. Точнее – хлеб. Его запах, липкость, чернота, ноздреватость. Иногда Шимек принимался шагать: когда ходишь, есть вроде бы меньше хочется.

Было как-то, что он бросился в отчаянии искать хлеб в их комнате, где, он точно знал, ничего нет, но – вдруг?..

Буфетом служила полка – кусок фанеры, прибитой к четырём ножкам стола пониже столешницы. Полку прикрывала клеёнка, спускавшаяся со стола. Шимек поднял клеёнку: покоробленная жарой фанера, расщепленная, грязно-бурая... Шимек подвигал посуду, погладил поверхность полки. Ладонь оставалась чистой – прилипнуть было нечему. Он обследовал ложбинки, трещины: хоть бы крошка, пускай бы в ноготь или полногтя, каменно засохшая, месяц или два ожидающая, когда он выколупнёт её и положит на язык и прижмёт к нёбу. Рот его увлажнится, а он будет сглатывать слюну, не давая ей растворить хлеб, и придержит крошку языком, но не слишком сильно, чтобы не раздавить, и станет вдыхать намёки хлебного аромата. Голод взбунтуется в животе, но Шимек не уступит и будет медленно-медленно осваивать крошку, её угловатость, жёсткость, ржавый вкус и невнятный запах, который усилится по мере её размокания и – жaley не жaley – исчезновения.

Всё это он переживал в ожидании крошки, которую – он знал! – ему ни за что не найти, потому что и он, и Мишка уже много-много раз обшаривали полку. Но он искал. Переставил кастрюли и тарелки, снова перещупал поверхность, пересмотрел закоулки. Ничего, кроме соли. Она лежала в банке, крупные грязные серые кристаллы. Шимек вынул крупинку соли и положил её на язык взамен хлеба, хотя понимал, что тут же выплюнет её...

Летом благодаря дешёвым узбекским фруктам война с голодом унималась, но зимы доводили беженцев до голодных отёков и дистрофии.

Однажды февральским вечером Женя принесла жмых – прессованный корм для скота, беженцы дробили его в муку, замачивали и, перемесив, пекли оладьями на воде вместо масла. Конечный продукт – котлеты? лепёшки? – как ни зови, тяжелил живот, мальчикам подкатило к горлу тошнотворно, и оба с ладошкой на груди, в которой непривычно для девятилетних зачастило сердце, улеглись на свои деревянные топчаны – помирать.

Женя сказала: «Будем опухать, но этой гадости я вам больше не дам». Однако не успела выкинуть оладьи, как Мишка, полежав, поднялся к столу и стал их доедать – Мишка был старше Шимека почти на год, крупнее, сильнее, и голод в нём был яростней.

Тем не менее и он мог сдерживаться, голодную жадность вытесняя жадностью накопительства: он был скуповат, но и азартен, что-то от спорта питало его в собирании марок и косточек. Абрикосовых косточек. Мишка собирал их всё лето, раскалывал камнем и сыпал в мешочек продолговатые морщинистые ядра. Только целые; расколовшиеся – отход производства – Мишка проглатывал. Шимеку не давал.

Иногда вечерами под светом засиженной мухами лампочки Мишка рас-

сыпал на столе, на облупленной клеёнке сокровища своего мешочка, пересчитывал, сглатывая голодную слюну, семена, складывал их в кучки по сотням и, победно косясь на Шимека, следившего за семенами ревниво и хищно, называл число: «сто сорок», «триста пять», а потом «тыща двести сорок семь» и так далее – счёт рос, мешочек напухал.

– Когда ты их есть будешь? – спрашивал брата Шимек. Тот ехидно шурился: – Когда надо. Тебя не спрошу. И не жди – не дам.

Много позже Мишка – пакостник, жулик, шпана – изредка вдруг являл меньшому брату щедрость, благородство и даже покровительство в уличных передрягах: Шимека, самого низкорослого в классе и среди дворовых сверстников, нередко обижали. Но это будет потом, после возвращения в Одессу, а в эвакуационном неустройстве, как, впрочем, и в светлом «до войны», отношения двоюродных братьев не складывались, они почти не разговаривали, общение – очередная драка. Так что Шимеку с косточками никакая надежда не светила.

Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда –

любимая была эта песня у Мишки, дважды любимая, связывавшая имена его и обожаемого города.

И настал Мишкин день, весна была, апрель – день, вернее вечер, когда на клеёнку под печальную электролампочку Мишка высыпал свои семечки, их уже набралось под пару тысяч – и стал раскладывать поштучно, по два-три зерна на три кучки. Долго развозил пальцем по скатерти, наконец, распределил и, торжественно глядя на Шимека и Женю, пригласил широко: «Берите, ешьте! Всем поровну».

Шимек остолбенел. Такой самоотверженности скупердяйская натура брата могла не выдержать.

– Что с тобой, Миша? – спросила Женя. – Какой праздник?

– Самый большой, – сказал Мишка. – Сегодня наши взяли Одессу. Я слышал радио.

Шимек тоже любил Одессу и ждал её освобождения, но если честно, в тот момент следствие радовало больше причины. Одессу освободили где-то далеко, а абрикосовые ядрышки лежали вот прямо перед носом. Пахучие, сладкие...

Они пировали весь вечер.

Наутро выяснилось, что Мишка ошибся: радио сообщило, что войска только вплотную подошли к Одессе.

Мишка только что не ревел; Шимек неблагодарно злорадствовал... Женя осиротевшего и такого неблагополучного Мишку (он и хулиганил, и подворовывал) жалела больше родного Шимека. И сейчас вздыхала в унисон с Мишкой.

Спустя несколько дней Одессу всё-таки взяли. Женя сказала: «Видишь, Миша, надо только потерпеть немного. Кто ждёт – дождётся».

Дождались, все дождались. Пришёл и невероятный тот день, когда весь посёлок мчался на пыльную каменно запекшуюся площадь задрать голову к столбу, на верху которого чёрный раструб радио мощным левитановским глазом возвещал: «Наше дело правое! Мы победили!»

Победили! Победили!!!

Поехали из эвакуации домой. На послеоккупационных пепелищах возрождать жизнь.

И настала сладостно-горькая пора возврата с фронтов, а год спустя тем же ветром воскрешения из небытия понесло задержанных войной узников ГУЛАГа.

Я знаю, жена, ты не ждёшь,
И письмам твоим я не верю.
Встречать ты меня не придёшь
К вокзальным распахнутым дверям.

А Женя ждала, ждала, девять с лишним лет ждала. Мытарствуя до войны, ждала, уворачиваясь от ареста, от доносов дворника Петра – ждала. Ждала в эвакуации, пробиваясь сквозь полстраны с ребёнком и стариками, хороня близких: отца, сбитого на улице в морозную ночь лошадьёю и потом добитого инсультом; маму, сгоревшую от малярии; невестку – врач, она подхватила тиф от больного – всех их Женя выхаживала, а потом хоронила и, оставшись одна с Шимеком и племянником Мишей, работала на износ мотальщицей шёлка, голодала и тянула голодных детей, и ждала, ждала, ждала.

Она послала до войны Абе фотокарточку, где была красива, с надписью «Смотри, дорогой, не заблуждайся» и не посылая из эвакуации, где в сорок лет выглядела на семьдесят, да и куда слать, если после единственной открытки Аба снова исчез, безответно растворился в лагерных даях. Уже и война кончилась, и срок «8 лет исправительно-трудовых лагерей» истёк, а его всё не было, не было, не было, пока, наконец, не прорвалось: сперва весть, что жив, а спустя год телеграмма: еду, встречай.

Встречать!

К вокзальным распахнутым дверям...

Шимек ночами не спал. А когда спал, Аба снился. Добрый гигант, рисованный мамой, и картинки детских воспоминаний: высокие сапоги... смех залихватный... чёрная служебная машина с откидным верхом, Шимек сзади, плечо под отцовским боком, впереди кепочка шофёра и встречный ветер... Аба, конечно, в неизменной гимнастёрке с ромбами, боевой, победный... Ещё Аба в форме лётчика – фуражка с крабом, птички на погонах... Аба в чёрной морской ушанке с золотистой якорной эмблемой... Аба в танке, тридцатьчетвёрка, побившая всех фрицевских «тигров» и «фердинандов», несётся по дороге, Аба командир, высунул до пояса из башни, огромный пёс – Рекс, друг мохнатый, бежит за танком весёлым скоком, каким мчал за Абиным служебным автомобилем...

Шимек на дороге навстречу, и разрыв снаряда, сквозь пыль и дым Аба смеётся из башенного люка, грудь в блеске орденов...

...И вот оно! Октябрь. Поздний вечер. Тусклый свет на платформе, плеск голосов перронной толпы. Три огня паровоза осторожно накатили издалека, ослепили на минуту, уткнулись в тупик; пролязгали буфера к хвосту состава, проскрипели тормоза – стихло. Встречающих обдал запах дыма. Из вагонных тамбуров попрыгали проводники, стали караулом у дверей. Оттуда повалило густой смесью дорожных испарений: кислой едой, немывтым телом, карболкой отхожих мест – в плотном их духе извергались на перрон пассажиры с чемоданами, узлами, мешками заплечными... Взвизги встреч. Смех. Плач...

Аба появился из вагона в этом облаке вони многодневного пути. Кожух на нём, чёрный с белым курчавым мехом воротника, ничем не походил на мужественные кожанки комиссаров и лётчиков. Серая мятая ушанка – ни намёка на морскую, навоображённую Шимеком. Ни гордой лётчицкой фуражки с крабом, ни танкистского шлема... И мешок на спине никакой не солдатский, привычный глазу, а землистый, деревенский, куль кулём. И в руке Абы чемодан, но не шегольской с блестящими замками трофейный чемодан, как те, что проносили демобилизованные фронтовики, а дощатый ящик с обитыми железом уголками, с брезентовой ручкой – деревянная бурая невидаль...

Когда пошли по перрону сквозь толкотню, оказалось, что и обещанного мамой двухметрового роста даже не угадывалось в коренастой, но сгорбленной до уровня всех прохожих фигуре. Мама крепко держала Абу под руку, Шимек чуть отставал, поглядывал искоса то на отца, изучая и огорчаясь, то на окружающих, боясь и стыдясь: Аба выглядел позорно...

А добывал – запах. Не пороховым дымом боя пахло, не танковыми горючесмазочными материалами (ГСМ, «геэсэм» – название, как песня) – несло козлом. Карболку, угольную гарь паровоза, водочные выдохи толпы, перепревшую начинку дорожной кладки – всё забил Абин козлиный чёрный кожушок.

Знал бы Шимек, что это – запах сатаны. Того, кто трубку бессонно курил, страну в аду прожаривал.

Через полвека дощатый лагерный чемодан, от времени и многих дорог сменивший черно-бурую окраску на облезло-пёструю, из Москвы за границу отбывал не музейным экспонатом, а простым ящиком для домашнего инструмента: набросали туда молотки и отвёртки для отвода бдящих таможенных глаз – проехало. Теперь он в Иерусалиме вместе с гулаговской ложкой, алюминиевой, литой, увесистой – можно баланду хлебать, можно в рожу врезать. Микромузей, внутрисемейная память...

Здесь ещё – одеяло. Царапистого сукна, за много лет на нарах раскатанное в плёнку заворачиванием половиной под себя, половиной сверху – защита от холода скорее символическая, когда свист пурги за дощатой стеной барака и сквозь щель в стене морозная струя кинжально прорезает свалывшуюся одеяльную ткань, вонзается смертельной стрелой в бок зека, в его лёгкие, уже опалённые холодом лесоповала...

Подробности жизни Абы Шимек сообразит много позже того вечера на перроне сорок шестого года.

Минуют годы жизни с Абой, и по его рассказам – «замечаниям из жизни» – как по вехам, пройдёт взросление Шимека, и высветится ему из дури советского вранья подспудная правда отечественного бытия. Откроются Шимеку глаза и на самого Абу, увидится он достойно и безунывно перенесшим все жизненные взлёты и падения, от начальственных высот до лагерных пропастей и последующего бесконечного унижения властями, загоняющими неугодного в угол, – увидит его Шимек в полный рост; даже и буквально, потому что, когда придавленный лагерем Аба умер, гробовщики намерили у вытянувшегося покойника те самые два метра, наговоренные мамой, – она не обманывала никогда.

Наутро после смерти Абы Шимек, который начал отношения с отцом со стыда за него, несурзадного, обнаружил себя, с первых школьных лет не плакавшего, в слёзном захлёбе, совершенно неудержимом: глаза в ладонях, сквозь пальцы ручьи, беззвучно... Но до этого должны были пройти 15 лет, состоять житейские подробности, прозвучать Абины байки...

Аба. Я вырос просто. Семья почтенная. Дядя – казённый раввин. Нас у папы с мамой всех шестеро было, четыре мальчика, две дочки. Я там был не тот ребёнок. («Тот ещё ребёнок», – вставила тут Женя, интонируя.) Пока ходил в хедер – ничего. Но потом в училище – развернулся. Двойки, тройки... Поведение, конечно, отличное. Отличное от остальных. Сарай во дворе поджёт – хотел посмотреть пожар; хорошо, не поймали. Потом разозлился, за что не помню, на служителя, который по классам булочки с чаем разносил, я по его подносу ногой зафутболил – всё вдребезги... Выгнали меня. Папа сказал: хочет быть дураком – пусть идёт работать. Я и пошёл посыльным в магазин. В двенадцать лет. Недоучка твой папа. Зато у советской власти в почёте: рабочий стаж с 12 лет, «жертва царизма».

Я где только ни работал. Лучше всего в пожарной части. Лошади – гривы по ветру, подводы с бочками, гиканье, свист, колокол бухает... Приезжаем: «Как, хозяин, заплатишь или тушить будем?» Все знают: можно поберечь, что не горит, а можно распотрошить дом до основания... Платили. Доходная работёнка...

Занимательная, цепью анекдотов складывалась у Абы бывальщина, потому что неуёмного мальчика из волынского захолустья выдрал бешеный век, завертел, швырнул в окоп Первой мировой, а после поманил революционный держать шаг. Как выпевалось в юной молодости, в азарте: вперёд, навстречу заре новой, и Аба в родном городе, в подполье при белопольской власти довоевался до камеры смертников, чудо, что красные наскочили, освободили. Потом Чека, бои с бандитами, экспроприация буржуев, «грабь награбленное», злость боёв весёлая и праведная: бессудные расстрелы, «революционная законность», но ведь и сколько же сирот Чека обогрела, сколько беспризорных спасла в своих колониях и приютах...

Однако не воспарял Аба о том раздумьями, не уроками-назиданиями питал он Шимека, просто сыпались от случая к случаю осколки его воспоминаний, и складывалась из них, беспорядочных, мозаика жизни.

Пел Аба весело, слуха никакого и слов не помнил, от силы две строчки, «Больно хлещет шёлковый шнурок», – выпевал с надрывом, остальное из романа объяснял: любовь, страдание, она его убила... Но одна песня, хоть и длинная бесконечно, засела в Абе целиком из окопной его молодости в Первую мировую войну, боевая, строевая: «Истопила Дуня баню, позвала соседа Ваню париться с собой, эх, париться с собой...» Затем Дуня интересовалась: «Это что такое, Ваня?», и тот отвечал: «Это колбаса». Женя возмущалась: «Абчик, что ты поёшь ребёнку?» – а Шимек радовался, представлял Абу – царского солдата в атаке с винтовкой, штык устремлён в немца или австрияку, или Абу во всей гренадёрской выоте, перед строем отмечаемого за храбрость. По этому поводу Аба рассказывал анекдот, где фельдфебель говорил о еврее, совершившем подвиг: «Рабинович плохой солдат, но старается» – Аба не любил нести себя на блюде, Шимек потом только случайно узнал, что он в родном городе в гражданскую войну при власти белополяков отличился в революционном подполье настолько, что был арестован и даже приговорён к расстрелу, спасло наступление красных – знакомцы Абы рассказали, не он сам, он у себя выглядел смешно-несуразно и никак не героем. После войны и лагеря, когда Аба не имел права жить ближе ста километров от областных городов и его с семьёй носило по российской шири, Шимек в их деревенском быту наблюдал, как Аба не мог резать курицу – жалел. А в лагере, однако, подрался с могучим вором, похитившим у него посылку. «Ты не испугался, он, наверно, убить мог?» – спросил Шимек отца. «Ещё как испугался! Но знал: если промолчу, блатари меня сожрут. Дрожал, а ударил. И потом он меня боялся, не знал, что я ещё больше боюсь».

Аба о себе – всегда со смешком. Так и про службу в мировую войну: о боях ничего, зато о дезертирстве – с упоением. Как брели, бросив окопы, по домам, в попутных селениях выменивая на пропитание кто трёхлинейку-надёжу, кто патроны, кто пару гранат, кто одежду солдатскую крепкую...

Это после Февральской революции. На фронтах бурлило «воевать – не воевать». Солдаты лезли брататься с немцами, митинговали. Приехали как-то посланцы Временного правительства, звали воевать до победного конца, больно хорошо говорил господин почтенный, а особенно барышня при ём гляделась сильно по сердцу, солдаты согласно ревели «Ура!». За агитаторами на ту же повозку взгромоздился ещё один приезжий, тоже борода барская, длинный, в пенсне, вид непотребный яврейский, а заговорил, прокричал несколько минут всего, и вслед его: «Долой войну! Штыки в землю!» – те же солдаты, весь Абин полк, развернулся: «Айда, ребя, домой, бабе под бок!». И пошли весёлыми дезертирами. «Кто был таков, тот говорун? Вроде из большевиков?» – спросили в толпе, и зазвучало имя «Троцкий».

Во второй раз Аба видел издали Троцкого в начале двадцатых годов на мос-

ковской Красной площади, он прохаживался вдвоём с китайским генералом, по обычаям тех дней, без всякой охраны, даром, что Троцкий был уже великим, вторым после Ленина.

А в третий раз Аба увидел вождя низвергнутым. Тогда, в двадцать девятом году, зима стояла на удивление злая. Холод придавил Чёрное море непривычным льдом. Февраль мёл метелями. В ту пронизанную хлёстким колючим снегом ночь одесские власти проводили государственной важности совершенно секретную операцию: перебрасывали с прибывшего персонального поезда на корабль для изгнания вождя русской и несостоявшейся мировой революций. Москва потребовала строжайшей тайны, дабы не возбуждать многочисленных сторонников опального вождя. Предписывалось также избежать любых эксцессов, а особенно неожиданного и всегда опасного обращения лучшего оратора революции к народу. Сверх того, приказано было обеспечить личную безопасность и полное благополучие изгоняемого, ибо, как знать, не раскается ли великий бунтарь и не потребуется ли на службу родной стране?.. Начальника городской ЧК сжирала ответственность.

Из порта изгнали всех лишних. Войска стали в оцепление. Тьма. Ветер. Махи фонарей на столбах. Снег. Троцкий шёл к трапу стремительно, подгоняемый вихрями. Начальник ЧК, в испуге за легко одетого изгнанника, накинул на него шинель, снятую с подходящего по росту чекиста из цепи охранения. Им оказался Аба. В его шинели взошёл на теплоход «Ильич» ближайший соратник этого самого Ильича, Владимира Ильича Ленина, Лев Троцкий – и с борта его в последний раз глянул на изгоняющую его родину.

Ледокол вывел «Ильича» в открытое море. Шинель Абы растворилась в морской мокрой ночи вместе с несостоявшимся разжигателем всемирного революционного пожара.

Старомодно обязательный Лев Давыдович честно расквитался – из турецкого эмигрантства прислал раздетому из-за него чекисту отрез добротнейшего сукна на пальто. Женя после ареста Абы берегла для него сукно, повезла даже с собой в эвакуацию, в Узбекистан, и только там выменяла его на три буханки хлеба – голодные дети, Шимек с Мишкой, подкормились от Революции.

Великая Октябрьская революция начала пожирать своих вождей и детей именно с той ночи, когда она многозначительно подмигнула вышвырнутому Троцкому маяком одесского волнореза. Какой-нибудь десяток лет назад, когда корчевали контру, чистили путь в светлую даль, провидел ли победный вождь Троцкий превращение революционной тачанки в теплоход «Ильич» – Золушкиной кареты в тыкву?..

Абу несла та же тачанка, хотя ещё когда глядел в одесском порту на корму «Ильича», который уволокивал Льва революции, колыхнула Абу некая тревога. Не свернул Аба со стези, но инстинкт сносил его со стремнины в относительно тихие заводы: в экономический отдел Чека, где не пахло ни кровью, ни порохом, а позднее в управление шоссейных дорог, приписанное к Чека, – во-

все мирное поприще: перевозки, графики, грузовики... Служил Аба исправно, знак Почётного чекиста заработал, ромбы в петлицах, поднялся в замы начальника республиканского управления. Но отстранялся – не по уму, не с обдуманной опаской – от общего бодрого марша, даже – белой вороной среди руководства – избегал в партию вступить, только в тридцать втором, почти случайно... случайно в коридоре встреченный нарком Балицкий сказал на ходу Абе: «Оказывается, вы не в партии. Почему?» «Не считаю себя вправе», – замямлил Аба, но нарком глянул дзержинским взглядом и сказал: «Подавайте заявление. Я сам рекомендацию напишу». Не увильнуть. Приняли Абу кандидатом, а он и потом не спешил переводиться в члены партии большевиков, кандидатом и влетел в тридцать седьмой, в тюрьму.

Аба. Новый год встречали в клубе нашем, точнее бы сказать, во Дворце культуры НКВД. Стоило поглядеть. Говорили в городе: «Все красивые бабы – в Чека». Ёлка ослепительная... Дурака валяли. Помню, я на спор бутерброд ел из всего, что под рукой на столе: селёдка, ананас, горчица, крем – всё слой на слой... Шампанское, тосты... Я кружил в вальсе знаменитую певицу, она у меня стояла на ступнях, дама с весом, но ничего – справлялся. А мама-то наша как блистала! Жёны сотрудников канкан на сцене отплясывали, мама – в центре, все глаза на неё...

Женя. В моей жизни этот Новый год самый весёлый.

Номер Нового того года был – одна тысяча девятьсот тридцать седьмой. Звёздный, смертный год Советской власти.

Абу арестовали в апреле.

Аба. Я ведь родом с Волыни, она тогда была польской, значит, по тогдашним нормам, польский шпион, доказывать это следователи не утруждались, в приговоре даже и не написали «шпион», а только «подозреваемый в шпионаже» – ПШ называлось. За это вот подозрение схлопотал я восемь лет. Вполне по-божески. Могли и расстрелять. «Шлёпнуть», как тогда говорили. «Шлёпнуть», «пустить в расход»... Советский язык. ИТЛ, например, – исправительно-трудовой лагерь, «зона», заключённый – «зека» или «зек», уголовники – «блатари», их главный – «пахан», высшая каста – «воры в законе», они не работают. Работы делятся на «общие» – тяжёлый труд, убийственный, и лёгкие, на «тёплых» местах: это банщики, кладовщики, писаря, повара – по-лагерному «придурки». Очень выразительный язык: «сука» значит тот, кто выслуживается, предаёт, «стучит» лагерному начальству; умирающий, изнурённый зек называется «доходягой» – в школе, Шимек, таких замечательных слов не проходят. Их кровью пишут.

Аба. Кого били до смерти, кого иначе... Скажем, заводят где-то рядом со следовательским кабинетом пластинку с диким женским воплем и ведут под него допрос и намекают, что это твою жену или дочь бьют, или обещают, что

будут бить, – подпишешь как миленький всё. Железные маршалы, революционные герои, в расцвете сил – всё подписывали.

Со мной – неизбежно. Меня взяли в самом начале тридцать седьмого, ещё с пытками не развернулись на полную катушку. И следователь со мной на «вы». Я сидел с комфортом, даже без битья. Но на конвейер ставили. Несколько суток без сна, и следователи сменяются, сидишь в комнате, обитой белой жестью, и по углам прожектора – можешь и один оставаться, всё равно не уснёшь, свет бьёт сквозь веки, люди с ума сходят...

И ещё на расстрел водили. Открывают камеру: «На выход с вещами!» Ведут коридорами. Могут глаза завязать. Конвоиры, их двое, могут перемолвиться вроде между собой, по секрету, тихо: «Куда?» – «В расход». Ну, дальше идёшь – ждёшь. В затылке – пусто, то жжёт, то холод... Приводят в подвал. Сырость. Лампочка еле-еле. Кирпичи голые, кровь на них. И на полу... Оставляют тебя одного. Полчаса, час... Никого нет. Ну, что вспомнишь, как вспомнишь – не рассказать... Ждёшь-ждёшь... Замок гремит – ну, всё, конец. А тебе: «Выходи!» И назад в камеру. Как дойдёшь – не заметишь. И ещё дня два ничего не замечаешь – ни соседей, ни еды, ни воды... Очень впечатляет... Меня два раза водили. Кого-то и больше. Но, говорят, с третьего раза меньше действует: доверие к органам падает.

Я как-то в камере сказал: «Если меня начнут бить, я сразу всё подпишу, чего мучаться...» Конечно, донесли. Мне на очередном допросе следователь говорит: «Вы почему ведёте провокационные разговоры? Кто здесь и кого бьёт, а?» Мне это «а?» сильно запомнилось. Когда пришла его очередь сесть, он попал как раз к нам в камеру. Приволокли его с первого же допроса с перебитой рукой – я хотел спросить его насчёт провокационных разговоров и про «а?», да жалко стало.

Песня 30-х годов:

Мы отстаиваем дело,
Созданное Ильичом!
Мы, бойцы Наркомвнутдела,
Вражки головы сечём!

Аба. Я на Колыме в лагере встречался с матерью Ягоды, наркома ГПУ. Старушка рассказывала, какой был добрый её сын, заботливый, ласковый... Мы в ЧК знали его доброту: он всеми кровопусканиями руководил, пока самого не шлёпнули. Когда его арестовали, а наркомом стал Ежов, я ляпнул: «Ежи питаются ягодами». Начальству донесли, мне пригрозили, но тут развернулась знаменитая «ежовщина», меня, слава Богу, взяли до взыскания, незапятнанным. А старушка-мама Ягоды умерла в бухте Нагаева в 1940-м. А отец его погиб на Воркуте, жену Иду расстреляли сразу после мужа, сестёр тоже растолкали по лагерям. «Член семьи врага народа», такая вот преступная категория населения. Вы у меня тоже: если бы мама не сбежала из Киева в Одессу, её бы посадили вслед за мной.

Шимек: А меня тоже?

Аба: Нет, тебе тогда трёх лет не было, а у нас гуманность. Детей в лагерь не отправляли, а в спецдетдом, записывали под другой фамилией, и всё – нет семьи, расплылась, исчезла.

После возвращения Абы к нему приходили многие в поисках сведений из глухих лагерных дебрей. Явилась и женщина с дочкой лет, как Шимеку, двенадцати: соломенные кудри, щёчки пунцовые с ямочками, голубые глаза изумлённые... Шимек робко поглядывал, не слушал, что Аба повествовал о девочкином папе Юзеке, сослуживце своём и сокамернике в Киеве и потом солагернике дальневосточном. Девочка тоже отвлеклась, Шимека глазами покалывала. Мама же её внимала Абе жадно, курила папиросу от папиросы, теребила шаль на себе, вопросы роняла... Аба старался говорить правду нестрашно. Почему от Юзека никаких вестей, он жене объяснить не мог: лагерная доля их развела давно... Когда гости ушли, Аба стёр виноватую приветливость с лица и сказал Жене: «Юзика отправили с этапом на материк Охотским морем. Зеки в трюме, конвой на палубе. По дороге пароход утонул. Конвой никого из трюма не выпускал. Зеки – ни один не спасся. Я мог это сказать его жене?»

Ночью Шимеку снились не кудряшки Юзиковой дочки, а Юзек в трюме, колотящий изнутри в задранный намертво люк.

Аба предпочитал воспоминания без надрыва. Только вот во сне он вспрыгивал, глаза навывкат, синие голубели до белого. По утрам, как Женя ни старалась заранее погладить его успокаивающе, взывался пружинно, зрочки бешеные: «А? Что?» – панически вскрикивал, и так годами, десятилетиями ежедневно, до самой смерти, не выходил из него лагерь, навсегда занозил. Но наяву был Аба сдержан и улыбчив, жизнь свою рисовал кистью лёгкой, красками неумоимельными.

Аба. Я в лагере в последние годы был расконвоированный, не хуже вольных. Каптёркой командовал, кладовщик – большой человек. На столе таз с конфетами – дети вольняшек прибегали, хватали. А здесь сыну кусок сахара не купишь. И предлагали же остаться вольнонаёмным, так нет, сколько можно пялиться на вышки с проволокой. Вольного пейзажа дураку захотелось...

И, словно облизывая сладкую тему с разных сторон, припоминал Аба, как он в детстве на спор съел в один присест двадцать порций мороженого: «Здорово я тогда поспорил с одним парнем, и он, и никто другой не мог поверить, что я почти четыре кило смогу умять зараз, я сам не верил, но выиграл, выжрал через силу, он таки оплатил моё удовольствие. Он деньгами, а я вот глухотой на всю жизнь – простудился сильно, два месяца болел. Зато большое преимущество: сколько глупостей не слышу!»

Правое ухо закрылось вовсе, в левом непросыхающий гной, к глухоте добавлялись врождённая гемофилия и нажитая стенокардия, но выглядел Аба

могуче, а требовалось кровь из носу застрячь под Магаданом на пересылке для немощных – «инвалидной командировке» – в преддверии колымских приисков и лесоповала, там заключённые выживали от силы несколько месяцев. Аба прибавил к болячкам симуляцию, обжулил, а может, охмурил лагерную фельдшерницу, она и оставила его в инвалидах, не отправила на убой трудом и морозом.

Работа на износ, температура за минус пятьдесят, ноздри слипаются, снег не скрипит – визжит... Из лагеря в тайгу под конвоем, «шаг в сторону – побег, стреляем без предупреждения», а обратно свободно, каждый гонит сам, кто не успеет, пока ворота не закрыли, того тайга ночью приголубит, навек... Аба, когда начинал косить под болезнь ног как-то при возвращении из лесу отстал от прочих, бросил симулянтские свои костыли, чтобы из последних сил, каждым вдохом грудь когтя, рваться к сволочным, стервяжьим, сучьим, паскудным, к родным, желанным, чтоб им стинуть, сторожевым вышкам, к воротам, за которыми зона, барак – защита от стужи-убийцы, нары, одеяло...

Аба выжил, даже сделал карьеру. Проскочил в «придурки», подружился с «блатарями», развлекал их цирковыми фокусами и пересказами книг – «травил романы», вождя блатарей – «пахана» – ублажил настолько, что, когда у благодетельницы-фельдшерницы лагерной кто-то украл термометр, единственный, наверно, на сотни километров вокруг, Аба пожаловался «пахану», и через два дня принесли Абе от него гранёный стакан, в котором торчали целых три термометра – не иначе, умыкнули у большого медначальства, может, и в самой гулаговской столице – Магадане. Аба мог щедро отблагодарить свою благодетельницу.

Он в ту пору выбился высоко, в старосты барака: больше сотни отбракованных медиками зеков, и он над ними «старшой».

Аба. Из политических мало кому так везло. Лучшие должности ведь начальство давало стукачам или блатарям – «классово близким», как говорили. У нас сидел Гриша, бывший председатель столичного горсовета, старый большевик. Кулаки – гири. И он в драке убил бандюгу одного, получил новый срок, но стал уголовником, своим у начальства. Сразу устроился на хлебное место в конторе, в тепле...

Хороший был парень, многим помогал. Как-то попросил меня: пришёл новый этап, у него там приятель, командир дивизии, нельзя ли у меня в бараке его спрятать. Комдиву, мол, перекантоваться бы день-два, пока остальных не погонят дальше, на прииски. Жалко мужика, он больной после допросов, на «общих» точно загнётся. А здесь, глядишь, зацепится, попробуем комиссовать его как больного, перебьётся как-нибудь.

Я, честно говоря, подрожал-подрожал, храбрый Янкель, а потом чего-то ляпнул: «Давай рискнём. Приводи, только попозже, когда спят». И в тот же вечер, барак весь сопит через две дырочки, ворочаются, пукают, я сижу у печки возле двери, полешки подкидываю, греюсь – тут дверь распахивается, и с мо-

роза, в парú, вваливается тип здоровенный, ушанка, фуфайка, лицо не разберёшь, заиндевело, да и лампочка надо мной слабая, еле светит. Он валенками стучает, как гусары когда-то шпорами, только звона не хватает. И басом, в ночной тишине гулко, страшно, ухает звание, фамилию: «По вашему приказанию явился». Честь бы ещё рукой к ушанке... Я просто ахнул: «Где его спрячешь? С таким ростом под нары запихивать?»

Ну, короче говоря, спрятал я его. И не на день-два, а больше, пока действительно не пересидел он очередное этапирование на север. И потом прижился у нас, на «инвалидной командировке», наверно, Гриша опять помог. Этого комдива, как очень немногих, о-очень, перед войной вызвали в Москву, освободили, он всю войну прошёл, кончил большим командиром... Можно считать – мой вклад в победу. А то ведь я вместе с другими просился на фронт, говорили нам: «Просите разрешить искупить вину кровью» – какая, к чертям, вина? – но мы просились, зона хуже фронта, авось выживешь... Почти никому не разрешили, у нас – только блатарям. За мной, значит, только тот генерал...

Комдив, пригретый Абой, из его барака взошёл к чину генерала армии, к званию Героя Советского Союза, к депутатскому креслу в Верховном Совете страны. Фронтовые дороги, от крови склизкие, провели его через Харьков, Сталинград, Курск до самого до Берлина, который он брал и которым, уже покорённым, позже командовал. Славно воевал...





культуролог, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Живет в России.

В ТИСКАХ ДУШЕВНОЙ ШИРИ*

Пара категорий «экстенсивное» и «интенсивное» описывает существенные, в некотором отношении ключевые, характеристики человеческой деятельности. Категория «экстенсивное» восходит к латинскому *extensivus* («расширяющий, удлиняющий») и описывает такой тип хозяйства и человеческой деятельности, в рамках которого изменения носят количественный характер. Здесь повышения объемов продукции достигаются за счет вовлечения в хозяйственную деятельность дополнительных ресурсов. Противоположная категория – «интенсивное» – восходит к латинскому *intensio* («напряжение, усиление») и описывает тип хозяйства и человеческой деятельности, в рамках которого изменения носят качественный характер. В данном случае повышение объема и качества продукции достигается за счет совершенствования технологий, оптимизации производственного процесса, более рационального использования рабочей силы и материальных ресурсов. Здесь привлечение дополнительных ресурсов минимизируется.

Процессы динамизации исторического развития, обострения конкуренции общностей самого разного ранга и уровня: народов и рас, локальных цивилизаций, конфессий и идеологий, государств, экономических и политических стратегий, а также осознание конечности нашей планеты и маячащая на горизонте проблема исчерпания природных ресурсов – все эти процессы существенным образом изменяют теоретический статус обозначенных категорий. Из сравнительно частных понятий, принадлежащих к сфере экономических и технологических дисциплин, «экстенсивное» и «интенсивное» перемещаются в

* «Нева», 2005. № 2.

центр гуманитарной теоретической рефлексии, на глазах обретая категориальный статус.

Еще лет тридцать назад «интенсификация производства» мыслилась как очередная и в то же время стратегическая задача советской власти. Это был один из приоритетов политики КПСС. Предполагалось, что задача интенсификации решается по мере внедрения в народное хозяйство результатов научно-технического прогресса. Решению этой задачи служили бесконечные планы оргтехмероприятий, реализуемые на самых разных уровнях. До каждого советского человека задачи интенсификации доводились всей мощью ресурсов агитпропа. Однако СССР, как мы знаем, проиграл Западу технологическую гонку и рухнул именно потому, что, не выдерживая темп интенсификации, был вынужден отвечать асимметрично, компенсируя качественное отставание количественным ростом¹.

Сокрушительные исторические итоги XX века позволили по-новому взглянуть на эту проблему. Проблема интенсификации обнаружила измерения, недоступные технократическому видению. Отечественная культурология и цивилизационный анализ, активно развивающиеся в постсоветскую эпоху, предлагают теоретическое пространство, позволяющее заново осмыслить проблематику интенсификации. С позиций этих дисциплин понятия «экстенсивное» и «интенсивное» выходят за рамки сферы технологии и экономических отношений и превращаются в характеристику отношения человека к природному и социальному универсуму. Далее выясняется, что склонность к интенсивному или экстенсивному типу деятельности относится к базовым характеристикам социокультурного целого.

Сложнообозримое множество самых разнообразных обществ, культур и цивилизаций, реализованное в истории человечества, демонстрирует присущий каждому из них уровень интенсивности. Если расположить известные нам типы хозяйственной деятельности на единой шкале от чистого присвоения продуктов природы, доступных архаическим обществам, до вершин интенсификации, достигнутых в современном мире, то обнаружится, что каждая конкретная культура находит на такой шкале свое место. С этих позиций мера интенсивности, присущая данной культуре, и доступный для нее резерв интенсификации, на пороге которого начинается деструкция культуры, фиксирует стадийный уровень культуры (локальной цивилизации) и присущую ей специфику.

Как было сказано выше, экстенсивное и интенсивное существенно шире технологии и хозяйства. Можно говорить об экстенсивной либо интенсивной модели развития. Каждая из этих моделей характеризуется определенным отношением к миру и порождает базовый тип личности. Эти типы различаются ментальностью – структурой переживания себя в мире, типом осмысления встающих перед человеком проблем и характером решений этих проблем. Можно говорить об экстенсивной или интенсивной интенции, модели развития, исторической стратегии. Одна из этих двух устойчивых моделей или стратегий закрепляется в культуре и наследуется от поколения к поколению.

Экстенсивная и интенсивная интенция выступают как системообразующие

характеристики культуры. Они пронизывают собой все срезы и аспекты самопроявлений человека и социокультурного организма. Мы имеем в виду ментальность, характер экономики, социальные отношения и политические институты, характер внешнеполитических устремлений. Экстенсивная либо интенсивная доминанта формируют стиль и стратегию исторического развития социокультурного организма.

Для различения экстенсивной и интенсивной стратегии исторического бытия критериально *отношение к ресурсам*. Экстенсивная в идеале тяготеет к *бесплатным (минимально оплаченным) ресурсам*. Экстенсивно ориентированный человек стремится устроить жизнь таким образом, чтобы ресурсы были бесплатны. Получение новых ресурсов взамен расходованных мыслится как операция, требующая минимума издержек. Русская народная сказка донесла до нас образ идеального мира неограниченных и бесплатных ресурсов. «Скатерть-самобранка», «неразменный пятак» и прочие радости сказочного мира оформляют этот идеал.

Исторически ориентация на безграничность ресурсного пространства и представление о бесплатном ресурсе как должном задана объективными параметрами ситуации раннего палеолита. Человек, принадлежащий культуре, для которой характерно присваивающее хозяйство, воспринимает природу как лонно, порождающее безграничные ресурсы. Природное пространство, земля, принадлежит богам, а значит, принадлежит всем. Ее используют по праву заимки². Охотники и собиратели живут в соответствии со стратегией, которую, несколько огрубляя, можно представить в следующем виде: съели все, что можно было съесть, – перешли на новый участок. Затраты на обретение ресурса сводятся к издержкам перехода. Истощенная и деградировавшая территория оставляется на продолжительное время или навсегда.

Экстенсивная стратегия исторически первична и очевидна в ситуации ресурсной избыточности. Пока пригодного для жизни человека пространства больше, чем людей, люди привержены экстенсивной стратегии. Общества, разделяющие экстенсивную стратегию бытия, – общества дорыночные.

В экстенсивных обществах сильны механизмы распределения, работающие на самых разных уровнях – рода, племени, государства. Здесь широко практикуется неэквивалентный обмен. Клиент поддерживает патрона, работает на него, когда необходимо, а патрон покровительствует клиенту (говоря современным языком, «крышует» его), кормит и поит в тяжелую годину. Другой вариант – русские «помочи». Соседи «всем миром» помогают семье строить дом, а хозяева в конце работы ставят общее угощение. В обоих случаях отношения сторон взаимны. Люди обмениваются услугами и обязательствами. Однако этот обмен принципиально не эквивалентен. Культура экстенсивно ориентированного общества противится принципу строго эквивалентного обмена, то есть принципу рынка.

Казалось бы, подобные отношения могут быть взаимовыгодными. В крайнем случае, они невыгодны одной из сторон в подобных традиционных обменах дарами и услугами. На самом же деле это невыгодно обществу как цело-

му, поскольку ведет к повсеместному, тотальному перерасходу ресурсов. От перерасхода уберегает сознание, сформированное таким образом, чтобы постоянно, автоматически считать каждый су и каждый пфенниг. Но экстенсивно ориентированный человек выше подсчета, считает его занятием недостойным. В экстенсивных обществах есть хозяйство, но нет экономики, ибо экономика начинается там, где маргинализируются распределительные отношения, главенствует рынок и все обретает свою цену.

Интенсивная стратегия возникает тогда, когда возможность экстенсивной исчерпывается – когда издержки на обретение нового ресурса взамен израсходованного оказываются критически высоки. Интенсивная стратегия исходит из того, что любые ресурсы надо добывать, возобновлять, обретать. Это самостоятельная деятельность, требующая расхода других ресурсов. Поэтому *все ресурсы являются платными, а стоимость ресурса определяет рынок*. Общественные отношения выстраиваются исходя из примата платности ресурсов. Принцип эквивалентного обмена оказывается ключевым, а рынок как институт, обеспечивающий эквивалентный обмен, – системообразующим элементом социокультурного целого. Только рынок в состоянии определить стоимость всех и всяческих ресурсов, товаров и услуг. Природное пространство, земля, в рамках интенсивной стратегии исторического бытия осознается как рыночная стоимость, имеющая цену и владельца³.

Принцип платности и рыночного определения стоимости относится ко всем ресурсам, в том числе к рабочей силе, к человеческим ресурсам в широком смысле. В этой системе мышления государство утрачивает сакральные коннотации, присущие традиционному государству, и превращается в специфический ресурс и источник особого товара. Государство, воплощенное в политической власти и бюрократическом аппарате, предлагает гражданам набор услуг, которые они покупают у государства, оплачивая его существование. Периодически проводится тендер на замещение статуса и роли политической власти. Конкурирующие политические команды борются за подряд на управление государством, а граждане большинством голосов избирают победителя. Это же относится к идеологиям, конфессиям, институтам культуры, которые конкурируют между собой на рынке идеологического, профессионального и культурного обслуживания.

...Экстенсивная стратегия неотделима от движения в пространстве. Новые ресурсы лежат в другом месте, нежели то, в котором ресурсы использованы. Далее, по мере разворачивания истории человечества и последовательного заполнения земного шара, такое движение оказывается связанным с насилием. Ибо на новой территории живут другие люди, склонные считать ее своей и использовать ее по-своему. С некоторого момента верность экстенсивной стратегии оказывается неотделима от насилия.

Все крестьянские (традиционные) социальные утопии рисовали общество, в котором ресурсы бесплатны. Опонское царство, Беловодье, страна Пенлай, страна пресвитера Иоанна – мир изобилия без торговли, кредита, старости и болезней. Можно предположить, что в этой мифологии фиксируются некото-

рые параметры обществ эпохи расселения человека по земному шару, когда природные ресурсы были еще заведомо избыточны, а конкурентные преимущества человека перед животными уже неоспоримыми.

Однажды экстенсивная ориентация получает идеологическое закрепление. В фольклоре, литературе и искусстве, в сакральных текстах и идеологических конструкциях базовые интенции и характеристики экстенсивно ориентированного человека фиксируются, обретают художественный образ, сакрализируются, обретают статус идеала.

Если мы обратимся к отечественному материалу, то обнаружим такие персонажи русского пантеона, как Иванушка-дурачок, юродивый, русский богатырь. Идеологи российской традиции пишут о широте души русского человека, нерасчетливости (трактуемой как позитивное качество), способности на поступок, причем поступок всегда алогичен, выше «плоского» расчета и рассудка; пишут о неприятии рынка, об устремленности к неким высшим ценностям и отторжении мира, построенного на ценностях материальных. Юродивость, алогизм, нерасчетливость, способность сжечь, пропить и прогулять нажитое годами труда – вот модельные качества, которыми любитесь идеологизированная традиция.

Идея коммунизма и социализма, понимаемого как стадия на пути к коммунизму (то есть социализма советского образца), описывает абсолютный и относительный идеал экстенсивного общества. При коммунизме исчезнет дефицит любых ресурсов, и все они станут бесплатными. При социализме дефицит некоторых ресурсов сохраняется. Однако государство лишает рынок статуса универсального механизма, обеспечивающего пропорции общественного производства и потребления. Оно берет на себя функции организации этих сфер человеческой деятельности, назначает цены, по которым обмениваются товарами и услугами субъекты социалистического производства. Что же касается граждан, то здесь социалистическое государство брало на себя издержки производства товаров и услуг, заполнявших сферу потребления (в особенности товаров первой необходимости), и проводило последовательную политику распределения этих товаров по символическим ценам, не отражающим издержки производства. Идея состояла в том, что круг этих практически бесплатных товаров и услуг будет расширяться и со временем охватит весь спектр потребностей человека.

Иными словами, оперируя ограниченными и далеко не бесплатными ресурсами, государство стремилось создать для граждан мир практически бесплатных ресурсов, товаров и услуг. Естественно, это было возможно лишь в том случае, когда все граждане работали на такое государство бесплатно. Точнее, труд их оплачивался также символически, по усмотрению государства. На свободном/теневом рынке в СССР труд, аналогичный работе в госсекторе, оценивался в 5–30 раз дороже. Поэтому человеческий труд, жизнь и здоровье человека в СССР были подлинно «бесценны», то есть не имели никакой цены. Бесплатный ресурс расходовался и перерасходовался чудовищно. Пенсии были символическими, никаких страховых выплат по смерти или потере трудоспособности государство

(ведомство) не делало. При гибели работника государство реально теряло лишь средства, израсходованные на его профессиональную подготовку.

Возвращаясь к характеристике экстенсивно ориентированного общества, следует отметить, что оно склонно, во-первых, к распределительным отношениям. Первобытный охотник имел право на сердце, печень и другие части убитого им животного. Однако все остальное поступало в распоряжение старейшин, которые распределяли добычу, наделяя ею стариков, женщин и детей и т. д., не забывая, разумеется, о себе. Во-вторых, экстенсивно ориентированное общество тяготеет к ограничению и нормативизации потребления. Люди должны потреблять в соответствии со своим статусом. Реплика городничего из гоголевского «Ревизора» «Не по чину берешь» прекрасно выражает этот тип мировосприятия. Ограничение потребления свидетельствует о действии объективных ограничителей, встающих на пути общества, реализующего экстенсивную стратегию бытия. Безграничное изобилие существует только в мечтах экстенсивного человека. Экстенсивно ориентированному обществу всегда всего не хватает. Дефицит как самого насущного (земли, продуктов питания, товаров и услуг), так и необязательного, но такого вожделенного (предметов роскоши, заморских диковин) – устойчивая характеристика экстенсивных обществ. Это толкает их к морали самоограничения. К этому можно добавить, что экстенсивно ориентированный субъект видит мир как объект потребляющего отношения. Цены в рыночном смысле, той цены, которую надо заплатить за потребление чего бы то ни было, природная среда не имеет. Иными словами, механизмов, ограничивающих потребление, здесь не существует. Согласно украинской пословице, «не на те козак пье що е, а на те, що буде». Как реакция на эту установку в устойчивом традиционном обществе складывается этос минимизации потребностей и иерархия потребления «по чину». Нормативизация потребления по статусам, возрастам, полу, профессиям – одна из существенных особенностей устойчивых, экстенсивно ориентированных обществ.

Интенсивные общества устроены по-другому. На месте культурных, правовых, социальных ограничителей встает универсальный регулятор рынка. На рынке есть все. Потребление упирается в наличие денег в собственном кармане. Человек, который тратит более того, что он может себе позволить, быстро идет по пути разорения. Это означает, что очень скоро его потребление будет приведено в жесткое соответствие с его возможностями действием императивных механизмов рыночных отношений. Таким образом, место дефицита природных ресурсов, товаров и услуг занимает дефицит финансовых ресурсов. Понимание того, что деньги сами по себе – важнейший ресурс, двигает людей к самоограничению и задает параметры потребления.

Заслуживают внимания различия в отношениях собственности. В экстенсивно ориентированной культуре природные ресурсы мыслятся как всеобщее достояние. Они принадлежат Богу, царю, нашему роду-племени. Отдельный человек, семья, род устанавливает с универсальным ресурсом – землей – отношения пользователя. Отношения пользователя складываются по праву заимки (первый сел на землю, застолбил участок). Прекращение использования земли

(природных угодий) ведет к прекращению отношений пользователя. Итак, базовый природный ресурс не имеет реальной цены, не имеет реального собственника, не попадает в систему рыночных отношений, обеспечивающую движение природных ресурсов в руки эффективного собственника. Главенствующий принцип один: каждый «наш» человек имеет право на свою долю базового ресурса (земли) по праву своего рождения. Вопрос о том, как (насколько эффективно) будет использован этот ресурс, здесь не возникает в принципе.

Характерно, что экстенсивно ориентированная культура легко ассимилирует идею собственности на человека. Патриархальное рабство возникает в экстенсивных обществах. Те или иные формы зависимости (рабы, крепостные, полусвободные) широко представлены в экстенсивно ориентированных культурах. Человек может быть собственностью государства, социального института (храмовые рабы, монастырские крестьяне), сословия, отдельной семьи.

В интенсивно ориентированных культурах базовый природный ресурс обретает в глазах общества цену, а значит, превращается в товар, который получает владельца, пройдя через институты рыночных отношений. Земля продается, покупается, закладывается и т. д. Природными ресурсами может владеть государство, организация, социальный институт. Важно, что любой владелец природных ресурсов существует в системе рыночных отношений. Рано или поздно рынок выдавливает неэффективного собственника. Право на природные ресурсы имеет лишь тот, кто в состоянии купить эти ресурсы на рынке и создать, базируясь на них, эффективное, конкурентоспособное производство.

Интенсивно ориентированная культура плохо сопрягается с идеей собственности на человека. Переход к интенсивной стратегии исторического бытия в индустриальную эпоху всегда связан с освобождением человека от внеэкономической зависимости. На самом глубинном, онтологическом уровне эта общеисторическая закономерность задана тем обстоятельством, что интенсивные формы деятельности доступны автономной личности. Интенсивное отношение к миру формируется в ментальности человека, разорвавшего путы зависимости от традиционного универсума. Личностная автономность требует своего подтверждения в социальном плане. На уровне политических отношений любые формы зависимости тормозят формирование эффективных отношений в системе общество–государство. На уровне экономических отношений в плане технологического развития использование труда зависимого человека контрпродуктивно. Раб (заклоченный) в принципе не вписывается в интенсивно ориентированное производство. Частично зависимый (крепостной, советский человек) плохо вписывается в такое производство, постоянно вываливается из него, тормозит интенсификацию, сводит на нет усилия интенсификаторов. И это понятно, если иметь в виду, что устойчивый интенсивный результат может быть достигнут только в том случае, когда все (по крайней мере, подавляющее большинство) работники озабочены этой проблемой и не формально, но сущностно участвуют в интенсификации.

Наконец, экстенсивная культура всеми силами отторгает рыночную конкуренцию, ибо в конкурентной борьбе побеждает интенсивный, способный к оп-

тимизации. Она тяготеет к монополии, требует государственного регулирования, ищет преференций. Экстенсивно ориентированный субъект исходит из того, что результаты его труда должны гарантировать его благосостояние вне зависимости от качества, издержек, количества вовлеченных ресурсов и т. д.

Понятия интенсивного и интенсификации часто увязываются с техническим прогрессом. Однако, вопреки поверхностному взгляду на вещи, интенсивная и экстенсивная доминанта не связаны жестко с разделением на традиционные, доиндустриальные и индустриальные технологии. Интенсивная доминанта культуры может быть реализована в рамках традиционной системы хозяйства. В истории неоднократно реализовывался следующий сценарий: на некоторой, достаточно обширной территории шло развитие экстенсивно ориентированных обществ. Однажды эти общества заполняли ту целостную территорию, выход за рамки которой был для них невозможен по геополитическим, ландшафтно-климатическим и другим обстоятельствам. Далее наступал неизбежный кризис, который разрешался переходом традиционного общества к интенсивной стратегии развития. Примеры такой эволюции мы наблюдаем в Китае, Японии, Индии.

В традиционно интенсивных обществах крестьянин из поколения в поколение возделывает крошечный по меркам экстенсивного общества участок, устойчиво, год за годом извлекая из него максимум продукции. Здесь отрабатываются самые эффективные технологии. В таких культурах люди проходят великую школу тщательного труда, постоянного и непрерывного расчета (соотнесения вложенных усилий и полученного результата). В этих культурах сформировались безотходные циклы производства/потребления, в которых практически все использовалось, а затем включалось в нескончаемый оборот. Здесь веками нащупывались параметры органического, минимально противоречивого вписывания человека в природную среду.

Общества, вышедшие на уровень интенсивной стратегии в рамках традиционного хозяйства, тяготеют к самозамыканию, отгораживаются от остального мира китайской стеной, реализуют имперскую политику в строго ограниченном регионе типологически близких культур. Можно даже говорить о тенденции к оукливанию и застою существованию этих обществ. Однако в высшей степени характерно следующее: с разворачиванием промышленной революции традиционные общества, вышедшие на уровень интенсивного хозяйства, демонстрируют поразительные успехи.

Итак, интенсивная стратегия человеческого бытия достижима в рамках традиционного хозяйства. В свою очередь, экстенсивная доминанта культуры может сохраняться в обществах, совершивших переход к индустриальной эпохе. Отдельные экстенсивные культуры с трудом, болезненно, но осваивают промышленные технологии. В результате формируется внутренне противоречивая амальгама: интенсивная по своим потенциалам индустриальная технология оказывается в руках экстенсивного исторического субъекта. Такая комбинация никогда не ведет к фиксации на внутренних проблемах, усилиям по перестройке социокультурного организма, к росту благосостояния общества. В

таком случае любые внутренние преобразования оказываются подчинены задаче резкого наращивания военной силы и могущества. Носитель экстенсивной доминанты стремится использовать взрывной рост производительности труда для целей экстенсивного роста «своей» культуры. Когда Дмитрий Мережковский писал о «Грядущем хаме», о варваре, вооружившемся дредноутами и торпедами Уайтхеда, он имел в виду описываемый нами феномен.

Исключительно важно осознать, что тотальная внешняя агрессивность экстенсивной культуры, вступившей в модернизационные преобразования, закономерна и неизбежна. Экстенсивная доминанта не есть некоторый факультативный момент – это интегративная характеристика экстенсивной культуры, выражающая ее качество. Она может быть снята только с распадом экстенсивного сознания. Другое дело, что существует диалектика экстенсивного исторического субъекта и промышленных технологий, рожденных в лоне интенсивной цивилизации. Освоение этих технологий несет в себе неумолимую интенцию к перерождению экстенсивного общества. Постепенно и незаметно для себя оно начинает изменяться, трансформироваться, ценить сущности, вчера еще презируемые, и отчуждаться от целей и ценностей, вчера еще представлявшихся незыблемыми и бесспорными. Подобная эволюция растягивается на добрый десяток поколений.

... Настоящие проблемы возникают при переходе от экстенсивной к интенсивной стратегии. Смена генеральной модели культуры – исключительно энергоемкий процесс, сопровождающийся большими потрясениями. Причем далеко не все субъекты истории смогли перешагнуть этот порог. История человечества разворачивает перед нами реестр племен, народов и даже локальных цивилизаций, которые исчахли, рассыпались, погибли в бессмысленных войнах, воплощавших тупиковую историческую инерцию экстенсивного существования, но так и не смогли перейти к интенсивной модели развития.

На некотором этапе восхождения по пути интенсификации экстенсивных обществ открывается зона фазового перехода. Дальнейшая ассимиляция частных интенсивных технологий, моделей поведения, установок и ценностей упирается в границы системного качества культуры. Элементы интенсивного космоса начинают разрушать исходное целое. В ответ активизируются мощнейшие механизмы самосохранения. Диссистемные инновации блокируются. Традиционная целостность отторгает нововведения и те социальные слои, с которыми они связаны. В обществе нарастает эсхатологическая истерия. В результате процесс интенсификации не просто тормозится, но блокируется и может пойти вспять. Необходимы огромная энергия и мощные потрясения, чтобы... ускорить процесс пресечения исторического воспроизводства традиционного универсума. Обычно этот процесс растягивается на ряд поколений. Суть его в создании таких условий, в которых ядро данной культуры – экстенсивно ориентированная ментальность – утрачивает возможности воспроизводства. А этого можно добиться одним-единственным способом – минимизировав шансы на выживание для носителей экстенсивно ориентированного сознания, создав для них невыносимые условия. Носители экстенсивного сознания

подвергаются диффамации, выдавливаются из общества, маргинализуются, уничтожаются самыми различными способами.

В Европе на смену средневековой морали, видевшей в нищем «божьего человека», приходит новое, протестантское, отношение к нищенству, согласно которому каждый человек должен работать; а нищенство, за вычетом ряда особых случаев (увечье, потеря кормильца и т. д.), – свидетельство моральной деградации. Так рушился один из столпов экстенсивного космоса. Потом интенсивно ориентированное общество создаст собственные механизмы перераспределения и социального страхования человека, как государственные, так и общественные. Но это будет потом. На этапе перехода решается другая задача – *уничтожение* уходящей культуры. Такова страшная диалектика истории.

Традиционный человек не только не желает принимать новую реальность, но и не способен жить в ней. Отсюда народные восстания и крестьянские войны, отсюда дисперсное, атомарное противостояние утвердившемуся социальному порядку (массовое хулиганство). Отсюда балластность и пассивные формы противостояния переменам⁴. Отсюда социально-психологическая дестабилизация традиционной стихии: взрывной рост разнообразных сект, будоражащие простонародье слухи, эсхатологическое томление и т. д.

Вписанные в традиционный мир люди становятся жертвами «огораживания», разоряются десятками тысяч, пополняют разрастающуюся армию бродяг. В ответ государство принимает жестокие законы о бродяжничестве. Традиционный человек живет в непоколебимом убеждении, что сытый должен поделиться с голодным. Это убеждение вступает в неразрешимый конфликт с принципом частной собственности. В Англии до середины XIX века карманная кража на сумму свыше 5 шиллингов либо кража товаров в лавке на сумму свыше 40 шиллингов каралась виселицей. Традиционный человек рассматривает работу как нечто гарантированное ему космическим порядком вещей. Отсюда право крестьянской семьи на обрабатываемую землю, отсюда жесткое регулирование рынка, ограждавшее ремесленные цеха от конкуренции внецеховых производителей (как в городе, так и в крестьянской округе). Промышленная революция разоряла ремесленника и лишала его работы. В ответ ремесленник брал в руки кувалду. В Англии в начале XIX века проникновение в цех с целью сломать станок каралось виселицей.

Традиционная культура во всем мире характеризуется огромной, немислимой устойчивостью. Традиционный человек изменяется лишь в чреде поколений, незаметно для себя самого. Причем условие такой трансформации – глубочайший и устойчивый стресс, ставящий человека на грань выживания. При этом изменяется каждый третий или каждый пятый. Остальные отбраковываются, маргинализуются и сходят на нет, вышибаются из бытия. Самоорганизация культуры, переживающей переход от экстенсивной к интенсивной доминанте, задает такие параметры процесса воспроизводства, в которых условием выживания оказывается смена ментальности.

Алкоголизация, наркомания, взрывообразный рост сектора деклассированных элементов, снижение рождаемости, уменьшение продолжительности жиз-

ни, астения, рост преступности – все это феноменология общего кризиса, связанного с переходом общества от экстенсивно ориентированного к интенсивному типу социокультурного целого. Экстенсивно ориентированный субъект переживает переход к интенсивно ориентированному типу общества как крушение космоса, утрату онтологических оснований бытия, смысла жизни, ориентиров и ценностей и т. д. Общество дезинтегрируется, переживает социальные и политические потрясения.

Нельзя сказать, что вся эта феноменология не была известна отечественным историкам и обществоведам 20–30 лет назад. Была известна. Адекватная оценка этих явлений была заблокирована ложной теоретической перспективой. Кризисы фазового перехода проходили у нас по ведомству «классовой борьбы» и описывались в главах, повествующих об ужасах перехода к капитализму. Но, поскольку советский народ совершил великую революцию и строил коммунистическое общество, трагедии утверждения капиталистических отношений имели для советского человека академически познавательный интерес.

На самом же деле переход от экстенсивной к интенсивной стратегии исторического бытия не связан с «эксплуатацией человека человеком» и всякий раз сопряжен с великими потрясениями. В обществах, переживших этот переход на базе традиционного хозяйства, он был не менее болезненным. Распадались конкурирующие за территорию царства, наступала эпоха безвременья, с гор или из степей наваливались варвары, разворачивалась депопуляция, рушился мир экстенсивного человека. Чаще всего переходная эпоха завершалась объединением всего региона в рамках единого государства, построенного уже на принципах интенсивного отношения к миру.

...Типология культуры задает и формы государственного устройства, и общеисторические интенции, и общую конфигурацию цикла: восхождение–пик–угасание–историческое снятие. Так, цивилизация Византии не смогла перешагнуть порог, отделяющий экстенсивное и интенсивное развитие в рамках традиционного хозяйства. В результате православное царство было покорено и вошло в тело Османской империи. В то же время наследники Карла Великого нашли в себе силы для ответа на вызов истории. Западно-христианский мир остановил монголов, арабов, турок, создал динамичную цивилизацию, развернул глобальное наступление белой расы по всему миру, запустил механизм глобальной модернизации традиционных обществ и создал охватывающую три континента евроатлантическую цивилизацию.

В Западной Европе переход от экстенсивной к интенсивной стратегии разрушил традиционное общество и породил промышленную революцию. Этот процесс начинается на протестантском севере Европы (Голландия, Англия) и маркирован эпохой кровавых войн Контрреформации. Вслед за протестантским севером в модернизационный переход включается католический юг континента. Этот процесс маркирован Великой французской революцией и эпохой наполеоновских войн. Обозначенные потрясения были только началом. Европе предстояли внутриевропейские войны, экономические и политические кризисы. Она пережила Первую и Вторую мировые войны и только во второй

половине XX века, с помощью институтов ЕЭС и НАТО, Западная Европа объединяется в высокодинамичное интенсивное целое.

Характерно, что для первых западно-европейских стран вхождение в промышленную эпоху и переход к интенсивным стратегиям сопровождался созданием колониальных империй. Можно подумать, что создание колониальных империй противоречит принципу интенсификации и свидетельствует о победе экстенсивной стратегии. Однако это не так. Генеральная, общеисторическая задача колониального захвата отличалась от целей формирования традиционных империй. Последние интегрировали большие пространства во имя создания единого, экстенсивно ориентированного традиционалистского целого. Они знали лишь цели «разбухания», чисто количественного, пространственного роста во имя поддержания разрастающегося традиционного общества. Колониальные империи западно-европейских стран решали иную общеисторическую задачу. Колонизаторы не стремились создать единое целое, но выкачивали из колоний ресурсы, которые использовались для решения задачи интенсификации метрополии. Когда в XX веке эта задача была решена и ведущие страны Запада вышли на такой уровень интенсивного развития, который не требовал более внеэкономического отчуждения ресурсов заморских территорий, наступила эпоха деколонизации.

Экстенсивно и интенсивно ориентированные общества резко различаются уровнем рождаемости. Экстенсивная интенция культуры сопряжена с экстенсивным типом воспроизводства человека. Традиционная семья не знает планирования рождаемости. Семейная женщина рождает «с запасом». Остается столько детей, сколько выжило. Как правило, выживает больше двух. Отсюда лишние рты и лишние рабочие руки, требующие пространства и дополнительных ресурсов. Здесь надо сказать, что демографический переход – органическое следствие интенсификации общества. Чем интенсивнее экономика, тем более штучным товаром становится человек, тем выше цена отдельной человеческой жизни, тем дороже воспитание эффективного члена общества и ниже рождаемость.

Русская культура имеет выраженно экстенсивный характер. Экстенсивность относится к атрибутивным характеристикам российской цивилизации. Возникновение Киевской Руси связано с эксплуатацией маршрута транзитной торговли по «пути из варяг в греки». Для раннего варварского государства это вполне нормально. К примеру, так же был устроен Хазарский каганат. Тем не менее отметим: государственные деятели киевского периода понимали государство как институт, формирующийся для целей взимания географической ренты, вытекающей из факта контроля над торговыми путями. Государство взяло на себя труд очистить торговые пути от своих конкурентов – бандитов – и создало налоговые службы. Сложно придумать что-либо более экстенсивное и паразитарное по своей интенции.

Экономика Московской Руси базируется уже на производящем хозяйстве. Производящее хозяйство XII–XIV веков, безусловно, шаг вперед по отношению к чисто хищническим стратегиям эпохи ранних Рюриковичей, подрывав-

ших любые основания социальности. Однако подсечное земледелие и стадильно соответствующие ему типы производства сырья относятся к наиболее экстенсивным формам производящей деятельности. Они предполагают бескрайне мало либо совсем незаселенное лесистое пространство, по которому перемещаются редкие крестьяне. Крестьянин на подсеке три года снимал урожай сам-пятьдесят, а потом переходил на новый участок. Суть этого типа хозяйства состоит не в том, чтобы произвести, а в том, чтобы перевести в формы продукта потенциал, накопленный природой за века жизни без человека, и перейти на другой участок, забросив деградировавшую территорию. Ключевский говорил о неповторимом умении русского хлебопашца «истощать почву»⁵. Касаясь той же проблемы, Пайпс пишет: «...русский крестьянин оставлял после себя истощенную почву и рвался все дальше и дальше в поисках земель, которых не касалась еще человеческая рука»⁶. Традиция экстенсивного земледелия неотделима от насилия. Экстенсивная стратегия предполагает необходимость отнять нечто у природы, у других людей (своих), у нелюдей (инородцев, «немцев») и использовать это себе на благо.

В XV веке возможности эксплуатации подсечного земледелия были исчерпаны, и разразился социально-экологический кризис. В ответ на кризис внутри крестьянского хозяйства появляются ростки нового, интенсивного, типа хозяйствования (навозное животноводство). Однако «государство пошло по пути захвата чужих земель. Оно сделало свой принципиальный выбор в пользу экстенсивного пути развития»⁷.

Таким образом, формировался устойчивый культурно-исторический тип русского крестьянина, а значит (для страны с преобладающим сельским населением), и тип русского человека. Движение вширь душило носителей интенсивных форм хозяйствования... Возможности решать проблемы за счет колонизации консервировали экстенсивную доминанту русской культуры, закрепленную в ходе цивилизационного синтеза, который разворачивается в XIV–XVI веках. В период своего максимального расширения страна была почти в 50 раз обширнее своего минимального размера.

Надо подчеркнуть, что экстенсивная доминанта не замыкалась на крестьянстве. Политическая элита страны восприняла от Монгольской империи безграничную имперскую устремленность к тому, что за горизонтом. Русские цари рассматривали себя в качестве наследников Золотой Орды. Татарская политическая философия и административная практика были унаследованы в главных характеристиках. Отсюда поразительная ресурсорасточительность, культ «победы любой ценой», отсюда презрение самого последнего околоточного к частному человеку, обывателю, не осененному харизмой власти. Отсюда экстенсивные ответы на все вызовы истории. Российские ремесленники и купечество мыслили мир экстенсивно, всеми силами противостояли конкуренции с европейскими купцами и производителями, требовали преференций. Российское общество во всех его срезам и проявлениях было тотально экстенсивным. Устойчивая имперская традиция, сложившаяся к концу XVII века, стала государственно-политическим выражением экстенсивной стратегии российской цивилизации.

Модернизация, разворачивавшаяся в Московском царстве с середины XVII века, продемонстрировала описанный нами выше парадокс. Экстенсивное общество, осваивая интенсивные технологии, использует их для реализации естественных для себя целей экстенсивного роста. Модернизирующаяся Россия выдавливает Османскую империю с побережья Черного моря, громит застойную Персию, укрепляется на Кавказе, присоединяет территории Средней Азии и Дальнего Востока.

Петербургская империя успешно противостоит запаздывающей с модернизацией и не менее экстенсивной Османской империи. Интенсифицирующиеся европейские соседи России – более сложный и опасный противник. Здесь качественное отставание приходится компенсировать количественным ростом. В эпоху Александра I русская армия насчитывает 900 тысяч человек. Характерно, что до конца XIX века цели и задачи экономического роста и государственного развития российская элита осмысливает в количественных параметрах: в тысячах километров железных дорог, миллионах пудов чугуна, объемах экспорта и т. д. Развитие России мыслится как чисто догоняющее. Экстенсивная составляющая развития доминирует. Политическая элита мыслит чисто экстенсивно. Гимназический учебник русской истории – нескончаемое повествование о присоединениях.

Между тем к началу XX века окончательно исчерпываются возможности экстенсивного роста страны. Однако элита не понимает и не желает признавать этого. Россия ввязывается в русско-японскую войну 1904–1905 годов... Проходит совсем немного времени, и российское правительство вступает в самоубийственную для нее Первую мировую войну. Как отмечает А. Уткин, «внешняя политика гонялась за химерами типа Общеславянского союза, контроля над проливами, Великой Армении и т. п.»⁸. Идея Общеславянского союза под эгидой России и клич «Крест на Святуго Софию» предполагал раздел Германии, Австро-Венгрии и Османской империи. В очередной раз российское правительство искало выход из внутреннего кризиса на путях экстенсивного движения.

Заметим попутно, что идея «братьев славян» была любимым, но не единственным детищем российской элиты. Россия веками грезилась завоеванием Востока. Несостоявшийся казачий поход на Индию по приказу императора Павла, призывы генерала Скобелева к броску в Афганистан и далее на Индию, химера «евфратского казачества» Николая II, активное советское присутствие на Ближнем Востоке, советская агрессия в Афганистане, прожекты Жириновского омыть ноги российских солдат в Индийском океане – все это звенья единой химерической и самоубийственной логики.

Крах империи закономерно завершал большой этап модернизации России. Большевицкий проект строился на иных идеологических и политических основаниях, но в существе своем оставался модернизационным. В идеологеме «построения материально-технической базы коммунизма» оформлялись цели модернизационного развития. В культурном отношении советский проект представлял собой своеобразный исторический компромисс. Это была попыт-

ка решить генеральную задачу интенсификации, опираясь (а значит, и сохраняя) на экстенсивно ориентированного традиционного субъекта. Таковую стратегию Вишневский называет «консервативной модернизацией».

Основания, по которым «социалистический эксперимент» был обречен на провал, многообразны. Приведем одно, коренящееся в культуре. Высокая экономическая эффективность возможна лишь в том случае, когда проблема оптимизации и повышения эффективности деятельности становится заботой всего общества. В СССР это было невозможно по фундаментальным причинам. Традиционный человек, полагающий скопидомство грехом, расчетливость – пороком, а счеты между близкими, родными и друзьями – делом недостойным, не мог «беречь каждую народную копейку» на социалистическом предприятии, как бы его не убеждали и не понуждали к этому. Решение этой задачи требует другого качества ментальности. А человек, обладающий требуемой для этого – рыночной, интенсивно ориентированной – ментальностью, сколь глубоко бы он ни был индоктринирован, не сможет участвовать в «социалистическом эксперименте», так как быстро убедится в его экономической абсурдности.

В начале эпохи индустриализации мышление советских лидеров идет по пути догоняющего развития (вспомним лозунг «Догнать и перегнать!») и фиксирует количественные характеристики: те же миллионы пудов, тонно-километры перевозок, количество прокатных станов и т. д. Однако уже в предвоенном пятилетии, в ходе Отечественной войны и далее в послевоенном СССР задачи качественного роста и интенсификации были осознаны как стратегические. И это – одно из безусловных завоеваний политической и общественной мысли советского времени. Идея соревнования двух систем нацеливала советских людей на качественный рост. Политическая элита страны осознала: победит тот, кто победит в технологической и экономической гонке.

Казалось бы, тоталитарное государство с государственной экономикой обладает немислимыми возможностями мобилизации ресурсов и концентрации усилий общества на приоритетных направлениях. На науку не жалели никаких ресурсов. Тем сокрушительнее итоги. Причины кроются в органических пороках системы и качественных характеристиках человеческого материала. Однако и первое, и второе производно от базовых характеристик отечественной культуры.

Результат «социалистического эксперимента» показателен: он иллюстрирует, что получается, когда задачи интенсификации начинает реализовывать экстенсивно мыслящий человек. В СССР была создана огромная промышленность, сформирована многомиллионная армия ученых, сложилась мощная система среднего и высшего образования. На балансах сельхозпредприятий числилось заведомо превышавшее разумные потребности избыточное количество тракторов. Десятки тысяч неустановленных станков ржавели на задних дворах предприятий. Миллионы, если не десятки миллионов людей с высшим образованием выполняли работу, требовавшую квалификации выпускника средней школы. Девочки с дипломом инженера трудились инспекторами в отделах кадров. Отечественная промышленность потребляла рекордное количество ресурсов на единицу продукции и с каждым годом все более работала на саму се-

бя. Месторождения железной руды разрабатывали шагающие экскаваторы и гигантские самосвалы, а металл, выплавляемый из этой руды, шел на производство экскаваторов, самосвалов, железнодорожных составов, которые везли руду для доменных печей и т. д.

Нельзя сказать, что в советское время не было сделано ничего для интенсификации общества. В СССР была разрешена огромной важности историческая задача: была уничтожена историческая база экстенсивной стратегии – традиционное российское крестьянство⁹. Большинство россиян стало горожанами. Индустриальная культура и образ жизни сделались всеобщим достоянием. На смену противостоящей любым переменам, нетрансформируемой традиционной культуре пришел паллиативный персонаж – мигрант первого поколения. Идеи прогресса и общественного развития стали всеобщим достоянием.

Кризис социалистической системы и распад СССР маркировали завершение очередного этапа модернизации России. Советское общество полностью исчерпало резервы экстенсивного роста и надорвалось. С середины 70-х годов в стране сменился вектор этнических перемещений. С этого времени число жителей союзных республик, въезжавших в РСФСР, превысило численность русских, переезжавших в республики Союза. В стране разворачивалась панорама неизбежных последствий многовековой экстенсивной имперской политики. Отдаленные последствия экстенсивного развития накапливаются веками, но срабатывают резко, по историческим меркам – почти мгновенно.

Если наша оценка исторической ситуации справедлива, то в России разворачивается заключительный этап перехода всего общества к интенсивной стратегии бытия. Этот переход разворачивается с начала XX века. Начиная с первой русской революции 1905 года и до середины 50-х годов прошлого века Россия переживала исключительно драматический, кровавый период выдавливания из жизни традиционно ориентированного, экстенсивного человека. В середине 50-х годов, когда традиционное крестьянство, очевидно, близилось к концу, а на первое место выступал созданный советской эпохой мигрант первого поколения, наступает относительная стабилизация общества. Советская власть вживляла в сознание вчерашнего традиционного человека ген развития. Результат оказался противоречивым и стратегически бесперспективным. Эпоха паллиативного исторического субъекта, сочетающего в себе установку на развитие и традиционалистские инстинкты и ценности, противостоящие этому развитию, завершена. Это означает, что разворачивается следующий этап выдавливания (выведения из бытия, прерывания межгенерационной культурной преемственности) недостаточно эффективного человеческого материала, на этот раз сформированного в советскую эпоху.

Перед российским обществом встают две существенные проблемы, масштаб которых трудно переоценить. Первая проблема состоит в отсутствии адекватного понимания происходящих процессов и реальных исторических перспектив, а также глубинной психологической и культурной неготовности если не всего, то значительной части общества к происходящему. Вторая заключается в том, что процессы замещения исторического субъекта всегда со-

пряжены с дестабилизацией общества и самыми различными социальными издержками.

Начнем с понимания, которое блокируется гносеологическими и ценностными барьерами. Происходящее слишком драматично, коренным образом расходится с традиционализованной, закрепленной в сознании исторической инерцией. Адекватное понимание происходящего рождает истины и рисует перспективы, которые переживаются как унижительные и неприемлемые. Мышление экспертно-журналистского сообщества мечется между алармистскими сценариями и беспочвенными сверхрадушными прогнозами. Катастрофизм мировосприятия – устойчивая русская традиция. В эти построения в глубине души не верят ни их авторы, ни слушатели и читатели, ибо картины катастроф – дань эсхатологической доминанте российского сознания и род магической деятельности. Проговаривая апокалиптические картины, наш человек особым образом заговаривает будущее. На другом полюсе общественного сознания формируются сценарии будущих побед и невиданного величия новой России. Заклинательные утверждения и фантазии на тему светлого будущего не имеют под собой объективной почвы. Так же как и катастрофизм, это – род групповой психотерапии. Со своей стороны, власть демонстрирует дежурный казенный оптимизм. Все эти построения минимально соотносятся с реальными процессами. Однако общество не готово к разговору, в котором вещи назывались бы своими именами. Немногие, осознающие реальность, вынуждены примеряться к доминирующим общественным настроениям и уровню понимания происходящего.

В ситуации, когда общество, всеми силами стремившееся отгородиться от глобальных процессов, представлявших ему разрушительными, стремившееся «подморозить Россию», исчерпало ресурсы отгораживания и жизни за железным занавесом, снимает перегородки, на граждан наваливается непомерный груз, связанный с трансформацией всего универсума. На наших современников упала задача пережить и ассимилировать в своем сознании коренное изменение всего строя жизни, места России в мировом сообществе, реестра друзей и союзников. Сменились критерии и ориентиры, нормы и ценности. Рухнули вчера еще устойчивые, эффективные модели поведения. Отсюда полное непонимание одних, ложное понимание других. Отсюда псевдообъяснения происходящего и ретроспективные утопии. Попытки уйти от решения проблем, оттянуть непопулярные и болезненные решения. Отсюда установка на проедание ренты. Те, кому уже поздно меняться, а таких десятки миллионов, озабочены тем, чтобы дожить свои дни, по возможности ничего не меняя и сохраняя некоторый минимум благ и удобств, к которому они привыкли в течение жизни. Этот запрос провоцирует популистскую политику, истощает ресурсы государства и тормозит преобразования, которые надо было делать еще вчера.

Т. Ворожейкина задается вопросом: в чем причины провала демократического проекта трансформации российского общества? В качестве типичного ответа автор приводит следующее суждение: «В том, что он не соответствовал настроениям, мироощущению огромного большинства населения, не желав-

шего что-либо радикально менять, согласного на сохранение своего зависимого и безответственного положения и всегда готового поддержать действующую власть из опасения перед худшим»¹⁰.

Вторая проблема не менее драматична. Сход с исторической арены широких социальных категорий, умирание культурных традиций, разрушение преемственности поколений всегда трагедия. Нам остается надеяться на то, что завершение процессов исторического перехода к интенсивной стратегии бытия обойдется с минимальными издержками. Однако из общих соображений следует, что изменения такого характера и масштаба могут и должны породить маргинализацию широкого слоя общества, социальные напряжения и общую дестабилизацию, падение морали, ухудшение физического состояния населения, способствовать утверждению жесткого политического режима и т. д. Здесь перед нами открывается пространство стратегических рисков высочайшего уровня.

Перед современным российским обществом встает сложноразрешимая задача: сломать воспроизводство экстенсивно ориентированного человека, мобилизовав все силы общества на формирование его исторической альтернативы, и одновременно не допустить превышение критического уровня маргинального, балластного, выпадающего из социальных связей и противопоставляющего себя социальному порядку сектора общества. Того самого критического объема, превышение которого ведет к политической дестабилизации.

У нас нет ответа на вопрос, готово ли общество к тем переменам, которые составляют условие выживания нашего народа, его культуры и государственности, условие сохранения российской цивилизации. Пока мы наблюдаем могучую власть исторической инерции. Так, структура экспорта, известная нам по документам X–XII веков, качественно не изменилась. Идея о природных богатствах как основе могущества страны получила самое широкое распространение.

Экспорт энергоносителей, сырья, хотя и сопровождается приличествующими случаю ритуальными сетованиями, осознается как основа благоденствия общества. На человека, решившегося утверждать, что природные богатства – большая беда России, смотрят как на опасного чудака. Российское общество охотно воспроизводит насчитывающую более тысячи лет ориентацию экономики на ренту, извлекаемую из продажи природных ресурсов... Россияне не вдохновляются примером Голландии и не привлекает путь лишенной ресурсов Японии. Российская мысль озабочена поисками утилитарных комбинаций, которые позволили бы обществу с минимальным вложением труда, энергии и ресурсов создать механизм, обеспечивающий постоянную и гарантированную прибыль... Россияне не готовы признать, что общество, экономика которого базируется во круг Панамского или Суэцкого канала, обречено оставаться в третьем мире.

Иными словами, существуют два уровня самоосознания российского общества. На внешнем декларативно-экзотерическом уровне Россия представляет себя высокоразвитой промышленной державой, которая переживает временные трудности. Но на некотором глубинном, скрытом от чужих глаз уровне, где вызревает реальное понимание происходящего и формируются планы

дальнейшего развития, российское сознание ищет спокойной жизни и прикидывает, как бы устроиться таким образом, чтобы можно было существовать, пусть не слишком комфортно, но зато с минимальными усилиями. Очевидно, перед нами выражено антиинтенсивный сценарий, обеспечивающий тихий сход российского общества с исторической арены.

...Если Россия желает и способна в качестве полноправного члена вступить в клуб динамично развивающихся обществ, ей необходима вся палитра соответствующих социальных институтов. Стране необходимы наука, промышленность, система образования, эффективное государство (аппарат) и гражданское общество. Все эти сущности, за вычетом гражданского общества, наличествовали в СССР.

Генеральная проблема состоит в том, что нельзя сохранить и развивать наследуемые институции, ибо в их системном ядре заложено тупиковое экстенсивное качество. Задача состоит в том, чтобы *похоронить* перечисленные реалии, сохранив при этом нацию и государство, деструктировать отмирающие организмы на кирпичики и сложить заново на качественно иных основаниях.

Поддержка институтов советской науки бессмысленна. Эта наука была порождением экстенсивного государства и не смогла обеспечить решение коренной задачи, стоявшей перед Россией, – перехода от экстенсивного к интенсивному бытию. Сфера науки должна быть переструктурирована. В российской научной среде сохранились прекрасные кадры (наряду с балластом), однако всем, в том числе и самым лучшим, надо многое менять в психологии и ориентирах. Необходимо изменять социальные институты и экономические механизмы функционирования науки.

Поддержка умирающей советской промышленности в буквальном смысле смерти подобна. Советская промышленность – овеществленное в «железе» и социальных отношениях воплощение экстенсивной стратегии индустриальной эпохи. Она огромна, безгранично ресурсоемка и обладает чудовищной инерцией. Все экономически неэффективные производства должны разориться и пойти с молотка. Новую российскую промышленность должно создавать не исходящее из чиновничьего усмотрения государство, а бизнес, руководствующийся коммерческой логикой и отвечающий своим кошельком.

Доставшаяся в наследство от прежней эпохи система образования создавала экстенсивно ориентированного, традиционного в своей сущности человека. Она нуждается в коренной перестройке. Доставшийся от советской эпохи управленческий аппарат пережил значительную эволюцию, организационную и психологическую, освоился в новых условиях, научился управлять обществом с рыночной экономикой. Однако эволюция аппарата демонстрирует исключительно опасные тенденции. Аппарат последовательно идет по пути приватизации государства. Граждане отчуждаются от власти и проблем управления обществом. Чиновник эффективно блокирует контроль со стороны институтов гражданского общества. Система норм и установившихся практик формируется таким образом, что любые проблемы решаются через чиновника. В результате расцветают коррупция и злоупотребления. Власть последовательно

насаждает так называемую «управляемую демократию», принимающую все более фарсовые формы. Идет отчуждение гражданина от государства. Тупиковая историческая инерция торжествует, освоив новые политические формы.

Наконец, Россия нуждается в становлении гражданского общества... Процессы идут, но с огромным трудом, встречая отчаянное сопротивление на всех уровнях. Массовая пассивность, генетический страх перед «начальством», убеждение в бессмысленности любых усилий – реальность, выражающая тысячелетнюю историческую инерцию.

Решение всех этих задач упирается в культуру общества, в качественные характеристики массового человека. Между тем сама проблема не осознана или осознается превратно. Отчасти это объясняется тем, что на пути осознания реальности стоят эмоционально-ценностные и гносеологические барьеры. Культурологам хорошо известна ценностная и гносеологическая аберрация, закладываемая культурой в сознание своего носителя. Всякая культура создает положительный, глубоко разработанный образ себя самой и смазанный, существенно менее позитивно окрашенный образ других культур. При этом образ исторической (асоциальной) альтернативы формируется как выраженно негативный, профанный. Здесь царствуют диффамация и априорное, иррациональное отторжение. Это легко объяснимо: любая культура постоянно конкурирует за людей, которые осознанно или неосознанно выбирают себе культуру. Кочевник презирует копошащегося в земле крестьянина, ибо он есть его альтернатива. «Вор в законе» презирует «фрайера», крестьянин настороженно относится к «городским». Экстенсивно ориентированная культура формирует мощную установку на профанирование и отторжение своей исторической альтернативы. Интенсивно ориентированный человек предстает смешным и пошлым. Мир его радостей и забот – неприемлемый, ненастоящий, недостойный «нашего» человека и т. д. Эти сплавленные с эмоциями априорные установки заложены глубоко в сознание. Их сложно «ухватить» и осознать, а еще сложнее преодолевать.

Когда нет понимания причин и нет готовности изменяться, возникает широкая феноменология психотерапевтических практик и техник ухода от реальности. Грезы, пустые надежды, бахвальство, прыжки от самовозвеличивания и аффективной радости к отчаянию. Поиск врагов и недоброжелателей, которые мешают жить нашему замечательному народу.

В ряду психотерапии лежат пустые надежды. К примеру, достаточно типичное рассуждение: в Японии было традиционное общество, но ей удалось сделать гигантский рывок и выйти в лидеры. Мы ничем не хуже, мы начали раньше Японии, получится и у нас. Аналогия с Японией некорректна, ибо Япония давно прошла фазу перехода от экстенсивного к интенсивному типу культуры. Традиционное японское общество было интенсивным. Отсюда и поразительные успехи японцев.

Ситуация России типологически ближе к исламскому миру, в своем подавляющем большинстве застрявшему на стадии экстенсивного развития. А мы видим, какие конвульсии переживает исламский мир. Застойное экстенсивное общество, столкнувшееся лоб в лоб с императивом интенсификации – а глоба-

лизация сделала такое столкновение неизбежным, – переживает острейший кризис и стремительно дестабилизируется. Возможно, что операции союзников в Афганистане и Ираке только начало. Перед человечеством разворачивается перспектива внешнего управления нестабильными обществами исламского мира. Создается в высшей степени тревожный прецедент. Речь о том, что Россия сможет сохраниться только в том случае, если в нашем обществе найдется потенциал к позитивному самоизменению.

Экссессы на национальной почве в традиционно русских городах и всяех свидетельствуют о том, что значительная часть российского общества не готова к свободной конкуренции на рынке рабочей силы. Кроме того, она не готова принять капитальный факт – изменение вектора расселения. Коренные русские регионы, веками поставлявшие расселявшихся центробежно русских, оказались объектом заселения иноплеменников. Экстенсивный сценарий – «мы» во вне, но никто к «нам» – сменяется противоположной волной – «они» к «нам». Историческая неизбежность происходящего вступает в конфликт с экстенсивной имперской инерцией, и это вызывает иррациональное отторжение.

Рост ксенофобии надо рассматривать как один из маркеров общего кризиса традиционного общества. До сих пор ксенофобские настроения растут. Причем ксенофобия просматривается на всех уровнях общества... В реальности сегодняшняя ксенофобия опирается на глубокие и устойчивые традиции и на бытовом уровне не умирала никогда.

Массовое появление «инородцев» в «наших» краях воспринимается традиционным субъектом как зримое свидетельство краха экстенсивного сценария развития. «Они» пришли к «нам», занимают «наши» рабочие места и несут с собой чуждый образ жизни. Здесь важно понятие «наших» рабочих мест. В индустриальном обществе рабочее место заняло смысловую ячейку крестьянского надела, который полагался каждому «нашему» человеку по факту его рождения. Постсовковые призывы «Надо дать людям работу!» – модификация классического убеждения экстенсивного крестьянства относительно права на надел, которое гарантирует ему государство. До 1917 года это государство, воевавшее с басурманами и приращивавшее землю, а с 1917-го развернувшее индустриализацию, обеспечившую всех работой. Нынешнее государство кинуло «нашего» человека, поставив его перед необходимостью конкурировать на рынке труда. Люди оказались в таком положении, что приличная работа требует от человека жертв и усилий, достается наиболее компетентным, квалифицированным, обладающим высокой трудовой моралью. Других способов перехода к интенсивному сценарию развития просто не существует, но на этом пути нам видятся миллионы, если не десятки миллионов, маргинализирующихся людей. Здесь – основные риски.

Процесс сепарации общества нельзя затягивать на десятилетия и поколения. В противном случае Россия окончательно выпадет в третий мир. Деклассирующиеся слои создают свою собственную, исключительно устойчивую культуру, свой этнический тип. Такая культура уже существует в России, и существует давно. Она есть в любой стране мира, проблема – в объемах и пока-

зателях динамики. Долговременное расширение этого сектора, выше некоторой критической границы, запустит процесс «выпадения» из социальности и истории всего общества. Проблема качественного перехода должна решаться в течение 15–20 лет.

С другой стороны, нельзя допустить чрезмерного расширения объема выпадающей из будущего пассивной части общества. В противном случае возможна политическая дестабилизация. Наконец, государство не может позволить себе голода и зримой деградации сколько-нибудь широкого слоя населения. Помимо любых этических соображений, императив стабильности государства требует, чтобы все – пенсионеры, безработные, люди, ставшие лишними и потерявшие в новом яростном мире, – получали бы некоторый минимум, позволяющий им выживать, не утрачивая человеческого достоинства. Бомж имеет право на избранный им образ жизни и право на место в ночлежке. Однако всякий бездомный, пожелавший начать работать и вернуться в общество, должен иметь реальную возможность социальной реабилитации.

Пока что процессы преобразований идут в России крайне медленно. Помимо факторов объективного характера, коренящихся в структуре экономики, ландшафтно-климатических условиях и т. д., сказываются детерминанты культурного характера. Показательно, что в 2003 году, на двенадцатом году рыночных реформ, перевод всей экономики на коммерчески обусловленные цены за электроэнергию и энергоносители привел к потере рентабельности 60% российских предприятий. Общество как целое не готово жить по беспощадно жестким законам интенсифицированного мира. Сам этот мир не интериоризован, не получил культурной санкции, воспринимается как попрание вечных и незыблемых законов справедливости. Идеологи традиции по сей день утверждают: «Русский мир требует имперскости... ибо русский мир – мир не выгоды, тем более личной, а служения – всему сразу: Богу, природе, миру, человеку, но и Чуду тоже»¹¹. Как говорится, комментарии излишни.

Только в свете конфликта базовых культурных установок можно адекватно оценить ситуацию с РАО ЕЭС. РАО доводит до сознания традиционалиста ключевую с точки зрения задачи выживания российского общества истину: «Халява кончилась. Отныне и до века за все надо будет платить». Заметим, эта максима обращена не только к частному человеку, но и к любому субъекту потребления. Платить должны все: государство, правительственные и неправительственные структуры, бизнес, частные лица. В 1998 году Кириенко, в то время премьер-министр, рассказывал в телеинтервью обстоятельства конфликта между РАО ЕЭС и Минобороны. Пиком этого конфликта было отключение отдельных военных объектов от электросетей. Как показало расследование, военное ведомство получило из бюджета деньги на оплату электроэнергии, но истратило их не по назначению, рассудив, что военные объекты отключить никто не решится. Безграничная доступность какого-либо бесплатного ресурса уродует человеческую личность. С. Кара-Мурза упоминает шок, который переживали иностранцы, сталкивавшиеся в советских квартирах со специфической практикой экономии спичек. Для этого газовые горелки не выклю-

чались и горели всю ночь¹². Напомним, что в СССР коробок спичек стоил одну копейку.

Установка на то, что за все, что потребляет человек, надо платить по рыночной цене, с необходимостью запускает тотальную трансформацию ментальности. Она рождает другого исторического субъекта, от которого темпераментно отталкивалась и отрешивалась и великая русская литература, и социалисты-утописты, и поколение наших предков, определявшее судьбу страны в 1917–1921 годы. Жизнь не по средствам, жизнь без счета и вне счета (какие могут быть счета между близкими людьми? Ведь мы все – одна большая семья) была тем идеалом, к которому стремится традиционный, экстенсивно ориентированный человек.

В значительной своей части российское общество желает жить не по средствам. Более того, масса желает жить вне каких бы то ни было расчетов и соображений о соотношении доходов и расходов. Государство сплошь и рядом рассматривается как гарант получения рабочего места и пристойного уровня жизни. Госслужащие жалуются, часто совершенно справедливо, на низкую зарплату. Но при этом никто не сформулирует очевидную истину: работая на малооплачиваемой работе в контексте свободного рынка рабочей силы, мы совершаем свой выбор. Иными словами, соглашаемся на такую оплату. Ученые, учителя и врачи жалуются, бастуют и протестуют, но не переходят в свободный сектор экономики. Это порождает серьезные основания полагать, что протестанты реально осознают меру своей компетенции, профессионализма, готовности работать в конкурентной ситуации. Они способны работать по стандартам позднесоветского времени и требуют от государства соответствующего той эпохе уровня жизни. Описываемый слой общества менее всего способен к переменам. Здесь источники социальных напряжений, а значит, и риски.

Ситуация в системе ЖКХ хорошо иллюстрирует коллизии перехода общества от экстенсивной к интенсивной модели. Поскольку в СССР не существовало понятия цены на землю, города расплзались вширь. ТЭЦ, бойлерные системы трубопроводов стали материальным воплощением принципов экстенсивно организованной жизни и уравнилельных распределительных отношений. Это хозяйство характеризовалось чудовищными потерями тепла и воды. По оценкам специалистов, в системе городского водоснабжения теряется до 75% воды. Символическая цена ресурсов – энергоносителей и воды – была обязательным условием. Службы ЖКХ выполняли некоторые нормативные показатели и существовали за счет приписок. Счетчиков газа и воды в квартирах не стояло. Заявленные объемы потребляемого безбожно превышали реальность, что позволяло городским службам скрывать любые потери в системе и быть рентабельными.

Внерыночной экстенсивной системе ЖКХ соответствовал традиционный потребитель. Обыватель, не слишком отдавая себе в этом отчет, переносит на технологические сети ЖКХ традиционное отношение к природным системам типа реки или леса. Коммунальные сети сами по себе приносят газ, тепло, воду, электричество. Для того чтобы пользоваться тем, что поступает в квартиру по трубам

и проводам, достаточно было вносить некоторую ритуальную плату. Впрочем, ее можно было и не вносить. Как справедливо указывает Кара-Мурза, социалистическому «государству было дешевле покрыть их долги, чем устраивать сложный и дорогой индивидуальный контроль»¹³. В соответствии с традиционными крестьянскими представлениями, все природные объекты и ресурсы (возобновляемые и невозобновляемые), расположенные рядом с местом проживания, «по справедливости» можно потреблять. Относительно этого традиционного права чья-либо собственность на них роли не играет. Поэтому крестьяне на практике не признавали царских заказников, барских лесов, ограничений в сроках охоты или рыбной ловли и т. д. В такой ситуации проблема оптимизации потребления, борьбы с потерями, экономии в принципе не возникает и возникнуть не может. Дома были чужими, сети также, ресурс – бесплатным.

Распад советской экономической системы задал неизбежный кризис жилищного и коммунального хозяйства. Все компоненты, составляющие ткань города и городского хозяйства, подорожали во много раз. Старый механизм воспроизводства городов сломан, новый требует коренных преобразований на всех уровнях социокультурного целого. Государство стремится снять с себя это бремя и передать жилье в собственность жильцам, разумеется, вместе с ответственностью за жилье. Значительная часть общества демонстрирует психологическую и культурную неготовность быть ответственными собственниками. Городские и коммунальные службы в равной степени не готовы иметь дело с ответственным собственником. Коммунальные службы противятся внедрением счетчики воды. Они отказываются принимать установленные гражданами счетчики в эксплуатацию, поскольку приборы покажут, что люди потребляют в три-четыре раза меньше воды, чем им засчитывают.

Тем временем система ЖКХ рассыпается. Так, зимой 2003 года волна отказов и аварий теплоснабжения прокатилась по 30 областям. Проблема выходит на уровень национальной безопасности. При этом характерно, что власть, как и подавляющая часть общества, демонстрирует психологическую и культурную неготовность к осознанию реальности.

...Между тем от проблемы ЖКХ не уйти. Типичная для российских городов централизованная система теплоснабжения экономически абсурдна. Она была возможна только при бесплатных ресурсах. Альтернативное технологическое решение состоит в газовых сетях и газовых мини-котельных для каждого дома. При этом потери минимальны. Сейчас государство находит деньги на аварийный ремонт в размораживаемых городах. Переоборудование всей структуры тепло- и водоснабжения потребует денег, которыми государство не располагает. Подытожим: мы сталкиваемся с общей неготовностью общества к переменам, в ситуации, которая диктуется физическим распадом прежних технологических механизмов жизнеобеспечения. Ситуация требовала перемен еще вчера, а общество будет готово к этим преобразованиям в лучшем случае послезавтра.

«Российскую экономику ждут серьезные испытания, связанные с очередной фазой ее втягивания в планетарные глобализационные процессы. Необходимые структурные реформы оставят без работы, как минимум, сотни тысяч

людей. Речь идет об известном "сбросе балласта"», – считает И. В. Левин...¹⁴. Отметим, что оценка в сотни тысяч занижена. К миллионам маргинализованных дезадаптантов добавятся миллионы безработных и их семьи. В группе «балласта» скапливаются самые традиционные, наименее подвижные, наименее образованные, минимально ориентирующиеся в изменившемся мире слои российского общества. Социальный груз преобразований в будущем будет нарастать. Эта ситуация может быть разрешена лишь в том случае, если общество будет наращивать ВВП, создавать дополнительные ресурсы для «расшивления» узких мест и точно выбирать приоритеты. В противном случае критически возрастают риски распада социальной ткани и дестабилизации российского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. По данным СИПРИ, в 1985 году на каждый танк НАТО приходилось 2,5 танка Варшавского Договора. На каждый оружейный ствол НАТО – 7 стволов Варшавского Договора.
2. Средневековый русский крестьянин говорил: «Земля Божья и государева, а запашка моя». См: *Покровский М.* Русская история в самом кратком изложении. М.: Партиздат, 1931. С. 179.
3. В этой связи можно заметить, что политическое противостояние процессу приватизации земель в РФ задается не только социальными интересами аграрного лобби. Причитания противников приватизации земельных участков в духе того, что «земля Божья», – одни из последних бастионов экстенсивного культурного космоса. Восходящее к раннему неолиту родовое сознание отчаянно противостоит внедрению принципа, который за полтора поколения размоет многотысячелетнюю традицию.
4. Применительно к русскому материалу А. Ахизер называет эту тактику: «Мы с печи не сойдем».
5. *Ключевский В. О.* Боярская дума Древней Руси. Пг., 1919. С. 307.
6. *Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 28.
7. *Кульпин Э. С.* Путь России. М., 1995. С. 123.
8. *Уткин А.* Первая мировая война. М., 2000. С. 39.
9. Разумеется, мы не входим в оценку чудовищных методов достижения этого результата. Традиционное российское крестьянство должно было исчезнуть в любом случае. Капиталистический вариант разложения старой деревни был, возможно, менее кровавым, но не менее болезненным. Русский крестьянин сам выбрал сценарий схождения в историческое небытие, избрав сторону «красных» в ходе гражданской войны.
10. *Ворожейкина Т.* Стабильна ли нынешняя Россия? // Куда пришла Россия? Итоги социальной трансформации. М., 2003. С. 61.
11. *Осинов Ю.* Русская имперскость // Завтра. 2003. № 42.
12. *Кара-Мурза С.* Советская цивилизация. М., 2002. Т. 2.
13. *Кара-Мурза С.* Воображения не хватает // Дуэль. 2003. № 38.
14. *Левин И. В.* Малые предприятия и великая Россия // Куда пришла Россия? Итоги социальной трансформации. М., 2003. С. 94.



И ЭТА ВОЙНА БЫЛА БЫ ЗАВТРА*

Наша историческая память парадоксально объединяет свет улыбки Гагарина и блеск пенсне Берия. Добросовестные инженеры и порядочные военные были надежной частью системы и создавшего ее народа. Владимир Ильич Крыштоб – капитан II ранга в отставке, шестидесятилетний, свидетель создания океанского флота. День ВМФ он, семидесятилетний, бывший командир египетской подводной лодки, встретил в квартире под Ригой. За эту честную службу моряка Россия добавила ему к пенсии четыре лата (восемь долларов).

Начало

Родился я в 1933 году в Смоленске. В 1938 году мать разошлась с отцом. Мы с ней остались вдвоем. После присоединения Западной Белоруссии и Украины ее направили в Белосток работать в госбанке. Туда к нам приезжал мамин брат, красивый холостой подводник. Служил командиром БЧ-5, механиком. Для меня он был идеалом. После войны мы вернулись из эвакуации в Витебск.

...В 1952 году в город приехали купцы из разных военных ведомств и уговаривали школьников поступать в свои училища. Когда началась эта вербовка, в военкомате было не продохнуть от желающих начать офицерскую карьеру. Тут выяснилось, что в военный флот желающих нет. Купцы меня агити-

* «Новая газета». 2004. № 53.

ровали за свои рода войск: «Давай в авиацию дальнего действия! Летишь, как в трамвае едешь».

Ну и сдал я в летное документы. А пришел, смотрю – сидит капитан первого ранга. Подзывает меня: «На флот не желаете?» «Куда?» – «В Калининграде мест нет, значит – в Ригу. Там есть одно место в военно-морском артиллерийском училище и три места в училище береговой обороны». Согласился я. А на мандатную комиссию прихожу, военком орет на меня: «...мать, я вас в стройбат отправлю! Ведь оформили уже вашу заявку!» Но тут мой купец от моряков встал: «Не ...те молодого! Куда хочет, туда и выбирает!» Как в брачном агентстве.

Так попал я в рижское училище. Изучал корабельную артиллерию. Там за ночь выламывали внешнюю стену учебного класса, затаскивали туда корабельную артустановку размером со школьный спортзал и заделывали к утру проход. Это была башня линкора с орудиями главного калибра. Все это в центре Риги, и весь город спал, работали бесшумно. Утром просыпаемся – поллинкора в классе стоит. Весила та башня многие десятки тонн. Серьезное время было. Само училище – как тюрьма. Драли нас там страшно, дисциплина, как на ядерном объекте, все зарегламентировано. Старшины все с фронта, настоящие. Бывал я в Питере недавно в училище подводного плавания – это не училище по сравнению с тем.

Путь под воду

Умер Сталин. А 10 марта зачитывают нам приказ: заведение преобразовывается в училище подводного плавания, вместе со всеми курсантами. Теперь все мы будем подводниками. Артиллерийские линкоры типа «Марат» или «Киров» выводились из состава флота. Артиллерия на морях доживала последние дни: пришло время ракетных комплексов. Нам честно рассказали обо всех будущих преимуществах подводной службы, льготах и прочем. Но и обо всех проблемах, с которыми мы столкнемся, вплоть до медицинских осложнений, сообщили все до копейки. Дали перечень училищ, куда можно перевестись. Ушло 27 человек.

Я обрадовался, конечно, ведь дядя был моим кумиром. Он погиб в подводной лодке в 1942 году в Финском заливе. Матери прислали его орден Ленина. Позднее мне рассказывал о нем наш преподаватель, капитан второго ранга. Он его хорошо знал.

Закончил я училище в 1957 году, присвоили мне лейтенанта, пришел на лодку в Балтийске командиром группы. Учился почти 6 лет, да еще полугодовая стажировка. Была и такая практика в те годы – с последнего курса идешь служить срочную на лодку старшиной, потом возвращаешься в училище, доучиваешься и защищаешь диплом. Пошла служба.

В 57-м в Москве в ДТП задавили аж четырех молодых ребят. Один из них был сыном начальника наших курсов. Отец света белого не видел, его сторо-

ной обходили. Посадил он меня на гауптвахту под горячую руку за какую-то ерунду. И сидел я там с летчиком-истребителем Гареевым, воевавшим в Корее с американцами. Всех советских командиров тогда старались посылать в Корею с боевым опытом Великой отечественной. Начальником Гареева был Герой Советского Союза. Американцы бились с нами на «Сейбрах». И начальники этого летчика возглавляли комиссию по изучению опыта воздушной борьбы с американцами. Так они прямо между собой говорили: на МиГ-15 нормальной борьбы с «Сейбрами» не получится.

Этот случай на гауптвахте мне показал, что, несмотря на привычную секретность всего, что можно засекретить в армии, офицеры очень много друг другу рассказывали. Это было важно, так передавались живые профессиональные сведения, без которых военный человек – как лошадь в шорах. Позднее, в Александрии, я постоянно наблюдал такой неформальный обмен опытом.

Попал я на лодку, которую в группе трех подлодок готовили на продажу в Египет. Три лодки к тому времени уже были проданы. Получил я предписание в Ленинград. Приезжаю на балтийский завод – стоят три лодки 13-го проекта. Это были очень хорошие для того времени подлодки, построенные по проекту 9-й серии подлодок фашистской Германии. То был первый послевоенный выпуск дизельного флота. Египтяне тогда частью учились на подводников в СССР, частью в Англии. Через 23 дня приняли лодку, и пароход отбуксировал нас в Одессу.

Графин спирта как мотив для вступления в ряды КПСС

Оттуда вернулся поездом в Балтийск и получил там распределение на лодку в Лиепаяу. Приехал и узнал, что она идет в ремонт в Кронштадт. Это уже 1958 год. Взял с собой карты для работы, пособия. В общем-то, делать там, на береговой базе, было во время ремонта нечего. Сажу в комнате на берегу, работаю с картами. Напротив, у командира лодки, идет пьянка. Через час заходит наш доктор: «Ты Володя? Тебя командир зовет».

Захожу к командиру: «Володя, вот тебе ключи. Сходи на лодку, принеси графин спирта». Ну, принес. Через час снова заходит доктор, требует к командиру. Опять захожу, а зам спрашивает командира: «Коля, почему он у тебя до сих пор ходит лейтенантом?» – «Да в партию вступать не хочет. Ленивый такой второй штурман попался». Тогда я долго не вступал в партию. Не хотел и все, особо и мотивов не искал. Просто не нравились мне все эти собрания, пустая болтовня.

Командир продолжает, после выпитого графина спирта: «Значит так. Вот тебе лист бумаги, пиши заявление. Мы тебя принимаем. В понедельник парткомиссия». Я оторопел: «Я же ни Устава не знаю, ни Программу КПСС не читал». А командир: «И не х... там читать, заполняй документы». В понедельник в 11.00 пришел я на парткомиссию и стал кандидатом без проволочек. И что ты думаешь? Месяца не прошло, приходит уже на меня шифротелеграмма: предлагается должность на новой, уже океанской лодке 633-го проекта. То есть сра-

зу штурманом на строящуюся в «Красном Сормово» лодку с базированием на Северном флоте.

Согласился, конечно, а кто бы не согласился? Северный флот это простор. Лодка новая, в заднице романтика. Командир об этой лодке рассказал. 633-й проект был великий. Построили их мало, это последние дизеля на океане были. Наступала эпоха атомоходов. А на дизельной лодке служба очень тяжелая. На атомной и проще, и шикарнее, просторнее. Конечно, там радиация подстегивала, в напряжении всегда держала. Но это психика. А вот физически на дизельных лодках служить неизмеримо трудней.

Приехал я на «Красное Сормово», принял лодку. Поташили ее через Екатерининские шлюзы. Это сейчас они расширились, модернизировались и даже атомоходы таскают. А тогда больших бетонных шлюзов было всего пара. Остальные деревянные. И выходили на берег бабы в платках, крутили деревянные коромысла, наматывали на них обычные веревки. Так шлюзы открывались. И лодка 76 метров, входя в шлюз, рулями и носом упиралась в стены. Можно было перейти с одного берега на другой по корпусу лодки. Прогуляться, обогнать свой корабль. А кругом одни заключенные с пилами да бабы. На современном корабле прямо в XVIII век въезжаешь.

У истоков океанского флота

И пошел я на Север. Приехали в Видяево, там тогда стояло всего четыре дома и две огромные капитальные казармы. Быстро миновал должность помощника командира и стал старшим помощником. В 1965-66 году меня послали на командирские курсы на 10 месяцев в Ленинград. Надо было сдавать на допуск к самостоятельному управлению: на флоте не хватало квалифицированных кадров в связи с резким расширением ядерного подводного флота. С дизельных лодок стали брать старших помощников переучивать на разные профессии и на командиров атомоходов.

Центров было два – в Обнинске и Павловске под Таллином. А тут как раз приволокли аварийный атомоход, и 19 человек сгоревших мы похоронили. Жена, конечно, на дыбы: «Никаких атомоходов!» Вскоре еще одну лодку аварийную притащили. Отправили ее на Новую Землю. Там подогнали танкер с чистым спиртом и заливали ее отсек за отсеком под завязку. Потом открывали все люки и выветривали. Это такая процедура дезактивации тогда была.

Экипаж на танкере за месяц спился вчистую. Большое было ЧП на весь Северный флот. Я потом разговаривал с капитаном того танкера. Он рассказал: «Не знаю, как я там с ума не сошел. Дали команду идти с Новой Земли в Мурманск, а команда пьяная в лоскуты в полном составе. Один я трезвый. Испугался, конечно. И рулить, надо и прокладку курса делать, и бог знает что еще. А по палубе одни призраки бродят. Как на "Летучем голландце", словом». В Мурманске хотели капитана под трибунал отдать. Потом дело замяли, потому что в команде танкера в том страшном походе все выжили.

Выбор судьбы: плавать, плавать и снова плавать!

Стал я сдавать экзамены. Сдавали английский, высшую математику и много еще чего. Поэтому поступающие приезжали в Ленинград и нанимали репетиторов, благо зарплата подводника позволяла. Целью высоко служить я не задался и постоянно сомневался, нужна ли мне вообще та академия? Я только что получил квартиру, воспитывал двоих детей. Должность устраивала. А что было в перспективе? Начальник штаба бригады? Это же сплошные бумаги и никакого морального удовлетворения. То ли дело море!

Поэтому я сначала наотрез отказался. Шамыгин, офицер по кадрам нашей эскадры, налег на меня изо всех сил: «Давай, Володя!» – «Не пойду, Саша, хоть режь меня!» В Видяево ведь тогда стояла лишь эскадра подводных лодок. Ходили мы в основном в Ирландию, крутились вокруг Лондондерри. Мне нравилось. Так вот, думаю, и до пенсии дослужу. Шамыгин отстал. Но в 1969 году снова нарисовался: «Не желаешь ли в Египет советником на подводную лодку?» Бадаревский, командир эскадры (потом стал начальником отдела кадров ВМФ СССР), собрал совещание и рекомендовал меня советником.

Дело незнакомое, многие не решались. Поэтому офицеров агитировали, напирая на будущие заработки. А я согласился еще и потому, что дело было живое, интересное. Война начиналась, а для чего военных еще готовят? Поэтому поставил я лодку свою в ремонт. Командир ремонтной бригады был тогда прекрасный офицер, еврей Боссарт. Пошел я к нему договариваться. Ведь лодку надо кому-то передавать, а я за корабль волнуюсь. Он как улыбнулся, что я против евреев еду воевать, вскочил: «Володя, ты же классный моряк. Зачем тебе это нужно? Не лезь ты туда!» Что сказать? Сказал правду: «Товарищ комбриг, мне же интересно, потому и еду». Вздохнул Боссарт, махнул рукой: «Ладно, делай как знаешь».

Начало заморской службы. Особый отдел ВМФ против ГРУ Генштаба

Пришла телеграмма, вызвали меня в Москву, в наш штаб на Малом Козловском... Приезжаю в наш штаб и имею интересную беседу с особистом: «Владимир Ильич, вы должны сейчас отбыть в 10-е управление Генерального штаба. Вы там сдадите документы и пробудете 2 недели. Я прошу вас звонить мне каждый день до 22.00. Вас там держать будут до 18.00. Звоните мне с третьей-четвертой остановки метро. Рядом ни в коем случае не звоните. Вы должны мне рассказывать все, что вам там будут говорить и о чем спрашивать. Если надо, я буду ждать даже позже 22.00».

Вот те раз! Что сказать? «Ладно, – говорю, – я понятливый. Как только выйду из метро, сразу обо всех расскажу». – «Очень хорошо. Запоминайте, что вам в "десятке" говорили, начиная прямо с проходной». А кабинетик, где мы беседуем такой маленький, такой неприметный. То ли дело, мне там показывали кабинет Буденного – на трамвае можно ездить. Выходит, в морском штабе

сильно волновались о происходящем в Генштабе и источников достоверных оттуда не имели. А потому шпионили в меру сил, привлекая заслуженных командиров.

...Попадаю я, единственный моряк, в компанию армейцев, 44 человека. В основном артиллеристы. Я почему-то всегда любил и уважал армейцев. Особенно пехоту. Занятия у нас шли с утра и до 18.00. Рассказывали нам, какие у армии Израйля пушки, танки, ракетные установки и так далее. Актный зал на 100 человек занят был наполовину. Сажу я там как ворона в форме, нас еще не переодели в гражданское платье. Слушаю о будущем враге с интересом, хотя за что в Египте нам воевать, не понимаю. Да и не очень-то интересуюсь пока.

Вся наша группа советников быстро перезнакомилась. И не мудрено, в Генштабе на каждом этаже по пять буфетов и в каждом пива, коньяка – залейся. На мандатной комиссии сидели одни генералы, 14 человек. И спросили, где учились, где командовал, куда на боевую службу ходил.

Отправка. Борьба материи и духа в Генштабе

4 ноября 1969 года эта эпопея закончилась. Зашел к нам приятный с виду генерал-полковник и говорит: «Товарищи офицеры, вы убываете в Египет, чтобы показать, что наша армия лучшая. Все вы грамотные и проверенные люди. Но я вас об одном прошу – не лезьте ни в какие социальные вопросы и проблемы. Вы должны показать им, на что способны вы лично и на что способна наша техника. Не пытайтесь сравнивать нашу и их жизнь, не задавайте таких вопросов и не отвечайте на них сами. Покажите себя как надо, и я встану перед вами на колени. Счастливого вам пути, ребятя». И руки над головой сжал с трибуны.

Тут забегаёт какой-то подполковник: «Подождите минутку! Сейчас генерал придет!» Все сели, снова ждем. Заходит генерал-лейтенант. Речь я его чудную запомнил с тех пор хорошо. «Товарищи офицеры! Вы едете в довольно-таки еще капстрану. Вы должны нести туда наш дух, рассказать им, какие у нас пионерлагеря, какие детские сады и санатории. Как мы заботимся о нашем народе. Мы туда пачками присылаем самолетами агитационную литературу. Кладите ее в танки, в пушки и самолеты». Мы тогда все плечами пожали и пропустили всю эту ахинею мимо ушей. Я не мог взять в толк, как в одной организации могут сидеть две разные теткли!

Тут надо сказать, что советников по авиации наших в Египте не было. Только инструкторы. По авиации были немцы из ГДР. Но их быстро выгнали, потому что они стали египтян избивать. Взамен прислали чехов.

Вернулись мы в свою гостиницу Генштаба на Театральной и видим, сидит в холле женщина вся в черном. Как только зашли в номер, стучится мужчина, предъявляет документы полковника и извиняется. «Я узнал, что вы едете в Египет. Видите, в холле сидит женщина. Она не может уже неделю выехать туда: не дают денег. Там погиб ее муж, советник ПВО. Я его друг и собираю

деньги по 10–15 рублей». Я еще и понять толком ничего не успел, а жена моя как зыркнула на меня, гляжу – в руке у меня уже деньги. Потом узнал, что это была обычная для тех времен история.

В тот же день мы вылетели в Египет с Чкаловского аэродрома. На летном поле стояла деревянная конура, где все офицеры скидывали с себя форму и выходили к трапу в гражданской одежде. В Каир нас вез Ил-18. Все пассажирские машины приземляются на основную полосу, а наш – на боковую, где стоят военные самолеты. Нас встречают толпы, передают летчикам разные коробки для генералов в Москве. Я только потом понял, что это контрабанда.

«Интернациональный долг» и египетская армия

Началась жизнь в Египте. Назавтра, 5 ноября, я прихожу на службу в военную гавань – кругом машины «скорой помощи». Оказывается, пришли два египетских эсминца, один «Насер», названия второго не помню, обстрелявшие какую-то цель в секторе Газа. Оттуда они рвали когти порознь. Один ушел в море, второй вдоль берега. Налетели израильские самолеты. Покалечили корабли евреи хорошо, раненых выносили полчаса. Правда, и они сбили 5 самолетов, надо отдать им должное.

Познакомился со своим подсоветным, командиром подлодки 633-го проекта. Она тогда стояла в доке. На группу положено было два переводчика, но командиры отлично говорили по-русски. Учились же у нас. Вижу, по доку идет оживленная толпа. Все жестикулируют. Оказалось, заканчивали ремонт корпуса, без лесов и техники безопасности. Один матрос сорвался и упал с высоты. Понятно, мешок с костями остался. Я по привычке советской подбежал, собираюсь действовать, как положено. И что же? Ноль внимания, никому особого дела нет. Бросили какое-то одеяло, закатали туда труп, кинули в катер и увезли. Ни комиссии, ни разбора полетов, ни виноватых в этом бардаке!

В чем я хочу отдать им должное – старшинский состав у них тогда был прекрасный. Практически как наши мичмана. Они из Балтийска вместе с нами гнали в Александрию купленную лодку. Там, в Балтийске, я с ними и познакомился со многими. И вот встретил их в Египте, мы узнали друг друга. Командиры лодок были более или менее нормально подготовлены. Слабое звено – офицеры, просто ужас какой-то! Познакомился я с их молодыми офицерами, выпущенными из английского колледжа. Такой сырой материал, что страх берет.

Матросы были все контрактники, ничего особого об их квалификации говорить не стану. Они очень ревностно относились к формальному исполнению своих обязанностей. Скажем, присматривали за матчастью заботливо. То есть вся матчасть грязная, в говне, но смазана капитально. И служба вроде бы шла нормально вот в таком русле их понимания своих обязанностей. Делали, что написано в инструкции, и не воровали. На том и спасибо.

Хорошо был поставлен в египетском флоте курс боевой подготовки. Это

КППЛ – курс подготовки подводных лодок. Все делали добросовестно. Поставлено на задачу пять суток, значит, все пять суток будут работать. У нас ведь как? Первые трие суток прошло, погружаешься, всплываешь, кувыркаешься, а потом – пошли домой к чертям, боевую задачу закрыли досрочно за счет интенсивности. Нет! Египтяне были пунктуальны, ничего нельзя сказать. Пять значит пять.

Подготовка к походу. Тонкости штабной политики

Вот настал день – вызывает меня египетский комбриг и говорит: «Мистер Володя, вы с Багиром пойдете бить евреев». По-русски он говорил безукоризненно. Я говорю: «Это как? Я не понял!» – «Ну, как у вас там называется? Боевая служба? А теперь будет боевой поход. Вы пойдете топить. Я вас прошу об одном – никому ни слова». – «Когда?» – «Этого я вам не скажу. Мы вас вызовем. Полторы недели не покидайте расположения части или специально нас предупреждайте об отлучках. И особенно важно, чтобы вы ничего не говорили русским. Я уже предупредил вашего подсоветного мистера Багира. Войдите дружно».

Ну, тут он встал и похлопал меня по плечу, а это у них страшно редко случается. Как знак особого расположения, интимный, можно сказать. Насчет того, чтобы никому ничего не говорить, это он, конечно, не угадал. Но быстро выяснилось, что советник нашей группы комбриг Николай Романович Слепенчук, царствие ему небесное, все знал. А мне больше никому докладывать и не надо.

Через неделю звонок – ехать. Сел в «козла» нашего, появился на квартиру к нашему египетскому командиру. Его мама из Каира по такому особенному случаю приехала. Угощает меня кофе, виски. Вот тебе и вся секретность! Оставляю я на столе сигареты, и пошли. Багир спрашивает: «Зачем сигареты оставил?» – «А это, чтобы мы с тобой вернулись!» Кругом ночь, приехали в военную гавань, там у них и база, и штаб флота, и вообще все. Команда строем в мечеть отправилась, потом завещание все написали, как у них положено.

Заходим в штаб флота. Кабинет роскошный, огромный. У наших командующих ни на Балтийском флоте, ни на Северном таких кабинетов не было. И не снились нам такие кабинеты. Сидит командующий египетским флотом, начальник их разведки и черт-те кто еще. От наших советник комфлота, советник начштаба флота, советник комбрига Слепенчук и переводчик. Зачитывают боевой приказ. Это тебе не распоряжение о боевой службе. Распоряжение – указ. А приказ – закон. Там четко сказано: «Топить!»

Они за лодки, конечно, боятся. Я их понимаю, дорого это все. В свое время Гитлера судили, в том числе и наши, за объявление неограниченной подводной войны. А как ты будешь каждый раз проверять принадлежность судна? Всплывать замучаешься. Услышал звук винтов и бей. Или зону определи, куда всем запрещено заходить. А тут, в египетском приказе, так: топить при 100-процент-

ной уверенности, что идет вражеский военный корабль. И днем выше 70 м не всплывать, учитывая высокую прозрачность воды. И вот ты высасывай себе из пальца, кого топить, а кого не топить. Под перископ-то днем не встанешь, а ночью много ли увидишь? Эти их южные ночи – хоть глаз выколи.

Ну, слушаю я себе и размышляю в том роскошном кабинете. Половина гражданских судов идут сегодня уже на турбинах. У них звук, что у эсминцев, воет себе турбина и воет. И акустика такая была тогда, еще не совершенная. Тут ведь надо иметь на тренажере набор пленок с записями, чтобы музыкант этот, акустик, шлифовался. А их еще нет. Думаю: «Вот ни х... себе у них приказы!»

И еще интересный момент в приказе: при создании тяжелой тактической обстановки, обнаружении, преследовании подать определенный сигнал и занять по возможности другой район. При технической неисправности перейти в район такой-то, о чем донести. А лодки у них текущий ремонт не проходили. Ни одна! И под технические затруднения при необходимости можно подверстать что угодно.

Встали после инструктажа, русские вышли через одну дверь, арабы через другую. Бугры наши мне: «Да пошла она на х..., эта их бумага! Всплывай днем, ночью, наблюдай и топи!» Я говорю: «Это ж боевой приказ. Что случись, вы же меня первого посадите». – «Да х...ня все, брось ты. Не дрейфь». Ну, тут мы с арабами смешались и замолчали.

Первый поход. Гаспария, б...дь!

Сели мы в лодку и отправились. Настроение, конечно, плохое после такого совещания. Первые сутки не по себе было. На дворе 1970 год, а я угодил на настоящую войну. Иду в надводном положении до Порт-Саида. Потом скрытыми переходами, днем под водой, ночью всплываю. Отходили позицию у Тель-Авива без толку, перезарядили батарею и – в Хайфу. Пришли, сутки кожу, а евреи все свои навигационные системы отключили – война идет. Я и говорю Багиру: «Надо место определить. Я всем этим радиостанциям и радиомаякам не верю – могут быть ложные. Давай-ка всплывем, возьму я пару звезд, посчитаю, и будет нам место». Рассчитали заход солнца. А там как? Солнце садится – ни одной звезды нет, солнце село – горизонта нет, такая темень. Звезду на горизонт через перископ не посадишь. Риск искусственного горизонта на сетке перископа не видно.

И что делать? Всплываю с намерением брать звезды вручную. А у евреев было объявлено: с заходом солнца не пересекать 20-мильную зону. Успел до захода – иди в порт. Не успел – дрейфуй, где хочешь и близко не подходи. Риск, конечно. Всплыли у самого берега. Гляжу – стоит здоровенный транспорт на 20 000 тонн.

Лодка наша плохо дифференцируется из-за плохой работы баллонов воздуха высокого давления. Вот нас и перекосило малость, наружу показались. Тут он

нас и увидел. И мгновенно зажег все огни, какие у него были. Специально показывает: мол, не стреляй, вот он я, гражданский! Я Багиру говорю: «Сваливаем отсюда быстро, он же полные штаны наложил. Сейчас донесет куда надо, и будет нам елка на Новый год!» Кричу: «Гапсария, б...дь! Погружение!»

Стали мы оттуда рулить по всем правилам противолодочной борьбы. Проходит два с половиной часа – доклад акустика: появились неприятные шумы. Через некоторое время уточняю – острыми курсами на нас идут очень быстроходные цели. Подсаживаюсь к египетскому акустику. Похоже, правда. Говорю Багиру: «Быстро всплываем и крутим "флагом", т. е. радаром, осматриваем цели и – на дно. Да, у евреев работают береговые локационные станции на такой случай. Но у нас мореходность хорошая, никто нас не обнаружит в таком коротком маневре. Мы их всех быстро установим».

Подвожу его к экрану акустика – экран целями забит, но три точки сближаются. Багир не захотел всплывать. «Ладно, – говорю, – как хочешь. Тогда погружаемся до предела и делаем гидрологический разрез». Это значит, самописец нам написал от дна до поверхности звукопроводимость по глубинам. То есть я знаю, где меня гидролокатор хуже берет, где я сам хуже слышу, и так далее. Где прятаться надо, указывает. Это все от плотности, солености воды и течений зависит. А лодка у нас хорошая, мы это все мгновенно сделали.

«Ну что, Багир, – говорю, – обстановку знаем. Куда прятаться знаем, на какой глубине винты вырубать знаем. Бог не выдаст, свинья не съест. Через 15 минут всплываем еще раз, врубаем локатор, определяем обстановку и погружаемся, дел-то на пару минут». – «Нет, не будем всплывать!» – «Да не бойся, Багир! Крутанем в один миг, мы ж моряки!» А цели прут прямо на нас, 26 узлов (около 50 км/ч). Это их ракетные катера «Саары», все ясно. Но у них нет гидролокаторов, это я точно знаю. Побороться с ними вполне можно.

Война под высоким давлением

Ушел я на 250 м под слоем скачка. Это значит между слоями, где зафиксирован скачок скорости распространения звука. То есть меня никто не слышит: сверху звук от слоя отражается. Ну и ходили они над нами 10 часов 27 минут. Это я запомнил на всю жизнь. Идут они трое, ракетные, но с глубинными бомбами. Но без гидролокаторов.

Израильтяне их у французов украли. Мне эти катера знакомы были. Французы строили их для Израиля, а потом отказались отдавать, эмбарго ввели из-за войны. Так евреи, молодцы, украли их прямо с завода на юге Франции, у Тулона. Ночью выскочили на рейд и домой. А египтяне, 5-я эскадра, хотела их тогда перехватить на пути из Франции в Хайфу. Было это точно на Новый год 31 декабря, пока французы праздновали. Тут такой зимний шторм разыгрался, что всех арабов раскидало. Наша средиземноморская эскадра тоже им помогла, да без толку. С египетских кораблей 9 человек штормом смыло за борт. Так они никого и не поймали, ни «Сааров», ни своих матросов.

А тут нате вам, пожалуйста, они уже на меня охотятся. А в лодке нашей из-за стравливания ВВД давление страшное. Люди падать стали прямо на постах. Пошли доклады по отсекам: то там обморок, то там. Баллонов этих в лодке 38 штук по 410 л и по 200 кг воздуха каждом. У нас на флоте их каждый год освидетельствует специальная комиссия. А у них освидетельствование вообще не производят. Ну и они, конечно, стали отравливать. А спустить давление нет никакой возможности – наверху «Саары» носятся как угорелые.

Барометры у нас уже через 30 минут после погружения зашкалило. Внутри давление страшное, люк можно открыть только кувалдой, человека при такой операции может просто выкинуть через люк как шкурку. По отсекам бродит огромный араб-санструктор и колет их всех шприцом. Тут первое дело выпить для расширения сосудов, и спирта у них залейся – в каждом отсеке по паре канистр. Да ведь не пьют ни фига. Плохо им.

Подвсплыли, посмотрели

Наконец-то ушли эти «Саары» искать нас в другой район. Тут акустик орет: «Шум винтов на таком-то курсе». А все на пределе уже, не знают, что творят из-за этого давления. Багир орет что-то по трансляции. Слышу, в первый отсек орет. Готовят шесть торпедных аппаратов. А время уже 10 утра, солнце жарит, наверху все как на ладони. Я кричу: «Багир, б...дь, ты что, еб...ся?! Подожди!» Не слушает, решил один воевать. Упрямый стал как бык, прет напролом. Готовит стрельбу из-под воды по шуму турбины.

Вот уже и торпедную атаку объявил. Я лечу в первый отсек. Пулей, за секунды, сейчас бы так не смог. А там все ручки крутят, данные вводят, шесть торпед готовы. Я назад: «Стоп! Всплываем. Сейчас смотреть будем. Акустика показывает, что охранения у них нет. По шуму это эсминец. Убедимся, что военный – уложим на месте, никто ему не поможет». – «Нет, – кричит, – из подводного положения будем стрелять! Всплывать не будем!» – «Не п...ди, – ору, – сука! Легкой жизни захотел?! Установил автомат стрельбы, врезал ему из подводного, и бегом. А приказ? Давай посмотрим».

Подвсплыли, посмотрели. Мама моя, такой красавец лайнер идет греческий, любо-дорого посмотреть. И весь автомобилями заставлен, на палубах народу, как в доме офицеров на танцах. Я вниз скатился, перископ убрал, все в исходное положение приказал поставить. Подхожу к Багиру: «Ну, ты видишь, б...дь?» Насупился: «Вижу». «Что ты видишь, на х...?! Что бы мы сейчас с тобой натворили, мать твою?!»

А он мат хорошо понимал и сам ругался. Меня даже на парткомиссию вызывали за него. Почему у тебя командир матом ругается? А как с ним не заругаешься? Я его учил, что ли? Он до меня умел. Помню, стоит у пирса, а мимо шаланда с мусором идет. Багир берет мегафон и орет: «Садись на мой х... и отойди в сторону! Или я тебя тараню». Тут меня и заложили замполиты.

Подводная война по-русски и по-египетски

Тут любопытные вещи начались. Наступили одиннадцатые сутки похода. Ушли мы из этого района, вытеснили нас. Багир потребовал сменить район по боевому приказу. Об этом мы обязаны донести. А на связь-то лучше не выходить: они же нас ждут. Застопорили ход и ждут. «Багир, – говорю, – не доноси о смене района. Нас снимут с похода, чует мое сердце. Мы же только начали. А ваши начальники боятся за подводную лодку, дорогая она». – «Нет, я должен донести». – «Ну, тогда привет твоему ордену!» Тут он задумался, для арабов орден получить – святое дело.

Но все равно пошел доносить. Десять минут не прошло, получаем приказ – возвращаться в базу. Дошел я скрытыми переходами до Порт-Саида, а там до базы в надводном положении. Багир уставший весь, еле ходит. Понятное дело. Не привык к таким нагрузкам. Это по нашим меркам заурядный выход, а для них чуть не подвиг. Вся боевая учеба у стенки протекала. Для настоящих походов большие деньги нужны, а они все сэкономили.

Встал я на мостик и говорю ему: «Багир, иди поспи». Остался на мостике, через некоторое время меня сигнальщик по плечу хлопает: «Мистер Володя!» Оборачиваюсь: мать честная, гигантский всполох! Взрыв, обстрел. А откуда, непонятно. Проходит полчаса, над лодкой два израильских «Миража» в семидесяти метрах проносятся. Аж керосином в морду дохнули. Представляешь? Облетали заданный район и лодку на такой скорости проскочили! Не успели нас накрыть, бывает. А целей вокруг как гренок в бульоне, локатор не справляется. Это же Суэцкий канал! Поди разбери, куда возвращаться. Тут от мастерства летчиков все зависит. Поэтому самые страшные самолеты в такой обстановке, как ни странно, тихоходные. А на «Миражи» мы особо и не смотрели.

Приходим в Александрию. Народу на пирсе тьма. Стоит и командование. Наш комбриг, сволочь, пришел с сыном моим. Взял меня под руку: «А что у вас случилось? Почему вернули?» Смотрю – ничего не знает. А арабы нашим ничего не говорят, стесняются. «А чего непонятного? Багир дал радио, что сменили район, и получили радио возвращаться. Вот и все». – «Так зачем же вы давали радио!» – «По боевому приказу положено». – «Но ты ему говорил, чтобы радио не давал?» – «Говорил, но это между нами двоими, Николай Романович. Да, я ему говорил в нарушение боевого приказа, что связываться с базой нельзя, нас сразу завернут. Только вы начальникам нашим наверх ничего не говорите».

В результате трагической ошибки противник уничтожен

Пришли в штаб. Комбриг их сидит на столе, заместитель в расстегнутом кителе. Семейная сцена, в общем. Не в нашем духе. Ну, Багир доложил о походе, о том, что мы засекли две новые радиолокационные станции, которые из-

раильтяне только что установили. Их еще на карте не было. Спрашивают нас, видели ли мы что-нибудь у Порт-Саида во время прохода на базу? Видели взрывы, отвечаем.

Оказывается, к Порт-Саиду подходил какой-то корабль. Выскочило дежурное звено арабских ракетных катеров и утопило его двумя ракетами. Так что корабль развалился на части и мгновенно затонул. Советником на ракетных катерах был покойный Глазов. Он тоже ничего об этом не знал. И никто не знает, что за корабль – ни наши, ни арабы. Запрашивают все пароходства, слушают все переговоры в международном эфире. Кто мог там проходить? Все допытываются.

Выясняется, это был еврейский РЗК (разведывательный корабль) с экипажем в 116 человек. Большой транспорт, переделанный под разведывательный корабль. Он тихой сапой затесался в строй кораблей, идущих в Порт-Саид, как будто по делам идет. Тут его и грохнули. Так самое интересное, что арабы сами не знали, что это РЗК. Они его так, для порядка потопили. Он им чем-то не понравился. Был бы на этом месте мирный транспорт – и его бы грохнули. А потом признаваться не хотели. Начали говорить, что он в запретную зону зашел. А он и не зашел вовсе, я же там как раз проходил в надводном положении. А «Миражи» те самые своего искали, летали. Цирк, в общем.

Виновен в исполнении боевого приказа

Вышли из комнаты, Багир, как дитя радостный, шепчет: «Нас к самым лучшим орденам представили». А потом начали меня вызывать к советнику начальника штаба: «Это как это подсоветный не выполнил вашу рекомендацию?» Вот гад, Коля этот Романович, заложил меня. «Какую еще рекомендацию?» – дураком прикидываюсь. «Ах, вы...» И пошли матом сплошным. «Да вы же сами с арабами писали этот боевой приказ!» Тут Касатонов приехал разбираться. Выслушал, и тоже туда же: «Вы что, струсили?!» «Почему струсил?» – «Почему дали ему разрешение донести?» – «Во-первых, он все-таки командир на лодке. И потом я не давал ему разрешения доносить. Я ему запрещал доносить. Хотя я советник и обязан исполнять тот самый ваш приказ, который вы нам перед походом зачитали». – «А, б...дь! Флот опозорил!»

Тут такое началось, что я пять суток не ел. Переживал. Регулярно вызывали меня в комнату № 212 на допрос, и все по новой. А суть конфликта такова. Нас назначали из плавсостава дежурить два раза в месяц, если выходов в море не было, помощником оперативного дежурного по флоту. То есть к советнику дежурного. Сам дежурный араб был, ясное дело. И каждое утро в 10.00 наши отправляли донесение в Москву. Тут ты должен идти к их оперативному по флоту и выспрашивать у него обстановку для своего доклада. Буквально выцарапывать информацию.

Довольно быстро арабы перестали с нашими штабными делиться информацией. Просто игнорировали их. Почему? В службе разноса чая было немало

арабов, которые говорили по-русски. Мой шофер, когда прощался со мной, прекрасно говорил по-русски. Но только в последний день. А так все прикидывался, что ни бельмеса не понимает. Так вот это самое подразделение разносчиков чая быстро донесло египетским офицерам, что наши штабисты в оперативной службе бездельничают, лясы точат, считают деньги и говорят только о шмотках.

Египетские трагедии

Тут, как назло, для штабных начались большие неудачи. Евреи украли вертолетом новейшую радиолокационную станцию. Перелетели через канал, перебили чахлую охрану, зацепили вертолетом вагончик и уволокли к себе. Начали монтировать новейшие станции ПВО, а противник опять не дает. Прилетают до того, как их запустят на рабочих режимах, и разносят вдребезги. наших офицеров ПВО тогда больше всего гибло. Так у Израиля разведка была поставлена.

Вдобавок еще казус случился. Вышло три торпедных катера из Порт-Саида на постановку донных мин АМД-500. Первый катер плюхнул и отвалил. А второй сбросил мину и на ней же подорвался. От торпедного катера даже клочков не осталось. Третий катер повернул и куда глаза глядят унесся, его потом долго искали. А начальства много съехалось глянуть на это геройство. И начальство на втором катере как раз и ехало. Ставили мины арабы самостоятельно. Без наших инструкторов.

Тут съехалось уже наше советское начальство. Понятно – ЧП. Приехало аж все минно-торпедное управление из Москвы проверять эти мины. Вся гостиница «Гайд-парк» была забита этими специалистами. Правда, многие из местной пивной вообще не выходили. После этого у арабов появилась неуверенность в оружии. Багир ходит за мной, канючит: «У меня шесть торпед в аппаратах и шесть стеллажных. Всего 12 штук». И смотрит на меня, что скажу, ждет.

Египтяне назначили испытание. Решили тайно выбрать лодку, указать на любой торпедный аппарат и приказать из него стрелять. Гляжу, Багир боится, что ему выпадет. А ну, как случай с миной повторится? Но пошла другая лодка, отстрелялась, все обошлось. Комбриг наш египетский сам ездил, привез кусок корпуса отстрелянной торпеды: «О, мистер Володя!» А чего «О!»? Ходит с этим железом и трясет. Чисто дети какие-то.

Так вот штабистам на фоне этих проблем очень важно стало доказать на каком-то примере, что страна пребывания – египетские военные – не выполняют советов наших советников. То есть действуют вразрез с нашими приказами, самостоятельно. И сами виноваты во всем. И действительно, мины-то они сами пошли ставить, без наших спецов. Так вот мой случай и доложили как пример некомпетентного руководства египтян и отказа от сотрудничества с советниками. Потому у них все идет не так. Короче, наши штабные все решили свалить на арабов. И стали собирать все случаи такого рода для своих докладов. Имен-

но поэтому их египетские оперативные стали игнорировать. И докладывать стало вообще нечего.

Советско-египетская дружба в условиях штабной интриги

Вот началась черная полоса. Они наверху донесли о моем случае, что подсоветный не выполнил указания советника, и арабам это все стало известно. Я сразу почувствовал холод: «Ну, что, мистер Володя? Вы говорили, что у вас с Багиром все в порядке, дружба?» А я и объяснить им не могу подоплеку наших дразг. Сказал лишь: «Господа, когда буду уезжать, я вам все расскажу».

Багиру орден дали, а мне фиг. Багир очень переживал по этому поводу, и мы с ним объяснились. Он мужик грамотный, все понял. Я ему говорю: «Багир, у нас на флоте еще и похуже случаи бывают». Проходит время, мы с Багиром плаваем, службу несем как надо.

Прослужил я год. Наметился еще один поход: египтяне, наконец, оклемались от своих неурядиц и потерь. Ставят задачу – торпедировать нефтяной терминал, если там не будут стоять иностранные суда. Арабы тоже всегда под прикрытием иностранных флагов шли. Все старались в торговом порту свои подлодки пришвартовать. То к китайцам, то еще к кому. Ко всем гражданским иностранцам швартовались, кроме немцев. Те их быстро на три буквы посылали, не хотели в заложники идти. А израильтяне эти порядки арабские знают и в военных базах тоже не очень-то швартуются.

Испытание боевой дружбой

Египетской подлодке по боевому приказу положено было две торпеды выпустить по терминалу и поставить 12 мин на фарватере Хайфы. Назначили в поход лодку Максимова. И тут он что-то ерзать начал: «Я в поход не пойду, это новая лодка, а я экипажа не знаю». А есть у командира такое право. На новой лодке, даже того же проекта, что и прежняя, вторую задачу он должен с новым экипажем отходить по полной программе – погружение, всплытие и прочее кувырание.

Вот он сперва и скандалил: «Я с ними не ходил и в поход не пойду». Мы вокруг собрались: «А мы как ходили? Как из Союза приехали, так сразу на боевую». Ну, боялся он, чего уж там! А ему пришел вызов в Академию в Дубовую рошу, учиться. Это когда командиры уже перехаживают сроки повышения, им не нужно уже 3 года учиться. Разрешают за 10 месяцев квалификацию поднять, срок за счет опыта сокращают.

Пришел Юрка Максимов к нам домой. Я спал. А он принес бутылку рома «Абу Симбел», яд такой местный с негром губастым на этикетке. Его переешь – наутро, как будто тебя всю ночь палкой били. Пришел он со своей женой Ларисой, выпил, к разговору приступил: «Володя, может, ты за меня сходишь?» Ну, это военного человека понять надо, что для него такая ситуация

дикая. Это как если бы я вам сказал: «Друг, сходи за меня в атаку! А я за тебя как-нибудь потом схожу».

А он с женой пришел, по-семейному. И моя сидит и смотрит на них, не верит. «Ладно, – говорю, – схожу. Только ты мне скажи, ты боишься?» «Ну...» – заерзал весь, в пол смотрит. Я встал и вышел из комнаты и жена за мной. Разговор окончен. А они все сидят, не знают, что дальше. Потом встали потихонечку и ушли, дверь прихлопнули. Неловко получилось.

Второй поход. Молчание ягнят

И пошел я на его лодке с новым подсоветным. Пришли прямо в Хайфу на рейд. Посмотрели через перископ на город ночью – красота, все в огнях, празднично. До центра города километров десять. По набережной поток машин идет. На разгрузке у терминала стоят четыре огромных танкера. Ну, куда тут стрелять в гражданских иностранцев? Значит, надо мины ставить. А мины ставить мы должны только по личному приказу президента Садата.

Вот, доложу я вам, бандитская рожа, видел я его вблизи! И уважение к нему в народе было уже так себе. Когда Насер по радио выступал, в Александрии все движение останавливалось. А Садат мне руку лично жал, все благодарил. Так себе человечиска, вроде как бандит районный к власти пришел. Ну, вот Юрка попросил, и я пошел в тот поход. Стоим на рейде, ждем сигнала на постановку мин. А запрос давали простым кодом, условными фразами. У них ведь скрытой связи не было. Не давали наши им ни под каким видом засекреченную аппаратуру связи.

Слабый поход получился. Терминал нефтяной мы разбить не могли, его танкеры закрывали полностью. Потом ждали от египетского начальства разрешения на минирование порта. Да так мы от этих балбесов ничего и не дождались, никакого ответа. Ни разрешения, ни запрета. Так, промолчали, как будто не слышали нас. Черт знает что! Впрочем, с египетским командиром и экипажем отношения у нас наладились великолепные. Длился тот поход двадцать суток.

Военные деньги

Там много странного было. Скажем, денежное содержание. Самая низкая оплата была у переводчиков. Так вот наш полковник получал меньше, чем чешский или восточно-германский переводчик. Этот механизм мы уже потом поняли. Их сторона отпускает на военных советников определенную сумму. Но наши уже потом эти деньги распределяют еще и на целое политуправление. Шесть одних только генералов-политработников.

Прислали мне в соседи по общежитию друга одного, полковника. Хоть стой, хоть падай. Советник по моральной ориентации! Не вру, была такая должность тогда. Стали мы за ним приглядывать, что он делает, с кем общается? А ходит

он, оказывается, в мечеть. И там с муллой пытается пообщаться. А мулла его ни в какую не пускает в мечеть. Вот он и болтается по Александрии.

Обслуживал нас один араб. То ли шпион, то ли администратор. Отвечал за гостиницу, прием советников. Звание у него было не меньше полковника. Всю нашу шушеру вроде меня, советников командиров полков, лодок, отдельных частей он свез в гостиницу «Виктория». И на вид и по статусу это было общежитие для бомжей. Располагалась она возле загаженного вокзала. В коридоре горела одна лампочка.

Как-то раз Слепенчук потерял деньги, и администратор тот мне говорит: «Ваш мистер Слепенчук – ворона». Тут мы с ним и разговорились. Он мне по-русски сказал: «Ох, вас и надувают! Мне денег на ваше расселение от правительства Египта выделено как на господ. А у вас кто-то все это забирает. Потому что из аппарата вашего командования выделяют мне только на эту халупу».

Неполиткорректные воспоминания

Вообще мне египтяне запомнились как люди не склочные и доброжелательные. Несколько навязчивые, если в гости к ним придешь. Все требуют, чтобы ты с ними чего-нибудь поел. Безалаберные, как дети. Идем в надводном положении, и каждую минуту я могу объявить срочное погружение. А матрос их стоит на палубе и магнитофон слушает. Не доходит до него, что война идет. Командир на палубу вылез, я ему на бойца показываю. Он подошел, и магнитофон этот японский за борт выбросил.

Вообще-то всякий народ по-разному воюет. О русских ничего определенного сказать нельзя. Они совершенно разные, винегрет. Очень стойкими себя казахи показали. И на вахте выносливые и исполнительные. На них положиться можно. Самыми лучшими словами можно охарактеризовать литовцев. Я если имел возможность участвовать в отборе призывников в экипаж, всегда старался больше брать литовцев. Это самые чистоплотные и исполнительные матросы, пять баллов.

А вот латыши от литовцев отличались очень сильно и не в лучшую сторону. И хлипкие и ненадежные. Но самая плохая для службы национальность – москвичи. Самая большая головная боль для командира всегда от них.

Если говорить о матросской смекалке, действиях в нестандартной ситуации или принятии решений с использованием техники, то лучше всего, конечно, украинцы и русские. Латыши просто заторможенные. Татары призывались на подводный флот часто и практически ничем не отличались от русских. Евреи служили очень неплохо, но за всю мою службу я их среди матросов видел не больше пяти человек. А вот офицеры из них получаются безукоризненные. Кстати, и армяне на лодках – единичные случаи.

Из моих бывших старших помощников семь человек стало командирами. Один потом сгорел. Это очень редкий показатель. Даже Петров, начальник отдела кадров, делал в Москве доклад на моем примере. Мол, есть капитаны,

воспитавшие семь командиров. Так вот среди них было два еврея. Прекрасные командиры. Например, Зверев, потом он стал комбригом. А сейчас начальник штаба Балтийского флота.

Попадались мне на службе и грузины. Это люди настроения, хотя стараются от души. Двое старшин у меня были из грузин. Азербайджанцы обычно в трюмные должности шли, им серьезных участков не доверяли. Сказывался недостаток образования, ни к электронике, ни к сложным механизмам их не приспособишь. Костяк матросов и старшин был из славян. Но экипаж в подлодке может жить только как единый организм. Все ребята быстро находили в нем свое место и действовали, как пальцы на одной руке. От этого жизнь зависит, даже в мирных условиях. Поэтому если в армейской среде часто складываются землячества по национальному признаку, то в подлодке это просто невозможно. Когда задраиваются все люки и лодка погружается, национальности исчезают.

Особенности национальной подлодки

Вскоре после второго похода главным военным советником к нам пришел контр-адмирал Чернобай. Разобрался в моем случае с Багиром и после второго похода представил меня к ордену. Значит, не так плохо служил. А чего сумели в Египте добиться наши советники? С чем они там столкнулись? До нашего прихода у них на флоте вообще не было долгих выходов в море. А тут мы замесили, что на выходы и матросы и офицеры идут со своими авоськами. Еду несут из дома. Не кормили их совсем. Мы быстро разобрались и потребовали, чтобы личный состав кормили. Ведь голодные обмороки были нормой. Какая это армия?

Ввели им паек. Что тут началось! Они же все контрактники. Если моряк цивилизованнее, жена у него одна. Чем темнее, тем больше жен. Чаще всего – две, у самой нищеты – по пять. И дети в соответствующей пропорции. После введения пайка весь экипаж разделился на три категории. Первая ничего не ест, все оставляет семье. Вторая категория берет половину пайка без мяса и кур. Третья категория устраивает себе полноценный завтрак, обед и так далее. Продукты давали неплохие, но в основном все сладкое. Египтяне вообще сладкоежки.

Я Багиру говорю: «Что за дела? Как воевать будем?» Он затянулся только покрепче: «Мистер Володя, пять детей. Ему кормить надо. Все, что зарабатывает, домой относит. Деньги домой относит, еду тоже домой относит». Вот, бывало, придешь с моря, а они из трюмов достают сумки с недоеденным пайком. Некоторые почти все сохраняли. Нас за это сильно трепали партийные органы, проверки присылали: «Все ли продукты выдаются согласно утвержденным нормам?» Я специально на партактиве выступил по этому вопросу. Так и сказал политработникам: «Если у тебя будет пять детей, ты им из пайка не отложишь?» Заткнулись на какое-то время. Потом опять начали: «Вы должны требовать, чтобы они там все съедали!»

Во время боевых походов я, конечно, следил, чтобы все ели как надо. А в

обычное время заставить не мог, да и проконтролировать тоже. Обмороки стали реже, но не исчезли. Условия в походе тяжелые. Жара в лодке жуткая, в электрическом отсеке до шестидесяти градусов. В дизельном меньше сорока не бывает. Остальные, если по делам через него идут, стараются проскочить побыстрее. На автоматах в шестом отсеке матросы стоят в асбестовых рукавицах: дотронуться до раскаленной стали невозможно. Я изредка выходил туда, где овощи хранились, посижу в прохладе и назад, на пост. Тут и наши матросы сознание теряли, что с арабов спрашивать?

В лодке установлены мощнейшие электромоторы. Они жрут столько энергии, что, когда уходил в плавание более чем на трое суток, давал команду вывинчивать лампочки в отсеках. Они горели через одну для экономии энергии. Каждый киловатт на учете, потом жизнью за него расплачиваться будем. И вся эта электрика давала такой жар вкупе с дизелем.

О вреде курения

Египтяне свои корабли ставили на ремонт в Индию. И перегон был короткий, и индийцы им обещали сделать все дешевле. Хотя ремонт затягивали в три раза против срока по контракту. Ходить в Индию в перегонной команде арабы страшно не любили. Вот в Советский Союз – с удовольствием, тут и чисто, и деньги хорошие. Поэтому как в Индию корабли на ремонт гнать, сразу у них начиналась нервотрепка и сплошные интриги. Я наивно Багира спрашиваю: «Багир, а чего это они в Индию идти не хотят?» Он так высокомерно мне ответил: «Это для нас, как в ссылку. Там грязно и плохо». «Поди ты, – думаю, – избалованные какие!» Тут и произошел примечательный случай. Отремонтировали в Индии египетский эсминец советского производства марки «30-бис». Погнали назад, да тут началась заваруха. И перегонная команда загнала его в Красное море, в Сафаргу, рядом с Хургадой. Это сейчас там курорты, тогда просто порты были, вроде Басры, но мельче.

Загнали египтяне туда эсминец и ждут, когда все успокоится, чтобы перегнать его в основную базу. Вахтенный араб ходит по палубе, за кораблем посматривает. А у эсминцев на корме стоят ящики с приборочным инструментом, гайки у них на барашках. И есть на египетском флоте такой военный обычай. Во Вторую мировую боевые итальянские пловцы немало подорвали английских кораблей на стоянке. Арабы это здорово помнили. И потому до рассвета ходит у них по палубе вахтенный и бросает за борт взрыв-пакеты, боевые пловцов отпугивает.

Порядок этот они строго выдерживали и в Александрии, и в остальных базах. Так, что в центре города слышно было. Этот моряк набрал из ящика полную сумку взрыв-пакетов, чтобы ночью нескучно было. В этот миг мимо прошел катер, и эсминец качнуло волной. Бронированная крышка ящика упала и треснула ему по голове. Как потом комиссия установила, изо рта у него внутрь ящика упала зажженная сигарета. Матроса с пробитой головой поволокли в

санчасть. А тут как раз рванул ящик с взрыв-пакетами. Кормовая башня с двумя спаренными 130 мм орудиями была рядом. И, как на грех, на мате были выложены два снаряда. Они тоже детонировали.

Через сорок минут на этот грохот прилетели евреи и начали корабль бомбить. Башня зенитная развернуться не может: механизм поворота взрывом заклинило. Система электрического управления стрельбой тоже вышла из строя. Корабль беззащитный стоит. Как начали самолеты его громить, все врассыпную. Тут тральщик египетский на помощь подскочил. Двоих сбил, но ему так корму разворотили, что он потом как корова по морю шел, я его видел. Командир тральщика прыгнул за борт и поплыл к берегу. До берега он доплыл, но оказался без двух ног. Оказывается, когда первые раненые за борт посыпались, на запах крови слетелись акулы. Они командиру две ступни и откусили. Через десять дней он в госпитале умер.

Сухопутная непатриотичная крыса

Ну а эсминец от прямых попаданий начал крениться и перевернулся. Но на эсминце был наш переводчик. Мальчик совсем, комсомолец еще. Я его хорошо помню. Беда была в том, что он не умел плавать. А его начальник, советник командира эсминца капитан первого ранга Тимофеев положил его на спину и за волосы отбуксировал к берегу. Так они и спаслись. Погибло тогда немного народу. В основном люди захлебывались в мазуте, который вытекал из эсминца.

Вскоре этого мальчика снова назначили переводчиком в морскую часть. Он мне рассказывает: «Я в Москве десятки раз рассказывал всем комиссиям, что плавать не умею. Просил послать меня куда угодно, кроме флота». Понятно, его после таких речей именно на флот и послали. Сказали: «Ничего страшного!» И вот после этого спасения снова назначили на ракетные катера. А у него развилась сильная водобоязнь. Он прямо заявил: «Я не пойду туда служить. Куда угодно посылайте, только не в море!»

Этого парнишку взяли прямо с четвертого курса гражданского института. Он и не военный был вовсе. У него это практикой языковой считалось. Такое неповиновение ему дорого стоило. «Ах, вот вы как заговорили!» – все, что ему сказали. И отправили домой с такими характеристиками, с какими приличной жизни в СССР уже не получится. Жалели того парня мы все страшно, Тимофеев пытался защитить, да без толку

Тимофеев очень хороший пловец был, весь спортивный, поджарый. С боевыми пловцами тренировался. Он ведь парня до берега три километра буксировал. Не всякий бы смог. Спас буквально. Представляете, что двадцатилетний переводчик пережил за эти три километра? Плыли-то под непрерывным обстрелом. Потом Тимофеев подал рапорт, чтобы ему возместили именные золотые часы от главкома. Ему так и сказали в штабе: «Что ты лезешь? Кто тебе здесь чего возместит, в нашем гадючнике?»

О советской подводной славе

В целом египетский флот только сдерживал противника и изображал активность на подступах к своим базам. Командование было косное. Активных боевых действий было мало. Всего у них было девять подлодок, из них четыре новейших – 33-го проекта. А боевых походов на всем флоте за время командировки было только четыре. Из них два провел я. Больших военных кораблей у Израиля не было. Топить гражданские командование наше не хотело. А египетское командование не хотело тратить деньги на походы.

Все это создавало впечатление, что Израиль на море воевать боялся. Поэтому, когда я вернулся домой, у меня состоялась пара примечательных дискуссий со своими. Многие офицеры об Израиле судили пренебрежительно: дескать, мы плавали, где хотели, а они нам ничего противопоставить не могли. И это правда. А я им так сказал: «Мужики, давайте рассудим, что такое в подводном флоте евреи? Что вы мычите? Вспомните, что наши подлодки в Отечественную войну воевали очень мало. Но пропорционально подводники заслужили больше всех Героев Советского Союза. Давайте перечислим персонально самых знаменитых наших подводников, реально воевавших! Там же евреев больше половины: Фисанович, Лисин, Богорад. Все от бога командиры». Тут наши сразу начинали в затылке чесать. Этих подводников очень уважали и с удовольствием рассказывали об их походах и хитрости.

О том, как дружбу народов сожгли глаголом замполиты

Если относиться к жизни внимательно, многое можно понять без объяснений. Почему вдруг наших советников поперли из Египта в 1972 году? Ведь когда меня провожали, все их командиры пришли на перрон. Среди офицеров среднего звена разногласий не было. Я знал очень многих комбатов. У египтян было три полевые армии, и низший советник был у командира батальона. Потом полки, дивизии и так далее. Можете представить, сколько там было армейских советников? Армия. Я с ними познакомился еще в Москве. Впоследствии они приезжали к нам в Александрию в профилакторий, на базе одной из гостиниц.

Полевые армии находились в жутких условиях на берегу Суэцкого канала. Вокруг песок, пустыня. Воды привозят мало, и та теплая. Из еды – один рис. И наши ребята приезжали на десять дней искупаться, помыться и пожить хоть раз в году по-человечески. Тут я с ними и встречался. Поэтому обстановку по всему фронту знал не из кинохроники. Каждый день шла сводка в военный отдел ЦК КПСС, в том числе и по потерям. Готовили их сами военные. Разумеется, каждый род войск стремился занизить свои потери, чтобы выглядеть не хуже других в глазах московского начальства. Истинных потерь в Москве не знали. А это было немаловажно.

Тогда мой приятель, красивый молодой майор сказал мне грустно: «По-

прут нас, Володя, отсюда. Отношения стали совсем плохие. Советников штабов египтяне не принимают, видеть не хотят. Замполиты виноваты. Переагитировали».

Это было абсолютно правильный вывод. Работа наших политорганов довела отношения между государствами до полного раскола. Самое страшное началось во время и после празднования столетия со дня рождения Ленина. Собрались мы, все советники, в Александрии. Вице-адмирал Мизин, замполит, кривой в доску пришел. Вручил нам, боевым офицерам, медальки юбилейные. А после этого вручил нашему советнику командира бригады Слепенчуку огромную тетрадь с докладом, чтобы он зачитал его по случаю.

Слепенчук мне говорит: «Завтра собирают всех подводников, мне доклад поручили юбилейный. В тетради двадцать пять страниц, и все про Ленина. Из Каира прислали, из посольства. Что делать?» «Что делать? Читай им, как он родился, рос и так далее... Куда деваться?» Собрались назавтра в актовом зале все арабские экипажи. Офицеры впереди, комбриг в первом ряду.

Николай Романович начал читку. Как надо по науке отнимать фабрики и заводы и так далее. А офицеры-то наши все из богатейших семей, многие миллионеры. Вот у подсоветного моего отец был майор, погиб во Вторую мировую войну. Не знаю только, за Роммеля он воевал или за англичан. А матушка у Багира, та, что меня виски с кофе угощала, владела всеми каирскими магазинами драгоценных камней. Ни кольцами, ни золотом не занималась, только камням и торговала. Настоящая дама. Таким пролетариат в первую очередь шеш сворачивает. И так у всех командиров.

Только два было бедных командира, которые даже телефон у себя дома не могли поставить. Остальные их за ровню не считали. Доклад был на сорок минут рассчитан. Только Слепенчук до захвата дворцов и заводов дошел, комбриг у переводчика что-то переспросил. Потом встал резко и – на выход. И вся масса египетских экипажей встала и вышла. И так случилось во всех частях. Доклад тот с рекомендациями по экспроприации собственности сильно отношения испортил. Мой комбат знакомый рассказал, что первые дни после юбилея его офицеры с ним даже за руку здороваться перестали.

В нашем консульстве в Александрии располагались не только госпиталь, маленький ресторанчик и библиотека. Там был огромный открытый кинотеатр. Египтяне очень любили ходить туда на наши фильмы. На первой серии «Освобождения» яблоку негде было упасть. Шел он и в городских кинотеатрах, но билетов нельзя было достать. После этого злосчастного столетия я пригласил своего второго подсоветного Султана в кино. «Нет, не могу». – «А что случилось?» – «Запретили! Если засекут, то мне не поздоровится». Тайн мы друг от друга не держали. После этого арабы вовсе перестали ходить в посольство и старались с нами поменьше общаться. Не допускались никакие личные разговоры, очень резко все изменилось.

Сосед наш, специалист по моральной ориентации, капитан первого ранга, обзывал египетских офицеров выпускать «боевые листки». Они никак в толк не могли взять, что это и зачем. А наш морально ориентированный вывешивал

их потом на специальной доске. Комбриг египетский проходит мимо – хрясть, и сорвал все до единого. А наш снова вешает. А комбриг срывает. Короче, перерагитировали мы их. А ведь египтяне к нам очень хорошо сначала относились. Оружие наше не хаяли. И среднее звено, вплоть до командиров кораблей, очень нас уважало, и отношения были наилучшие.

Похороны за свой счет

Отдельно надо бы рассказать об организации ПВО. Самое тяжелое положение было именно здесь. Офицеров наших тут гибло больше всего. Сначала ведь все мы своих убитых хоронили за свой счет. Специальные средства на хранение трупов в египетских моргах, гробы и их транспортировку в СССР вообще не были предусмотрены нашим Генштабом. И именно из-за большого количества погибших советских офицеров ПВО эта проблема выплыла наружу.

Шла как-то обычная партконференция в Александрии. И докладывают на ней: погибла очередная наша точка ПВО, разбита израильской авиацией. У евреев ведь далеко не все асы были. Поэтому они делали просто. На вылет назначали примерно по десять машин, но первой парой шли летчики, получившие образование в ФРГ или США. Они и наносили первый удар. Потом налетала малообразованная молодежь и всех добивала, работали они чаще просто по площади, не прицельно.

На конференции присутствовал командующий группой войск Капишкин. Был такой генерал армии, который венгерское восстание давил в 1956 году. Матерщинник был отчаянный. Выйдет, бывало, на террасу штаба группы войск и орет во двор: «Слушай, ты, пи...!» Люди переглядываются, не понимают. А он все надрывается: «Да не ты! Вот ты, ты пи...! Иди сюда!» А вокруг буфетчицы, машинистки косяками бегают. Такой он был начальник.

Один раз на партконференции в Александрии он встал в президиуме и зарорал: «Вашу мать! Я не верю, чтобы моряки не пили! Как это так получается, что у вас моряки не пьют? У меня полковников с лестничных клеток в дым пьяных вытаскивают, а у вас на флоте не пьют». Тут он был неправ. Армейских было неизмеримо больше нас, и всяких ЧП там тоже было больше. Но Капишкину было обидно, что его подчиненные постоянно попадают в сводки происшествий, ему хотелось, чтобы флотские как-нибудь их поддержали. Например, тоже напились бы.

И вот после информации об уничтожении нашей позиции ПВО довольно решительно встал со своего места один полковник. Я знал его. Он жил в нашей гостинице, но всегда ездил на службу на боевые позиции, дежурить. В свое время он кончил высшее военно-морское училище, но потом попал в сухопутные ракетчики. Сказал мне как-то в минуту откровенности: «Володя, я сильно сомневаюсь, что в Московском округе ПВО есть такие системы, какие мы здесь установили на каждой позиции». И Капишкин на той партконференции эти слова подтвердил: «У нас сейчас такое ПВО развернуто в Египте, какое

Московскому военному округу не снилось. Противник давным-давно мечтает разбомбить Асуанскую плотину. Но там стоит система "Квадрат", и они туда не сунутся». Поскольку больше всех страдало в той войне ПВО, Москва старалась гнать в Египет самую новую технику.

Так вот встал мой знакомый, помялся немного и рубанул членам президиума: «Сколько можно собирать на убитых?! Что это за безобразие? Только что погиб мой друг. Мне не жалко отдать десять фунтов. Но я отдам лично семье, а не в вашу непонятную казну в аппарате главного военного советника!» То есть в лоб он им не сказал, что они присваивают деньги, собранные сослуживцами на похороны и транспортировку. Но все поняли. Тут с мест повыскакивали все представители родов войск, зашумели. Проблема эта назрела, и всех оскорбляло отношение руководства к нашим убитым товарищам.

Потребовали ответа, вышел на трибуну финансист. Пятнами весь пошел, бумаги показывает. «Товарищи офицеры, извините меня! Но нет у нас таких денег в балансе. Не запланированы. Вот у меня есть пайковые, командировочные, денежное содержание, медобслуживание, связь. А на это не планировали. Ну, где я могу деньги взять?» В общем, в ЦК КПСС, когда все планировали, эту статью просто забыли. Наверное, не догадывались, что мы еще и погибать будем. Прошло некоторое время, и поборы эти безобразные прекратились. Кто еще в мире додумался бы убитых за свой счет хоронить, не знаю. А до этого регулярно из Каира к нам приезжали деньги на это собирать. Это уже в наше время для всех участников тех событий установили особый статус. Мне даже пенсию повысили на четыре лата и льготное удостоверение выдали.

Ввод ограниченного контингента в столицу Александра Македонского

Когда в конце 1969 – начале 1970 годов у арабов начались поражения, у 64-го причала в торговом порту выгружали советскую военную технику для Египта. Каждую ночь! А потом и вовсе в Александрию вошла танковая дивизия. Выгрузилась за одну ночь, это сегодня вряд ли кто сумеет. Экипажи были отдельно, а техника как бы в виде военных поставок. Ночью экипажи сели в танки и рванули за 80 км от Александрии в пустыню. К рассвету расставили вокруг себя проволочные заграждения, отрыли капониры, командные пункты, развернули связь и всю оборонительную инфраструктуру.

Это была полноценная настоящая советская танковая дивизия. Но высадили ее как-то не по плану. Не было предусмотрено снабжение. Снова среди нас начались поборы. Теперь уже на мыло и сигареты для прибывших танкистов. Условия у них в пустыне были ужасные, и как их выбросили туда, не предусмотрев расходов на сигареты? Валюту сэкономили, наверное. Ездили они на танках без знаков различия, все белобрысые и улыбаются. Из-за них в ту ночь вся набережная в Александрии проснулась.

Через месяц снабжение новой дивизии наладили, стали им белье менять и

все, что нужно. Тогда же приехал к нам главком ракетных войск. Ездит по Александрии и показывает пальцем – вот здесь установить ракетную установку. А на набережной гражданские частные причалы, буфеты, рестораны, зонтики. И попережку наши ракетные установки с чисто советскими экипажами ракетчиков. Командир их часто к нам приходил. А личный состав жил прямо в установках, их никуда не выпускали. Ни в какие увольнения. Официально же в Египте никаких танкистов или ракетчиков не было.

Потом водитель этих ракетчиков врезался в «мерседес» минера с моей лодки. Минеру хорошую компенсацию выдали, он довольный ходил, потому что как раз тогда женился. Ему деньги нужны были. А сразу после этого с набережной произошел несанкционированный пуск ракеты. Упала она, слава богу, в море. Искала ее потом вся пятая эскадра и все водолазы, какие нашлись. Ракета оказалась совсем секретная. Так и не нашли ее. Потом эти ракетчики выпустили по нашему же Ил-28 зенитную ракету «Стрела», ручной комплекс. Попали удачно, одна турбина взорвалась, и даже часть крыла отвалилась. Но самолет как-то ухитрился сесть. А как же, его советские летчики сажали!

Я так и не знаю до сих пор, известно ли кому-нибудь из историков, что СССР ввел войска в Египет? Ведь если бы мы не поссорились с Садатом, наши ребята могли вступить в бой с армией Израиля. А Израиль прикрывался военным союзом с США. Получился бы еще один Карибский кризис. Если не хуже. Слава богу, Садат социализм строить не захотел и наши войска выгнал. Что бог ни делает – все к лучшему.

Публикацию подготовил Валерий Ширяев



социолог, писатель и публицист; с 1984 по 1997 г. – главный редактор тематических программ на Би-Би-Си, ныне – сотрудник российского Института научной информации и Института русской истории (РГГУ). Живет в Англии.

ИСЛАМ КАК СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, или ПАРОЛЬ «ХРИСЛАМ»*

Призрак бродит по Европе. Укрепляйте блиндажи, нынче будут грабежи. Нажимая на курок, впереди толпы – пророк. Так нас пугают джихадом и десантами самоубийц. Эта опасность, надо думать, сильно преувеличена. Но вот другой вариант. Прекращайте кутежи, надевайте паранджи. Это уже более вероятно.

Предстоит ли нам исламизация? Дурацкий вопрос? Никак нет. Люди с воображением, способные чувствовать атмосферу постмодернизма, вообще не должны бы отвергать с порога какой бы то ни было разворот истории. Воистину, нет ничего невозможного. Пусть эта максима придаст нам смелости, возьмём быка за рога и поразмышляем о перспективах ислама. Сперва посмотрим, каковы вообще перспективы религиозного сознания в эпоху глобализации, новой экономики и постмодерна. А затем конкретно займёмся исламом.

Перспективы религии надо оценивать в связи с новым витком социального расслоения в мире. Это теперь глобальный процесс, и речь идёт о так называемой «новой бедноте». Происходит то, что в своё время предвидел Маркс, когда говорил об «абсолютном обнищании». В его время и несколько позже эта знаменитая теорема не оправдалась и подверглась насмешкам. Но на самом деле тенденция к абсолютному обнищанию вполне реальна. Время от времени она оживляется и каждый раз может дойти до крайности, если её не перекроет что-нибудь другое. Есть все основания полагать, что нынешний виток абсолютного обнищания намного внушительнее, чем предыдущий. В конце XX ве-

* «Новое время». 2004. № 26.

ка почти 1 млрд населения за 20 лет понизил свой уровень жизни. То есть, по-просту говоря, этот миллиард сегодня потребляет меньше, чем вчера; даже ест меньше и, соответственно, вымирает быстрее. Подчеркнём для невнимательных читателей: это абсолютное обнищание, а не относительное. Я уже не говорю о том, что и относительное обнищание будет скоро выглядеть очень небезобидно. Если женщины на Севере будут до ста лет выглядеть, как Джоан Коллинз или Алла Пугачёва, а мусульманки будут терять форму, скажем, к семидесяти годам, то чувства по этому поводу будут, надо полагать, не слабые.

Допустим, что и на этот раз в конце концов абсолютное обнищание будет остановлено, как это было в Европе и Северной Америке в середине XX века. Но в любом случае этот виток может продлиться значительно дольше, чем предыдущий, может быть, пару столетий, а это уже отрезок времени, способный вместить весьма длительные культурные трансформации, например, возвращение религии.

Религия, как известно, это опиум народа, и она всегда утешала несчастных и слабых в их земных горестях и лишениях. Религия – мировоззрение бедных и отверженных (мизераблей). Секулярные интеллектуалы привыкли считать, что религия это нечто средневековое. Это верно. Европейское средневековье было не просто религиозным, а религиозно экзальтированным. Визионерски религиозным. В средние века, говорят, масса людей глубоко лично переживали «общение» с главными персонажами христианской мифологии, даже «воочию» видели их. Новейшие гипотезы предполагают, что эта экзальтация и видения были «голодными галлюцинациями», иногда поражавшими целые деревни.

Но если вы отбрасываете или запираете миллиарды людей в средневековье, надо ли удивляться, что они обращаются к испытанному способу сохранить свой душевный комфорт, культивируя в себе всякого рода компенсаторные верования. Итак, обнищание создаёт благоприятную перспективу для экспансии религии. Ну, а теперь перейдём к исламу.

Новые обстоятельства дают второе дыхание исламу там, где он и так господствует. В зоне ислама живут более 1 млрд человек. Для большинства из них ислам просто привычен, и не более того. Но в пограничной зоне бушует экзальтированный ислам. Отчужденная исламская интеллигенция разрывается между двумя мирами. Когда вестернизация и секуляризация не приносят мусульманину жизненного успеха, он становится мусульманином вдвойне и, главное, начинает придавать своему мусульманству героический и романтический смысл. Для него аффектированный ислам становится инструментом агрессивной самоидентификации. Оборонительное стремление настоять на своем всегда потом переходит в прозелитизм и экспансию.

Парадоксально, но этот революционный синдром приводит фундаменталистов к неоформленному, но вполне функциональному союзу с властными элитами в исламских обществах. Последние заинтересованы в том, чтобы народ остался в религиозно-наркотическом тумане. Так им легче управлять. Революционная агрессия в исламском мире оказывается религиозно стилизована и направлена в

сторону Запада, а у себя дома с помощью религиозного дурмана народ держат в ежовых рукавицах богопослушания («ислам» и означает «покорность») и шариата. Так, по-видимому, обстоит дело во всех исламских странах – от Саудовской Аравии, с её реликтовым монархическим режимом, до квазисекулярного Ирака.

Но можно рискнуть и предположить, что ислам имеет неплохие шансы подмять под себя и неисламские зоны. Даже в Европе. Прежде всего, полезно помнить, что ислам в некотором смысле европейская религия. Остаётся исторический исламский клин на юго-востоке Европы – Турция, Албания, Босния, Болгария, не говоря уже о российском Кавказе и Поволжье. Сюда же, вероятно, уместно отнести Левант и, по крайней мере, большие города Магриба.

Но, конечно, гораздо важнее иммигранты-мусульмане. Их много во всех крупных городах Европы, где возникают специфические версии евро-ислама. Здесь мы видим как наиболее воинствующих фундаменталистов, так и, наоборот, наиболее склонных к компромиссам модернистов. Надо думать, что если речь идёт об исламизации Европы, то главными её агентами оказываются именно они. Исламизация главным образом связана с самой иммиграцией и большим естественным приростом населения в мусульманской общине. Но, конечно, наибольшее любопытство у нас должно вызывать конвертирование (обращение) христиан в ислам. Этот процесс не назовёшь массовым, но он и не равен нулю. В Британии за последние 20 лет 10–20 тысяч человек стали ренегатами. В США, говорят, только за два месяца после 11 сентября в ислам обратились 34 тысячи человек, в основном афро-американцы.

Подавляющее большинство обращенцев – женщины, вышедшие замуж за мусульман. Для Германии это соотношение составляет 4 к 1. Этот конформно-оппортунистический вариант вряд ли сам по себе способен превратить Европу в мусульманский регион, но он создаёт некоторый прецедент, на который могут опираться пропагандисты ислама.

Другой отряд потенциальных ренегатов – всякого рода люмпены. Эти вообще всегда были мишенью любых прозелитствующих конфессий. До сих пор в Европе главными ловцами душ были иеговисты, муниты и новейшие сконструированные (вроде сайентологов) авторитарные христианские секты и церкви, а вот теперь к ним добавились мусульмане. Оказалось, например, что мусульманские вербовщики очень активны в английских тюрьмах. В тюрьме был обращён злополучный Ричард Рид (в ботинке пронесший взрывчатку в самолёт).

Количественно гораздо менее ощутима другая группа ренегатов, но она имеет харизматическое значение. Это молодые представители интеллигенции. Тут есть несколько ярких примеров. Например, Джо-Ахмед Добсон – сын бывшего крупного лейбористского министра Фрэнка Добсона. Другое громкое имя среди новых мусульман – сын бывшего генерального директора Би-Би-Си Джона Бёрта Джонатан. В ислам обратились также дети лорда Скотта, известного тем, что он возглавлял комиссию по расследованию дела о продаже британского оружия Ираку накануне войны в Заливе. В университетах есть несколько специалистов по исламу, принявших ислам.

Проповедники ислама особенно гордятся несколькими яркими приобретениями. Самый, пожалуй, знаменитый ренегат в мире был ныне уже покойный Мухаммед Асад. Он родился во Львове как Леопольд Вайс, в конце 20-х годов жил как журналист в Германии, а потом неожиданно принял ислам и добился высокого положения как улем*. Верхом его карьеры было представительство Пакистана в ООН.

Из недавних сенсаций наиболее причудливым кажется случай итальянского посла в Саудовской Аравии и знаменитого ныне в кино Уилла Смита. Ну и, конечно, все знают Мухаммеда Али (Кассиус Клей) и поп-звезду Юсефа Ислама (Кэт Стивенс).

Среди нескольких десятков обращенных в ислам не рядовых христиан, а духовных лиц фигурируют пятидесятники, иеговисты, методисты, лютеране, католики и православные (архиерей Вячеслав Полозин).

Я вовсе не собираюсь кого-то убеждать, что предстоит массовое ренегатство европейцев в ислам, но рискну предположить, что ислам может быть более привлекателен, чем христианство, для тех, кто родился и вырос в атмосфере атеизма и агностицизма и теперь помышляет о том, чтобы вновь обрести высокую веру или хотя бы примкнуть к общине, где у него будет такая иллюзия. Ислам также может показаться удобным для политических элит в поисках более эффективного управления массами. С них и начнём.

Европейский консерватизм в комбинации с мёртвым христианством не работает. Кризис христианско-демократических партий необратим. В Британии тори при Маргарет Тэтчер совсем разругались с англиканской церковью. Если уж консерватизм и будет себе искать партнёра, то удобнее ислама не придумаешь.

Эта возможность, хотя и в трагестированной форме, всплывала уже однажды в романе Честертона «Перелётный кабак». Я не мог найти его на английском языке. Сейчас его читают, похоже, только в России. Там, видно, был указ любить Честертона. Как его читают русские, мне совершенно непонятно, потому что роман на самом деле маловразумителен и перенасыщен современными Честертону местными колористическими деталями, которых русский глаз не берёт, да и не надо. Но, так или иначе, я могу привести несколько цитат, не утруждая себя переводом. Вот они:

«...мы должны всеми силами оберегать устои семьи и брака... мы хотим, чтобы столь почтенные установления как мусульманская семья сохранились в неприкосновенности... Неужели мы ничем не обязаны воздержанию доблестного племени, отвергшего ядовитую прелесть вина?.. западные народы помогли исламу понять ценность мира и порядка. Не вправе ли мы сказать, что ислам одарит нас миром в тысячах домов и побудит стряхнуть наваждение, искажившее и окрасившее безумием добродетели Запада? (слабость к спиртному. — А. К.)». Итак: ислам благоприятен для семейной жизни и отучает от пьянства.

Кроме того, ислам увлекает нас на путь вегетарианства. Не грубо и не доктринально. Он не запрещает мяса, но делает шаг в этом направлении. И при

* Исламский богослов и правовед.

этом он наследует христианству: «Я, как и мусульмане, высоко ценю мифический или реальный образ основателя христианства и не сомневаюсь, что несообразная и неприятная притча о свиньях, прыгнувших в море, – лишь аллегория, означающая, что основатель этот понял простую истину: злой дух обитает в животных, искушающих нас пожрать их». Запрет есть свинину, оказывается, «...удачно иллюстрирует идею последовательности, как и отношение ислама к вину. Оно подтверждает принцип, который я назвал принципом полумесяца, – постепенное стремление к бесконечному совершенству».

Эти достоинства ислама обобщаются так: «мусульманство в определённом смысле религия прогресса. Это настолько противоречит и научной традиции, и общественному мнению, что я не удивлюсь и не вознегодую, если англичане согласятся с этим нескором...». Представители народа в романе (англичане и ирландцы) не соглашаются и всячески саботируют новшества, вводимые в английский образ жизни центральным персонажем по имени Филипп Айвивуд – политиком из аристократов. Они подозревают его в том, что он собрался объединить христианство и ислам, что будет называться «хрислам». Сам же Филипп Айвивуд так поясняет свою философию: «В нашу эпоху люди всё глубже понимают, что разные религии таят разные сокровища». Очень современно – синтез религий и мультикультурализм.

Честертон свой персонаж придумал для смеха. Его роман «Перелётный кабак» посвящён не столько опасности ислама, сколько угрозе исчезновения «старой весёлой Англии» (old merry England), которую он так любил. Но теперь сам принц Чарльз в заботах о сохранении старины (или возвращении к ней) и сельского ландшафта склоняется к некоторым элементам зелёного консервативизма. И он же демонстрирует искренний и глубокий интерес к исламу (цвет ислама – зелёный). Как монарх он и должен морально покровительствовать всем своим подданным, но поведение будущего главы англиканской церкви не просто дань монаршей дипломатии. Оно более многозначительно.

Христианские фундаменталисты в Америке вроде бы злейшие враги ислама. Но нашлись среди них такие, кто после 11 сентября объявил, что Америке досталось поделом за то, что она впадает в пучину греха. Чем фундаментальнее христианство и ислам, тем они ближе друг другу. Одним словом, хрислам.

Несовместимость ислама с модерном вроде бы считается доказанной. Но дело ведь в том, что европоцентристское представление о модерне сегодня уже не кажется бесспорным. Образ «второго модерна» гораздо более расплывчат. Альтернативные проекты модерна придают (во всяком случае, на словах) большее значение «духовной» компоненте жизни, демонстрируя некоторое высокомерное пренебрежение к материальным благам и комфорту. Они реабилитируют некоторые стороны образа жизни, которые мы уже привыкли считать архаичными. И делают возможным комбинирование культурных элементов, что ещё недавно считалось совершенно невозможным, поскольку каждая культура, дескать, органично-целостна и отторгает чуждые элементы. Это оказывается предрассудком. В потребительском обществе любой «культурный пакет» возможен. Более того, гибридные культуры становят-

ся всё более популярны. Их поощряет крупный культур-капитал. Ему это выгодно. Опять – хрислам.

Но это не всё. Ислам поможет снять некоторые проблемы, с которыми секularyно-эгалитарное общество справиться не может, кроме как пожертвовав тем или другим, а то и всем вместе. Например, грядёт проблема массовой безработицы. Ислам сильно облегчит решение этой проблемы, вновь заперев женщин в семье. Это ведь удобно-легитимный способ почти вдвое сократить число тех, кому теперь приходится обеспечивать право на труд.

Ислам поможет вернуться к семье как более независимой и замкнутой хозяйственной ячейке. Это даст шанс ликвидировать социалистически-национальный велфэр, к чему так и так дело идёт. Одновременно оживится и естественный прирост населения. Это, впрочем, палка о двух концах. Сейчас никто не знает, нужно нам больше населения или меньше. Вымирать, впрочем, не хотел бы никто. Это означало бы вытеснение коренного населения Севера не просто пришельцами с Юга, но ещё и иноверцами. Да, сверх того, враждебно настроенными.

Всё это вполне устраивает лево-правый популистский центризм, почти полностью теперь занимающий политическую сцену в Европе. Он очень нуждается в клерикальном элементе, а, как я уже заметил, христианство уже не в состоянии его обеспечить. Христианство скомпрометировало себя уступками науке, медицине и слабому полу.

Наследники честертоновского Филиппа Айвивуда делают всё, чтобы задобрить мусульманские меньшинства в европейских странах. Отчасти потому, что боятся отчуждения и революционизации мусульманского меньшинства, особенно в условиях, когда оно имеет шансы сильно вырасти за счёт иммиграции и новообращенства столь же отчуждённой «новой бедноты». Отчасти потому, что нуждаются в арабских деньгах (картину христианских церквей, продаваемых под мечети, нарисовал в своё время Антони Бёрджес в трагикомической экстравaganце под названием «1985» – очевидный парафраз «1984», дескать, не какого-то тоталитаризма, а ислама надо бояться). Отчасти же здесь просматривается готовность к своей исторической судьбе. Стратегия мультикультуры на самом деле пораженческая. Интересно, что её настойчиво проводят политические элиты. Народ, как и в романе Честертона, сопротивляется.

Тут самое время вспомнить Древний Рим. Империя очень долго сопротивлялась христианам, и не просто сопротивлялась, но и пыталась их сжить со света. Просвещенному и урбанизированному язычески-атеистическому патрицианству христианство казалось порождением диких и нищих масс, бунтом бездомных плебеев против цивилизации. И что же? Как говорил скептически настроенный русский поэт, «ты был ли, гордый Рим?»

Сходство с гордым Римом накануне капитуляции перед восточным (!) революционным и компенсаторным христианством подчёркивается ещё и нынешней волной мусульманских самоубийств, сильно напоминающих мазохистскую жертвенность ранних христиан, бросающих вызов имперскому высокомерию Рима.

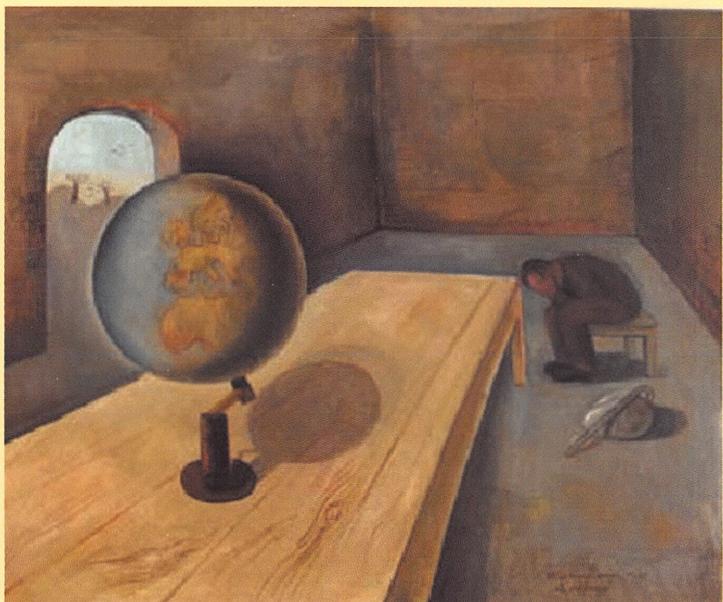
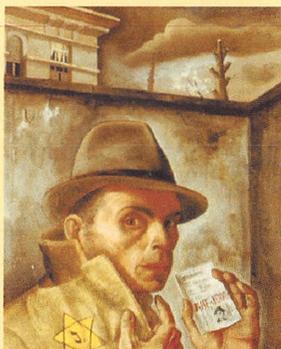
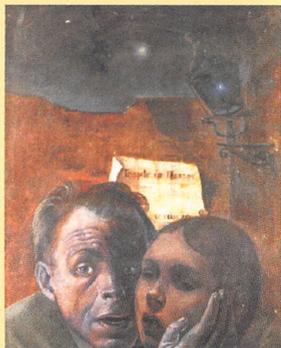
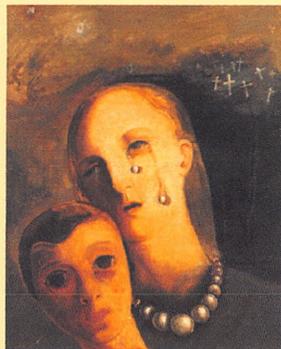
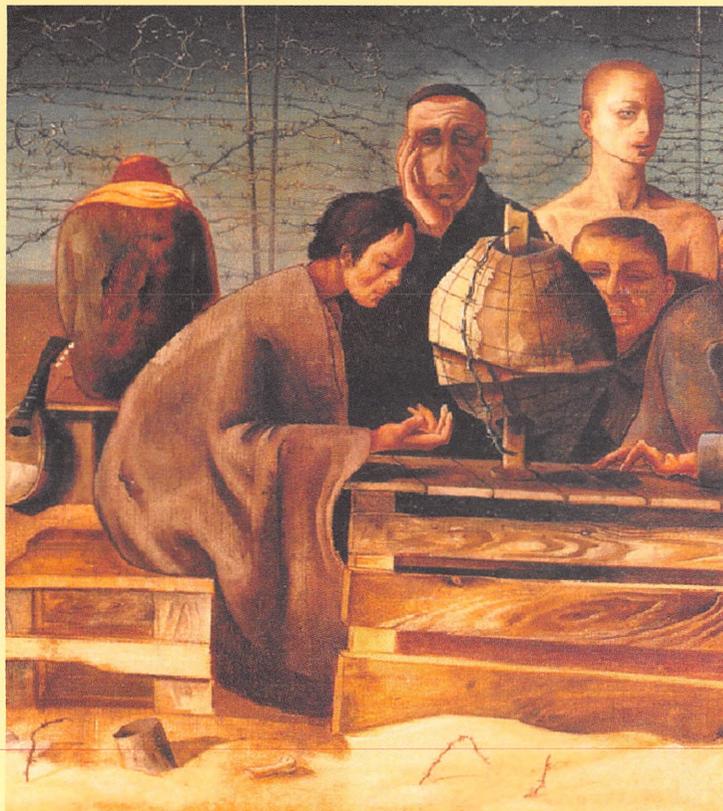
Итак, исламизация зоны христианства как историческая перспектива – не совсем невероятная вещь. Если Северу всё-таки суждена попятная клерикализация жизни (назовите это «религиозным возрождением», если вам так больше нравится), то вовсе не исключено, что историческая инициатива перейдёт от христианства к исламу. Реальность такой перспективы у многих вызовет инстинктивное отторжение как полный абсурд. Это, конечно, не очевидная перспектива, но это и не абсурд.

Между прочим, не исключено, что только с исламизацией Европы удастся погасить революционизацию ислама. Сегодня ислам – религия сопротивления. Даже если удастся подавить исламский терроризм, что на самом деле вполне возможно, ислам остаётся главной силой антимодернизации. Попытки сконструировать смягчённые формы ислама, адекватные секулярно-западному образу жизни, пока остаются безуспешными. Ссылки на христианство, которому якобы удалась модернистская трансформация, вводят в заблуждение. Ничего христианству не удалось. Нынешнее христианство, сдающее позиции одну за другой, находится в глубоком упадке и полностью утратило влияние в обществе. Сильное христианство средневековья было не модернизировано, а устранено. Вспышка христианского фундаментализма в рамках религиозного диссидентства и реформации была отчасти агонией, а отчасти парадоксальным переходом (первым шагом) к секуляризации. Так произошло, потому что в западном обществе были силы, способные отказаться от религии.

Подобного потенциала секуляризации в коренной зоне ислама нет даже сейчас, и неясно, возникнет ли он в заколдованном кругу ментальной и экономической архаики. Но вот если бы мусульманами стали постсекулярные европейцы, тогда был бы совсем другой коленкор. Ведь христианство преобразовали до неузнаваемости не первоначальные христиане, а те, кто у них христианство заимствовал или даже украл. Чтобы вывернуть наизнанку ислам, его надо украсть.

Тут, похоже, действует правило. Сперва христиане украли Библию у евреев. Потом Рим украл христианство у самих христиан. Кто следующий?

Я ничего не предсказываю. Я только пытаюсь вообразить логику возможного процесса. С полумесяцем в зубах впереди Иисус аллах. Пароль: хрислам! Ответ: Христос акбар!



Репродукции картин Ф. Нуссбаума – иллюстрации к статье В. Ротенберга, стр. 261

